



ФЛОБЕР

2

*



ГЮСТАВ
ФЛОБЕР



ГЮСТАВ
ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ


ТОМ
2

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

Издательство „Правда“

Москва 1956

Собрание сочинений
осуществляется под наблюдением
А. Ф. Иващенко

Саламбо



I

ПИР

Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара.

Солдаты, которыми он командовал в Сицилии, устроили большое пиршество, чтобы отпраздновать годовщину Эрикской битвы, и так как хозяин отсутствовал, а их было много, они ели и пили без всякого стеснения.

Начальники, обутые в бронзовые котурны, поместились в среднем проходе под пурпуровым навесом с золотой бахромой. Навес тянулся от стены конюшен до первой террасы дворца. Простые солдаты расположились под деревьями; отсюда видно было множество строений с плоскими крышами — давальни, погреба, амбары, хлебопекарни, арсеналы, а также двор для слонов, рвы для диких зверей и тюрьма для рабов.

Фиговые деревья окружали кухни; лес смоковниц тянулся до зеленых кущ, где рдели гранаты меж белых хлопчатников; отягченные гроздьями виноградники поднимались ввысь к ветвям сосен; под платанами цвело поле роз; на лужайках местами покачивались лилии; дорожки были посыпаны черным песком, смешанным с коралловым порошком, а посредине тянулась аллея кипарисов, как двойная колоннада зеленых обелисков.

Дворец Гамилькара, построенный из нумидийского мрамора в желтых пятнах, громоздился в отдалении на широком фундаменте; четыре этажа его выступали террасами один над другим. Его монументальная прямая лестница из черного

деревя, где в углах каждой ступеньки стояли носовые части захваченных вражеских галер, красные двери, помеченные черным крестом, с медными решетками — защитой снизу от скорпионов; легкие золотые переплеты, замыкавшие верхние оконца, — все это придавало дворцу суровую пышность, и он казался солдатам столь же торжественным и непроницаемым, как лицо Гамилькара.

Совет предоставил им его дом для пира. Выздоровливавшие солдаты, которые ночевали в храме Эшмуна, отправились сюда на заре, плетясь на костылях. Толпа возрастала с каждой минутой. Люди беспрерывно стекались ко дворцу по всем дорожкам, точно потоки, устремляющиеся в озеро. Между деревьями сновали кухонные рабы, испуганные, полунагие; газели на лугах убегали с громким блеянием. Солнце близилось к закату, и от запаха лимонных деревьев испарения потной толпы казались еще более тягостными.

Тут были люди разных наций — лигуры, лузитанцы, баллары, негры и беглецы из Рима. Наряду с тяжелым дорийским говором раздавались кельтские голоса, грохотавшие, как боевые колесницы, ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими, точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина — по высоким сутулым плечам, кантабра — по толстым икрам. На шлемах у карийцев горделиво покачивались перья; каппадокийские стрелки расписали свое тело большими цветами; несколько лидийцев с серьгами в ушах садились за трапезу в женских одеждах и туфлях. Иные, намазавшись для праздника киноварью, похожи были на коралловые статуи.

Они разлеглись на подушках, ели, сидя на корточках вокруг больших блюд, или же, лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались, упершись локтями, в мирной позе львов, разрывающих добычу. Прибывшие позже других стояли, прислонившись к деревьям, смотрели на низкие столы, наполовину скрытые пунцовыми скатертями, и ждали своей очереди.

Кухонь Гамилькара нехватало; Совет послал рабов, посуду, ложа для пирующих; среди сада, как на поле битвы, когда сжигают мертвецов, горели яркие костры, и на них жарили быков. Хлебы, посыпанные анисом, чередовались с огромными сырами, более тяжелыми, чем диски. Около золотых плетеных корзин с цветами стояли чаши с вином и сосуды с водой. Все широко раскрывали глаза от радости, что, наконец, можно наестись досыта. Кое-где затягивали песни.

Прежде всего им подали на красных глиняных тарелках с черными узорами дичь под зеленым соусом, потом — всякие ракушки, какие только собирают на карфагенских берегах,

похлебки из пшена, ячменя, бобов и улитки с тмином на желтых янтарных блюдах.

Вслед за тем столы уставили мясными блюдами. Подали антилоп с рогами, павлинов с перьями, целых баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволы окорока, ежей с правой из рыбьих внутренностей, жареную саранчу и белки в маринаде. В деревянных чашках из Тамрапани плавали в шафране большие куски жира. Все было залито фассолом, приправлено трюфелями и асафетидой. Пирамиды плодов валились на медовые пироги. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали выжимками из маслин,— карфагенское блюдо, вызывавшее отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга из рук арбузы и лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их красные колючки. Бритые греки, у которых лица были белее мрамора, бросали за спину остатки со своих тарелок, а пастухи из Бруттиума, одетые в волчьи шкуры, ели молча, уткнувшись в тарелки.

Наступила ночь. Сняли велариум, протянутый над аллеей из кипарисов, и принесли факелы.

Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфириновых вазах, испугало на вершинах кипарисов обезьян, посвященных луне. Их резкие крики очень смешили солдат.

Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с инкрустацией из драгоценных камней искрились разноцветными огнями. Чаши с краями из выпуклых зеркал умножали увеличенные образы предметов. Толпясь вокруг, солдаты изумленно в них гляделись и гримасничали, чтобы посмеяться. Они бросали друг в друга через столы табуреты из слоновой кости и золотые лопатки. Они пили залпом греческие вина, которые хранят в бурдюках, вина Кампани, заключенные в амфоры, кантабрийское вино, которое привозят в бочках, и вина из ююбы, киннамона и лотоса. На земле образовались скользкие лужи вина, пар от мяса поднимался к листе деревьев вместе с испарением от дыхания. Слышны были одновременно громкое чавканье, шум речей, песни, дребезг чаш и кампанских ваз, которые, падая, разбивались на тысячи кусков, или чистый звон больших серебряных блюдец.

По мере того как солдаты пьянели, они все больше думали о несправедливости к ним Карфагена.

Республика, истощенная войной, допустила скопление в городе отрядов, возвращавшихся из похода. Гискон, начальник наемных войск, умышленно отправлял их частями, чтобы

облегчить выплату им жалованья, но Совет думал, что они в конце концов согласятся на некоторую уступку. Теперь же наемников возненавидели за то, что им нечем было уплатить. Этот долг смешивался в представлении народа с тремя тысячами двумястами евбейских талантов, которые требовал Лутаций, и Карфаген считал наемников такими же врагами, как и римлян. Солдаты это понимали, и возмущение их выражалось в угрозах и гневных выходках. Они, наконец, потребовали разрешения собраться, чтобы отпраздновать одну из своих побед, и партия мира уступила, мстя этим Гамилькару, который так упорно стоял за войну. Она теперь кончилась, вопреки его воле, и он, отчаявшись в Карфагене, передал начальство над наемниками Гискону. Дворец Гамилькара предоставили для приема солдат с целью направить на него часть той ненависти, которую те испытывали к Карфагену. К тому же устройство пиршества влекло за собой огромные расходы, и все они падали на Гамилькара.

Гордясь тем, что они подчинили своей воле Республику, наемники рассчитывали, что смогут, наконец, вернуться в свою страну, увозя в капюшонах плащей жалованье за пролитую ими кровь. Но под влиянием виновных паров их заслуги стали казаться им безмерными и недостаточно вознагражденными. Они показывали друг другу свои раны, рассказывали о сражениях, о своих странствиях и об охотах у себя на родине. Они подражали крикам диких зверей, их прыжкам. Потом начались отвратительные пари: погружали голову в амфоры и пили без перерыва, как изнывающие от жажды дромадеры. Один лузитанец огромного роста держал на вытянутых руках по человеку и обходил так столы, извергая из ноздрей горячее дыхание. Лакедемоняне, не снявшие лат, делали тяжелые прыжки. Некоторые выступали женской походкой, с непристойными жестами; другие обнажались, чтобы состязаться среди чаш, как гладиаторы; несколько греков плясало вокруг вазы с изображением нимф, а в это время один из негров ударял бычьей костью в медный щит.

Вдруг они услышали жалобное пение, громкое и нежное; оно то стихало, то усиливалось, как хлопанье в воздухе крыльев раненой птицы.

Это были голоса рабов в эргастуле. Солдаты вскочили и бросились освобождать заключенных.

Они вернулись, с криком гоня перед собой в пыли около двадцати человек, поражавших бледностью лиц. На бритых головах у них были остроконечные шапочки из черного войлока; все были обуты в деревянные сандалии; они громыхали цепями, как колесницы на ходу.

Рабы прошли до кипарисовой аллеи и рассеялись в толпе;

их стали расспрашивать. Один из них остановился поодаль от других. Сквозь разорванную тунику видны были его плечи, исполоסованные длинными шрамами. Опустив голову, он боязливо озирался и слегка закрывал веки, ослепленный факелами. Когда он увидел, что никто из пугавших его вооруженных людей не выказывает к нему ненависти, из груди его вырвался глубокий вздох; он стал что-то бормотать и засмеялся сквозь радостные слезы, которые текли у него по лицу; потом схватил за ручки полную чашу и воздел ее к небу, вытянув руки, с которых свисали цепи; глядя ввысь и продолжая держать в руке чашу, он произнес:

— Привет прежде всего тебе, освободитель Ваал-Эшмун, которого на моей родине зовут Эскулапом! Привет вам, духи источников, света и лесов! И вам, боги, сокрытые в недрах гор и в земляных пещерах! И вам, мощные воины в блестящих доспехах, освободившие меня!

Потом он бросил чашу и стал рассказывать о себе. Его звали Спендием. Карфагеняне захватили его в плен в Эгинской битве. Говоря на греческом, лигурийском и пуническом языках, он стал снова благодарить наемников, целовал им руки и, наконец, поздравил с празднеством, выражая при этом удивление, что не видит на пиру чаш Священного легиона. Чаши эти, с изумрудной виноградной лозой на каждой из шести золотых граней, принадлежали милиции, состоящей исключительно из молодых патрициев самого высокого роста, и обладание ими было привилегией, почти жреческой почестью; ничто среди сокровищ Республики так не возбуждало алчности наемников, как эти чаши. Из-за них они ненавидели Легион; иные рисковали жизнью ради неизъяснимого наслаждения выпить из такой чаши.

Они сейчас же послали за чашами, хранившимися у Сисситов — купцов, объединенных в общества, которые собирались для совместных трапез. Все члены сисситских обществ в это время уже спали.

— Разбудить их! — приказали наемники.

Вторично посланные рабы вернулись с ответом, что чаши заперты в одном из храмов.

— Отпереть храм! — ответили они.

И когда рабы, трепеща, признались, что чаши в руках начальника Легиона, Гискона, они воскликнули:

— Пусть принесет!

Ескоре в глубине сада появился Гискон с охраной из воинов Священного легиона. Широкий черный плащ, прикрепленный на голове к золотой митре, усеянной драгоценными камнями, окутывал его всего, спускаясь до подков коня, и сливался издали с ночным мраком. Видны были только его белая

борода, сверкание головного убора и тройное ожерелье из плоских синих камней, которое колыхалось у него на груди.

Когда он приблизился, солдаты встретили его криками:

— Чаши, чаши!..

Он начал с заявления, что своей храбростью они, несомненно, их заслужили. Толпа заревела от радости, рукоплещая ему.

Он прибавил, что ему это хорошо известно, так как он командовал ими в походе и вернулся с последней когортой на последней галере!

— Верно, верно! — подтвердили они.

Республика, продолжал Гискон, блюдет их разделение по племенам, их обычаи, их верования; они пользуются в Карфагене свободой. Что же касается чаш Священного легиона, то это частная собственность.

Тогда один из галлов, стоявший около Спендия, ринулся вдруг через столы и подбежал к Гискону, грозя ему двумя обнаженными мечами, которыми он размахивал в воздухе.

Гискон, не прерывая своей речи, ударил его по голове тяжелой палкой из слоновой кости. Варвар упал. Галлы зарычали, и бешенство их, сообщаясь другим, вызвало гнев легионеров. Гискон пожал плечами. Отвага его была бы бесполезна против этих неистовых, грубых животных. Потом он отомстит им какой-нибудь хитростью. Он сделал поэтому знак своим воинам и медленно удалился. Дойдя до ворот, он обернулся к наемникам и крикнул им, что они раскаются.

Пир возобновился. Но ведь Гискон мог вернуться и, обойдя предместье, дошедшее до последних укреплений, раздавить наемников, прижать их к стенам. Они почувствовали себя одинокими, несмотря на то, что их было много. Большой город, спавший внизу в тени, стал пугать их своими громоздившимися лестницами, высокими черными домами и неясными очертаниями богов, еще более жестоких, чем народ. Вдали над водой скользило несколько сигнальных огней и виден был свет в храме Камона. Они вспомнили про Гамилькара. Где он? Почему он покинул их после заключения мира? Его пререкания с Советом были, наверное, только уловкой, имевшей целью их погубить. Неутоленная злоба перенеслась на него, и они проклинали Гамилькара, возбуждая друг друга своим гневом. В эту минуту под платанами собралась толпа; она окружила негра, который бился в судорогах на земле; взор его был неподвижен, шея вытянута, у рта показалась пена. Кто-то крикнул, что он отравлен. Всем стало казаться, что и они отравлены. Солдаты бросились на рабов; над пьяным войском пронесся вихрь разрушения. Они устремлялись на что попало, разбивали, убивали; одни бросали факелы в листву, другие, облокотившись на перила, за которыми находились львы, побивали их

стрелами; более храбрые кинулись к слонам; солдатам хотелось отрубить им хоботы и грызть слоновую кость.

Тем временем балеарские пращники обогнули угол дворца, чтобы удобнее было приступить к грабежу. Но им преградила путь высокая изгородь из индийского камыша. Они перерезали кинжалами ремни затвора и очутились перед фасадом дворца, обращенным к Карфагену, в другом саду, с подстриженной растительностью. Полосы из белых цветов, следуя одна за другой, описывали на земле, посыпанной голубым песком, длинные кривые, похожие на снопы звезд. От кустов, окутанных мраком, исходило теплое медовое благоухание. Стволы некоторых деревьев были обмазаны киноварью и походили на колонны, залитые кровью. Посреди сада на двенадцати медных подставках стояли стеклянные шары; внутри их мерцал красноватый свет, и они казались гигантскими зрачками, в которых еще трепетал взгляд. Солдаты освещали себе путь факелами, спотыкаясь на глубоко вскопанном спуске.

Они увидели небольшое озеро, разделенное на несколько бассейнов стенками из синих камней. Вода была такая прозрачная, что отражение факелов дрожало на самом дне из белых камешков и золотой пыли. На воде показались пузырьки, по ней скользнули сверкающие чешуйки, и толстые рыбы с пастью, украшенной драгоценными камнями, выплыли на поверхность.

Солдаты схватили рыб, просунули пальцы под жабры и с громким хохотом понесли их на столы.

То были рыбы, принадлежавшие роду Барка. Происходили эти рыбы от первобытных налимов, породивших мистическое яйцо, в котором таилась богиня. Мысль, что они свершают святотатство, вновь разожгла алчность наемников; они быстро развели огонь под медными сосудами и стали с любопытством глядеть, как диковинные рыбы извивались в кипятке.

Солдаты теснились, толкая друг друга. Они забыли страх и снова принялись пить. Благовония стекали у них со лба и падали крупными каплями на разодранные туники. Опираясь кулаками в столы, которые, как им казалось, качались подобно кораблям, они шарили вокруг себя налитыми кровью пьяными глазами, поглощая взорами то, что уже не могли захватить. Другие ходили по столам, накрытым пурпуровыми скатертями, и, ступая между блюд, давили ногами подставки из слоновой кости и тирские стеклянные сосуды. Песни смешивались с хрипом рабов, умиравших возле разбитых чаш. Солдаты требовали вина, мяса, золота, женщин; бредили, говоря на сотне наречий. Некоторые, видя пар, носившийся вокруг них, думали, что они в бане, или же, глядя на листву, воображали себя на охоте и набрасывались на своих собутыльников, как на диких

зверей. Пламя переходило с дерева на дерево, охватывало весь сад, и высокая листва, откуда вырывались длинные белые спирали, казалась задымившим вулканом. Гул усиливался. В темноте завывали раненые львы.

Вдруг осветилась самая верхняя терраса дворца; средняя дверь открылась, и на пороге показалась женщина в черных одеждах. Это была дочь Гамилькара. Она спустилась с первой лестницы, которая шла наискось от верхнего этажа, потом со второй и с третьей и остановилась на последней террасе, на верхней площадке лестницы, украшенной галерами. Не двигаясь, опустив голову, смотрела женщина на солдат.

За нею, по обе стороны, стояли в два длинных ряда бледные люди в белых одеждах с красной бахромой, спадавшей прямо на ноги. У них не было ни волос, ни бровей, а пальцы были унизаны сверкающими кольцами. Они держали в руках огромные лиры и пели тонкими голосами гимн в честь карфагенской богини. То были евнухи, жрецы храма Танит; Саламбо часто призывала их к себе.

Наконец она спустилась по лестнице с галерами. Жрецы следовали за нею. Она направилась в аллею кипарисов и медленно проходила между столами военачальников, которые при виде ее слегка расступались.

Волосы ее, посыпанные фиолетовым порошком, по обычаю дев Ханаана, были уложены наподобие башни, и от этого она казалась выше ростом. Сплетенные нити жемчуга прикреплены были к ее вискам и спускались к углам рта, розового, как полуоткрытый плод граната. На груди сверкало множество камней, пестрых, как чешуя мурены. Руки, покрытые драгоценными камнями, были обнажены до плеч, туника расшита красными цветами по черному фону; щиколотки соединены золотой цепочкой, чтобы походка была ровной, и широкий плащ темного пурпурового цвета, скроенный из неведомой ткани, тянулся следом, образуя при каждом ее шаге как бы широкую волну.

Время от времени жрецы брали на лирах приглушенные аккорды; в промежутках музыки слышался легкий звон цепочки и мерный стук сандалий из папируса.

Никто еще не знал Саламбо. Известно было только, что она жила уединенно, предаваясь благочестию. Солдаты видели ее ночью на кровле дворца коленопреклоненной перед звездами, в дыму возженных курильниц. Ее бледность была порождена луной, и веяние богов окутывало ее, точно нежной дымкой. Зрачки ее казались устремленными далеко за земные пределы. Она шла, опустив голову, и держала в правой руке маленькую лиру из черного дерева.

Солдаты слышали, как она шептала:

— Погибли! Все погибли! Вы не будете больше подплывать, покорные моему зову, как прежде, когда, сидя на берегу озера, я бросала вам в рот арбузные семена! Тайна Танит жила в глубине ваших глаз, более прозрачных, чем пузырьки воды на поверхности рек...

Она стала звать их по именам, которые были названиями месяцев:

— Сив! Сиван! Таммуз! Эдул! Тишри! Шебар! О, сжался надо мною, богиня!

Солдаты, не понимая, что она говорит, столпились вокруг нее. Они восторгались ее нарядом. Она оглядела их долгим испуганным взором, потом, втянув голову в плечи и простирая руки, повторила несколько раз:

— Что вы сделали! Что вы сделали!.. Ведь вам даны были для вашей улады и хлеб, и мясо, и растительные масла, и все пряности со складов! Я посылала за быками в Гекатомпиль, я отправляла охотников в пустыню!

Голос ее возвышался, щеки зарделись.

Она продолжала:

— Где вы находитесь? В завоеванном городе или во дворце повелителя? И какого повелителя? Суффета Гамилькара, отца моего, служителя Ваалов. Это он отказался выдать Лутецию ваше оружие, обогренное кровью его рабов. Знаете ли вы у себя на родине лучшего полководца, чем он? Взгляните: ступени дворца загромождены нашими трофеями! Продолжайте! Сожгите дворец! Я увезу с собой духа-покровителя моего дома, черную змею, которая спит наверху, на листьях лотоса. Я свистну, и она за мной последует. Когда я сяду на галеру, змея моя поплывет за мной по пене вод, по следам корабля...

Тонкие ноздри девушки трепетали. Она обламывала ногти о драгоценные камни на груди. Глаза ее затуманились. Она продолжала:

— О бедный Карфаген! Жалкий город! Нет у тебя прежних могучих защитников, мужей, которые отправлялись за океан строить храмы на дальних берегах. Все страны работали на тебя, и равнины морей, изборожденные твоими веслами, колыхались под грузом твоих жатв.

Затем она стала петь о деяниях Мелькарта, бога сидонского и праотца их рода.

Она рассказала о восхождении на горы эрсифонийские, о путешествии в Тартес и о войне против Мазизабала в отомщение за царицу змей:

— Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, извивавшимся по сухой листве, как серебряный ручеек. И он дошел до луга, где женщины со спинами драко-

нов толпились вокруг большого костра, стоя на кончике хвоста. Луна кровавого цвета сверкала, окруженная бледным кольцом, и их красные языки, рассеченные, точно багры рыбаков, вытягивались, извиваясь, до края пламени...

Потом Саламбо, не останавливаясь, рассказала, как Мелькарт, победив Мазизабала, укрепил на носу своего корабля его отрубленную голову.

При каждом всплеске волн голова исчезала под пеной, солнце опалило ее, и она сделалась тверже золота; глаза ее не переставали плакать, и слезы непрерывно капали в воду.

Саламбо пела на старом ханаанском наречии, которого варвары не понимали. Они недоумевали, о чем она им рассказывает, сопровождая свои речи грозными жестами. Взгромоздившись вокруг нее на столы, на пиршественные ложа, на ветви сикоморов, раскрыв рты и вытягивая головы, они старались схватить на лету все эти странные рассказы, мелькавшие перед их воображением сквозь мрак теогоний, как призраки в облаках.

Только безбородые жрецы понимали Саламбо. Их морщинистые руки, свесившись над лирами, дрожали и время от времени извлекали из струн мрачные аккорды. Они были слабее старых женщин и дрожали от мистического возбуждения, а также от страха, который вызывали в них солдаты. Варвары не обращали на них внимания; они слушали поющую деву.

Никто не смотрел на нее так пристально, как молодой нумидийский вождь, сидевший за столом военачальников между воинами своего племени. Пояс его был так утыкан стрелами, что образовал как бы горб под его широким плащом, прикрепленным к вискам кожаным ремнем. Расходившийся на плечах плащ окружал тенью его лицо, и виден был только огонь его глаз. Он случайно попал на пир, — отец поселил его в доме Барки, по обычаю царей, посылавших своих сыновей в знатные семьи, чтобы таким образом готовить союзы. Нар Гавас жил во дворце уже шесть месяцев, но он еще ни разу не видал Саламбо; сидя на корточках, опустив бороду на древки своих дротиков, он разглядывал ее, и его ноздри раздувались, как у леопарда, притаившегося в камышах.

По другую сторону столов расположился ливиец огромного роста с короткими черными курчавыми волосами. Он снял доспехи, и на нем была только военная куртка; медные нашивки ее раздирали пурпур ложа. Ожерелье из серебряных полумесяцев запуталось в волосах на его груди. Лицо было забрызгано кровью. Он сидел, опершись на левый локоть, и улыбался широко раскрытым ртом.

Саламбо прекратила священные напевы. Она стала говорить на всех варварских наречиях, и с женской чуткостью ста-

ралась смягчить гнев солдат. С греками она говорила по-гречески, а потом обратилась к лигурам, к кампанийцам, к неграм, и каждый из них, слушая ее, находил в ее голосе сладость своей родины. Увлеченная воспоминаниями о прошлом Карфагена, Саламбо запела о былых войнах с Римом. Варвары рукоплескали. Ее воспламеняло сверкание обнаженных мечей; она вскрикивала, простирая руки. Лира ее упала, и она умолкла; затем, сжимая обеими руками сердце, она несколько мгновений стояла, опустив веки и наслаждаясь волнением солдат.

Ливиец Мато наклонился к ней. Она невольно приблизилась к нему и, тронутая его восхищением, налила ему, чтобы примириться с войском, длинную струю вина в золотую чашу.

— Пей! — сказала она.

Он взял чашу и поднес ее к губам, но в это время один из галлов, тот, которого ранил Гискон, хлопнул его по плечу с веселой шуткой на своем родном наречии. Находившийся поблизости Спендий взялся перевести его слова.

— Говори! — сказал Мато.

— Да хранят тебя боги, ты будешь богат. Когда свадьба?

— Чья свадьба?

— Твоя! У нас, — сказал галл, — когда женщина наливает вино солдату, она тем самым предлагает ему разделить ее ложе.

Он не успел кончить, как Нар Гавас, вскочив, выхватил из-за пояса дротик и, упираясь правой ногой в край стола, метнул его в Мато.

Дротик просвистел между чаш и, пронзив руку ливийца, так сильно пригвоздил ее к скатерти, что рукоятка его задрожала в воздухе.

Мато быстро высвободил руку; но на нем не было оружия. Подняв обеими руками стол со всем, что на нем стояло, он кинул его в Нар Гаваса, в самую середину толпы, бросившейся их разнимать. Солдаты и нумидийцы так тесно спрудились, что не было возможности обнажить мечи. Мато продвигался, нанося удары головой. Когда он поднял голову, Нар Гавас исчез. Он стал искать его глазами. Саламбо тоже не было.

Тогда он взглянул на дворец и увидел, как закрылась наверху красная дверь с черным крестом. Он ринулся туда.

На виду у всех он побежал вверх по ступеням, украшенным галерами, потом мелькнул вдоль трех лестниц и, достигнув красной двери, толкнул ее всем телом. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть.

Кто-то за ним следовал, и сквозь мрак — огни пиршества были скрыты выступом дворца — он узнал Спендия.

— Уходи! — сказал ливиец.

Раб, ничего не ответив, разорвал зубами свою тунику, по-

том, опустившись на колени около Мато, нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая рану.

При свете лунного луча, струившегося между облаками, Спендий увидел на середине руки зияющую рану. Он обмотал ее куском ткани; но Мато с раздражением повторял:

— Оставь меня, оставь!

— Нет,— возразил раб.— Ты освободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты мой повелитель! Приказывай!

Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. На каждом шагу он прислушивался и сквозь отверстия между золочеными прутьями решеток проникал взглядом в тихие покои. Наконец он в отчаянии остановился.

— Послушай! — сказал ему раб.— Не презирай меня за мою слабость! Я жил во дворце. Я могу, как змея, проползти между стен. Идем! В комнате предков под каждой плитой лежит слиток золота, подземный ход ведет к их могилам.

— Зачем мне они! — сказал Мато.

Спендий умолк.

Они стояли на террасе. Перед ними расстился мрак, в котором, казалось, скрывались какие-то громады, подобные волнам окаменелого черного океана.

Но с восточной стороны поднялась полоса света. Слева, совсем вверху, каналы Мегары начали чертить белыми извилинами зелень садов. В свете бледной зари постепенно вырисовывались конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления; вокруг карфагенского полуострова дрожал пояс белой пены, а море изумрудного цвета точно застыло в утренней прохладе. По мере того как ширилось розовое небо, стали выдвигаться высокие дома, теснившиеся на склонах, точно стадо черных коз, спускающихся с гор. Пустынные улицы уходили вдаль; пальмы, выступая местами из-за стен, стояли недвижно. Полные доверху водоемы казались серебряными щитами, брошенными во дворах. Маяк Гермейского мыса стал бледнеть. На самом верху Акрополя, в кипарисовой роще, кони Эшмуна, чувствуя близость утра, заносили копыта на мраморные перила и ржали в сторону солнца.

Оно взошло; Спендий, воздев руки, испустил крик.

Все зашевелилось в разлившемся багрянце, ибо бог, точно раздирая себя, в потоке лучей проливал на Карфаген золотой дождь своей крови. Сверкали тараны галер, крыша Камона казалась охваченной пламенем, засветились огни в открывшихся храмах. Колеса вожов, прибывших из окрестностей, катились по каменным плитам улиц. Навьюченные поклажей верблюды спускались по тропам. Менялы открывали на перекрестках ставни своих лавок. Улетали журавли, дрожали белые паруса. В роще Танит ударяли в тамбурины священные

блудницы, и у околицы Маппал задымились печи для обжигания глиняных гробов.

Спендий наклонился над перилами террасы; у него стучали зубы, и он повторял:

— Да... да... повелитель! Я понимаю, отчего ты отказался грабить дом.

Мато, точно пробужденный его свистящим голосом, казалось, не понимал, что он говорит. Спендий продолжал:

— Какие богатства! А у тех, кто владеет ими, нет даже оружия, чтобы защитить их!

Он указал ему, протянув правую руку, на несколько бедняков, которые ползли по песку за молом в поисках золотых песчинок.

— Посмотри,— сказал он.— Республика подобна этим жалким людям: склонившись над океаном, она простирает свои жадные руки ко всем берегам, и шум волн так заполняет ее слух, что она не услышала бы шагов подступающего к ней сзади властителя!

Он увлек Мато на другой конец террасы и показал ему сад, где сверкали на солнце мечи солдат, висевшие на деревьях.

— Но здесь собрались теперь сильные люди, исполненные великой ненависти! Ничто не связывает их с Карфагеном — ни семья, ни клятвенные обеты, ни общие боги!

Мато стоял как прежде, прислонившись к стене. Спендий, приблизившись, продолжал, понизив голос:

— Понимаешь ли ты меня, солдат? Мы будем ходить в пурпуре, как сатрапы. Нас будут умащать благовониями. У меня самого будут рабы. Разве тебе не надоело спать на твердой земле, пить кислое вино в лагерях и постоянно слышать звуки трубы? Или ты надеешься отдохнуть потом, когда с тебя сорвут латы и бросят твой труп коршунам? Или тогда, быть может, когда, опираясь на посох, слепой, хромой и расслабленный, ты будешь ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола? Вспомни о несправедливости вождей, о стоянках в снегу, о переходах под палящими лучами солнца, о суровой дисциплине и вечной угрозе казни на кресте! После стольких мытарств тебе дали почетное ожерелье,— так на осла надевают нагрудный пояс с погремущками, чтобы оглушить его в пути и чтобы он не чувствовал усталости. Такой человек, как ты, более доблестный, чем Пирр! Если бы ты только захотел! Как будет хорошо в больших прохладных покоях, когда под звуки лир ты будешь возлежать, окруженный шутами и женщинами! Не говори, что предприятие это неосуществимо! Разве наемники не владели уже Регием и другими крепостями в Италии? Кто воспротивится тебе? Гамилькар отсутствует, народ ненавидит

богатых, Гискон бессилен против окружающих его трусов. А ты отважен, тебе будут повиноваться. Прими на себя начальство над ними. Карфаген наш — завладеем им!

— Нет,— сказал Мато,— на мне тяготеет проклятие Молоха. Я это почувствовал по ее глазам, а вот только что я видел в одном храме пятащегося назад черного барана.

Он прибавил, оглядываясь вокруг себя:

— Где же она?

Спендий понял, что Мато охвачен страшным волнением, и боялся продолжать.

Деревья за ними еще дымились; с почерневших ветвей время от времени падали на блюда наполовину обгоревшие скелеты обезьян. Пьяные солдаты храпели, раскрыв рты, лежа рядом с трупами; а те, что не спали, опускали головы, ослепленные дневным светом. Истоптанная земля была залита лужами крови. Слоны раскачивали между кольями загонов свои окровавленные хоботы. В открытых амбарах виднелись рассыпавшиеся мешки пшеницы, у ворот стоял плотный ряд колесниц, брошенных варварами; павлины, усевшись на ветвях кедров, распускали хвосты.

Спендия удивляла неподвижность Мато; он еще больше побледнел и следил остановившимся взглядом за чем-то на горизонте, опираясь обеими руками на перила террасы. Спендий, наклонившись, понял, наконец, что рассматривал Мато. Вдали, по пыльной дороге в Утику, вращалась золотая точка. То была ось колесницы, запряженной двумя мулами; раб бежал перед дышлом, держа поводья. В колеснице сидели две женщины. Гривы мулов были взбиты между ушей на персидский лад и покрыты сеткой из голубого бисера. Спендий узнал их и едва сдержал крик.

Сзади развевалось по ветру широкое покрывало.

II

В СИККЕ

Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому дали по золотому с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, и сказали им, всячески ублажая лестью:

— Вы — спасители Карфагена. Но, оставаясь в нем, вы разорите город и доведете его до голода; Карфагену нечем будет платить. Удалитесь! Республика вознаградит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог. Жалованье будет выплачено вам полностью, и мы снарядим галеры, которые отвезут вас на родину.

Они не знали, что ответить на такие речи. Привыкнув к войне, люди эти скучали в городе. Поэтому их нетрудно было уговорить, и народ поднялся на городские стены, чтобы видеть воочию, как они уходят.

Они прошли по Камонской улице и через Циртские ворота, идя вперемешку: стрелки с голплитами, начальники с простыми солдатами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и каменные плиты мостовой звенели под их тяжелыми котурнами. Доспехи их пострадали от катапульта, и лица почернели в битвах. Хриплые звуки исходили из густых бород. Разорванные кольчуги звенели о рукоятки мечей, и сквозь продырявленные латы виднелись голые тела, страшные, как боевые машины. Пики, топоры, рогатины, войлочные шапки, медные шлемы — все колыхалось в равномерном движении. Они наводнили улицы, и казалось, что стены раздадутся от напора, когда длинные ряды вооруженных солдат проходили между высокими шестизажными домами, вымазанными смолой. За железными или камышовыми оградами стояли женщины, опустив на голову покрывала, и безмолвно глядели на проходящих варваров.

Террасы, укрепления, стены скрывали от глаз толпы карфагенян в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне; полунагие дети с лоснящейся кожей махали руками в медных браслетах среди зелени, обвивавшей колонны, и в ветвях пальм. Старейшины вышли на площадки башен, и, неизвестно почему, местами вдруг появлялся и стоял в задумчивости какой-то человек с длинной бородой. Он смутно вырисовывался вдали, точно камень, недвижимый, словно привидение.

Всех охватила одна и та же тревога. Опасались, как бы варвары, поняв свою силу, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво покидали город, что карфагеняне воспрянули духом и присоединились к солдатам. Их обнимали, забрасывали клятвами, дарили им благовония, цветы и даже серебряные деньги. Им давали амулеты против болезней, предварительно, однако, плюнув на них три раза, чтобы привлечь этим смерть, или же зашив в них несколько волосков шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. Вслух призывали благословения Мелькарта, а втихомолку — его проклятия.

Потом потянулись поклажа, убойный скот и все оставшие.

Больные, посаженные на дромадеров, стонали; хромы опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой мехи с вином, обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, снег в полотняных мешках. Некоторые шли с зонтами, а на плечах у них были попугаи.

Они вели за собою собак, газелей или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негротянок, покинувших лупанары Малки, чтобы следовать за солдатами, кормили грудью младенцев, привязанных к их шее кожаными ремнями. Спины мулов, которых понукали остриями мечей, сгибались под тяжестью свернутых палаток. Затем шли слуги и носильщики воды, бледные, пожелтевшие от лихорадки, покрытые паразитами; это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам.

Когда они прошли, за ними заперли ворота, но народ не спускался со стен. Вскоре войско рассеялось по всему переулку.

Оно разбилось на неровные отряды. Потом копыта стали казаться издали высокими стеблями трав, и, наконец, все исчезло в облаке пыли. Солдаты, оборачиваясь к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, которые вырисовывались на краю неба пустыми бойницами.

Варвары услышали громкие крики. Они подумали, что часть солдат, оставшись в городе (они не знали в точности, сколько их было), вздумала разграбить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь.

Им радостно было шагать, как прежде, всем вместе, в открытом поле. Греки пели старую мамертинскую песню:

«Своим копьем и своим мечом я вспахиваю землю и собираю жатву: я — хозяин дома! Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем».

Они кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории; время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, некоторые заметили, что исчез отряд балеарских пращников. Они, наверное, были неподалеку. О них тотчас же забыли.

Одни отправились на ночлег в дома, другие расположились у подножия стен, и горожане пришли поговорить с солдатами.

Всю ночь на горизонте со стороны Карфагена видны были огни; отсветы, подобно гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из солдат не понимал, какой там справляли праздник.

На следующий день варвары прошли по возделанным полям. По краям дороги тянулся ряд патрицианских ферм; в пальмовых рощах были водоотводные каналы; масличные деревья стояли длинными зелеными рядами; над рощами среди холмов носился розовый пар; сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. По широким листьям кактусов ползали хамелеоны.

Варвары замедлили шаг.

Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеком расстоянии друг от друга. Проходя мимо виноградников, они ели виноград, ложились на траву и с изумлением смотрели на искусственно закрученные большие рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещивались в виде ромбов борозды; их удивляли лемехи, похожие на корабельные якоря, а также гранатовые деревья, которые поливались сильфием. Щедрость почвы и мудрые измышления человека поражали их.

Вечером они легли на палатки, не развернув их; засыпая и обратив лицо к звездам, они жалели, что кончился пир во дворце Гамилькара.

На следующий день после полудня был сделан привал на берегу реки, среди олеандровых кустов. Солдаты быстро бросили наземь щиты, копья, сняли пояса. Они мылись с криками, набирали воду в шлемы, а некоторые, лежа на животе, пили вместе с вьючными животными, которых освободили от поклажи.

Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали Мато с подвязанной рукой и непокрытой головой; он поил своего мула и, склонившись, глядел, как течет вода. Спендий быстро побежал к нему, протиснувшись сквозь толпу, и стал его звать:

— Господин! Господин!

Мато едва поблагодарил его за благословения. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, время от времени беспokoйно оглядываясь в сторону Карфагена.

Он был сыном греческого ратора и кампанийской блудницы. Сначала он обогатился, торгуя женщинами, потом, разоренный кораблекрушением, воевал против римлян в рядах пастухов Самниума. Его взяли в плен, но он бежал.

Его поймали, и после того он работал в каменоломнях, задышался в сушильнях, кричал, когда его истязали, переменял много хозяев, испытал неистовство их гнева. Однажды, придя в отчаяние, он бросился в море с триремы, где был гребцом. Матросы спасли его и привезли умирающим в Карфаген; там его заключили в мегарский эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, то он воспользовался сумятицей и убежал вместе с наемниками.

В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его на спусках, а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато, наконец, тронули его заботы, и он стал мало-помалу размыкать уста.

Мато родился в Сиртском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Аммона. Потом он охотился на слонов в гармантских лесах. Затем поступил на карфагенскую службу.

При взятии Дрепана его возвели в звание тетрарха. Республика осталась ему должна четыре лошади, двадцать три медины пшеницы и жалование за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине.

Спендий говорил ему о своих странствиях, о народах и храмах, которые посетил. Он многому научился, умел изготавливать сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и варить рыбу.

Иногда он останавливался и издавал глухой горловой крик; мул Мато ускорял шаг, и другие тоже быстрее шли за ним; затем Спендий снова принимался говорить, попрежнему обуреваемый тревогой. Она улеглась вечером на четвертый день.

Они шли рядом, с правой стороны войска, по склону холма; долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночных испарениях. Линия солдат, проходивших под ними, колебалась в тени. Временами ряды войска вырисовывались на возвышениях, освещенных луной. Тогда на остриях копий как будто дрожала звезда, шлемы на мгновение начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие. Вдали раздавалось блеяние разбуженных стад, и казалось, что на землю спускается бесконечная тишина.

Спендий, запрокинув голову, полузакрыв глаза и глубоко вздыхая, впитывал в себя свежесть ветра. Он распростер руки, шевеля пальцами, чтобы лучше чувствовать негу, струившуюся по его телу. Его душила жажда мщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдания, и, замирая от упоения, отпускал недоуздок своего дромадера, который шел большими шагами. Мато снова погрузился в печаль; ноги его свисали до земли, и травы, стегая по котурнам, издавали непрерывный свистящий шелест.

Путь все удлинялся, и казалось, что ему не будет конца. В конце каждой долины расстилалась круглая поляна, затем снова приходилось спускаться на равнину, и горы, которые как будто замыкали горизонт, точно ускользали вдаль, когда к ним приближались. Время от времени среди зелени тамарисков показывалась река и потом исчезала за холмами. Иногда выступал огромный утес, подобный носу корабля или подножию исчезнувшего колосса.

По пути встречались отстоявшие один от другого на равных расстояниях маленькие четырехугольные храмы; ими пользовались странники, направлявшиеся в Сикку. Храмы были запертые, как гробницы. Ливийцы громко стучались в двери, требуя, чтобы им открыли. Никто изнутри не отвечал.

Возделанные пространства встречались все реже. Потянулись песчаные полосы земли с редкими тернистыми кустами. Среди камней паслись стада овец; за ними присматривали

женщины, опоясанные синей овечьей шкурой. Они с криком пускались бежать, едва завидев копыта солдат между скал.

Солдаты шли точно по длинному коридору, окаймленному двумя цепями красноватых холмов, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели необычайное зрелище: на верхушке одного из рожковых деревьев среди листьев торчала львиная голова.

Они подбежали к дереву; перед ними был лев, распятый, точно преступник, на кресте. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, исчезая наполовину под гривой, были широко распростерты, как крылья птицы. Все его ребра вырисовывались под натянутой кожей; задние лапы, прибитые одна к другой гвоздем, были слегка подтянуты кверху; черная кровь стекала по шерсти, образуя сталактиты на конце хвоста, свисавшего вдоль креста. Солдат это зрелище забавляло. Они обращались ко льву, называя его римским гражданином и консулом, и бросали ему в глаза камни, чтобы прогнать мошкарю.

Пройдя сто шагов, они увидели еще два креста, а дальше появился внезапно целый ряд крестов с распятыми львами. Некоторые околели так давно, что на крестах виднелись только остатки их скелетов. Другие, наполовину обглоданные, висели, искривив пасть страшной гримасой. Среди них были громадные львы. Кресты гнулись под их тяжестью, и они качались на ветру, в то время как над их головой неустанно кружились в воздухе стаи воронов. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугнуть этим примером других. Варвары, перестав смеяться, почувствовали глубокое изумление. «Что это за народ,— думали они,— который для потехи распинает львов!»

Большинство наемников, особенно северяне, были к тому же охвачены тревогой, измучены, уже больны. Они раздирали себе руки о колючки алоэ; большие мухи своим жужжанием терзали им слух, и в рядах войска начиналась дизентерия. Их беспокоило, что все еще не видно было Сикки. Они боялись заблудиться и попасть в пустыню, страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели продолжать путь. Иные повернули назад в Карфаген.

Наконец, на седьмой день после того как они долго шли вдоль подножия горы, дорога резко повернула вправо; их глазам представилась линия стен, воздвигнутых на белых утесах и сливавшихся с ними. Затем вдруг открылся весь город; в багровом свете заката на стенах развевались синие, желтые и белые покрывала. То были жрицы Танит, прибежавшие встречать воинов. Выстроившись вдоль укреплений, они ударяли в бубны, играли на лирах, потрясали кроталами, и лучи солнца, заходившего позади них в нумидийских горах, скользили между

струнами арф, к которым прикасались их обнаженные руки. По временам инструменты внезапно затихали, и раздавался резкий, бешеный крик, похожий на лай; они издавали его, ударяя языком об углы рта. Иные стояли, подпирая подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремляли большие черные глаза на поднимавшееся вверх войско.

Хотя Сикка была священным городом, все же она не могла дать приют такому количеству людей; один только храм со своими строениями занимал половину города. Поэтому варвары расположились по своему усмотрению в равнине, дисциплинированная часть войска — правильными отрядами, а другие — по национальностям или как попало.

Греки разбили шатры из звериных шкур параллельными рядами, иберийцы расположили кругом свои холщовые палатки, галлы построили шалаши из досок, ливийцы — хижины из сухих камней, а негры вырыли ногтями в песке рвы для спанья. Многие, не зная, где поместиться, бродили среди поклажи, а ночью укладывались на землю, завернувшись в рваные плащи.

Вокруг них расстилалась равнина, окаймленная горами. Кое-где над песчаным холмом наклонялась пальма, а по откосам пропастей выступали пятнами сосны и дубы. Иногда в грозу дождь свисал длинным пологом, в то время как небо над полями оставалось лазурным и ясным; потом теплый ветер гнал вихри пыли, ручеек спускался каскадами с высот Сикки, где под золотой крышей стоял на медных колоннах храм Венеры Карфагенской, владычицы страны. Ее душа как бы наполняла все вокруг. Волнистой линией холмов, сменой холода и тепла, а также игрой света она являла бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Вершины гор были похожи на рога полумесяца; иные напоминали набухшие сосцы полных женских грудей, и варвары при всей своей усталости чувствовали полное сладости изнеможение.

Спендий, продав дромадера, купил на вырученные деньги раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался; во сне ему мерещился свист бича, и он проводил руками по рубцам на ногах, на том месте, где долго носил кандалы. Потом снова засыпал.

Мато мирился с его обществом, и Спендий, с длинным мечом у бедра, сопровождал его, как ликтор, или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо: Спендий был низкорослый.

Однажды вечером, проходя вместе по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах; среди них был Нар Гавас, вождь нумидийцев. Мато вздрогнул.

— Дай меч, — воскликнул он, — я его убью!

— Подожди, — сказал Спендий, останавливая его.

Нар Гавас уже подходил. Он прикоснулся губами к большим пальцам на обеих руках в знак приязни, объясняя свой гнев опьянением на пиру. Потом долго обвинял Карфаген, но не объяснил, зачем пришел к варварам.

Кого он хочет предать: их или Республику? — спрашивал себя Спендий; но так как он надеялся извлечь пользу для себя из всяких смут, то был благодарен Нар Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал.

Вождь нумидийцев остался жить среди наемников. Кажется, он хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой песок и страусовые перья. Ливиец, удивляясь его любезностям, не знал, отвечать ли на них тем же, или дать волю раздражению. Но Спендий успокаивал его, и Мато подчинялся рабу. Он все еще был в нерешительности и не мог стряхнуть с себя непобедимое оцепенение, как человек, когда-то выпивший напиток, от которого он должен умереть.

Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар Гавас спрятал под плащом кинжал. Спендий следовал за ним, не отходя, и за все время охоты Нар Гавас ни разу не вынул кинжала.

В другой раз Нар Гавас завел их очень далеко, до самых границ своих владений. Они очутились в узком ущелье. Нар Гавас с улыбкой заявил, что не знает, как итти дальше. Спендий нашел дорогу.

Но чаще всего Мато, печальный, как авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он ложился где-нибудь на песок и до вечера не двигался с места.

Он обращался за советом ко всем волхвам в войске, к тем, которые наблюдают за движением змей, и к тем, которые читают по звездам, и к тем, которые дуют на золу сожженных трупов. Он глотал пепел, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце; негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и кололи ему в это время лоб золотыми стилетами; он навешивал на себя ожерелья и амулеты, взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к семи Кабирам, к Танит и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластинке и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спендий слышал, как он стонал и говорил сам с собой.

Однажды ночью Спендий вошел к нему.

Мато голый, как труп, лежал плашмя на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками; висячая лампа освещала оружие, висевшее на срединном шесте палатки.

— Что тебя томит? — спросил раб. — Что тебе нужно? Ответь мне.

Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул: — Господин! Господин!..

Мато поднял на него широко раскрытые печальные глаза. — Слушай! — сказал он тихим голосом, приложив палец к губам. — Гнев богов обрушился на меня! Меня преследует дочь Гамилькара! Я боюсь ее, Спендий!

Он прижимался к груди раба, как ребенок, напуганный призраком.

— Скажи мне что-нибудь! Я болен. Я хочу излечиться! Я испробовал все средства! Но ты, быть может, знаешь более могущественных богов или неотвратимое заклинание?

— Для чего? — спросил Спендий.

Мато стал бить себя кулаками по голове.

— Чтобы избавиться от нее, — ответил он.

Потом, обращаясь к самому себе, он продолжал говорить с расстановкой:

— Я, наверное, та жертва, которую она обещала принести богам в искупление чего-то. Она привязала меня к себе цепью, не видимой для глаз. Когда я хожу, это идет она; когда я останавливаюсь, это значит, что она отдыхает! Ее глаза жгут меня, я слышу ее голос. Она окружает меня, проникает в меня. Мне кажется, что она сделалась моей душой! И все же нас точно разделяют невидимые волны безбрежного океана! Она далека и недоступна. Сияние красоты окружает ее светлым облаком. Иногда мне кажется, что я ее никогда не видел... что она не существует, что все это сон!

Так причитал Мато во мраке. Варвары спали. Спендий, глядя на него, вспоминал юношей с золотыми сосудами в руках, которые обращались к нему в былое время с мольбами, когда он водил по улицам городов толпу своих куртизанок. Его охватила жалость, и он сказал:

— Не падай духом, господин мой! Призывай на помощь свою волю, но не моли богов: они не снисходят на призывы людей! Вот ты теперь малодушно плачешь. Тебе не стыдно страдать из-за женщины?

— Что, я дитя, по-твоему? — возразил Мато. — Ты думаешь, меня еще трогают женские лица и песни женщин? У нас в Дрепане их посылали чистить конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, под рушившимися сводами и когда еще дрожали катапульты!.. Но эта женщина, Спендий, эта!..

Раб прервал его:

— Не будь она дочь Гамилькара...

— Нет! — воскликнул Мато. — Она не такая, как все другие женщины в мире! Видел ты, какие у нее большие глаза и густые брови, — глаза, подобные солнцам под арками триумфальных ворот? Вспомни: когда она появилась, свет факелов потускнел. Среди алмазов ее ожерелья еще ярче сверкала грудь. Следом за нею точно несло благоухание храма, и от всего ее суще-

ства исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. Она шла, а потом остановилась...

Он опустил голову. Глаза его были устремлены вдаль, взгляд неподвижен.

— Я жажду обладать ею! Я умираю от желания! При мысли о том, как бы я сжимал ее в своих объятиях, меня охватывает неистовая радость. И все же я ненавижу ее! Я бы хотел избить ее, Спендий! Что мне делать? Я хочу продать себя, чтобы сделаться ее рабом. Ты ведь был ее рабом! Ты иногда видел ее. Скажи мне что-нибудь о ней! Ведь она каждую ночь поднимается на террасу дворца, не правда ли? Камни, наверно, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы взглянуть на нее.

Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык.

Потом Мато запел:

«Он преследовал в лесу чудовище с женским обликом, хвост которого извивался среди засохших листьев, как серебряный ручеек...»

Растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, протянутые руки его как бы скользили легкими движениями по струнам лиры.

В ответ на все утешения Спендия он повторял те же речи. Ночи проходили среди стонов и увещаний.

Мато хотел заглушить свои страдания вином. Но опьянение только усиливало его печаль. Тогда, чтобы развлечься, он стал играть в кости и проиграл одну за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он согласился пойти к прислужницам богини, но, спускаясь с холма на обратном пути, рыдал, точно шел с похорон.

Спендий, в противоположность ему, становился все более смелым и веселым. Он вел беседы с солдатами в кабачках под листвой, чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы для больных. Он весело шутил, проявляя тонкость ума, находчивость и разговорчивость; варвары привыкли к его услугам и полюбили его.

Они ждали посла из Карфагена, который должен был привезти им на мулах корзины, нагруженные золотом; производя наново все те же расчеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый строил планы на будущее, рассчитывал иметь наложниц, рабов, землю. Некоторые намеревались зарыть свои сокровища или рискнуть увезти их на кораблях. Но полное безделье стало раздражать солдат; начались непрерывные споры между конницей и пехотой, между варварами и греками; беспрестанно раздавались оглушительно резкие женские голоса.

Каждый день являлись полчища почти нагих людей, по-

крывавших себе голову травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян; их заставляли обрабатывать землю кредиторов, и они спасались бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, изгнанников, преступников. Затем явилась орда торговцев: все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, стали враждебно относиться к Республике. Спендий ораторствовал, обвиняя Карфаген. Вскоре стали истощаться припасы. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген или же призвать римлян.

Однажды, в час ужина, раздались приближающиеся тяжелые надтреснутые звуки; издалека на волнистой линии дороги показалось что-то красное.

То были большие носилки пурпурового цвета, украшенные по углам пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи и нити жемчуга ударялись о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая большими колокольчиками, висевшими у них на груди. Верблюдов окружали наездники в чешуйчатых золотых латах от плеч и до пят.

Они остановились в трехстах шагах от лагеря и вынули из чехлов, привязанных к седлам, свои круглые щиты, широкие мечи и беотийские шлемы. Часть всадников осталась при верблюдах, остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы Республики — синие деревянные шести с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать; женщины бросились навстречу легионерам и целовали им ноги.

Носилки приближались, покоясь на плечах двенадцати негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они ступали как попало, то вправо, то влево, натываясь на веревки палаток, на скот, разбредшийся во все стороны, на треножки, где жарили мясо. Время от времени носилки приоткрывались и оттуда высывалась толстая рука, вся в кольцах; хриплый голос выкрикивал ругательства. Тогда носильщики останавливались и пересекали лагерь другим путем.

Пурпуровые занавеси носилок приподнялись: на широкой подушке посылалась голова человека с одутловатым равнодушным лицом; брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные у основания; золотые блестки сверкали в курчавых волосах, а лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком. Все тело исчезало под овечьими шкурами, покрывавшими носилки.

Солдаты узнали в лежащем суффета Ганнона, того, который своей медлительностью содействовал поражению в битве

при Эгатских островах; что касается его победы над ливийцами при Гекатомпиле, то его тогдашнее милосердие к побежденным вызвано было, как полагали варвары, корыстолюбием: он продал в свою пользу всех пленных, хотя заявил Совету, что умертвил их.

Ганнон несколько времени искал удобного места, откуда можно было бы обратиться с речью к солдатам; наконец он сделал знак; носилки остановились, и суфдет, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю.

На нем были черные войлочные башмаки, усеянные серебряными полумесяцами. Ноги стягивались перевязками, как у мумий, и между скрещивающимися полосами холста проступало местами тело. Живот свешивался из-под красной куртки, покрывавшей бедра; складки шеи лежали на груди, как подгрудок у быка; туника, расписанная цветами, трещала подмышками; суфдет носил пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Чрезмерное количество одеяний, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался каким-то грубым идолом, высеченным из камня; бледные пятна, покрывавшие все его тело, придавали ему вид неживого. Только нос, крючковатый, как клюв ястреба, сильно раздувался, вдыхая воздух, и маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким, металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ для почесывания тела.

Наконец два глашатая затрубили в серебряные рога; шум смолк, и Ганнон заговорил.

Он начал с прославления богов и Республики; варвары должны радоваться, что служили ей. Но необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена пришли тяжелые: «Если у хозяина всего три маслины, то ведь вполне справедливо, чтобы он оставил две для себя?»

Так старик-суфдет уснащал свою речь пословицами и притчами, кивая все время головой, чтобы вызвать одобрение у слушателей.

Он говорил на пуническом наречии, а те, которые окружали его (самые проворные прибежали без оружия), были кампанийцы, галлы и греки, и, таким образом, никто в толпе не понимал его. Ганнон заметил это, остановился и стал тяжело переминаться с ноги на ногу, соображая, что делать.

Наконец он решил созвать военачальников. Глашатаи возвестили его приказ по-пречески — этот язык со времени Ксантиппа был принят в карфагенском войске для приказов.

Стража отстранила ударами бича толпу солдат, и вскоре явились начальники фаланг, построенных по спартанскому образцу, а также вожди варварских когорт со знаками своего

ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, и равнина огласилась смутным гулом; кое-где засверкали огни; все ходило с места на место, спрашивая, что случилось, почему суфжет не раздает денег.

Он разъяснил военачальникам затруднительное положение Республики. Казна ее иссякла. Дань, уплачиваемая римлянам, разоряла ее.

— Мы не знаем, как быть!.. Республика в очень плачевном положении!

Время от времени он почесывал тело лопаточкой из алоэ или же останавливался, чтобы выпить из серебряной чаши, которую протягивал ему раб, глоток питья, приготовленного из пепла и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он утирал губы пурпуровой салфеткой и продолжал:

— То, что стоило прежде сикль серебра, стоит теперь три шекеля золотом, и земли, запущенные во время войны, ничего не приносят!.. Улов пурпура ничтожный, даже жемчуг поднялся до невероятной цены, у нас едва хватает благовонных масел для служения богам! Что касается съестных припасов, то о них лучше не говорить: истинное бедствие! Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, и очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на киренской границе. Сицилия, откуда прежде доставлялось столько рабов, теперь для нас закрыта! Еще вчера за одного банщика и четырех кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за двух слонов!

Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством: столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на ловлю кораллов, столько-то — на расширение сисситских торговых обществ, столько-то стоили сооружения на рудниках в Кантабрии.

Военачальники, как и солдаты, не понимали по-гречески, хотя наемники обменивались приветствиями на этом языке. Обыкновенно в войска варваров отряжали несколько карфагенских чиновников, чтобы они служили переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь, что им будут мстить. Ганнон не подумал о том, чтобы взять с собою переводчика, к тому же его сильный голос терялся на ветру.

Греки, подтянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и, насмехаясь, с хохотом встряхивали пучком высоко зачесанных волос; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Сзади прибывали новые толпы; солдаты из стражи,

которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках зажженные сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травой пригорке.

Барвары, однако, стали терять терпение; поднялся ропот, все заговорили с Ганноном. Он жестикулировал своей лопаточкой; те, которые хотели заставить молчать других, сами кричали еще громче, и от этого общий гул только усиливался.

Вдруг к Ганнону подскочил невзрачный с виду человек и, выхватив рог у одного из глашатаев, затрубил; этим Спендий (ибо это был он) возвестил, что собирается сказать нечто важное. На его заявление, быстро произнесенное на пяти разных языках — греческом, латинском, галльском, ливийском и балеарском, — военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили:

— Говори! Говори!

С минуту Спендий колебался, он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:

— Вы все слышали страшные угрозы этого человека?

Ганнон не возмущился — значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров.

Слушатели с удивлением глядели друг на друга; потом все, точно по молчаливому стовору, и, может быть, думая, что поняли, в чем дело, опустили головы в знак согласия.

Тогда Спендий заговорил возбужденным голосом:

— Он прежде всего сказал, что все боги других народов — призраки по сравнению с богами Карфагена! Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами! Если бы не вы, Республике (так он сказал) не пришлось бы платить дань римлянам: ваше нашествие лишило их ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на киренской границе! Но виновных покарают! Он прочел список наказаний, которым их подвергнут: их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии.

Спендий повторил то же самое галлам, прекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!», — но их голоса потерялись в общем гуле. Спендий прибавил:

— Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть конницы? По его знаку они примчатся, чтобы всех вас умертвить.

Барвары повернулись в сторону входа, и, когда толпа расступилась, в центре очутился человек, двигавшийся медли-

тельно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Бедрa и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной, и холщовым тряпьем; сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как лохмотья с сухих сучьев; руки дрожали непрерывной дрожью, и он шел, опираясь на палку из оливкового дерева.

Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десна. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров вокруг себя.

Вдруг он бросился назад, прячась за их спины.

— Вот они, вот они! — бормотал он, указывая на охрану суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах.

Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил:

— Они их убили!

При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:

— Да, убили, всех убили! Раздавили, как виноград! Таких молодых, таких красавцев! Метателей из пращи! Моих товарищей и ваших!

Ему дали вина, и он заплакал; потом он стал безустали говорить.

Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все, что он говорил, было кстати. Балеары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи.

Речь шла об отряде в триста пращников, прибывших накануне и слишком поздно вставших утром. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатевскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью; тогда все население общим напором ринулось на них.

Солдаты действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.

Потом трупы положили на руки богов Патэков, которые стояли вдоль храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников: обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Тела их позорно изувечи-

ли; жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа; затем развесили по кускам в мясных; кое-кто даже вонзал в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры.

Это и были те огни, что светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же как и умирающих, выбросили за стены. Зарксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он бродил по окрестностям, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его открытых ран струилась кровь, он шел голодный, больной, питаясь кореньями и падалью. Наконец однажды он увидел на горизонте копья и пошел следом за ними; ум его помутился от ужаса и страданий.

Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось, как буря; они хотели тотчас же уничтожить охрану, вместе с суффетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать суффета и по крайней мере узнать, заплатят ли им. Тогда все стали кричать:

— Наше жалованье!

Ганнон ответил, что привез деньги.

Все бросились к аванпостам, и при участии варваров поклажу суффета привезли в лагерь; не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины; там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда; он принадлежал суффету, который брал в нем ванны во время пути. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала большой аппетит, то он взял с собою много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из Коммагена, наполненные топленным гусиным жиром, покрытым снегом и рубленой соломой. Таких горшочков припасено было очень много, их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрыв смеха.

Что же касается жалованья наемникам, то оно наполняло не более двух плетеных корзин; в одной из них оказались даже кожаные кружочки, которыми Республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты; и когда варвары очень этому удивились, Ганнон объяснил, что ввиду трудности счетов старейшины не успели еще рассмотреть их и пока посылают вот это.

Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попало: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на пруди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился за ним, а варвары кричали ему издали:

— Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, своей заразой! Скорей! Скорей!..

Охрана его скакала за ним в полном беспорядке.

Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек из войска, ушедшие в Карфаген, не вернулись: их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый брал свой шлем и копье, и в одно мгновение все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать себе палок.

Занимался день; население Сикки, проснувшись, взволнованно забегало по улицам. «Они идут на Карфаген!» — говорили кругом, и этот слух вскоре распространился по всей стране.

На каждой дорожке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.

Когда варвары ушли, Спендий объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ним раб вел третью лошадь.

Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.

— Вставай, господин! Мы выступаем!

— Куда? — спросил Мато.

— В Карфаген! — крикнул Спендий.

Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.

III

САЛАМБО

Луна поднялась вровень с морем, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки и белые пятна: дышло колесницы во дворе, полотняная ветошь, развешанная на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди идола. Стекланые шары на крышах храмов сверкали местами, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады казались темными глыбами во мраке,

а в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, как гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов; верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порога домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях; вдали из бронзовых плит вырывался еще иногда дым пылающей жертвы, и тяжелый ветер с моря приносил вместе с ароматами запах морских трав и испарения стен, раскаленных солнцем. Вокруг Карфагена сверкали недвижные воды, ибо луна одновременно проливала свой блеск и на залив, окруженный горами, и на Тунисское озеро, где среди песчаных мелей виднелись длинные ряды розовых фламинго, а дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался на горизонте с пылью равнин по одну сторону, с морскими туманами — по другую, и на вершине Акрополя пирамидальные кипарисы, окружавшие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобно медленному прибою волн вдоль мола у подножия насыпей.

Саламбо поднялась на террасу своего дворца; ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе зажженные угли.

Посредине террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая, вещей птицы, посвященной богам; в четырех углах расставлены были высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, киннамоном и миррой. Рабыня зажгла благовония. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к Полярной звезде; она медленно сделала поклоны на четыре стороны и опустилась на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос:

— О Раббет!.. Ваалет!.. Танит!..

Голос ее звучал жалобно и протяжно, точно призыв.

— Анаитис! Астарта! Деркетто! Асторет! Миллитта! Атара! Элисса! Тирата!.. Скрытыми символами, звонкими словами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира, приветствую тебя!

Она два-три раза качнулась всем телом, потом, вытянув руки, распростерлась лицом в пыли.

Рабыня быстро подняла ее, ибо по обряду нужно было, чтобы кто-нибудь поднял распростертого в молитве: это зна-

чило, что боги вняли его мольбе; и кормилица Саламбо всегда неуклонно исполняла этот благочестивый долг.

Торговцы из Гетулии Даритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген; отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что видно было по широкому отверстию в ее проколоте правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели два оловянных кольца. Лицо ее, несколько плоское, было желтого цвета, как ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол позади головы. В одну ноздрю продета была коралловая серьга. Опустив глаза, она стояла подле ложа, прямее гермы.

Саламбо подошла к краю террасы. Она окинула взором горизонт, потом устремила взгляд на спящий город, и вздох ее, поднимая грудь, всколыхнул длинную белую симмару, свободно облегающую ее, без застежек и пояса. Сандалии с загнутыми носками исчезали под множеством изумрудов, распущенные волосы были подобраны пурпуровой сеткой.

Она подняла голову, созерцая луну, и, примешивая к словам обрывки гимнов, шептала:

— Как легко ты кружишься, поддерживаемая невесомым эфиром! Он разглаживается вокруг тебя, и это ты своим движением распределяешь ветры и плодоносные росы. По мере того как ты нарастаешь или убываешь, удлиняются или суживаются глаза у кошек и пятна пантер. Жены с воплем называют твое имя среди мук деторождения! Ты наполняешь раковины! Благодаря тебе бродит вино! Ты вызываешь гниение трупов! Ты создаешь жемчужины в глубине морей!..

И все зародыши, о богиня, исходят из тьмы твоих влажных глубин.

Когда ты появляешься, на земле разливается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди ложатся, обращая к тебе грудь, и мир со своими океанами и горами глядится, точно в зеркало, тебе в лицо. Ты — чистая, нежная, лучезарная, непорочная, помогающая, очищающая, безмятежная!..

Рог луны поднялся над горой Горячих источников в выемке между двумя вершинами по другую сторону залива. Под лунной светилась небольшая звездочка, окруженная бледным сиянием. Саламбо продолжала:

— Но ты и страшна, владычица! Это ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны. Глаза твои пожирают камни зданий, и обезьяны болеют при каждом твоём обновлении.

Куда ты идешь? Зачем постоянно меняешь свой образ? То, изогнутая и тонкая, ты скользишь в пространстве, точно галера без снастей, то кажешься среди звезд пастухом, сте-

регущим стадо. Сияющая и круглая, ты катишься по вершинам гор, точно колесо колесницы.

О Танит! Ведь ты меня любишь, я знаю! Я так неустанно гляжу на тебя! Но нет! Ты носишься по лазури, а я остаюсь на неподвижной земле...

Таанах, возьми небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально!

Рабыня взяла в руки инструмент из черного дерева, вроде арфы, выше ее, треугольной формы.

Глухие и быстрые звуки чередовались, как жужжание пчел, и, нарастая, улетали в ночной мрак вместе с жалобной песнью волн и колыханием больших деревьев на верху Акрополя.

— Перестань! — воскликнула Саламбо.

— Что с тобой, госпожа? Каждое дуновение ветра, каждое облачко на небе — все тебя тревожит и волнует.

— Не знаю, — сказала Саламбо.

— Ты утомляешь себя слишком долгими молитвами!

— О Таанах, я хотела бы раствориться в молитве, как цветок в вине!

— Может быть, дым курений вреден тебе?

— Нет, — сказала Саламбо, — в благовониях обитает дух богов.

Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал в страну янтаря, за Мелькартовы столпы.

— Но если он не вернется, — сказала она, — тебе придется — такова его воля — избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и печаль твоя пройдет в объятиях мужа.

— Почему? — спросила девушка.

Все мужчины, которых она видела до сих пор, внушали ей ужас своим животным смехом и грубым телом.

— Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие вихри, более тяжелые, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар клубится в моей груди и подступает к горлу, он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное, пронизывающее меня от чела до пят, пробегает по всему моему телу... меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростерся бог. О, как бы я хотела изойти в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, покинуть свое тело, быть лишь дыханием, лучом, скользить и подняться к тебе, о мать!

Она высоко воздела руки, вся выпрямившись, бледная и легкая, как луна, в своей белой одежде. Потом снова опустилась на ложе из слоновой кости, с трудом переводя дыхание. Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми клыками, которое рассеивало страхи, и Саламбо сказала почти угасшим голосом:

— Пойди позови Шагабарима.

Отец Саламбо не желал, чтобы она вступила в коллегию жриц или даже знала, каково народное представление о Танит. Он берег дочь для какого-нибудь брачного союза, который мог быть полезен его политическим целям. Поэтому Саламбо вела во дворце одинокую жизнь; мать ее давно умерла.

Она выросла среди лишений, постов, постоянных очищений, окруженная изысканными торжественными предметами; тело ее было пропитано благовониями, душа полна молитв. Она никогда не касалась вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала порог дома, где лежал мертвый.

Она не знала непристойных изображений, ибо каждый бог проявлялся в различных видах и одно и то же божественное начало славил в самых противоречивых богослужениях. Саламбо поклонялась богине в ее лунном образе, и луна оказывала воздействие на девственницу: когда она убывала, Саламбо слабела. Она томилась весь день и оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла.

Но ревнивая Раббет мстила за то, что девственность Саламбо не посвятили служению ей, и она мучила Саламбо искушениями, тем более сильными, что они были смутные, сливались с верой и загорались от молитв.

Дочь Гамилькара была неустанно занята Танит. Она узнала про все ее приключения и скитания, знала все ее имена и повторяла их, не понимая, что каждое имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубину учения богини, ей хотелось увидеть в самом тайнике храма старинную статую Танит и ее пышное покрывало, от которого зависели судьбы Карфагена. Представление о божестве не было отчетливо отделено от его изображения, и держать в руках или даже глядеть на изображение божества значило как бы овладевать частицей его могущества и до некоторой степени подчинять его себе.

Саламбо обернулась. Она узнала звон золотых колокольчиков, которыми был обшит нижний край одежды Шагабарима.

Он поднимался по лестнице; взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки.

Глубоко сидевшие глаза его сверкали, как светильники во мраке гробницы; длинное худое тело терялось в льняной одежде, отягченной бубенчиками, которые чередовались у пят с изумрудными шариками. У него было хрупкое тело, скошенный череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной на ощупь, и желтое лицо с глубокими морщинами точно все судорожно сжалось от напряженного желанья, от вечной печали.

То был верховный жрец Танит, воспитатель Саламбо.

— Говори,— сказал он.— Чего ты желаешь?

— Я надеялась... Ты мне почти обещал...

Она запиналась от волнения, потом вдруг сказала твердым голосом:

— Почему ты меня презираешь? Что я забыла в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет так служить богине, как я. Но есть в этом служении нечто, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец?

Шагабарим вспомнил приказания Гамилькара и ответил:

— Нет, мне нечего больше открывать тебе!

— Какой-то дух,— продолжала она,— преисполняет меня любовью к Танит. Я поднималась по ступеням Эшмуна, бога планет и духов, я спала под золотым масличным деревом Мелькарта, покровителя тирских колоний, мне открывались двери Ваал-Камона, бога света и плодородия, я приносила жертвы подземным Кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки, слишком высоки, слишком бесчувственны. Ты понимаешь меня? Танит же, я чувствую, причастна моей жизни, она наполняет мою душу, и я вздрагиваю от ее устремлений. Она точно срывается с места, чтобы высвободиться. Мне кажется, что я сейчас услышу ее голос, увижу ее лицо. Меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак.

Шагабарим молчал. Она устремила на него умоляющий взгляд.

Наконец он знаком велел удалить рабыню, которая не принадлежала к ханаанскому племени. Таанах исчезла; и Шагабарим, подняв к небу руку, заговорил.

— До того как явились боги,— сказал он,— был только мрак, и в нем носилось дыхание, тяжелое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав Желание и Облако, а из Желания и Облака вышла первобытная Материя. То была грязная, черная ледяная глубокая вода. Она заключала в себе нечувствующих чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ.

Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая — небесный свод. Появились солнце, луна, ветры, тучи, под ударами грома проснулись разумные существа. Тогда в звездном пространстве распростерся Эшмун, Камон засверкал на солнце. Мелькарт толкнул его своими руками за Гадес, Кабиры ушли вниз под вулканы, и Раббет, точно кормилица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ.

— А потом? — спросила Саламбо.

Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы развлечь ее ум более высокими представлениями, но возжелания девственности загорелась от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал:

— Она рождает в людях любовь и управляет ею.

— Любовь в людях! — повторила Саламбо мечтательным голосом.

— Она — душа Карфагена, — продолжал жрец, — и хотя она разлита повсюду, но живет здесь, под священным покрывалом.

— Скажи, отец, — воскликнула Саламбо, — я увижу ее? Ты поведешь меня к ней? Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжался! Помоги мне! Идем к ней!

Он оттолкнул ее гневным и гордым движением.

— Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее умирают? Ваалы-гермафродиты открываются только нам, мужам по уму, женщинам по слабости. Твое желание нечестиво. Удовлетворись знанием, которым ты владеешь!

Она упала на колени, заткнув уши пальцами в знак раскаяния, и долго рыдала, раздавленная словами жреца, преисполненная гневом против него, а также ужасом и чувством унижения. Шагабарим стоял перед нею бесчувственный. Он глядел на нее, распростертую у его ног, испытывая странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую и он не мог объять всецело. Уже запели птицы, подул холодный ветер, на побледневшем небе носились тонкие облачка.

Вдруг он заметил на горизонте, за Тунисом, точно легкие полосы тумана, стлавшиеся по земле; потом в воздухе повисла большая завеса из серой пыли, и в вихрях тумана и пыли показались головы дромадеров, копыта, щиты. Это войско варваров шло на Карфаген.

IV

У СТЕН КАРФАГЕНА

В город примчались из окрестностей верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха, бледные, запыхавшиеся люди. Они бежали от надвигавшегося войска. Оно в три дня вернулось из Сикки в Карфаген, чтобы все уничтожить.

Карфагеняне закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посредине перешейка, на берегу озера. Сначала они не обнаруживали своей враждебности. Некоторые приблизились с пальмовыми ветвями в руках. Их

отогнали стрелами — до того был велик страх перед наемниками.

Утром и под вечер вдоль стен бродили иногда какие-то пришельцы. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, старательно кутавшийся в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он часами пристально разглядывал акведук, очевидно желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих истинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой.

Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка — сначала рвом, затем валом, поросшим травой, наконец стеной, высотой в тридцать локтей, из тесаных камней, в два этажа. В ней устроены были помещения для трехсот слонов и склады для их попон, пут и корма. Затем шли конюшни для четырех тысяч лошадей и для запасов овса, для упряжи, а также казармы для двадцати тысяч солдат с вооружением и военными снарядами. Над вторым этажом возвышались башни, снабженные бойницами; снаружи башни были защищены висевшими на крючьях бронзовыми щитами.

Эта первая линия стен служила непосредственным прикрытием для квартала Малки, где жили матросы и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпуровые ткани, а на последних террасах — глиняные печи для варки рассола.

Сзади расположился амфитеатром город с высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, досок, морских валунов, камыша, раковин, утоптанной земли. Рощи храмов казались озерами зелени в этой горе из разноцветных глыб. Город разделен был площадями на неравные участки. Бесчисленные узкие улочки, скрещиваясь, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие теперь одна к другой; они возвышались местами в виде огромных подводных камней или тянулись длинными стенами, наполовину покрытые цветами, почерневшие, исполосованные нечистотами, и улицы проходили через зиявшие в них отверстия, как реки под мостами.

Холм Акрополя, в центре Бирсы, весь исчезал в хаосе общественных зданий. Там были храмы с витыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, каменные конусы сухой кладки с лазурными полосами, медные купола, мраморные перекладыны, вавилонские контрфорсы,obelisks, стоящие на своей верхушке, как опрокинутые факелы. Перистили лепились к фронтонам; среди колоннад извивались волюты, гранитные стены поддерживались кирпичными переборками; все это, наполовину прятаясь, нагромождалось одно

на другое странным и непонятным образом. Чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах.

Позади Акрополя, среди полей с красной почвой, тянулась прямой линией от берега к катакомбам маппальская дорога, окаймленная могилами. Дальше шли просторные дома, окруженные садами, и этот третий квартал, Мегара, новый город, простиравшийся вплоть до скалистого берега, на котором высился гигантский маяк. Его зажигали каждую ночь.

Таким представился Карфаген солдатам, занявшим равнину.

Они узнавали издали рынки, перекрестки и спорили о местонахождении храмов. Храм Камона, против Сисситов, выделялся своими золотыми черепицами; на крыше храма Мелькарта, слева от холма Эшмуна, виднелись ветви кораллов. За ними стоял храм Танит, и среди пальм круглился его медный купол; черный храм Молоха высился у подножия водоемов со стороны маяка. На углу фронтонов, на вершукше стен, на углах площадей — всюду ютились божества с уродливыми головами, гигантских размеров или приземистые, с огромными животами, или чрезмерно плоские, с раскрытой пастью, с распростертыми руками; они держали или вилы, или цепи, или копья; а в конце улиц сверкала синева моря, и улицы казались от этого еще более крутыми. С утра до вечера их наполняла суетливая толпа. У входа в бани кричали, звеня колокольчиками, мальчишки; в лавках, где продавались горячие напитки, стоял густой пар; воздух оглашался звоном наковален; на террасах пели белые петухи, посвященные Солнцу; в храмах раздавался рев закалываемых быков; рабы бегали с корзинами на головах, а в углублении портиков появлялись жрецы в темных плащах, босые, в остроконечных шапках.

Зрелище Карфагена раздражало варваров. Они восхищались им и в то же время ненавидели его; им одновременно хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем. Но что скрывалось в военном порту, защищенном тройной стеной? Дальше, за городом, в глубине Мегары, над Акрополем, возвышался дворец Гамилькара.

Глаза Мато ежеминутно устремлялись туда. Он взбирался на масляные деревья и нагибался, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, и красная дверь с черным крестом оставалась все время закрытой.

Более двадцати раз обошел Мато укрепления, выскывая брешь, через которую мог бы пройти. Однажды ночью он бросился в залив и в течение трех часов плыл без остановки. Приплыв к подножию Маппал, он хотел вскарабкаться на утес, но изранил до крови колени, сломал ногти, потом вновь кинулся в волны и вернулся.

Он приходил в бешенство от своего бессилия и чувствовал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, как будто это был человек, владевший ею. Прежний упадок сил сменился безумной, неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимся лицом, с гневным взглядом, что-то бормоча глухим голосом, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, натирал песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших коршунов. Гнев свой он изливал в проклятиях.

— Дай волю своему гневу, пусть он умчится вдаль, как колесница, — сказал Спендий. — Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Горе можно утлеть кровью, и так как ты не можешь насытить свою любовь, то насыть ненависть свою, она тебя поддержит!

Мато вновь принял начальство над своими солдатами и беспощадно мучил их маневрами. Его почитали за отвагу и в особенности за силу. К тому же он внушал какой-то мистический страх; думали, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Вскоре войско стало дисциплинированнее. Карфагеняне слышали в своих домах звуки букцин, которыми сопровождалась военные упражнения. Наконец варвары приблизились.

Чтобы раздавить их на перешейке, двум армиям нужно было оцепить их одновременно, одной — сзади, высадившись в глубине Утического залива, другой — у подножия горы Горячих источников. Но что можно было предпринять с одним Священным легионом, в котором числилось не более шести тысяч человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с кочевниками и отрезали киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они отступили к западу, взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, нуждаясь в съестных припасах, они рано или поздно опустошили бы окрестности, как саранча. Богатые дрожали за свои замки, виноградники, посеvy.

Ганион предложил принять невыполнимо жестокие меры: назначить большую денежную награду за каждую голову варвара или же поджечь лагерь наемников при помощи кораблей и машин. Его товарищ, Гискон, напротив, требовал, чтобы им уплатили, что следовало. Старейшины ненавидели Гискона за его популярность: они боялись, чтобы случай не навязал им властителя; страшась монархии, они старались ослабить все, что от нее оставалось или могло ее восстановить.

За укреплениями Карфагена жили люди другой расы и неведомого происхождения. Все они охотились на дикобразов и питались моллюсками и змеями. Они ловили в пещерах живых гиен и по вечерам, забавляясь, гоняли их по пескам Мегары между могильными памятниками. Их хижины, по-

строенные из ила и морских трав, лепились к скалам, как гнезда ласточек. У них не было ни правителей, ни богов; они жили скопом, голые, слабые и вместе с тем свирепые, испокон веков ненавистные народу за свою нечистую пищу. Часовые заметили однажды, как все они исчезли.

Наконец члены Великого совета приняли решение. Они явились в лагерь наемников, как соседи, без ожерелий и поясов, в открытых сандалиях. Они шли спокойным шагом, кланяясь начальникам, останавливаясь, чтобы поговорить с солдатами, заявляя, что теперь со всем покончено и все их требования будут удовлетворены.

Многие из них впервые видели лагерь наемников. Вместо суеты, которой они ожидали, в лагере царил и порядок, и грозное молчание. Вал укрывал войско за высокой стеной, неприступной для катапульт. Улицы внутри лагеря были политы свежей водой; из отверстий в палатках выглядывали горевшие во мраке дикие взоры. Связки пик и развешенное оружие ослепляли своим блеском, как зеркала. Пришедшие говорили между собой вполголоса. Они боялись задеть и опрокинуть что-нибудь своими длинными одеждами.

Солдаты стали требовать съестных припасов, обзавуясь уплатить за них из тех денег, что были им должны.

Им послали быков, баранов, цесарок, сушеные плоды, волчьи бобы и копченую скумбрию, ту превосходную скумбрию, которую Карфаген отправлял во все порты. Но солдаты глядели с пренебрежением на великолепный скот и нарочно хулили облазнявшие их припасы; они предлагали за барана стоимость голубя, а за трех коз — цену одного гранатового яблока. Пожиратели нечистой пищи выступали в качестве оценщиков и заявляли, что их обманывают. Тогда наемники обнажали мечи, угрожая резней.

Посланцы Великого совета записывали, за сколько лет службы следовало заплатить каждому солдату. Но никак нельзя было установить, сколько взято было на службу наемников, и старейшины пришли в ужас, когда выяснилось, какую огромную сумму они должны уплатить. Пришлось бы продать запасы сальфия и обложить податью торговые города. Но тем временем наемники потеряли бы терпение; Тунис уже перешел на их сторону. Богатые, оглушенные неистовством Ганнона и попреками его товарища, советовали горожанам сейчас же отправиться каждому к знакомому ему варвару, чтобы вновь завоевать его расположение дружескими словами. Такое доверие должно было успокоить наемников.

Купцы, писцы, рабочие из арсенала, целые семьи отправились к варварам.

Наемники впускали к себе всех карфагенян, но только через один вход, и такой узкий, что в нем едва могли поместиться рядом четыре человека. Спендий ждал их у ограды и подвергал всех внимательному обыску. Мато, стоя против него, рассматривал толпу, стремясь найти в ней кого-нибудь, кого он, быть может, видел у Саламбо.

Лагерь похож был на город — столько там было людей и оживления. Две разные толпы смешивались в нем, отнюдь не сливаясь; одна была в полотняных или шерстяных одеждах, в войлочных шапках, похожих на еловые шишки, а другая — в латах и шлемах. Среди слуг и уличных торговцев бродили женщины всех племен, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как маслины, желтые, как апельсины; это были женщины, проданные матросами, взятые из притонов, украденные у караванов, захваченные при разгроме городов; их изнуряли любовью, пока они были молоды, а потом, когда они старели, избивали. При отступлениях они умирали вдоль дорог среди поклажи вместе с брошенными вьючными животными. Жены кочевников в одеждах из квадратов верблюжьей шерсти рыжего цвета раскачивались на пятках; певички из Киренаики в прозрачных фиолетовых одеждах, с насурмленными бровями, пели, сидя, поджав ноги, на цыновках; старые негрятки с отвисшей грудью собирали помет животных и сушили его на солнце, чтобы развести огонь; у сиракузянок в волосах были золотые бляхи; на женщинах лузитанского племени — ожерелья из раковин; гальские женщины кутали в волчьи шкуры белую грудь; крепыши-мальчики, покрытые паразитами, голые, необрезанные, норовили ударить прохожего головой в живот или же, подходя к нему сзади, кусали ему руки, как молодые тигры.

Карфагеняне ходили по лагерю, удивляясь обилию и разнообразию всего, что они видели. Более робкие имели печальный вид, а другие скрывали свою тревогу.

Солдаты, подшучивая, хлопали их по плечу. Заметив кого-нибудь из видных карфагенян, они приглашали его развлечься. Играя в диск, они старались отдавить ему ноги, а в кулачном бою сейчас же сворачивали челюсть. Пращники пугали карфагенян своими пращами, закладывая — своими змеями, наездники — своими лошадьми. Мирные карфагеняне сносили обиды, понуря голову, и старались улыбаться. Некоторые, чтобы выказать храбрость, давали понять знаками, что хотят быть солдатами. Им предлагали рубить дрова и чистить мулов. Их заковывали в латы и катали, как бочки, по улицам лагеря. Потом, когда они собирались уходить, наемники, кривляясь, делали вид, что в отчаянии рвут на себе волосы.

Многие из них, по глупости или в силу предрассудков, наивно считали всех карфагенян очень богатыми и шли за ними следом, умоляя дать им что-нибудь. Они зарились на все, что им казалось красивым: кольца, пояса, сандалии, бахрому на платье, и когда ограбленный карфагенянин восклицал: «У меня больше ничего нет! Что тебе от меня нужно?» — они отвечали: «Твою жену!» Другие же говорили: «Твою жизнь!»

Военные счета были сданы начальникам, прочитаны солдатам и окончательно утверждены. Тогда они потребовали палаток; им дали палатки. Греческие полемархи попросили дать им несколько красивых доспехов, которые изготовлялись в Карфагене. Великий совет постановил выдать им определенную сумму для приобретения доспехов. Затем наездники заявили, что Республика, по справедливости, должна заплатить им за потерю лошадей. Один утверждал, что у него пали три лошади при какой-то осаде, другой — будто потерял пять лошадей во время такого-то похода, а у третьего, по его словам, погибло в пропастях четырнадцать лошадей. Им предложили гекатомпильских жеребцов; они предпочли деньги.

Потом они потребовали, чтобы им заплатили серебром (серебряной монетой, а не кожаными деньгами) за весь хлеб, который им были должны, и по той высокой цене, по которой он продавался во время войны, — другими словами, они требовали за меру муки в четыреста раз больше, чем платили сами за мешок пшеницы. Эта несправедливость всех возмутила; пришлось, однако, уступить.

Тогда представители солдат и посланцы Великого совета примирились, призывая в свидетели своих клятв духа-хранителя Карфагена и богов варварских племен. Они принесли взаимные извинения и наговорили друг другу любезностей с чисто восточной горячностью и многоречием. После этого солдаты потребовали в знак дружбы, чтобы были наказаны все предатели, которые вооружили их против Республики.

Карфагеняне сделали вид, что не понимают. Тогда наемники определенно заявили, что требуют голову Ганнона.

Они по несколько раз в день выходили из лагеря и, прогуливаясь перед стенами, кричали, чтобы им бросили голову суфгета; они подставляли края одежд, чтобы ее поймать.

Великий совет, быть может, и уступил бы, если бы они не предъявили еще одного условия, более оскорбительного, чем все другие: они потребовали, чтобы их вождам отданы были в жены девственницы из лучших карфагенских семей. Это придумал Спендий, и многие из наемников сочли его предложение совершенно простым и приемлемым. Такое дерзостное желание породниться с пунической знатью возмутило карфагенян; они резко заявили, что больше ничего не дадут. Тогда

наемники стали кричать, что их обманули и что если через три дня им не выдадут жалованье, они сами отправятся за ним в Карфаген.

Вероломство наемников, однако, не было так безгранично, как думали их враги. Гамилькар многократно брал на себя чрезмерные обязательства. Обещания его были, правда, неопределенные, но весьма торжественные. Наемники имели право ожидать, что, когда они высадятся в Карфагене, им отдадут весь город и они поделят между собою его сокровища. Когда же оказалось, что им едва ли выплатят жалованье, это было таким же разочарованием для их гордости, как и для их жадности.

Ведь являли же собою Дионисий, Пирр, Агафокл и военачальники Александра пример сказочных воинских удач. Идеал Геркулеса, которого хананеяне смешивали с богом солнца, сиял на горизонте войск. Известно было, что простые солдаты становились иногда венценосцами, и слухи о крушении империй пробуждали честолюбивые мечты галлов, обитавших в дубовых лесах, эфиопов, живших среди песков. И был народ, всегда готовый использовать чужую храбрость. Поэтому воры, изгнанные своими соплеменниками, убийцы, скитавшиеся по дорогам, преступники, преследуемые богами за святотатство, все голодные, все пришедшие в отчаяние старались добраться до порта, где карфагенский вербовщик набирал войско. Обыкновенно Карфаген выполнял свои обещания. На этот раз, однако, неистовая жадность Карфагена вовлекла его в опасное предательство. Нумидийцы, ливийцы и вся Африка собиралась напасть на Карфаген. Только море оставалось свободным. Там могли быть римляне. И, подобно человеку, на которого со всех сторон набросились убийцы, Карфаген чувствовал вокруг себя смерть.

Пришлось обратиться к помощи Гискона; варвары согласились на его посредничество. Однажды утром опустили цепи порта, и три плоских судна, пройдя через канал Тении, вошли в озеро.

На первом судне стоял на носу Гискон. За ним возвышался, точно высокий катафалк, огромный ящик, снабженный кольцами наподобие висящих венков. Затем появилось множество переводчиков со сфинксообразными головными уборам; у каждого на груди был татуирован попугай. За ними следовали друзья и рабы, все безоружные; их было столько, что они стояли плечом к плечу. Три длинные барки, чуть не тонувшие под тяжелым грузом, двигались вперед под шум приветствий глядевшего на них войска.

Как только Гискон сошел на берег, солдаты побежали ему навстречу. По его приказу соорудили нечто вроде трибуны из

мешков, и он заявил, что не уедет, прежде чем не заплатит всем сполна.

Раздались рукоплескания; он долго не мог произнести ни слова.

Затем он стал упрекать и Республику, и варваров, говоря, что во всем виноваты несколько бунтовщиков, испугавших Карфаген своей дерзостью. Лучшим доказательством добрых намерений Карфагена служило, по его словам, то, что к ним послали именно его, всегдашнего противника суффета Ганнона. Нечего поэтому приписывать Карфагену глупое намерение раздражать храбрецов или же черную неблагодарность, нежелание признать заслуги наемников. И Гискон принялся за выплату солдатам жалованья, начав с ливийцев. Но так как представленные счета были лживы, то он и не пользовался ими.

Солдаты проходили перед ним по племенам, показывая каждый на пальцах, сколько лет он служил; их поочередно метили на левой руке зеленой краской; писцы вынимали пригоршни денег из раскрытого ящика, а другие пробуравливали кинжалом отверстия на свинцовой пластинке.

Прошел человек тяжелой поступью, наподобие быка.

— Поднимись ко мне,— сказал суфсет, подозревая обман.— Сколько лет ты служил?

— Двенадцать лет,— ответил ливиец.

Гискон просунул ему пальцы под челюсть, где ремень от каски натирал всегда две мозоли; их называли рогами, и иметь рога значило быть ветераном.

— Вор! — воскликнул суфсет.— Я, наверное, найду у тебя на плечах то, чего нет на лице.

Разорвав его тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточивой коростой: это был землепашец из Гиппо-Зарита. Поднялся шум; ему отрубили голову.

Наступила ночь. Спендий пошел к ливийцам, разбудил их и сказал:

— Когда лигуры, греки, балеары, так же как и италийцы, получают свое жалованье, они вернутся домой. Вы же останетесь в Африке, рассеянные среди своих племен и совершенно беззащитные. Тогда-то Карфаген и начнет вам мстить! Берегитесь обратного пути! Неужели вы верите их словам? Оба суффета действуют согласно! Гискон вас обманывает! Вспомните про Остров костей, про Ксантиппа, которого они отправили обратно в Сарту на негодном судне!

— Что же нам делать? — спросили они.

— Подумайте,— сказал Спендий.

Следующие два дня прошли в уплате жалованья солдатам из Магдалы, Лептиса, Гекатомпиля. Спендий стал часто ходить к галлам.

— Теперь расплачиваются с ливийцами,— говорил он им,— а потом заплатят грекам, балеарам, азиатам и всем другим! Вас же немного, и вы ничего не получите! Вы не увидите больше родины! Вам не дадут кораблей! Они вас убьют, чтобы не тратиться на вашу еду.

Галлы отправились к суффету. Автарит, тот, которого Гискон ранил у Гамилькара, стал предлагать ему вопросы. Рабы его вытолкали; но, уходя, он поклялся отомстить.

Требований и жалоб становилось все больше и больше. Наиболее упрямые проникали в палатку суффета; чтобы разжалобить, они хватали его за руки, заставляли шупать свои беззубые рты, худые руки и рубцы старых ран. Те, которым еще не уплатили, возмущались, а кто получил жалованье, требовали еще денег за лошадей. Бродяги, изгнанники захватывали оружие солдат и утверждали, что про них забыли. Каждую минуту вихрем вваливались новые толпы; палатки трещали, падали; сдавленные между укреплениями лагеря, солдаты с криками подвигались от входов к центру. Когда шум становился нестерпимым, Гискон опирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и, глядя на море, стоял неподвижно, запустив пальцы в бороду.

Мато часто отходил в сторону и говорил со Спендием; потом он снова глядел в лицо суффету, и Гискон непрерывно чувствовал направленные на него глаза, точно две пылающие зажигательные стрелы. Они несколько раз осыпали друг друга ругательствами через головы толпы, не слыша, однако, слов друг друга.

Тем временем платеж продолжался, и суффет умело справлялся со всеми препятствиями.

Греки придирались к нему из-за различия монет. Он представил им такие убедительные разъяснения, что они удалились, не выражая недовольства. Негры требовали, чтобы им дали белые раковины, которые употреблялись для торговых сделок внутри Африки. Гискон предложил послать за ними в Карфаген. Тогда они, как и все другие, согласились принять деньги.

Балеарам обещали нечто лучшее — женщин. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девственниц, но путь далек, и нужно ждать еще шесть месяцев. Он сказал, что когда женщины достаточно располнеют, их натрут благовонными маслами и отправят на кораблях в балеарские порты.

Вдруг Зарксас, вновь окрепший, статный, вскочил, как фокусник, на плечи друзей.

— Ты что ж, поберег их для трупов? — крикнул он, показывая на Камонские ворота в Карфагене.

При последних лучах солнца медные дощечки, украшавшие

ворота сверху донизу, сверкали. Варварам казалось, что они видят следы крови. Каждый раз, как Гискон собирался говорить, они поднимали крик. Наконец он спустился медленной поступью и заперся у себя в палатке.

Когда он вышел оттуда на заре, его переводчики, которые спали на воздухе, не шевельнулись; они лежали на спине с остановившимся взглядом, высунув язык, и лица их посинели. Беловатая слизь текла у них из носа, и тела их окоченели, точно они замерзли за ночь. У каждого виднелся на шее тонкий камышовый шнурок.

Мятеж стал разрастаться. Убийство балеаров, о котором напомнил Зарккас, укрепило подозрения, возбуждаемые Спендием. Они уверили себя, что Республика, как всегда, хочет обмануть их. Пора с этим покончить. Можно обойтись без переводчиков! Зарккас, с повязкой на голове, пел военные песни; Автарит потрясал большим мечом; Спендий одному что-то шептал на ухо, другому добывал кинжал. Более сильные старались сами добыть себе жалованье, менее решительные просили продолжать раздачу. Никто не снимал оружия, и общий гнев объединялся в грозное негодование против Гискона.

Некоторые, вскарабкавшись, стали тут же рядом с ним; пока они выкрикивали ругательства, их терпеливо слушали; если же они хоть одним словом заступались за него, их немедленно избивали камнями или сносили им головы сзади ударом сабли. Груда мешков была краснее жертвенника!

После еды, выпив вина, они становились ужасными! В карфагенских войсках вино было запрещено под страхом смертной казни, и они поднимали чаши в сторону Карфагена, высеивая дисциплину. Потом они возвращались к рабам, хранившим казну, и возобновляли резню. Слово «бей», звучавшее по-иному на разных языках, было всем понятно.

Гискон знал, что родина отступилась от него, но не хотел нанести ей бесчестья. Когда солдаты напомнили ему, что им обещаны корабли, он поклялся Молохом, что сам, на собственные средства доставит их; сорвав с шеи ожерелье из синих жемчужин, он бросил его в толпу как залог. Тогда африканцы потребовали хлеба, согласно обещаниям Великого совета. Гискон разложил счета Сисситов, написанные фиолетовой краской на овечьих шкурах. Он прочел список всего ввезенного в Карфаген, месяц за месяцем и день за днем.

Вдруг он остановился, широко раскрыв глаза, точно прочел среди цифр свой смертный приговор.

Он увидел, что старейшины обманно сбавили все цифры, и хлеб, проданный в самую тяжелую пору войны, был помечен по такой низкой цене, что нужно было быть слепым, чтобы поверить приведенным цифрам.

— Говори громче! — кричали ему. — Он придумывает, как лучше солгать, негодяй! Не верьте ему!

Несколько времени Гискон колебался, потом продолжал чтение.

Солдаты, не подозревая, что их обманывают, принимали на веру счета Сисситов. Изобилие всего в Карфагене вызвало у них бешеную зависть. Они разбили ящик из сикоморового дерева, но он оказался на три четверти пустым. На их глазах оттуда вынимали такие суммы, что они считали ящик неисчерпаемым и решили, что Гискон зарыл деньги у себя в палатке. Они взобрались на груды мешков. Мато шел во главе их. На крики: «Денег, денег!» Гискон, наконец, ответил:

— Пусть вам даст деньги ваш предводитель!

Он безмолвно глядел на них своими большими желтыми глазами, и длинное лицо его было блеее бороды. Стрела, задержанная перьями, торчала у него за ухом, воткнувшись в широкое золотое кольцо, и струйка крови стекала с его тиары на плечо.

По знаку Мато все двинулись вперед. Гискон распростер руки, Спендий стянул ему кисти рук затяжной петлей, кто-то другой повалил его, и он исчез в беспорядочно метавшейся толпе, которая бросилась на мешки.

Толпа разгромила его палатку; там оказались только необходимые обиходные предметы; после более тщательного обыска нашли еще три изображения богини Танит, а также завернутый в обезьянью шкуру черный камень, упавший с луны. Гискона сопровождали по собственному желанию много карфагенян; все это были люди с высоким положением, принадлежавшие к военной партии.

Их вывели за палатки и бросили в яму для нечистот. Привязав их железными цепями за живот к толстым кольям, им протягивали пищу на остриях копий.

Автарит, находясь при них на страже, осыпал их ругательствами; они не понимали его языка и не отвечали; тогда галл время от времени бросал им в лицо камешки, чтобы слышать их крики.

Со следующего же дня какое-то томление охватило войско. Гнев улегся, и людей объяла тревога. Мато ощущал смутную печаль. Он как бы косвенно оскорбил Саламбо. Точно эти богатые были связаны с нею. Он садился ночью на край ямы и слышал в их стогах что-то напоминавшее голос, которым полно было его сердце.

Все обвиняли ливийцев, потому что только им одним уплатили жалованье. Но вместе с оживавшей национальной не-

приязнию, наряду с враждой к отдельным лицам укреплялось сознание, что опасно отдаваться таким чувствам Их ожидало страшное возмездие за то, что они совершили, и нужно было предотвратить месть Карфагена. Происходили нескончаемые совещания, без конца произносились речи. Каждый говорил, не слушая других, а Спендий, обыкновенно очень словоохотливый, только качал головой в ответ на все предложения.

Однажды вечером он как бы невзначай спросил Мато, нет ли источников в городе.

— Ни одного! — ответил Мато.

На следующий день Спендий увлек его на берег озера.

— Господин! — сказал бывший раб. — Если сердце твое отважно, я проведу тебя в Карфаген.

— Каким образом? — задыхаясь, спросил Мато.

— Поклянись выполнять все мои распоряжения и следовать за мной, как тень.

Мато, подняв руку к светилу Хабар, воскликнул:

— Клянись тебе именем Танит!

Спендий продолжал:

— Завтра после заката солнца жди меня у подножия акведука, между девятой и десятой аркадами. Возьми с собою железный лом, каску без перьев и кожаные сандалии.

Водопровод, о котором он говорил, прорезывал наискось весь перешеек. Это было замечательное сооружение, впоследствии увеличенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим народам, Карфаген неуклюже заимствовал у них это новое изобретение, так же как Рим заимствовал у Карфагена пуническую галеру. Пять этажей арок тяжелой архитектуры, с контрфорсами внизу и львиными головами наверху, доходили до западной части Акрополя, где они спускались под город, выливая почти целую реку в мегарские цистерны.

В условленный час Спендий встретился там с Мато. Он привязал нечто вроде багра к концу веревки и быстро завертел ею, как пращей; железное орудие зацепилось за стену, и они стали друг за другом карабкаться на нее.

Когда они поднялись на высоту первого этажа, зацепка, которую они бросали вверх, каждый раз падала обратно. Чтобы найти какую-нибудь расщелину, приходилось идти по краю выступа; но он становился все более узким по мере того, как они поднимались на верхние ряды арок. Потом веревка стала ослабевать и несколько раз чуть не порвалась.

Наконец они добрались до самого верха. Спендий время от времени наклонялся и шупал рукой камни.

— Здесь, — сказал он. — Давай начнем!

Налегая на лом, захваченный Мато, они подняли одну из плит.

Они увидели вдали всадников, мчавшихся на невзвужденных лошадях. Золотые запястья прыгали в широких складках их плащей. Впереди скакал человек в головном уборе со страусовыми перьями; он держал по копыю в каждой руке.

— Нар Гавас! — воскликнул Мато.

— Так что же! — возразил Спендий и вскочил в отверстие, образовавшееся под плитой.

Мато попытался, по его приказу, поднять одну из каменных глыб. Но ему нехватало места раздвинуть локти.

— Мы вернемся сюда, — сказал Спендий. — Ступай вперед.

Они вступили в водопровод.

Сначала они стояли в воде по живот, но вскоре зашатались и должны были пуститься вплавь, причем беспрестанно стукались о стенки слишком узкого канала. Вода текла почти под самой верхней плитой; они расцарапали себе лица. Потом их увлек поток. Тяжелый могильный воздух теснил им грудь; прикрывая голову руками, сжимая колени, вытягиваясь насколько только было возможно, они неслись во мраке, как стрелы, задыхаясь, храпя, еле живые. Вдруг все почернело перед ними, и быстрота потока увеличилась. Они упали.

Поднявшись на поверхность воды, они пролежали несколько мгновений на спине, с наслаждением вдыхая воздух. Аркады, одна за другой, раскрывались вдали среди широких стен, разделявших водоемы. Все они были полны, и вода текла сплошной пеленой во всю длину цистерн. С куполов потолка через отдушины струилось бледное сияние, расстилавшее по воде как бы диски света; окружающий мрак, сгущаясь у стен, отодвигал их бесконечно далеко. Малейший звук будил громкое эхо.

Спендий и Мато снова пустились вплавь и проплыли через арки несколько бассейнов кряду. Еще два ряда меньших водоемов тянулись параллельно с каждой стороны. Пловцы сбивались с дороги, кружились, возвращались обратно; наконец они почувствовали упор под ногами, — то был мощный пол галереи, тянувшейся вдоль водоемов.

Тогда, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, они стали ощупывать стену, чтобы найти выход. Но их ноги скользили; они падали в глубокие бассейны, поднимались, вновь падали и чувствовали страшную усталость. Их тела точно растаяли в воде во время плавания. Они закрыли глаза, чувствуя близость смерти.

Спендий ударился рукой о решетку. Вместе с Мато он стал ее расшатывать, и решетка подалась. Они очутились на ступеньках лестницы. Ее замыкала сверху бронзовая дверь. Они

отодвинули острием кинжала засов, открывавшийся снаружи, и вдруг их окутал свежий воздух.

Ночь была объята молчанием, и небо казалось неизмеримо высоким. Над длинными стенами высились верхушки деревьев. Весь город спал. Огни передовых постов сверкали, как блуждающие звезды.

Спендий провел три года в эргастуле и плохо знал расположение городских кварталов. Мато полагал, что путь к дворцу Гамилькара должен быть налево, через Маппалы.

— Нет,— сказал Спендий,— проведи меня в храм Танит.

Мато хотел что-то сказать.

— Помни! — сказал бывший раб и, подняв руку, указал ему на сверкающую планету Хабар.

Мато безмолвно направился к Акрополю.

Они ползли вдоль кактусовых изгородей, окаймлявших дорожки. Вода стекала с их тел на песок. Влажные сандалии скользили бесшумно. Спендий, у которого глаза сверкали, как факелы, обшаривал на каждом шагу кустарники. Он шел за Мато, положив руки на два кинжала, которые держал подмышками на кожаных ремнях.

V

ТАНИТ

Выйдя из садов, Мато и Спендий очутились перед оградой Мегары; они нашли пролом в высокой стене и прошли в него.

Местность спускалась отлого, образуя широкую долину. Перед ними было открытое пространство.

— Выслушай меня,— сказал Спендий,— и прежде всего ничего не бойся! Я исполню свое обещание...

Он остановился и задумался, как бы отыскивая слова.

— Помнишь, однажды, в час восхода солнца, на террасе Саламбо я показал тебе Карфаген? Мы были тогда сильные, но ты не хотел меня слушать!

Потом он продолжал торжественным голосом.

— Господин, в святилище Танит есть таинственное покрывало, упавшее с неба и покрывающее богиню.

— Я знаю,— сказал Мато.

Спендий продолжал:

— Это покрывало само священо, потому что оно — часть богини. Боги обитают там, где находится их подобие. Карфаген могуществен только потому, что владеет этим покрывалом.

Нагибаясь к уху Мато, он добавил:

— Я привел тебя сюда для того, чтобы ты его похитил. Мато отпрянул в ужасе.

— Уходи! Поищи кого-нибудь другого! Я не желаю помогать тебе в гнусном преступлении.

— Танит твой враг,— возразил Спендий.— Она тебя преследует, и ты умираешь от ее гнева. Ты отомстишь ей. Она будет тебе повинаться. Это сделает тебя почти бессмертным и непобедимым.

Мато опустил голову, и Спендий продолжал:

— Мы потерпим поражение, войско само собой погибнет. Нам нечего надеяться ни на бегство, ни на помощь, ни на прощение! Какого наказания со стороны богов страшишься ты? Ведь у тебя будет в руках вся их сила! Неужели ты предпочитаешь, проиграв битву, погибнуть жалкой смертью где-нибудь под кустом или среди издевательств черни, в пламени костра? Господин мой, наступит день, когда ты войдешь в Карфаген, окруженный коллегиями жрецов, которые будут целовать твои сандалии, и если покрывало Танит и тогда покажется тебе слишком тяжелым бременем, ты водворишь его снова в храм. Следуй за мной и возьми его!

Страшный соблазн терзал Мато. Ему хотелось бы, не совершая святотатства, овладеть покрывалом. Он говорил себе, что, быть может, возможно завладеть чарами покрывала, не похищая его. Он не решался проникнуть в глубь своих мыслей и останавливался на краю пугавшей его опасности.

— Идем! — сказал он, и они быстро отправились вместе, ничего не говоря.

Дорога опять пошла вверх, и дома начали сдвигаться плотнее. Путники кружились в узких улицах среди темноты. Обрывки плетений, закрывавшие входы, ударялись о стены. На одной из площадей перед охапками нарезанной травы медленно жевали пищу верблюды. Потом Мато и Спендий прошли по галерее, покрытой листвою. Стая собак громко залаяла. Местность вдруг стала открытой, и они увидели перед собой западный фасад Акрополя. У подножия Бирсы тянулась длинная черная громада: то был храм Танит — строения и сады, двор, палисадник, окаймленные низкой каменной стеной сухой кладки. Спендий и Мато перелезли через нее.

В этой первой ограде была платановая роща, разведенная для предохранения от чумы и заражения воздуха. Местами раскинуты были палатки, где днем продавали помаду для уничтожения волос на теле, духи, одежду, пирожки в виде месяца, а также изображения богини и ее храма, выдолбленные в куске алебаstra.

Путникам нечего было бояться, ибо в те ночи, когда луна не показывалась, богослужений в храме не совершали; все же Мато замедлил шаг и остановился перед тремя ступенями из черного дерева, которые вели ко второй ограде.

— Вперед! — сказал Спендий.

Гранатовые и миндальные деревья, кипарисы и мирты, неподвижные, точно бронзовые, правильно чередовались в саду; устилавшие дорогу синеватые камешки скрипели под ногами, и распутившиеся розы свисали, образуя навес вдоль всей аллеи. Они пришли к овальному отверстию, загражденному решеткой. Мато, пугаясь тишины, сказал Спендию:

— Здесь мешают пресные воды с горькими.

— Я все это видал,— ответил прежний раб,— в Сирии, в городе Мафуге.

Поднявшись по лестнице из шести серебряных ступенек, они дошли до третьей ограды.

Там стоял посредине огромный кедр. Нижние ветви его исчезали под кусками тканей и ожерельями, повешенными молящимися. Путники сделали еще несколько шагов, и перед ними открылся весь фасад храма.

Два длинных портика, архитравы которых покоились на низких колоннах, расположены были по обе стороны четырехугольной башни; кровлю башни украшало изображение лунного серпа. На углах портиков и в четырех углах башни стояли сосуды с зажженными курениями. Гранаты и колоквины отягчали капители. На стенах чередовались витые линии, косоугольники, нити жемчуга; серебряная ограда филигранной работы расположена была большим полукругом перед бронзовой лестницей, спускавшейся вниз из сеней.

У входа, между золотым столбом и изумрудным, стоял каменный конус; проходя мимо него, Мато поцеловал свою правую руку.

Первая комната была очень высокая, со сводом, прорезанным бесчисленными отверстиями; подняв голову, можно было видеть звезды. Вдоль всей стены в тростниковых корзинах лежали кучей волосы и бороды — дары юношей, достигших возмужалости; по середине круглого помещения стоял бюст женщины на колонке, покрытой изображениями грудей. Тучная бородатая женщина с полузакрытыми глазами как будто улыбалась, скрестив руки внизу, на толстом животе, отполированном поцелуями толпы.

Потом они снова очутились на свежем воздухе, в поперечном коридоре, где стоял маленький жертвенник, прислоненный к двери из слоновой кости. Дальше идти запрещалось, только жрецы имели право открывать дверь, так как храм не был местом сборищ для толпы, а был особым жилищем божества.

— Наш замысел неосуществим! — сказал Мато. — Ты не подумал об этом! Вернемся назад!

Спендий стал осматривать стены.

Ему хотелось овладеть покрывалом не потому, что он верил в его чары (Спендий верил только в оракула), но он был убежден, что карфагеняне, лишившись покрывала, падут духом. Чтобы найти какой-нибудь выход, они обошли башню сзади.

В роще фисташковых деревьев виднелись маленькие здания различной формы. Местами стояли каменные фаллосы, и большие олени спокойно бродили, толкая раздвоенными копытами упавшие сосновые шишки.

Они пошли обратно между двумя длинными, параллельно тянувшимися галереями. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны были увешаны тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растянувшись на цыновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от притираний, распространяли запах пряностей и погасших курений; они были так покрыты татуировкой, так увешаны кольцами, ожерельями, так нарумянены и насурмлены, что, если бы не вздымалась грудь, их можно было бы принять за лежащих на земле идолов. Лотосы окружали фонтан, где плавали рыбы, подобные рыбам Саламбо; а в отдалении вдоль стены храма тянулся виноградник со стеклянными лозами, с изумрудными гроздьями винограда; лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колоннами на лицах спящих женщин.

Мато задыхался в горячем воздухе, который веял от кедровых колонн. Все эти символы оплодотворения, благовония, сверкание драгоценных камней, дыхание спящих давили его своей тяжестью. Среди мистических озарений он думал о Саламбо; она сливалась для него с самой богиней, и любовь его от этого раскрывалась, подобно большому лотосам, распускающимся в глубине вод.

Спендий высчитывал, сколько денег он в прежнее время зарабатывал бы, торгуя этими женщинами; быстрым взглядом определял он, проходя мимо, вес золотых ожерелий.

И с этой стороны нельзя было проникнуть в храм. Они пошли назад, за первую комнату. В то время как Спендий все оглядывал и обшаривал, Мато, распростершись перед дверью, взывал к Танит. Он молил ее не допустить святотатства, он старался умиловить ее ласковыми словами, точно человека, охваченного гневом.

Спендий увидел узкое отверстие над дверью.

— Встань! — сказал он Мато и велел ему стоя прислониться к стене.

Став одной ногой ему на руки, а другой на голову, он добрался до отдушины и исчез в ней. Потом Мато почувствовал, что ему на плечи упала веревка с узлами, та, которую Спендий намотал вокруг своего тела, прежде чем спуститься в

водоем; ухватившись за нее обеими руками, Мато вскоре оказался около Спендия в большом зале, полном мрака.

Подобное покушение казалось чем-то совершенно необычайным. Меры предосторожности были недостаточны, потому что его считали невозможным. Страх охранял святилище гораздо вернее, чем стены.

Мато на каждом шагу ожидал, что вот-вот он умрет. В глубине мрака дрожал свет, и они приблизились к нему. То был светильник, горевший в раковине на подножии статуи в кабирском головном уборе. Алмазные диски рассыпаны были по длинной синей одежде статуи, и цепи, спускавшиеся под плиты пола, держали ее за каблук. Мато чуть не крикнул.

— Вот она, вот!.. — сказал он шопотом.

Спендий взял светильник, чтобы осветить мрак.

— Нечестивец! — прошептал Мато, но все же последовал за ним.

В помещении, куда они вошли, не было ничего, кроме черной стеной живописи, изображавшей женщину. Ноги ее занимали всю стену доверху. Тело тянулось вдоль потолка. С ее пупка свисало на шнурке огромное яйцо, и она опрокидывалась на другую стену головой вниз, до самых плит пола, которых касались ее заостренные пальцы.

Чтобы пройти дальше, они раздвинули занавеску; но в это время подул ветер и загасил свет.

Тогда они стали блуждать, растерявшись, в запутанном архитектурном сооружении. Вдруг они почувствовали под ногами что-то изумительно мягкое. Сверкали искры, они ступали точно среди пламени. Спендий ошупал пол и догадался вдруг, что он устлан рысьими шкурами. Потом им показалось, что у их ног скользнула толстая мокрая веревка, холодная и липкая. Сквозь расселины в стене проникали внутрь тонкие белые лучи, и они шли, руководясь этим неровным светом; вдруг они увидели большую черную змею, которая быстро исчезла.

— Бежим! — воскликнул Мато.— Это она! Я чувствую ее близость.

— Да нет же! — ответил Спендий.— Храм теперь пуст.

Сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Они увидели вокруг себя бесконечное количество животных, изнуренных, задыхающихся, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков — крылья; рыбы с человеческими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по лазури неба, подобно орлам. Страшное напряжение растяги-

вало различные члены их тела, которых было то слишком много, то недостаточно. Высовывая язык, они точно испускали дух. Тут были собраны все формы жизни: казалось, что все зародыши ее вырвались из разбившегося сосуда и очутились здесь, в стенах этого зала.

Двенадцать шаров из синего хрустала окаймляли зал; их поддерживали чудовища, похожие на тигров, пучеглазые, как улитки; подобрав под себя короткие ноги, чудовища были обращены головами в глубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббет, всеоплодотворяющая, последняя в сонме измышленных божеств.

Чешуя, перья, цветы и птицы доходили ей до живота. В ушах у нее висели наподобие серег серебряные кимвалы, касавшиеся щек. Она глядела пристальным взором; сверкающий камень, в форме непристойного символа, прикрепленный к ее лбу, освещал весь зал, отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди.

Мато сделал шаг вперед; под ногами его подалась одна из плит, и вдруг все шары закружились, все чудовища стали рычать; раздалась музыка, звучная и громовая, как гармония сфер; в ней изливалась бурная душа Танит. Казалось, она поднимется, раскрыв объятия, огромная, как весь зал. Но вдруг чудовища закрыли пасти, и хрустальные шары перестали кружиться.

Мрачные переливы звуков продержались еще несколько времени в воздухе и, наконец, затихли.

— Где же покрывало? — спросил Спендий.

Его нигде не было. Как его найти? Что если жрецы его спрятали? У Мато разрывалось сердце; ему казалось, что обманули его веру.

— Иди за мной! — прошептал Спендий.

Его озарило вдохновение. Он увлек Мато за колесницу Танит, где отверстие шириной в локоть рассекало стену сверху донизу.

Они проникли через него в маленький круглый зал такой высоты, что он казался внутренностью колонны. Посредине находился большой полукруглый черный камень, похожий на тамбурин. На нем пылал огонь; позади возвышался конус из черного дерева, с головой и двумя руками.

Дальше виднелось нечто вроде облака, и на нем сверкали звезды; в глубине складок вырисовывались фигуры: Эшмун с Кабирами, несколько виденных ими до того чудовищ, священные животные вавилонян, затем другие, которых они не знали. Все расстилалось, как плащ, перед самым лицом идола, потом, поднимаясь, тянулось по стене, зацеплялось углами о закрепы и казалось синим, как ночь, и в то же время желтым, как

заря, пурпуровым, как солнце, нескончаемым, прозрачным, сверкающим, легким. То было покрывало богини, священный заимф; он должен был оставаться сокрытым от взоров.

Оба они побледнели.

— Возьми его! — сказал, наконец, Мато.

Спендий ни минуты не колебался; он оперся об идола и сдернул покрывало, которое упало на землю. Мато коснулся его, потом просунул голову в отверстие, закутался весь в покрывало и раздвинул руки, чтобы лучше его разглядеть.

— Идем! — сказал Спендий.

Мато, стоял неподвижно, задыхаясь, и пристально глядел на плиты пола.

Вдруг он воскликнул:

— Почему бы мне не отправиться к ней? Я теперь не боюсь ее красоты! Что она может мне сделать? Я теперь превыше человека. Я мог бы пройти через огонь, шагать по волнам. Мощный порыв уносит меня! Саламбо! Я — твой господин!

Голос у него звучал, как гром, и Спендию казалось, что Мато стал выше ростом и весь преобразился.

Послышались шаги, дверь открылась, и показался человек. То был жрец в высоком колпаке, с широко раскрытыми глазами. Прежде чем он успел сделать движение, Спендий ринулся к нему и, схватив его обеими руками, вонзил ему в тело два кинжала. Голова жреца громко стукнулась о каменные плиты.

Неподвижные, как лежавший перед ними труп, они стояли несколько времени, прислушиваясь: из полуоткрытой двери доносился только шум ветра.

Эта дверь вела в узкий проход. Спендий направился туда, Мато пошел за ним, и они почти тотчас же очутились в третьей ограде, между боковыми портиками, где расположены были жилища жрецов.

За кельями должен был быть более краткий путь к выходу. Они стали торопиться.

Спендий, присев на корточки у края водоема, вымыл окровавленные руки. Здесь спали женщины. Сверкал изумрудный виноград. Они пошли дальше.

Кто-то под деревьями бежал за ними; Мато, неся покрывало, чувствовал, что его тихонько дергают снизу. То был большой павиан из тех, которые жили на свободе в ограде храма. Точно почуяв совершенную кражу, он цеплялся за покрывало. Они не решались отогнать его из боязни, что он поднимет крик; потом гнев его вдруг улегся, и, раскачиваясь, он пошел рядом с ними, свесив длинные руки. Подойдя к решетке, он одним прыжком очутился в листьях пальмы.

Выйдя из последней ограды, они направились ко дворцу Гамилькара. Спендий понял, что напрасно было бы удерживать Мато.

Они пошли по улице Кожевников, мимо площади Мутумбала, по Овощному рынку и Синасинскому перекрестку. На одном повороте встречный прохожий отскочил, испуганный сверканием, пронизавшим мрак.

— Спрячь заимф! — сказал Спендий.

Другие прохожие встретились им по пути, но не обратили на них внимания.

Наконец они узнали дома Мегары.

Маяк, стоявший позади, на вершине утеса, освещал небо большим красным заревом, и тень дворца с его нависавшими террасами падала на сады чудовищной пирамидой. Они вошли через изгородь из ююбы, обрубая ветви кинжалом.

Всюду сохранились следы пиршества наемников. Ограды были снесены, канавы высохли, двери эргастула раскрыты настежь. Никого не было видно ни у кухонь, ни у кладовых. Они удивились этой тишине, прерываемой лишь изредка хриплым дыханием слонов, которые метались в путях, и треском огня на маяке, где пылал костер из ветвей алоэ.

Мато все повторял:

— Где она? Я хочу ее видеть. Проведи меня!

— Это безумие! — сказал Спендий. — Она поднимет крик, прибегут ее рабы, и, несмотря на твою силу, ты погибнешь!

Так они дошли до лестницы с галерами. Мато поднял голову, и ему показалось, что он видит на самом верху мягкое лучистое сияние. Спендий хотел его удержать, но Мато побежал вверх по лестнице.

Вернувшись в те места, где он впервые увидел Саламбо, Мато сразу забыл о времени, протекшем с тех пор. Вот она только что пела, переходя от стола к столу. Потом она исчезла, и с тех пор он все поднимается вверх по этой лестнице. Небо над его головой было покрыто огнями, море заполняло горизонт, с каждым шагом его окружало все более широкое пространство, и он продолжал идти вверх с той странной легкостью, которую испытываешь во сне.

Шорох покрывала, скользившего по камням, напомнил ему о новом его могуществе; от избытка надежд он не знал, что ему делать; эта нерешительность смущала его.

Время от времени он прижимался лицом к четырехугольным отверстиям запертых помещений, и ему казалось, что в некоторых он видел спящих людей.

Последний этаж, более узкий, стоял в виде наперстка на вершине террас. Мато медленно обошел его кругом.

Молочный свет пронизывал пластинки талька, которые прикрывали небольшие отверстия в стене; симметрично расположенные, они похожи были во мраке на нитки тонкого жемчуга. Он узнал красную дверь с черным крестом. Сердце у него забилось. Ему хотелось убежать. Он толкнул дверь; она открылась.

В глубине комнаты горела висячая лампа в форме галеры. Три луча исходили из серебряного кия и сверкали на высокой обшивке стен, расписанных красным с черными полосами. Потолок состоял из маленьких золоченых балок; посередине вставлены были в деревянные кружки аметисты и топазы. По обеим сторонам длинной комнаты тянулось низкое ложе из белых ремней; над ним раскрывались в углублении стен полу-круги наподобие раковин, и с них свешивались до полу женские одежды.

Ониксовый выступ окружал ступенькой овальный бассейн; тонкие туфли из змеиной кожи стояли на краю бассейна рядом с алебастровым кувшином. Дальше виднелись следы влажных ног. В воздухе носились испарения нежных запахов.

Мато касался ногами плит, выложенных золотом, перламутром и стеклом; несмотря на полировку пола, ему казалось, что ноги его увязали, точно он шел среди песков.

Позади серебряной лампы он увидел большой голубой четырехугольник, висевший в воздухе на уходящих вверх четырех шнурах, и пошел вперед, сгибаясь и раскрыв рот.

Ееера из крыльев фламинго с черными коралловыми ручками валялись среди пурпуровых подушек, ящичков из кедрового дерева, черепаховых гребней и маленьких лопаточек из слоновой кости. Кольца и браслеты были нанизаны на рога антилопы; глиняные сосуды выставлены для охлаждения в расселину стены, на камышовую плетенку. Мато несколько раз спотыкался, так как пол был неровный, образуя в комнате как бы ряд отдельных помещений. Серебряная балюстрада окружала в глубине комнаты ковер, пестревший писанными по нем цветами. Наконец он подошел к висячей постели, подле которой стояла скамеечка из черного дерева, служившая лестницей.

Свет замирал у края, и тень, точно большая занавесь, открывала только угол красной постели и кончик маленькой обнаженной ноги. Мато тихонько приблизил лампу.

Саламбо спала, подперев щеку одной рукой и вытянув другую. Кудри рассыпались вокруг нее в таком изобилии, что она лежала точно на черных перьях; широкая белая туника спускалась мягкими складками до нсг, следуя изгибам тела. Глаза девушки чуть-чуть виднелись из-под полузакрытых век. Прямые складки полога окружали ее синеватым светом, и

дыхание, сообщаясь шнурам, как бы качало ее в воздухе. Звенел длинноногий комар.

Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру; вдруг кисейная занавеска, защищавшая ее от комаров, вспыхнула и исчезла. Саламбо проснулась.

Огонь погас сам собой. Она молчала. Лампа бросала на обшивку стен колеблющиеся пятна света.

— Что это? — спросила она.

Он ответил:

— Это покрывало богини!

— Покрывало богини! — воскликнула Саламбо.

Опираясь на сжатые кулаки, она, вся дрожа, высунулась из постели.

Он продолжал:

— Я добыл его для тебя из глубин святилища! Смотри! Заимф сверкал, весь залитый лучами.

— Помнишь? — сказал Мато. — По ночам ты являлась мне в моих снах, но я не понимал безмолвного приказания твоих глаз!

Она поставила ногу на скамеечку из черного дерева.

— Если бы я понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не ушел бы из Карфагена. По твоему велению я спустился бы в пещеру Гадрумета, в царство теней. Прости! Точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль! Я искал пути к тебе! Но разве я дерзнул бы без помощи богов?.. Идем! Следуй за мной, или, если ты не хочешь, я останусь здесь. Мне все равно... Утопи мою душу в своем дыхании! Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки!

— Покажи! — сказала она. — Ближе, ближе!

Занималась заря, и свет винного оттенка пронизывал тальковые пластинки в стенах. Саламбо прислонилась, обесиленная, к подушкам.

— Я тебя люблю! — воскликнул Мато.

Она прошептала:

— Дай его мне!

И они приблизились друг к другу.

Она шла к нему в своей сямарре, тянувшейся за нею по полу, и ее большие глаза устремлены были на покрывало. Мато глядел на нее, ослепленный ее красотой, и, протягивая ей заимф, как бы пытался заключить ее в свои объятия. Она отстранила его вытянутыми руками. Вдруг она остановилась, и они взглянули широко раскрытыми глазами друг на друга.

Она не понимала, чего он хотел от нее, но все же почувствовала ужас. Ее тонкие брови поднялись, губы раскрылись; она вся дрожала. Наконец она ударила в одну из медных чаш, висевших в углах красной постели, и крикнула:

— На помощь! На помощь! Назад, дерзновенный! Будь проклят, осквернитель! На помощь! Таанах! Крум! Эва! Мидипса! Шаул!

Испуганное лицо Спендия показалось в стене, среди глиняных кувшинов, и он быстро проговорил:

— Беги! Сюда идут!

Поднялось великое смятение; сотрясая лестницы, в комнату ворвался поток людей — женщин, слуг, рабов, вооруженных палками, дубинами, ножами, кинжалами. Они точно окаменели от негодования, увидав Мато; служанки подняли вой, как на похоронах, и черная кожа евнухов побледнела.

Мато стоял за перилами. Завернутый в заимф, он казался звездным божеством, вокруг которого расстилалось небо. Рабы бросились к нему; Саламбо их остановила:

— Не трогайте его! На нем покрывало богини!

Она отступила в угол, но, сделав шаг к нему и протягивая обнаженную руку, крикнула:

— Проклятие тебе, ограбившему Танит! Гнев и месть, смертоубийство и скорбь на твою голову! Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Мастиман, бог мертвых! И да сожжет тебя тот, другой, которого нельзя называть!

Мато испустил крик, точно раненный копьем. Она повторила несколько раз:

— Прочь отсюда! Прочь отсюда!

Толпа слуг расступилась, и Мато, опустив голову, медленно прошел среди них; у двери он остановился: бахрома заимфа зацепилась за одну из золотых звезд на плитах пола. Он дернул покрывало движением плеча и спустился с лестниц.

Спендий, прыгая с террасы на террасу, перескакивая через заборы и канавы, выбежал из садов. Он подошел к подножию маяка. Стена в этом месте не была защищена, до того недоступен был утес. Спендий дошел до края, лег на спину и соскользнул до самого низа; потом он доплыл до мыса Могил, направился кружным путем вдоль морской лагуны и вечером вернулся в лагерь к варварам.

Взошло солнце. Как удаляющийся лев, шел Мато вниз по дорогам, озираясь страшными глазами по сторонам.

Смутный гул доносился до его слуха. Он исходил из дворца и возобновлялся вдали, у Акрополя. Одни говорили, что кто-то похитил сокровище Республики в храме Молоха; другие утверждали, что убит жрец; иные были уверены, что в город вошли варвары.

Мато, не зная, как выйти из оград, шел прямо вперед. Его заметили; поднялся крик. Толпа поняла, что случилось. Ее охватил ужас, сменившийся безграничной яростью.



Худ. Лобель-Риш. 1939.

«Саламбо» (стр. 36).

Люди сбегались из отдаленных мест Маппал, с высоты Акрополя, из катакомб, с берегов озера. Патриции выходили из дворцов, продавцы — из своих лавок; женщины оставляли детей. Все вооружались мечами, топорами, палками, но препятствие, которое помешало Саламбо, удерживало теперь толпу. Как взять покрывало? Даже глядеть на него было преступлением, ибо оно было частью божества и прикосновение к нему грозило смертью.

В колоннадах храмов жрецы ломали себе руки от отчаяния. Легионеры скакали наудачу во все стороны; народ поднимался на крыши, на террасы, взбирался на плечи громадных статуй, на мачты кораблей. Мато продолжал идти, и с каждым его шагом усиливался общий гнев и вместе с тем ужас. Улицы пустели при его приближении, и поток бегущих людей вздымался с двух сторон до верхушек стен. Перед ним мелькали широко раскрытые глаза, как бы готовые его поглотить, скрежещущие зубы, грозно поднятые кулаки, и проклятия Саламбо продолжали раздаваться, подхваченные толпой.

Вдруг в воздухе просвистала длинная стрела, за ней — другая, загрохотали пущенные в Мато камни; но плохо направленные удары (все боялись попасть в заимф) пронеслись над его головой. Пользуясь покрывалом как щитом, Мато простирал его направо и налево, перед собою, позади себя, и нападающие не знали, как с ним справиться. Он шел все быстрее, сворачивая в свободные улицы. В конце они были загорожены веревками, повозками, засадами, и ему приходилось возвращаться назад. Наконец он дошел до Камонской площади, где погибли балеары. Мато остановился и побледнел, точно увидел перед собою смерть. На этот раз он погиб. Толпа громко рукоплескала.

Он добежал до больших запертых ворот. Они были очень высокие, целиком из сердцевины дуба, с железными гвоздями и бронзовой обшивкой. Мато налег на ворота. Толпа неистовствовала от радости, видя бессилие его исступления. Наконец он взял сандалию, плюнул на нее и стал бить ею по неподвижным створам ворот. Весь город зарычал. Про покрывало забыли, и все ринулись, чтобы размозжить ему голову. Мато взглянул на толпу широко раскрытыми, блуждающими глазами. В висках у него стучало до головокружения; сознание было притуплено, как у пьяного. Вдруг он увидел длинную цепь; чтобы открыть ворота, нужно было ее потянуть. Одним прыжком он уцепился за нее, вытягивая руки, цепляясь ногами; наконец огромные створы раскрылись.

Очувшись на свободе, Мато снял с себя покрывало и поднял его высоко над головой. Разноцветная ткань, разду-

ваемая морским ветром, сверкала на солнце своими красками, драгоценными камнями, изображениями богов. Он пронес таким образом покрывало через всю равнину до воинских палаток, и народ, собравшийся на стенах, смотрел, как исчезало в дали счастье Карфагена.

VI

ГАННОН

— Я должен был похитить ее! — сказал он вечером Спендию. — Нужно было схватить ее и унести из дому. Никто бы не посмел остановить меня.

Спендий не слушал его. Он лежал, вытянувшись на спине, и наслаждался отдыхом; рядом с ним стоял большой кувшин с медовой водой, и время от времени он погружал туда голову, чтобы полнее утолить жажду.

Мато продолжал:

— Что делать? Как вернуться в Карфаген?..

— Не знаю, — сказал Спендий.

Спокойствие Спендия раздражало Мато; он воскликнул:

— Это все твоя вина! Ты меня увлек за собой, а теперь, как трус, покидаешь! Зачем мне повиноваться тебе? Ты считаешь себя моим господином? Сводник, раб, сын раба!

Он скрежетал зубами и занес на Спендия свою огромную руку.

Грек ничего не ответил. Глиняный светильник освещал мягким светом шест палатки, где сиял среди висевшего оружия заимф.

Вдруг Мато надел котурны, застегнул куртку с бронзовыми пластинками, взял шлем.

— Ты куда? — спросил Спендий.

— Обратно, в Карфаген. Пусти меня! Я приведу ее сюда. Если они нападут на меня, я их раздавлю, как гадюк! Я убью ее, Спендий!

Он повторил:

— Да, убью! Вот увидишь, я ее убью!

Спендий, насторожившись, вдруг сорвал с шеста заимф и бросил его в угол, а на него набросал много шкур. Послышался людской говор, блеснули факелы, и вошел Нар Гавас в сопровождении человек двадцати.

На них были белые шерстяные плащи, длинные кинжалы, кожаные ожерелья, деревянные серьги, обувь из кожи гиен. Остановившись на пороге, они оперлись на копья в позе отдыхающих пастухов. Нар Гавас был самый красивый из всех.

Ремни, обшитые жемчугом, обхватывали его тонкие руки; золотой обруч, прикреплявший к голове широкую одежду, украшен был страусовым пером, спускавшимся ему за плечо; глаза его казались острыми, как стрелы, и во всем его существе таилось нечто внимательное и легкое.

Он заявил, что хочет присоединиться к наемникам, ибо Республика уже давно угрожает его владениям. Ему поэтому выгодно стать на сторону варваров, он может быть им также полезен.

— Я вам доставлю слонов, их много в моих лесах, вино, древесное масло, ячмень, финики, смолу и серу для осад, двадцать тысяч пехоты и десять тысяч лошадей. Я обращаюсь к тебе, Мато, потому, что обладание заимфом сделало тебя первым в войске.

Он прибавил:

— К тому же мы старые друзья.

Мато смотрел на Спендия, который слушал, сидя на овечьих шкурах, и кивал головой в знак согласия. Нар Гавас продолжал говорить. Он призывал в свидетели богов и проклинал Карфаген. В порыве негодования он сломал дротик. Воины его испустили в один голос громкий протяжный крик. Мато, увлеченный его гневом, воскликнул, что принимает союз.

Привели белого быка и черную овцу — символ дня и символ ночи. Их зарезали на краю рва. Когда ров наполнился кровью, они погрузили в него руки. Потом Нар Гавас положил свою руку на грудь Мато, а Мато свою на грудь Нар Гаваса. После того они такой же знак наложили на холст своих палаток и провели ночь в пиршестве; остатки мяса сожгли вместе с кожей, костями, рогами и копытами.

Когда Мато вернулся с покрывалом богини, его встретили долгими приветственными криками; даже те, которые не исповедывали ханаанскую веру, почувствовали, в неясном восторге, что появился гений-хранитель. Никто и не помышлял о том, чтобы завладеть заимфом. Таинственность, с какой Мато его добыл, была достаточной в глазах варваров, чтобы узаконить обладание им. Так думали солдаты африканской расы. Другие, менее закоренелые в своем гневе, не знали, на что решиться. Будь у них корабли, они тотчас бы покинули его.

Спендий, Нар Гавас и Мато послали гонцов ко всем племенам карфагенской земли.

Карфаген истощал все эти народы чрезмерными податями; железные цепи, топор и крест карали запаздывание, даже ропот. Приходилось возделывать то, в чем нуждалась Республика, доставлять то, что она требовала. Никто не имел права

владеть оружием. Когда деревни поднимали бунт, жителей продавали в рабство. На управителей смотрели как на выжимальный пресс и ценили их по количеству доставляемой дани. Дальше, за непосредственно подвластными карфагенянам областями, жили союзники, платившие лишь небольшую дань, позади союзников бродили кочевники, которых можно было на них натравить. Благодаря такой системе жатвы были всегда обильные, коневодство процветало, плантации великолепно возделывались. Катон Старший, знаток по части земледелия и рабовладельчества, девяносто два года спустя поражался этим успехам, и призывы к уничтожению Карфагена, столь часто повторяемые им в Риме, были скорее всего криком завистливой жадности.

В течение последней войны поборы удвоились, вследствие чего почти все города Ливии отдались Регулу. В наказание с них потребовали тысячу талантов, двадцать тысяч быков, триста мешков золотого песка, значительные запасы зерна, а предводители племен были распяты на кресте или брошены на растерзание львам.

Особенную ненависть к Карфагену питал Тунис. Он был древнее метрополии и не мог простить Карфагену его величия. Расположенный против стен Карфагена, но, увязая в грязи, у самой воды, он глядел на него, как ядовитое животное. Изгнания, избиения и эпидемии не ослабили Тунис. Он стал на сторону Архагата, сына Агафокла. Пожиратели нечистой пищи тотчас же нашли в Тунисе оружие.

Посланные наемников не успели еще отбить, как в провинциях поднялось ликование. Не дожидаясь дальнейшего, домовых управителей и должностных лиц Республики задушили в банях, достали из пещер спрятанное старое оружие, из железных плугов стали ковать мечи. Дети оттачивали дротики о косяки дверей, а женщины отдавали свои ожерелья, кольца и серьги — все, что могло послужить на гибель Карфагену. Каждый старался содействовать разрушению Республики. Связки копий лежали в городах горою, точно снопы кукурузы. В лагерь отправлены были скот и деньги. Мато поспешил, по совету Спендия, уплатить наемникам невыданное жалованье и за это был провозглашен главным начальником, шалишимом варваров.

В то же время прибывали на помощь люди. Сначала явились местные жители, потом рабы из деревень. Захватили также караваны негров и вооружили их; направлявшиеся в Карфаген купцы, в надежде на более верную прибыль, тоже присоединились к варварам. Непрерывно приходили многочисленные отряды. С высот Акрополя видна была увеличивавшаяся армия.

Наверху акведука стояли на страже легионеры. Около них расставлены были на небольшом расстоянии один от другого медные котлы, в которых кипел асфальт. Внизу, на равнине, волновалась густая толпа. Она была в нерешительности, чувствуя тревогу, которую всегда будит в варварах вид возвышающихся перед ними стен.

Утика и Гиппо-Зарит отказались вступить в союз. Это были такие же финикийские колонии, как Карфаген, они пользовались самоуправлением и заставляли Республику вводить во все договора параграфы, подтверждающие их самостоятельность. Все же они относились с почтением к этой покровительствующей им старшей сестре и не верили, что скопище варваров способно победить Карфаген; напротив, они были убеждены в конечном поражении наемников. Они предпочитали поэтому сохранять нейтралитет и жить спокойно.

Но содействие обеих колоний, вследствие географического положения их, было необходимо варварам. Утика, лежащая в глубине залива, была очень удобна для подвоза подкреплений Карфагену. Если бы была взята только одна Утика, ее мог заменить Гиппо-Зарит, расположенный в шести часах пути дальше по берегу. Пользуясь их услугами, Карфаген был бы непобедим.

Спендий настаивал на том, чтобы тотчас же начали осаду Карфагена, но Нар Гавас воспротивился: следовало сначала двинуться на границы. Таково было мнение ветеранов, а также самого Мато, и поэтому решили, что Спендий отправится осаждать Утику, а Мато — Гиппо-Зарит; третий корпус армии, опираясь на Тунис, должен был занять карфагенскую долину; это взял на себя Автарит. Что же касается Нар Гаваса, то решено было, что он вернется в свое царство, приведет оттуда слонов и займет со своей конницей дороги.

Женщины очень возражали против этого решения: они зарились на драгоценности карфагенянок. Ливийцы тоже возмущались: их звали сражаться против Карфагена, а теперь складывают оружие. В поход выступили почти одни наемники. Мато начальствовал над своими сородичами, а также над иберийцами, лузитанцами, пришельцами с запада и с островов. Все те, которые говорили по-гречески, требовали в начальники Спендия, ценя его за ум.

В Карфагене были крайне изумлены, когда войско вдруг тронулось; оно выстроилось под горой Ариадны, вдоль дороги в Утику со стороны моря. Одна часть осталась перед Тунисом, остальные исчезли и вновь появились на другом берегу залива, на краю леса, в глубь которого они устремились.

Всех варваров было около восьмидесяти тысяч. Без сомнения, оба тирских города не устоят против них, и войско снова

повернет на Карфаген. Уже один значительный отряд отрезал Карфаген от материка, заняв перешеек, и вскоре город должен был погибнуть от голода. Карфаген не мог обойтись без помощи провинций, ибо жители его не платили налогов, как в Риме. Карфагену недоставало политического гения. Вечная жажда наживы лишала его той осторожности, которую порождали более возвышенные стремления. Точно огромная галера, бросившая якорь в ливийских песках, Карфаген держался благодаря труду. Народы, как волны, бушевали вокруг него, и малейшая буря потрясала этот грозный организм.

Государственная касса была истощена римской войной и всем, что было растрачено и потеряно, пока торговались с варварами. Между тем нужны были солдаты, а ни одно правительство не доверяло Карфагенской республике! Птолемей недавно отказал ей в двух тысячах талантов. К тому же похищение покрывала очень угнетало карфагенян. Спендий верно это предвидел.

Но, чувствуя общую ненависть к себе, Карфаген уповал на свои деньги и своих богов; любовь народа к родине поддерживалась самим государственным строем.

Прежде всего власть зависела от всех, и никто в отдельности не был достаточно силен, чтобы завладеть ею. Частные долги рассматривались как долги общественные; монопольное право торговли принадлежало людям ханаанского племени. Умножая ростовщичеством доходы, получаемые путем пиратства, истощая землю, эксплуатируя рабов и бедняков, иногда добивались богатства, и только оно одно открывало путь ко всем должностям. И хотя власть и деньги оставались постоянным достоянием одних и тех же семей, эту олигархию терпели, потому что всякий мог надеяться вступить в нее.

Торговые общества, где вырабатывались законы, избирали финансовых инспекторов, которые, заканчивая свою службу, назначали сто членов Совета старейшин, зависевших в свою очередь от Великого собрания, объединения всех богатых. Что же касается двух суффетов — этого пережитка царской власти, — занимавших положение ниже консульского, то их назначали в один и тот же день; избирая их из двух разных родов, их старались сделать врагами, чтобы они ослабляли друг друга. Они не имели права высказываться по вопросу о войне, а когда терпели поражения, Великий совет распинал их на кресте.

Сила Карфагена исходила, таким образом, от Сисситов, то есть из большого двора в центре Малки, того места, куда, по преданию, причалила первая лодка финикийских матросов — море с тех пор сильно отступило. Двор состоял из целого ряда маленьких комнат, построенных по архаическому

способу из пальмовых стволов и обособленных одна от другой, чтобы в них могли собираться отдельно различные общества. Богатые толпились там целый день, обсуждая свои, а равно и государственные дела, начиная с добывания перца и кончая уничтожением Рима. Три раза в течение каждого лунного месяца их ложа выносились на верхнюю террасу, окружавшую стену двора; и снизу видно было, как они сидели на воздухе за столом, без котурнов и плащей, как их пальцы, унизанные драгоценными перстнями, брали еду, и большие серьги качались, когда они наклонялись к кувшинам. Сильные, тучные, полураздетые, они весело смеялись и ели под голубым небом, точно большие акулы, играющие в море.

Но теперь они не могли скрыть своей тревоги: ее выдавала необычайная бледность их лиц. Толпа, которая поджидала у дверей, провожала их до дворцов, стараясь что-нибудь выведать. Все дома были заперты, как во время чумы; улицы быстро наполнялись людьми, потом вдруг пустыли: горожане поднимались на Акрополь, бегали к порту; каждую ночь Великий совет собирался для совещания. Наконец народ был созван на площадь Камона, и решено было обратиться к Ганнону, победителю при Гекатомпиле.

Он был человек хитрый, ханжа, беспощадный к африканцам, настоящий карфагенянин. Его богатство равнялось богатствам рода Барки. Он считался опытным администратором, не имевшим равных себе в вопросах управления.

Ганнон постановил призвать к оружию всех здоровых граждан, поставил катапульты на всех башнях, потребовал непомерного количества оружия, даже приказал построить четырнадцать галер, в сущности совершенно не нужных, и велел, чтобы все было подсчитано и тщательно записано. Его носили в арсенал, на маяк, в сокровищницы храмов; все время мелькали его большие носилки: покачиваясь со ступени на ступень, они поднимались по лестнице Акрополя. У себя во дворце, ночью, страдая от бессонницы, он готовился к битве, выкрикивая страшным голосом военные приказы.

Все под влиянием страха становились храбрыми. Богатые с самой зари выстраивались вдоль Маппал; подбирая одежду, они упражнялись в обращении с пиками. Не имея учителей, они вступали в споры друг с другом; задыхаясь от усталости, они садились отдыхать на могилы, а потом снова принимались за дело. Некоторые даже соблюдали диету. Одни воображали, что, для того чтобы прибавилось сил, нужно много есть, и потому объедались; другие, страдая от тучности, морили себя постом, чтобы похудеть.

Утика уже несколько раз обращалась к Карфагену за помощью, но Ганнон не хотел выступать, пока в военных ору-

диях не будет приложено все, до последней гайки. Он потерял еще три месяца на снаряжение ста двенадцати слонов, которые помещались в городских стенах. Слоны эти победили Регула; народ их любил, и нужно было выказать как можно больше внимания к этим старым друзьям. Ганнон велел переплавить бронзовые дощечки, которые украшали их грудь, позолотить им клыки, расширить башни и выкроить из лучшей багряницы попоны, обшитые тяжелой бахромой. Затем, так как вожатых называли индусами (очевидно, потому, что первые из них были родом из Индии), он приказал одеть их всех на индусский образец, то есть в белые тюрбаны и короткие панталоны из виссона с поперечными складками, придававшими им вид двух половинок раковины, прикрепленных к бедрам.

Войско Автарита все еще стояло перед Тунисом. Оно пряталось за стеной, возведенной из ила, добытого в озере, и защищенной сверху колючим кустарником. Там и сям негры расставили на больших шестах пугала в виде человеческих масок, сделанных из птичьих перьев, из голов шакалов или змей; они раскрывали свои пасти навстречу врагу, чтобы привести его в ужас. Считая себя благодаря таким мерам совершенно непобедимыми, варвары плясали, боролись, жонглировали, в полной уверенности, что Карфаген должен неминуемо погибнуть. Всякий другой на месте Ганнона легко раздавил бы эту толпу, обремененную животными и женщинами. Кроме того, они не понимали военных приказов, и Автарит, упав духом, ничего от них не требовал.

Когда он проходил, они расступались, широко раскрыв свои большие синие глаза. Подойдя к берегу озера, он снимал куртку из тюленьей кожи, развязывал шнур, которым были стянуты его длинные рыжие волосы, и мочил их в воде. Он жалел, что не бежал из храма Эрикса со своими двумя тысячами галлов к римлянам.

Часто среди дня лучи солнца вдруг угасали. Тогда залив и море казались недвижимыми, точно расплавленный свинец. Облако темной пыли поднималось столбом и пробегало, крутясь вихрем; пальмы сгибались, небо исчезало, и слышно было, как отскакивали камни, падая, на спины животных. Прижимаясь губами к отверстиям своей палатки, галл хрипел от изнеможения и печали. Он вспоминал запах пастбищ в осеннее утро, хлопья снега, мычание зубров, заблудившихся в тумане; закрыв глаза, он точно видел перед собою на трясилах, в глубине лесов, дрожащие огни хижин, крытых соломой.

Другие тоже тосковали по родине, хотя и не такой далекой. Пленные карфагеняне видели за заливом, на склонах

Бирсы, полотняные навесы во дворах своих домов. Но вокруг пленных беспрерывно ходила стража. Их всех привязали к одной общей цепи, и у каждого на шее был железный обруч. Толпа непрестанно собиралась глядеть на них. Женщины указывали маленьким детям на некогда богатую одежду пленных, висевшую лохмотьями на исхудавших телах.

Каждый раз при взгляде на Гискона Автарит приходил в бешенство, вспоминая нанесенное ему оскорбление. Он убил бы его, если бы не клятва, которую он дал Нар Гавасу. И вот он удалялся к себе в палатку, пил настойку из ячменя и тмина, пока не лишался чувств от хмеля. Он просыпался в палатке зной, терзаемый страшной жаждой.

Мато тем временем осаждал Гиппо-Зарит.

Но город был защищен озером, соединявшимся с морем, и имел три ограды; а на высотах, окружавших его, тянулась стена, укрепленная башнями. Никогда еще Мато не начальствовал в подобных предприятиях. Кроме того, его мучила мысль о Саламбо, и в его мечтах обладание ее красотой становилось радостью мести, тешившей его гордость. Он чувствовал острое, бешеное, постоянное желание снова ее увидеть. Он даже собирался предложить себя в парламентареры, так как надеялся, попав в Карфаген, добраться до нее. Он часто давал приказания трубить атаку и, никого не дожидаясь, бросался на мол, который пытались построить на море. Он выворачивал руками камни, колотил, опрокидывал все вокруг, кидался всюду, обнажив меч. Варвары бросались за ним в беспорядке; лестницы с треском ломались, и толпы людей падали в воду, которая ударялась о стены красными брызгами; шум утихал, и нападавшие отходили, чтобы затем начать все снова.

Мато садился у входа в палатку; он утирал рукой лицо, забрызганное кровью, и, обернувшись в сторону Карфагена, взглядывался в горизонт.

Перед ним среди оливковых деревьев, пальм, мирт и платанов расстилались два больших пруда; они шли к третьему озеру, скрытому от взора. За горой виднелись другие горы, и посередине огромного озера высился черный остров пирамидальной формы. Слева, в конце залива, песчаные наносы казались остановившимися большими светлыми волнами; а море, гладкое, точно пол, мощенный плитками ляпис-лазури, мягко поднималось к краю неба. Зелень полей исчезала местами под длинными желтыми пятнами; рожковые плоды сверкали наподобие кораллов; виноградные лозы спускались с вершин смоковниц; слышно было журчание воды, прыгали хохлатые жаворонки, и последние лучи солнца золотили щиты черепах, выползавших из камышей, чтобы подышать прохладой.

Мато тяжело вздыхал. Он ложился на живот, впивался ногтями в землю и плакал, чувствуя себя несчастным, жалким и брошенным. Никогда она не будет ему принадлежать; он даже не может завладеть городом.

Ночью, оставшись один в палатке, он рассматривал заимф. Что ему дала эта святыня? В голове варвара зародились сомнения. Потом ему стало казаться, что одеяние богини прикосновенно к Саламбо и что от него веет частицей ее души, более нежной, чем дыхание. Он касался заимфа, впитывал его запах, погружал лицо в складки и целовал их, рыдая. Он накидывал его на плечи, чтобы вообразить себе ее близость.

Иногда он вдруг убежал из своей палатки, переступал через спящих солдат, закутанных в плащи, вскакивал на лошадь и два часа спустя был в Утике, в палатке Спендия.

Сперва он говорил об осаде, но приезжал он с тем, чтобы излить свою скорбь о Саламбо. Спендий старался образумить его:

— Не поддавайся таким унижительным страданиям! В прежнее время ты был подвластен другим, а теперь командуешь войском. Если даже Карфаген не будет побежден, все же нам отдадут провинции: мы будем царями!

Не может быть, чтобы обладание заимфом не дало им победы! По мнению Спендия, следовало ждать.

Мато полагал, что покрывало имеет исключительное отношение к ханаанской расе, и с подлинным лукавством варвара говорил себе: «Значит, мне заимф добра не принесет. Но так как карфагеняне его утратили, то им он тоже не поможет».

Затем его смутила одна мысль: он боялся, что, поклоняясь богу ливийцев, Аптукносу, он оскорбляет Молоха, и робко спросил Спендия, которому из двух следовало бы принести человеческую жертву.

— На всякий случай приноси жертвы обоим! — сказал со смехом Спендий.

Мато, не понимавший такого равнодушия, заподозрил грека в том, что у него есть свой дух-покровитель, о котором он не хочет говорить.

В варварских войсках сталкивались все верования, как и все племена; поэтому воины всегда старались умиловить богов других племен, чувствуя перед ними страх. Иные соединяли с верой своей родины чужие обряды. Даже не поклоняясь звездам, приносили жертвы тому или другому светилу, влияние которого могло быть или благотворным, или пагубным. Неведомый амулет, случайно найденный в минуту опасности, становился святыней. Или же обоготворяли какое-нибудь имя, только имя; его называли, даже не стараясь понять, что оно означает. Но, разграбив много храмов, насмотревшись

на множество народов и кровопролитий, некоторые переставали верить во что-либо, кроме рока и смерти, и засыпали вечером с безмятежностью хищных животных. Спендий готов был плевать на изображения олимпийца Юпитера, но он боялся громко говорить в темноте и по утрам никогда не забывал обуваться с правой ноги.

Он сооружал против Утики длинную четырехугольную террасу. Но, по мере того как она поднималась все выше, возвышались также и укрепления Утики; то, что одни разрушали, тотчас же воздвигали другие. Спендий относился бережно к солдатам и, придумывая новые планы, старался припомнить военные хитрости, о которых ему рассказывали во время его странствий.

Почему не возвращается Нар Гавас? Всех это сильно тревожило.

Наконец Ганнон закончил приготовления. Однажды в безлунную ночь он переправил на плотках через Карфагенский залив своих слонов и солдат. Затем они обогнули гору Горячих источников, чтобы не столкнуться с Автаритом, и шли так медленно, что, вместо того чтобы неожиданно нагрянуть к варварам ранним утром, как рассчитал суфдет, пришли только на третий день, когда солнце уже высоко стояло в небе.

К Утике с восточной стороны примыкала равнина, которая тянулась до большой карфагенской лагуны; за нею, под прямым углом между двумя низкими горами, начиналась долина; варвары расположились лагерем дальше налево, чтобы заградить порт; они еще спали в палатках (в этот день обе стороны, слишком уставшие, чтобы сражаться, отдыхали), когда вдруг на повороте за холмами показалась карфагенская армия.

Обозная прислуга, вооруженная пращами, размещена была на флангах. Первый ряд составляла гвардия легионеров в золотых чешуйчатых латах, верхом на толстых лошадях без грив, без ушей и шерсти, украшенных серебряным рогом по середине лба, чтобы сделать их похожими на носорогов. Между эскадронами юноши в маленьких касках раскачивали в каждой руке по дротику из ясеневого дерева; длинные пики тяжелой пехоты подвигались сзади. Все эти купцы нагромоздили на себя как можно больше оружия: у некоторых было по два меча и, кроме того, копье, топор и палица; другие были, как дикобразы, утыканы стрелами, и руки их оттопыривались от панцырей из роговых полос или железных блях. Наконец появились громоздкие высокие военные машины; карробалисты, онагры, катапульты и скорпионы покачивались на повозках, запряженных мулами и четверками быков. По мере того как армия развертывалась, начальники, задыхаясь, бегали взад

и вперед, отдавая приказания, соединяя ряды и сохраняя нужное расстояние между ними. Старейшины, назначенные полководцами, явились в пурпуровых шлемах с пышной бахромой, которая запутывалась в ремнях котурнов. Их лица, вымазанные румянами, лоснились под огромными касками, украшенными изображениями богов; щиты были отделаны по краям слоновой костью, покрытой драгоценными камнями, и казалось, что это солнца двигаются вдоль медных стен.

Карфагеняне ступали так тяжело, что солдаты насмешливо приглашали их присесть. Они кричали, что сейчас выпустят кишки из их толстых животов, сотрут позолоту с их кожи и дадут им напиток железа.

На шесте, вбитом перед палаткой Спендия, вдруг появился кусок зеленого холста: это был сигнал. Карфагенское войско ответило на него грохотом труб, кимвалов, флейт из ослиных костей и тимпанов. Варвары уже перескочили через ограду. Сражающиеся очутились лицом к лицу на расстоянии полета дротика.

Тогда один балеарский пращик выступил на шаг вперед, вложил в ремень глиняное ядро и завертел рукой; раздался треск щита из слоновой кости, и войска вступили в бой.

Греки кололи лошадям ноздри остриями копий, и лошади опрокидывались на всадников. Рабы, которые должны были метать камни, брали слишком крупные, и они падали тут же, подле них. Карфагенские пехотинцы, размахивая длинными мечами, обнажали свое правое крыло. Варвары ворвались в их ряды и рубили с плеча, топтали умирающих и убитых, ослепленные кровью, брызгавшей им в лицо. Груда копий, шлемов, панцирей, мечей и сплетающихся тел кружилась, раздаваясь и сжимаясь упругими толчками. Карфагенские когорты все больше редели, машины увязали в песках; наконец носилки суффета (его большие носилки с хрустальными подвесками), которые были на виду с самого начала боя и покачивались среди солдат, как лодка на волнах, вдруг куда-то исчезли. Не значило ли это, что он убит? Варвары остались одни.

Пыль вокруг них опадала, и они начали петь, когда появился Ганнон на слоне. Он был с непокрытой головой; сидевший за ним негр держал зонтик из виссона. Ожерелье из синих блях билось о цветы его черной туники; алмазные обручи сжимали его толстые руки. Раскрыв рот, он потрясал огромным копьем, которое расширялось к концу в виде лотоса и сверкало, точно зеркало.

Тотчас земля содрогнулась, и варвары увидели бегущих на них сплоченным рядом всех карфагенских слонов. Клыки у них были позолочены, уши выкрашены в синий цвет и покрыты бронзой; на яркочерных пополах раскачивались ко-

жанные башни, и в каждой башне сидело по три стрелка с натянутыми луками.

Солдаты едва удержали оружие и сомкнули ряды в полном беспорядке. Их леденил ужас, и они не знали, что делать.

С высоты башен в них уже бросали дротики, простые и зажигательные стрелы, лили расплавленный свинец; некоторые, чтобы взобраться на башни, хватались за бахрому попон. Им отрубали руки ножами, и они падали навзничь на выставленные мечи. Непрочные пики ломались; слоны прорывались через фаланги, как вепри через густую траву; они вырывали хоботами колья, опрокидывали палатки, пробегая лагерь из конца в конец. Варвары спасались бегством. Они прятались за холмами, окаймлявшими долину, через которую пришли карфагеняне.

Победитель Ганнон подошел к воротам Утики. Он приказал затрубить в трубы. Трое городских судей появились на вершине башни между бойницами.

Но жители Утики не пожелали принять у себя столь сильно вооруженных гостей. Ганнон вспылил. Наконец они согласились впустить его с небольшой свитой.

Улицы были слишком узки для слонов, пришлось оставить их у ворот.

Как только суфлет вступил в город, к нему явились с поклоном городские власти. Он отправился в бани и призвал своих поваров.

Три часа спустя он еще сидел в бассейне, наполненном маслом киннамона, и, купаясь, ел на разостланной перед ним бычьей шкуре языки фламинго с маком в меду. Лекарь Ганнона, недвижимый, в длинной желтой одежде, время от времени приказывал подогревать ванну, а двое мальчиков, наклонившись над ступеньками бассейна, растирали суффету ноги. Но заботы о теле не останавливали его мыслей о государственных делах. Он диктовал письмо Великому совету и, кроме того, придумывал, как бы наказать с наибольшей жестокостью взятых им в плен варваров.

— Подожди! — крикнул он рабу, который стоя писал на ладони. — Пусть их приведут сюда! Я хочу на них посмотреть.

С другого конца зала, наполненного белесым паром, пронизанного красными пятнами факелов, вытолкнули вперед трех варваров: самнита, спартанца и каппадокийца.

— Продолжай! — сказал Ганнон. — «Радуйтесь, светочи Ваалов! Ваш суфлет уничтожил прожорливых псов! Да будет благословенна Республика! Прикажите вознести благодарственные молитвы!»

Он увидел пленников и расхохотался.

— А, это вы, храбрецы из Сикки! Сегодня вы уже не так громко кричите! Это я! Узнаете меня? Где же ваши мечи? Ай, какие страшные!

Он сделал вид, будто хочет спрятаться от страха.

— Вы требовали лошадей, женщин, земель и уж, наверное, судейских и жреческих должностей! Почему бы и не требовать? Хорошо, будут вам земли, да еще какие, оттуда вы больше никогда не уйдете! И вас поженят на новешеньких виселицах! Жалованья просите? Вам его вольют в горло расплавленным свинцом! И я вам дам отличные места, очень высоко, среди облаков, поближе к орлам!

Три волосатых варвара в лохмотьях смотрели на него, не понимая, что он говорит. Они были ранены в колени, и их схватили, набросив на них веревки. Толстые цепи, которыми им заковали руки, волочились по плитам пола. Ганнона раздражала их невозмутимость.

— На колени! На колени, шакалы, нечисть, прах, дермо! Они смеют не отвечать?! Довольно! Молчать! Содрать с них кожу живьем! Нет, подождите!

Он пытел, как гиппопотам, дико вращая глазами. Благоуханное масло выливалось через край бассейна под грузом его тела и прилипало к покрытой струпьями коже, которая при свете факелов казалась розовой.

Он продолжал диктовать:

— «Мы сильно страдали от солнца целых четыре дня. При переходе через Макара погибли мулы. Несмотря на их положение и чрезвычайную храбрость...» О Демонад, как я страдаю! Вели нагреть кирпичи, и чтобы их накалили докрасна!

Послышался стук лопаток и треск разводимого огня. Курения еще сильнее задымились в широких курильницах, и голые массажисты, потевшие, как губки, стали втирать в тело Ганнона мазь, приготовленную из пшеницы, серы, красного вина, собачьего молока, мирры, гальбана и росного ладана. Нестерпимая жажда мучила его, но человек в желтой одежде не дал ему утолить ее, а протянул золотую чашу, в которой дымился змеиный отвар.

— Пей! — сказал он. — Пей для того, чтобы сила змей, рожденных от солнца, проникла в мозг твоих костей. Мужайся, отблеск богов! Ты ведь знаешь, что жрец Эшмуна следит за жестокими звездами вокруг созвездия Пса, от которых исходит твоя болезнь. Они бледнеют, как струпья у тебя на теле, и ты не умрешь.

— Да, да, конечно, — подхватил суфжет. — Ведь я не умру!

Дыхание, исходившее из его посиневших губ, было более смрадно, чем зловоние трупа. Точно два угля горели на месте

его глаз, лишенных бровей. Морщинистая складка кожи свисала у него над лбом; уши оттопыривались, распухая, и глубокие морщины, образуя полукруги вокруг ноздрей, придавали ему странный и пугающий вид дикого зверя. Его хриплый голос похож был на вой. Он сказал:

— Ты, может быть, прав, Демонад. Действительно, много нарывов уже зажило. Я чувствую себя отлично. Смотри, как я ем!

Не столько из жадности, как для того, чтобы убедить самого себя в улучшении своего здоровья, Ганнон стал пробовать начинку из сыра и из маерана, рыбу, очищенную от костей, тыкву, устрицы, яйца, хрен, трюфели и жареную мелкую дичь. Поглядывая на пленников, он с наслаждением придумывал муки, которым их подвергнет. Но он вспомнил Сикку, и все бешенство его терзаний излилось в ругательствах на трех варваров:

— Ах, предатели! Негодяи! Подлецы! Проклятые! И вы осмеливались оскорблять меня, меня! Суффета! Их заслуги, цена их крови,— говорили они! Ах, да! Их кровь!

Потом он продолжал, обращаясь к самому себе:

— Всех прикончим! Ни одного не продадим! Лучше бы отвести их в Карфаген! Они увидели бы меня... Но я, кажется, не привез с собой достаточно цепей? Пиши: пришлите мне... сколько их? Пошли спросить Мугумбала. Никакой пощады! Принесите мне в корзинках отрезанные у всех руки!

Но вдруг странные крики, глухие и в то же время резкие, донеслись до залы, заглушая голос Ганнона и звон посуды, которую расставляли вокруг него. Крики усилились, и вдруг раздался бешеный рев слонов. Можно было подумать, что возобновляется сражение. Страшное смятение охватило город.

Карфагеняне не думали преследовать варваров. Они расположились у подножия стен со своим добром, слугами — всей роскошью сатрапов, и веселились в своих великолепных палатках, обшитых жемчугом, в то время как лагерь наемников представлял собою груды развалин. Спендий, однако, вскоре воспрянул духом. Он отправил Зарксаса к Мато, обошел леса и собрал своих людей (потери были незначительны). Взбешенные тем, что их победили без боя, они вновь сплотили свои ряды; в это время был найден чан с нефтью, несомненно оставленный карфагенянами. Тогда Спендий велел взять свиней на фермах, обмазал их нефтью, зажег и пустил по направлению к Утике.

Слоны, испуганные пламенем, бросились бежать. Дорога шла вверх; в них стали бросать дротики. Тогда слоны повернули назад, побивая карфагенян. Они рвали их клыками и

топтали ногами. Вслед за ними с холмов спускались варвары. Пунический лагерь, не защищенный окопами, разрушен был после первой же атаки, а карфагеняне оказались раздавленными у городских стен, так как им не хотели открывать ворот, боясь наемников.

Стало светать; с запада приближалась пехота Мато. Одновременно показалась конница: это был Нар Гавас со своими нумидийцами. Перескакивая через рвы и кусты, они гнались за беглецами, как борзые, травящие зайцев. Эта перемена военного счастья и прервала слова суффета. Он крикнул, чтобы ему помогли выйти из паровой ванны. Три пленника все еще стояли перед ним. Негр (тот, который нес его зонтик во время боя) наклонился к его уху.

— Так что же? — медленно ответил ему суффет. — Убить их! — отрывисто прибавил он.

Эфиоп вынул засунутый за пояс длинный кинжал, и три головы скатились. Одна из них, подпрыгивая среди остатков пира, попала в бассейн и там плавала несколько времени с открытым ртом, с остановившимися глазами. Утренний свет проникал в расщелины стены; из трех тел, упавших ниц, кровь была фонтаном, и кровавая пелена расплывалась по мозаичному полу, посыпанному синим порошком. Суффет опустил руку в этот горячий ил и стал растирать кровью колени: это было целебное средство.

Вечером он бежал со свитой из города и направился в горы, чтобы нагнать свое войско.

Ему удалось найти его остатки.

Четыре дня спустя он был в Горзе, над ущельем, когда внизу показалось войско Спендия. Двадцать надежных копий, атаковав фронт колонны, легко остановили бы наступавшее войско; карфагеняне, пораженные появлением наемников, пропустили их мимо себя. Ганнон узнал в арьергарде царя нумидийцев. Нар Гавас поклонился, приветствуя его, и сделал знак, которого Ганнон не понял.

Возвращение в Карфаген сопровождалось всяческими страхами. Подвигались вперед только ночью; днем прятались в оливковых рощах. На каждом этапе несколько человек умирало; часто всем казалось, что они погибли. Наконец они добрались до Гермейского мыса, куда за ними прибыли корабли.

Ганнон так устал и был в таком отчаянии, в особенности от потери слонов, что просил Демонада дать ему яду. Он заранее чувствовал себя распятым на кресте.

Карфаген не имел силы возмутиться против него. Потеряно было четыреста тысяч девятьсот семьдесят два шекеля серебра, пятнадцать тысяч шестьсот двадцать три шекеля золота, погибло восемнадцать слонов, убито было четырнадцать чле-

нов Великого совета, триста человек богачей, восемь тысяч граждан, пропал хлеб, которого хватило бы на три месяца, много кладов и все военные машины! Измена Нар Гаваса была несомненна. Обе осады возобновились. Армия Автарита растянулась от Туниса до Радеса. С высоты Акрополя виден был расстилавшийся по небу дым пожаров; то горели замки богатых.

Только один человек мог бы спасти Республику. Теперь все раскаивались, что недостаточно ценили его, и даже партия мира постановила приносить жертвы богам, молясь о возвращении Гамилькара.

Вид заимфа потряс Саламбо. Ей слышались ночью шаги богини, и она просыпалась с криками ужаса. Она посылала каждый день пищу в храмы. Таанакх изнемогала, исполняя ее приказания, и Шагабарим не покидал ее.

VII

ГАМИЛЬКАР БАРКА

Глашатай лунных смен, который бодрствовал все ночи на кровле храма Эшмуна, чтобы возвещать звуками трубы о всех движениях светила, увидел однажды утром с западной стороны нечто вроде птицы, касавшейся длинными крыльями поверхности моря.

Это был корабль с тремя рядами гребцов; нос корабля был украшен резной фигурой лошади. Выходило солнце. Глашатай лунных смен приставил руку к глазам, потом схватил рожок и затрубил на весь Карфаген.

Из всех домов выбежали люди; сначала не хотели верить друг другу, спорили; мол был покрыт народом. Наконец узнали трирему Гамилькара.

Она приближалась, гордая и суровая, с прямой реей, с вздувшимся вдоль мачты парусом, разрезая вокруг себя пену. Гигантские весла мерно ударяли по волнам; время от времени край киля, имевшего форму плуга, высывался наружу, а под закруглением, которым оканчивался нос, лошадь с головой из слоновой кости, поднявшись на дыбы, как бы неслась стремительным бегом вдоль равнин моря.

Когда корабль огибал мыс, парус спустили, так как ветер стих, и рядом с кормчим показался человек с непокрытой головой; то был он, суфлет Гамилькара! На нем сверкали железные латы; красный плащ, прикрепленный на плечах, не закрывал рук, длинные жемчужины висели у него в ушах, черная густая борода касалась груди.

Галера, качаясь среди скал, шла вдоль мола; толпа следо-

вала за нею по каменным плитам и кричала, приветствуя Гамилькара:

— Привет тебе! Благословение! Око Камона, спаси нас! Во всем виноваты богатые! Они хотят твоей смерти! Берегись, Барка!

Он ничего не отвечал, точно его окончательно оглушил шум морей и битв. Но когда трирема проходила под лестницей, спускавшейся с Акрополя, Гамилькар поднял голову и, скрестив руки, поглядел на храм Эшмуна. Взгляд его поднялся еще выше, к широкому ясному небу; он суровым голосом дал приказ матросам, трирема подпрыгнула, задев идола, поставленного в конце мола, чтобы останавливать бури. Она вошла в торговую гавань, загрязненную отбросами, щепками и шелухой от плодов, отталкивая и врезаясь в другие корабли, прикрепленные к сваям и заканчивавшиеся пастью крокодила. Толпа сбегалась, некоторые пустились вплавь. Трирема уже прошла вглубь и подошла к воротам, утыканным гвоздями. Ворота поднялись, и трирема исчезла под глубоким сводом.

Военный порт был совершенно отделен от города; когда прибывали послы, им приходилось идти между двумя стенами по проходу, который вел налево и заканчивался у храма Камона. Вокруг бассейна, круглого, как чаша, шли набережные, где построены были клетки для кораблей. Перед каждой из них возвышались две колонны; капители были украшены рогами Аммона, и таким образом портики тянулись сплошь вокруг всего бассейна. Посредине, на острове, стоял дом морского суффета.

Вода была такая прозрачная, что виднелось дно, вымощенное белыми камешками. Уличный шум сюда не доходил, и Гамилькар, проезжая мимо, узнавал суда, которыми он некогда командовал.

Их оставалось не более двадцати; они стояли на суше, накренившись набок, или прямо на киле, с очень высокими кормами и выгнутыми носами, украшенными позолотой и мистическими символами. У химер пропали крылья, у богов Патэков — руки, у быков — серебряные рога. Полянявшие, гниющие, недвижные, они еще дышали прошлым, еще хранили запах былых странствований, подобно искалеченным солдатам, вновь повстречавшим своего повелителя, они как бы говорили: «Это мы, это мы! Но и ты потерпел поражение!»

Никто, кроме морского суффета, не имел права вступать в адмиральский дом. До тех пор, пока не было доказательства его смерти, он считался живым. Старейшины избавлялись этим от лишнего начальства. И по отношению к Гамилькару они не отступили от старого обычая.

Суфдет вошел в пустые покои; повсюду он находил на

прежнем месте оружие, мебель, знакомые предметы; это его удивляло; под лестницей еще сохранился в курильнице пепел благовоний, зажженных при его отъезде для заклинания Мелькарта. Не таким представлял он себе свое возвращение! Все, что он совершил, все, что видел, воскресало в его памяти: штурмы, пожары, легионы, бури, Дрепан, Сиракузы, Лилибей, гора Этна, Эрикс, пять лет сражений,— все, вплоть до того рокового дня, когда, сложив оружие, Карфаген потерял Сицилию. Потом он вспомнил лимонные рощи, пастухов со стадами коз на серых горах, и у него забилося сердце, когда он представил себе другой Карфаген, который он мечтал там воздвигнуть. Все его планы, все воспоминания пронеслись у него в голове, еще оглушенной качкой корабля. Им овладела тревога; вдруг, теряя силы, он почувствовал потребность общения с богами.

Он поднялся на верхний этаж своего дома. Потом, вынув из золотой раковины, висевшей у него на руке, лопаточку с насаженными на нее гвоздями, открыл маленькую комнату овальной формы.

Тонкие черные кружки, вставленные в стену, прозрачные, как стекло, освещали комнату мягким светом. Между рядами этих одинаковых дисков были просверлены отверстия, как в урнах колумбариев. В каждой отверстии находился круглый темный камень, с виду очень тяжелый. Только люди высокого духа поклонялись этим абалдирам, упавшим с луны. Своим падением они означали светила, небо, огонь; своим цветом — мрачную ночь, а своей плотностью — внутреннюю связь всего на земле. Воздух в таинственном обиталище был удушливый. От морского песка, занесенного, очевидно, ветром в дверь, лежал на круглых камнях в нишах белый налет. Гамилькар пересчитал их, потом укрыл лицо покрывалом шафранного цвета и, упав на колени, распростерся на полу, вытянув обе руки.

Дневной свет ударял в листья черного лотоса. В их прозрачной толще вырисовывались деревья, горы, вихри, смутные формы животных: свет проникал в комнату, грозный и в то же время мирный, каким он должен быть по ту сторону солнца, в угрюмых пространствах грядущего созидания. Гамилькар старался изгнать из своих мыслей все формы, все символы и все наименования богов, чтобы лучше постигнуть недвижный дух, скрытый за внешними явлениями. В него как будто проникла жизнь планеты, и все более глубоким и мудрым становилось его презрение к смерти и ко всему случайному. Когда он поднялся, то был преисполнен спокойного мужества, не подвластного жалости и страху. Чувствуя, что у него захватывает дыхание, он направился на вершину башни, которая возвышалась над Карфагеном.

Город, углубляясь, спускался вниз длинным сгибом со своими куполами, храмами, золотыми кровлями, домами, пальмовыми рощами, с расставленными в разных местах стеклянными шарами, откуда разливался свет. Укрепления были как бы гигантской оправой этого рога изобилия, раскрывавшегося ему навстречу. Он видел внизу порты, площади, внутренности дворов, узор улиц, людей, казавшихся совсем маленькими, почти вровень с мостовыми. О, если бы Ганнон не опоздал в то утро сражения у Эгатских островов! Глаза Гамилькара устремились к краю горизонта, и он протянул в сторону Рима свои дрожащие руки.

Толпа расположилась на ступеньках Акрополя. На площади Камона люди толкались, стараясь увидеть суффета. Все террасы покрылись народом; некоторые узнали его и кланялись. Он удалился, чтобы усилить нетерпение толпы.

Внизу, в зале, Гамилькар застал самых значительных из своих сторонников: Истатена, Субельдия, Гиктамона, Ейюба и других. Они рассказывали ему обо всем, что произошло со времени заключения мира: о скупости старейшин, об уходе солдат, их возвращении, их требованиях, о взятии в плен Гискона, о похищении заимфа, о помощи Утике и о том, как от нее отступились; но никто не решался рассказать ему о событиях, касавшихся его самого. Наконец они разошлись, чтобы снова свидеться ночью на собрании старейшин в храме Молоха.

Когда они ушли, у дверей поднялся шум. Кто-то хотел войти, несмотря на запрет слуг. Крики усилились. Гамилькар приказал впустить человека, желавшего его видеть.

В зал вошла старая негритянка, сгорбленная, вся в морщинах, дрожащая, с тупым лицом, закутанная до пят в широкое синее покрывало. Она подошла прямо к суффету, и они взглянули друг другу в глаза. Вдруг Гамилькар вздрогнул. Он поднял руку, и рабы удалились. Сделав знак негритянке, чтобы она осторожно следовала за ним, он увлек ее за руку в отдаленную комнату.

Негритянка бросилась на землю и стала целовать его ноги. Он резким движением поднял ее.

— Где ты его оставил, Иддибал?

— Там, господин.

Сняв покрывало, негритянка потерла себе рукавом лицо: черный цвет кожи, старческое дрожание и согбенная спина — все исчезло. Перед Гамилькаром стоял сильный старик с лицом, обветренным песками, бурями и морем. Пучок белых волос торчал на его черепе, как хохолок птицы; он насмешливо показал взглядом на скрывавшие его одежды, которые сбросил на пол.

— Это ты хорошо придумал, Иддибал. Очень хорошо!
Потом Гамилькар прибавил, пронизывая его острым взглядом:

— Никто еще не догадывается?

Старик поклялся ему Кабирами, что свято хранит тайну. Они не покидают своей хижины в трех днях пути от Гадрумета, на берегу, где кишат черепахи и где на дюнах растут пальмы.

— Согласно твоему приказу, господин, я учу его метать копье и править лошаадьми.

— Он ведь сильный, правда?

— Да, господин, и очень отважный! Не боится ни змей, ни грома, ни призраков. Бегает босиком, как пастух, по краю пропастей.

— Продолжай, продолжай!

— Он устраивает западни для диких зверей. В прошлом месяце, поверишь ли, он поймал орла и потащил его за собой. Кровь птицы и кровь ребенка, падая крупными каплями, мелькала в воздухе, точно лепестки розы, носимые ветром. Взбешенная птица окутывала его бьющимися крыльями, он прижимал ее к груди, и по мере того как орел умирал, смех мальчика звучал все громче, яркий, сверкающий, как звон мечей.

Гамилькар опустил голову, ослепленный этими предзнаменованиями величия.

— Но вот уже несколько времени как им овладела тревога: он следит взором за парусами, мелькающими на море, он грустит и отталкивает пищу, он спрашивает про богов и хочет увидеть Карфаген.

— Нет, нет, еще не пришло время! — воскликнул суфкет.

Старый раб, видимо, знал, какая опасность пугает Гамилькара, и продолжал:

— Как его удержать? Мне уже приходится тешить его обещаниями, и в Карфаген я попал сегодня только для того, чтобы купить ему кинжал с серебряной рукоятью, осыпанной жемчугом.

Потом он рассказал, что, увидев суффета на террасе, он выдал себя портовой страже за одну из служанок Саламбо и только таким образом смог к нему проникнуть.

Гамилькар погрузился в долгое раздумье и, наконец, сказал:

— Явись завтра в Мегару на закате солнца, за мастерские, изготавливающие пурпур, и крикни три раза шакалом. Если ты меня не увидишь, то приходи в Карфаген каждое первое число месяца. Не забудь ничего! Люби его! Теперь ты можешь говорить ему о Гамилькаре.

Раб снова надел одежду, в которой явился, и они вышли вместе из дома и из порта.

Гамилькар продолжал путь один, без свиты, ибо собрания старейшин были в чрезвычайных случаях всегда тайными, и туда отправлялись скрытно.

Сначала он шел вдоль восточного фасада Акрополя, затем миновал Овощной рынок, галереи Кинисдо, квартал торговцев благовониями. Редкие огни угасали, широкие улицы пустели; потом появились тени, скользившие во мраке. Они следовали за ним, к ним присоединились другие, и все, так же как и он, направлялись в сторону Маппал.

Храм Молоха построен был в мрачном месте, у подножия крутого ущелья. Снизу видны были только высокие стены, бесконечно поднимавшиеся вверх, как у чудовищной гробницы. Ночь была темная, и над морем навис туман; оно билось об утес с шумом, подобным хрипу и рыданиям. Тени постепенно исчезали, точно пройдя сквозь ограду.

Войдя в ворота, пришедшие попадали в большой четырехугольный двор, окруженный аркадами. Посредине возвышалось восьмигранное строение. Над строением поднимались купола, громоздясь вокруг второго этажа, поддерживавшего круглую башню; над нею высилась конусообразная кровля с вогнутыми краями; на конус насажен был шар.

В цилиндрах филигранной работы горели огни; цилиндры были прилажены к шестам, которые держали в руках служители. Светильники колыхались под напором ветра и бросали красные отсветы на золотые гребни, которые поддерживали на затылке волосы, заплетенные в косы; служители бегали и окликались друг друга, готовясь к приему старейшин.

На каменных плитах пола расположились в позах сфинксов громадные львы, живые символы всепожирающего солнца. Они дремали, полузакрыв веки. Проснувшись от шума шагов и голосов, они медленно поднимались, подходили к старейшинам, которых узнавали по платью, и терлись об их бока, выгибая спины и звучно зевая. При свете факелов виден был пар их дыхания. Волнение усилилось, двери закрылись, все жрецы разбежались, и старейшины исчезли за круглой колоннадой, которая образовала глубокое преддверие храма.

Колонны были расположены наподобие колец Сатурна — один круг в другом, сначала круг, обозначающий год, в нем — месяцы и в месяцах — дни, последний круг примыкал к стене святилища.

Там старейшины оставляли свои палки из рога нарвала, ибо закон, всегда соблюдавшийся, наказывал смертью того, кто осмелился бы притти на заседание с каким-либо оружием. У многих одежда была разорвана снизу в каком-нибудь

одном месте, отмеченном пурпуровой нашивкой, чтобы показать, что, оплакивая смерть близких, они не жалели платья. Но этот знак печали служил и для того, чтобы одежда не рвалась дальше. Другие прятали бороду в мешочек из фиолетовой кожи, и мешочек этот прикреплялся двумя шнурками к ушам. Все обнимались при встрече, прижимая друг друга к груди. Они окружили Гамилькара, поздравляя его; их можно было принять за братьев, встречающихся после долгой разлуки.

Люди эти, в большинстве своем, были приземисты, с горбатыми носами, как у ассирийских колоссов. В некоторых, однако, сказывалась африканская кровь и происхождение от предков-кочевников. У них больше выдавались скулы, они были выше ростом, и ноги их были тоньше. Те же, которые проводили весь день в своих конторах, были совсем бледны; другие носили на себе печать суровой жизни в пустыне; необычайные драгоценности сверкали на всех пальцах их смуглых рук, обожженных солнцем неведомых стран. Мореплавателей можно было отличить по раскачивающейся походке, от землепашцев исходил запах виноградного пресса, сена и пота вьючных животных. Эти старые пираты возделывали теперь поля руками наемных рабочих; и эти купцы, накопившие деньги, снаряжали теперь суда, а земледельцы кормили рабов, знающих разные ремесла. Все они обладали глубоким знанием религиозных обрядов, были хитры, беспощадны и богаты. Они казались уставшими от долгих забот. Их глаза, полные огня, смотрели недоверчиво, а привычка к странствованиям и ко лжи, к торговле и к власти наложила на них отпечаток коварства и грубости, скрытой и исступленной жестокости. К тому же влияние бога, которому они поклонялись, омрачало их душу.

Они прошли сначала через сводчатый зал яйцевидной формы. Семь дверей, соответствуя семи планетам, вырисовывались против стены семью квадратами разного цвета. Пройдя через длинную комнату, они вошли в другой такой же зал.

В глубине зала горел канделябр, весь разукрашенный резными цветами, и на каждой из его восьми золотых ветвей в алмазной чашечке плавал фитиль из виссона. Канделябр стоял на последней из длинных ступенек, которые вели к большому алтарю с бронзовыми рогами по углам. Две боковые лестницы поднимались к плоской вершине алтаря. Камней не было видно; алтарь был точно гора скопившегося пепла, и на нем что-то медленно дымилось. Дальше, над канделябром и гораздо выше алтаря, стоял Молох, весь из железа, с человеческой грудью, в которой зияла отверстие. Его раскрытые

крылья простирались по стене, вытянутые руки спускались до земли; три черных камня, окаймленных желтым кругом, изображали на его лбу три зрачка; он со страшным усилием вытягивал вперед свою бычью голову, точно собираясь замычать.

Вокруг комнаты расставлены были табуреты из черного дерева. Позади каждого из них, на бронзовом стержне, стоявшем на трех лапах, висел светильник. Свет отражался в перламутровых ромбах, которыми вымощен был пол. Зал был так высок, что красный цвет стен по мере приближения к своду казался черным, и три глаза идола вырисовывались на самом верху, как звезды, наполовину исчезающие во мраке.

Старейшины расположились на табуретах из черного дерева, подняв на голову полы своих одежд; они сидели неподвижно, скрестив руки в широких рукавах, и перламутровый пол казался светящейся рекой, которая, струясь от алтаря к двери, текла под их голыми ногами.

Четыре верховных жреца находились посредине, спиной друг к другу, на четырех крестообразно расположенных сидениях из слоновой кости. Верховный жрец Эшмуна был в лиловой одежде, верховный жрец Танит — в одежде из белого льна, верховный жрец Камона — в рыжем шерстяном одеянии, а верховный жрец Молоха — в пурпуровом.

Гамилькар направился к канделябру. Он обошел его кругом, осмотрел горевшие фитили, потом посыпал на них душистый порошок; на концах фитилей показалось фиолетовое пламя.

Раздался резкий голос, ему стал вторить другой, и сто старейшин вместе с четырьмя жрецами и Гамилькаром запели гимн. Повторяя одни и те же слова, они усиливали звук, голоса их возвышались, гремели, становились страшными и вдруг умолкли.

Несколько времени прошло в ожидании. Наконец Гамилькар вынул спрятанную у него на груди маленькую статуэтку с тремя головами, синюю, как сапфир, и поставил ее перед собой. Это было изображение Истины, вдохновительницы его речей. Потом он снова спрятал ее на груди, и все стали кричать, точно охваченные внезапным гневом:

— Ведь варвары твои добрые друзья! Изменник! Бесстыдный предатель! Ты вернулся, чтобы присутствовать при нашей гибели? Дайте ему ответить! Нет! Нет!..

Они мстили за сдержанность, которую вынуждены были только что соблюдать во время политического церемониала. И хотя они желали возвращения Гамилькара, но все же возмущались тем, что он не предотвратил их поражения или, вернее, не претерпел его вместе с ними.

Когда шум затих, поднялся с места верховный жрец Молоха.

— Мы спрашиваем тебя, почему ты не вернулся в Карфаген?

— Вам что за дело? — презрительно ответил суфкет.

Крики их усилились.

— В чем вы меня обвиняете? Разве я плохо вел войну? Вы видели планы моих сражений, вы, спокойно предоставившие варварам...

— Довольно! Довольно!..

Он продолжал тихим голосом, чтобы его лучше слушали:

— Да, правда. Я ошибаюсь, светочи Ваалов! Среди вас есть бесстрашные люди! Встань, Гискон!

Осматривая ступеньки алтаря, прищуривая глаза, точно отыскивая кого-то, он повторил:

— Встань, Гискон! Теперь ты можешь выступить против меня. Они тебя поддержат. Но где же он?

Потом он добавил, точно поправляя себя:

— Ну да, конечно, он у себя дома! Он окружен сыновьями и отдает приказы своим рабам. Он счастлив и пересчитывает на стене почетные ожерелья, которыми наградило его отечество!

Пожимая плечами точно под ударами хлыста, они беспокойно задвигались.

— Вы даже не знаете, жив он или мертв!

И, не обращая внимания на их возгласы, он говорил им, что, предав суффета, они тем самым предали Республику и что мир с римлянами, при всей его кажущейся выгоде, был пагубнее, чем двадцать битв.

Несколько человек стали рукоплескать ему, но это были наименее богатые из членов Совета, которых всегда подозревали в тяготении к народу или к тирании. Их противники, начальники Сисситов и администраторы, превосходили их числом: наиболее влиятельные поместились около Ганнона, который сидел в другом конце зала, перед высокой дверью, завешенной фиолетовой драпировкой.

Он скрыл под румянами язвы на лице. Но золотая пудра осыпалась с его волос на плечи двумя блестящими пятнами, и видно было, что они белесые, жидкие и вьющиеся, как шерсть. Повязки, пропитанные жирными благовониями, которые просачивались наружу и капали на пол, скрывали его руки. Его здоровье видимо ухудшалось; глаза совершенно исчезали под опухшими веками. Чтобы что-нибудь видеть, он должен был закидывать голову. Его сторонники убеждали его ответить Гамилькару. Наконец он заговорил хриплым, отвратительным голосом:

— Не будь таким надменным, Барка! Мы все побеждены! Нужно мириться с несчастьем! Покорись и ты!

— Расскажи нам лучше,— возразил с улыбкой Гамилькар,— как это ты повел свои галеры на римские корабли?

— Меня гнал ветер,— ответил Ганнон.

— Ты, точно носорог, топчешься в своих нечистотах: ты выставляешь напоказ свою глупость! Молчи лучше!

И они стали обвинять друг друга, заспорив о битве у Эгатских островов.

Ганнон упрекал Гамилькара за то, что тот не пошел ему навстречу.

— Но я бы этим разоружил Эрикс. Кто тебе мешал выйти в море? Ах да, я забыл,— слоны боятся моря!

Сторонникам Гамилькара так понравилась эта шутка, что они начали громко хохотать. Свод гудел точно от ударов в кимвалы.

Ганнон запротестовал против несправедливого оскорбления, утверждая, что он заболел вследствие простуды, схваченной при осаде Гекатомпиля. Слезы текли по его лицу, как зимний дождь по развалившейся стене.

Гамилькар продолжал:

— Если бы вы меня любили так, как его, в Карфагене царила бы теперь великая радость! Сколько раз я взывал к вам, а вы всегда отказывали мне в деньгах!

— Они были нужны нам самим,— ответили начальники Сисситов.

— А когда мое положение было отчаянным и мы пили мочу мулов и грызли ремни наших сандалий, когда мне хотелось, чтобы каждая былинка травы превратилась в солдата, и я готов был составлять батальоны из гниющих трупов наших людей, вы отозвали последние мои корабли!

— Мы не могли рисковать всем нашим имуществом,— ответил Баат-Баал, владевший золотыми приисками в Гетулии Даритийской.

— А что вы делали тем временем здесь, в Карфагене, укрывшись за стенами ваших домов? Нужно было оттеснить галлов на Эридан, хананеяне могли явиться в Кирены, и в то время как римляне посылали послов к Птолемею...

— Теперь он уже восхваляет римлян!

И кто-то крикнул ему:

— Сколько они заплатили тебе, чтобы ты их защищал?

— Спроси об этом равнины Бруттиума, развалины Локра, Метапонта и Гераклеи! Я сжег там все деревья, ограбил храмы и даже предал смерти внуков их внуков...

— Ты высокопарен, как ритор,— сказал Капурас, прославленный купец.— Чего ты хочешь?

— Я говорю, что нужно быть или более хитроумным, или более грозным! Если вся Африка сбрасывает с себя ваше иго, то потому, что вы слабосильны и не умеете укрепить свое господство! Агафоклу, Регулу, Сципиону — всем этим смельчакам стоит только высадиться, чтобы отвоевать Африку. Когда ливийцы на востоке столкнутся с нумидийцами на западе, когда кочевники придут с юга и римляне с севера...

Раздался крик ужаса.

— Да, вы будете тогда бить себя в грудь, валяться в пыли и рвать на себе плащи! Но будет поздно! Придется вертеть жернова в Субурре и собирать виноград на холмах Лациума.

Они хлопали себя по правому бедру в знак негодования, и рукава их одежд поднимались, как большие крылья испуганных птиц. Гамилькар, охваченный неистовством, продолжал говорить, стоя на верхней ступеньке алтаря, весь дрожа, страшный с виду. Он поднимал руки, и огонь светильника, горевшего за ним, просвечивал между его пальцами, точно золотые копыя.

— У вас отнимут корабли, земли, колесницы! Не будет у вас всяких постелей и рабов, растирающих вам тело! Шакалы будут спать в ваших дворцах, и плуг разроет ваши гробницы. Ничего не останется, кроме крика орлов и развалин. Ты падешь, Карфаген!

Четыре главных жреца протянули руки, как бы ограждая себя от проклятий. Все поднялись с мест. Но морской суфкет, священнослужитель, находился под покровительством Солнца и был неприкосновенен до тех пор, пока его не осудило собрание богатых. Вид алтаря наводил ужас, и жрецы отступили назад.

Гамилькар умолк. Взгляд его остановился, и лицо было бледнее жемчуга на его тиаре. Он задыхался, почти испуганный собственными словами, погрузившись в мрачные видения. С возвышения, на котором он стоял, светильники на бронзовых стержнях казались ему широким венцом огней вровень с полом; черный дым, исходивший от них, поднимался к темным сводам, и в течение нескольких минут тишина была такая глубокая, что слышен был далекий шум моря.

Потом старейшины стали совещаться между собой. Их интересы, все их существование было в опасности из-за варваров. Но победить их без помощи суффета нельзя. При всей их гордости это соображение вытесняло всякие другие. Они стали отводить в сторону друзей Гамилькара. Пошли корыстные примирения, намеки, обещания. Гамилькар сказал, что отказывается чем-либо управлять. Все стали его упрашивать, умолять. В их речах, однако, повторялось слово «предательство», и это вывело его из себя. Единственным предателем

был, по его словам, Великий совет, ибо обязательства наемников ограничивались сроком войны, и они становились свободными, как только война кончилась. Он даже восхвалял их храбрость и говорил о выгоде, которую можно было бы извлечь, примирив их с Республикой дарами и обещаниями льгот.

Тогда Магдасан, бывший правитель провинций, сказал, вращая желтыми глазами:

— Право, Барка, ты, кажется, слишком долго путешествовал и сделался не то греком, не то римлянином. О каких наградах может быть речь? Пусть лучше погибнут десять тысяч варваров, чем один из нас!

Старейшины кивали головами в знак одобрения, бормоча:

— Конечно, чего там стесняться? Их всегда можно набрать сколько угодно!

— И от них к тому же легко избавиться, не правда ли? Стоит их бросить, как вы это сделали в Сардинии. А то еще можно осведомить неприятеля о том, по какой дороге они пойдут, как вы поступили с галлами в Сицилии. Или же высадить их среди моря. На обратном пути в Карфаген я видел утес, весь покрытый их побелевшими костями!

— Подумаешь, какая беда! — нагло воскликнул Капурас.

— Не переходили они, что ли, сто раз на сторону неприятеля? — возражали другие.

— Зачем же вы, вопреки законам, вызвали их обратно в Карфаген? — воскликнул Гамилькар. — А когда они, неимущие и многочисленные, уже очутились у вас в городе среди ваших богатств, почему вам не пришло в голову ослабить их раздорами? А потом вы их проводили вместе с женами и детьми, не оставив ни одного заложника! Вы, что же, надеялись, что они сами перебьют друг друга, чтобы избавиться вас от неприятной обязанности выполнить свои клятвы? Вы ненавидите их, потому что они сильны! И вы еще больше ненавидите меня, их повелителя? Я это почувствовал теперь, когда вы мне целовали руки и с трудом сдерживались, чтобы не искушать их!

Если бы лвы, спавшие на дворе, с ревом вбежали в зал, шум не был бы страшнее, чем тот, который вызвали слова Гамилькара. Но в это время поднялся с места верховный жрец Эшмуна; сдвинув колени, прижав локти к телу, выпрямившись и полураскрыв руки, он сказал:

— Барка! Карфагену нужно, чтобы ты принял начальство над всеми пуническими силами против наемников.

— Я отказываюсь! — ответил Гамилькар.

— Мы предоставим тебе полную власть! — крикнули начальники Сисситов.

— Нет!

— Власть без раздела и отчета, сколько захочешь денег, всех пленников, всю добычу, пятьдесят зеретов земли за каждый неприятельский труп.

— Нет, нет! С вами победа невозможна!

— Он их боится!

— Вы бесчестны, скупы, неблагодарны, малодушны и безумны!

— Он их щадит!

— Он хочет стать во главе их,— сказал кто-то.

— И хочет с ними пойти на нас,— сказал другой.

А с дальнего конца залы Ганнон завопил:

— Он хочет провозгласить себя царем!

Тогда они повскакали с мест, опрокидывая сиденья и светильники. Они бросились толпой к алтарю, размахивая кинжалами. Но Гамилькар, засунув руки в рукава, вынул два больших ножа. Полусогнувшись, выставив левую ногу, стиснув зубы, сверкая глазами, он вызывающе глядел на них, не двигаясь с места под золотым канделябром.

Оказалось, что они из осторожности принесли оружие. Это было преступлением, и они с ужасом глядели друг на друга. Но все быстро успокоилось, увидав, что каждый одинаково виновен. Мало-помалу, повернувшись спиной к суффету, они спустились со ступенек алтаря, взбешенные своим унижением. Уже во второй раз отступают они перед ним. Несколько мгновений они стояли неподвижно. Некоторые, поранив себе пальцы, подносили их ко рту или осторожно заворачивали в полу плаща и уже собирались уходить, когда Гамилькар услышал следующие слова:

— Он отказывается из осторожности, чтобы не огорчить свою дочь!

Чей-то голос громко сказал:

— Конечно! Ведь она выбирает любовников среди наемников!

Сначала Гамилькар зашатался, потом глаза его стали быстро искать Шагабарима. Только жрец Танит остался на месте, и Гамилькар увидел издали его высокий колпак. Все стали смеяться Гамилькару в лицо. По мере того как возросло его волнение, они становились все веселее, и среди гула насмешек стоявшие позади кричали:

— Его видели, когда он выходил из ее опочивальни!

— Это было однажды утром в месяце Таммаузе!

— Он и был похититель заимфа!

— Очень красивый мужчина!

— Выше тебя ростом!

Гамилькар сорвал с себя тиару, знак своего сана,— тиару

из восьми мистических кругов с изумрудной раковиной посредине,— и обеими руками изо всех сил бросил ее наземь. Золотые обручи подскочили, разбившись, и жемчужины покапались по плитам пола. Тогда все увидели на его белом лбу длинный шрам, извивавшийся между бровями, как змея. Все тело его дрожало. Он поднялся по одной из боковых лестниц, которые вели к алтарю, и взшел на алтарь. Этим он посвящал себя богу, отдавал себя на заклятие, как искупительную жертву. Движение его плаща раскачивало свет канделябра, стоявшего ниже его сандалий; тонкая пыль, вздымаемая его шагами, окружала его облаком до живота. Он остановился между ног бронзового колосса и, взяв в обе руки по пригоршне пыли, один вид которой вызывал дрожь ужаса у всех карфагенян, сказал:

— Клянусь ста светильниками ваших духов! Клянусь всею семью огнями Кабиров! Клянусь звездами, метеорами, вулканами и всем, что горит! Клянусь жаждой пустыни и соленостью океана, пещерой Гадрумета и царством душ! Клянусь убийством! Клянусь прахом ваших сыновей и братьев ваших предков, с которым я смешиваю теперь мой! Вы, сто членов карфагенского Совета, солгали, обвинив мою дочь! И я, Гамилькар Барка, морской суфкет, начальник богатых и властитель народа, я клянусь перед Молохом с бычьей головой...

Все ждали чего-то страшного; он закончил более громким и более спокойным голосом:

— Клянусь, что даже не скажу ей об этом!

Служители храма с золотыми гребнями в волосах вошли, одни с пурпуровыми губками, другие с пальмовыми ветвями. Они подняли фиолетовую завесу, закрывавшую дверь, и сквозь отверстие в этом углу открылось в глубине других зал широкое розовое небо, которое как бы продолжало свод, упираясь на горизонте в совершенно синее море. Солнце поднималось, выходя из волн. Оно вдруг ударило в грудь бронзового колосса, разделенную на семь помещений, отгороженных решетками. Его пасть с красными зубами раскрылась в страшном зиянии, огромные ноздри раздувались; яркий свет оживлял его, придавая ему страшный и нетерпеливый вид, точно он хотел выскочить и слиться с светилом, с богом, чтобы вместе с ним блуждать по бесконечным пространствам.

Светильники, брошенные наземь, еще горели, кидая на перламутровые плиты пола блики, похожие на пятна крови. Старейшины шатались от изнеможения; они вдыхали полной грудью свежий воздух; пот струился по их помертвевшим лицам. Они столько кричали, что уже не слышали друг друга. Но их гнев против суффета не улегся; они осыпали его на прощание угрозами, и Гамилькар отвечал им тем же.

- До следующей ночи, Барка, в храме Эшмуна!
- Я явлюсь туда!
- Мы добьемся твоего осуждения богатыми!
- А я — вашего осуждения народом!
- Берегись кончить жизнь на кресте!
- А вы — быть растерзанными на улицах!

Выйдя за порог храма на двор, они тотчас же приняли спокойный вид.

Их ждали у ворот скороходы и возницы. Большинство село на белых мулов. Суффет вскочил в свою колесницу и взял в руки вожжи; две лошади, сгибая шею и мерно ударя копытами по отскакивавшему с земли мелким камешкам, быстро понеслись вверх, по дороге в Маппалы; казалось, что серебряный коршун на конце дышла летел по воздуху, до того быстро мчалась колесница.

Дорога пересекала поле, усеянное длинными каменными плитами с заостренными верхушками, наподобие пирамид; посередине каждой из них высечена была раскрытая рука, как будто требовательно протянутая к небу лежащим под плитой мертвецом. Далее шли землянки из глины, из ветвей, из тростника — все конической формы. Низкие стены из маленьких камней, ручейки, плетеные веревки, живые изгороди из кактуса разделяли неправильными линиями эти жилища; они лепились все теснее и теснее, по мере того как поднимались к садам суффета. Гамилькар устремил взор на большую башню; три этажа ее представляли собою три громадных цилиндра: первый — построенный из камня, второй — из кирпичей, а третий — из цельного кедрового дерева. Они поддерживали медный купол, покоившийся на двадцати четырех колоннах из можжевельного дерева, с которых спускались гирляндами переплетенные бронзовые цепочки. Это высокое здание вздымалось над строениями, тянувшимися справа, кладовыми, домом для торговли. Дворец для женщин высился в отдалении за кипарисами, выстроившимися прямой линией, как две бронзовые стены.

Грохочущая колесница въехала в узкие ворота и остановилась под широким навесом, где лошади, стоя на привязи, жевали охапки свежескошенной травы.

Все слуги выбежали навстречу хозяину. Их было множество; рабов, обыкновенно трудившихся в полях, привезли обратно в Карфаген из страха перед наемниками. Землепашцы, одетые в шкуры, тащили за собой цепи, заклепанные у щиколоток; у рабочих, занятых изготовлением пурпура, руки были красные, как у палачей; на моряках были зеленые

шапки, у рыбаков — коралловые ожерелья; у охотников перекинуты через плечо сети; мегарцы были в белых или черных туниках, в кожаных панталонах, соломенных, войлочных или полотняных шапочках, соответственно роду службы и промыслу.

Сзади толпились люди в лохмотьях. Не имея определенных занятий, они не жили в самом доме, спали ночью в садах, питались кухонными отбросами; то была человеческая плесень, прозябавшая под сенью дворца. Гамилькар терпел их скорее из предусмотрительности, чем из пренебрежения. Все в знак радости воткнули за ухо цветок, хотя многие никогда не видели суффета.

Но тотчас же явились люди в головных уборах, как у сфинксов, с большими палками в руках и бросились в толпу, нанося удары направо и налево. Так они отгоняли рабов, сбжавшихся взглянуть на господина, для того чтобы они не напирали на него и не раздражали его своим запахом.

Все пали ниц с криком:

— Око Ваала, да процветает твой дом!

Проходя среди этих людей, лежащих на земле в аллее кипарисов, главный управляющий дворца Абдалоним, в белой митре, направился к Гамилькару, держа в руках кадильницу.

Саламбо сходила по лестнице галер. Все ее прислужницы следовали за нею, спускаясь со ступеньки на ступеньку. Головы негритянок казались черными пятнами среди золотых повязок, стягивавших лоб римлянок. У некоторых были в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки, расположенные в виде солнца. Среди всех этих желтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахромы и браслеты; слышался шелест легких тканей; стучали сандалии и глухо ударялись о дерево босые ноги; а кое-где рослый евнух, возвышаясь на целую голову над женщинами, улыбался, подняв лицо вверх. Когда стихли приветствия рабов, женщины, закрывшись рукавами, испустили все вместе странный крик, подобный вою волчиц, такой бешеный и пронзительный, что большая лестница из черного дерева, на которой они толпились, зазвенела, точно лира.

Ветер шевелил их покрывала, и тонкие стебли папируса тихо покачивались. Был месяц Шебат, середина зимы. Гранатовые деревья в цвету вырисовывались на синеве неба, между ветвей виднелось море и вдалеке остров, исчезавший в тумане.

Увидев Саламбо, Гамилькар остановился. Она родилась у него после смерти нескольких сыновей. У всех солнцепоклонников рождение дочерей считалось вообще несчастьем. Боги послали ему потом сына, но в душе его все же остался след об-



Худ. А. Пуарсон. 1885.

«Саламбо» (стр. 37).

манутой надежды, а также потрясение от проклятия, которое он произнес при рождении дочери. Саламбо шла к нему на встречу.

Жемчуга разных оттенков спускались длинными гроздьями с ее ушей на плечи и до локтей, волосы были завиты наподобие облака. На шее у нее висели маленькие золотые квадратики с изображением на каждом женщины между двумя поднявшимися на дыбы львами; одежда ее была полным воспроизведением наряда богини. Лиловое платье с широкими рукавами, стягивая талию, расширялось книзу. Ярко накрашенные губы выделяли белизну зубов, а насурмленные веки удлинляли глаза. На ней были сандалии из птичьих перьев на очень высоких каблуках. Лицо — чрезвычайно бледное, очевидно, от холода.

Наконец она дошла до Гамилькара и, не глядя на него, не поднимая головы, сказала:

— Приветствую тебя, Око Ваалов! Вечная слава тебе! Победа! Покой! Довольство! Богатство! Давно уже сердце мое печалилось и дом твой томился. Но возвращающийся домой господин подобен воскресшему Таммузу, под твоим взором, степ, расцветут радость и новая жизнь!

Взяв из рук Тааных маленький продолговатый сосуд, в котором дымилась смесь муки, масла, кардамона и вина, она сказала:

— Выпей до дна питье, приготовленное служанкой твоей в честь твоего возвращения!

— Будь благословенна! — ответил он и машинально взял в руки золотую чашу, которую она ему протягивала.

Но он посмотрел на нее при этом так пристально, что Саламбо в смятении пробормотала:

— Тебе сказали, господин?..

— Да, я знаю, — тихо проговорил Гамилькар.

Что это было — признание? Или же она говорила о варварах? Он прибавил несколько неопределенных слов о государственных затруднениях, которые надеется преодолеть один, без чужой помощи.

— Ах, отец! — воскликнула Саламбо. — Ты не можешь изгладить непоправимого!

Он отступил от нее, и Саламбо удивилась его ужасу; она думала не о Карфагене, а лишь о том святотатстве, в котором была как бы соучастницей. Этот человек, при виде которого дрожали легионы и которого она едва знала, пугал ее, как божество; он все знал, он обо всем догадался, и сейчас должно было произойти нечто ужасное.

— Пощади! — воскликнула она.

Гамилькар медленно опустил голову.

Хотя она и желала сознаться в своей вине, но не решалась открыть уста; а вместе с тем ей хотелось жаловаться, хотелось, чтобы ее утешили. Гамилькар боролся с желанием нарушить свою клятву; он не нарушал ее из гордости или из боязни, что исчезнет возможность сомневаться; он смотрел ей в лицо, напрягал все свои силы, чтобы понять, что она таит в глубине сердца.

Саламбо, задыхаясь, спрятала голову в плечи, раздавленная тяжелым взглядом отца. Это убеждало его, что она отдалась варвару. Он весь дрожал и поднял кулаки. Она испустила крик и упала на руки женщин, поспешно ее окруживших.

Гамилькар повернулся и ушел. Управители пошли за ним.

Ему открыли двери складов, и он вошел в большую круглую залу, куда сходились, как спицы колеса к ступице, длинные коридоры, которые вели в другие залы. Посредине стоял каменный круг, обнесенный перилами; они поддерживали подушки, наваленные кучей на ковры.

Суфкет стал ходить большими быстрыми шагами; он шумно дышал, топал об землю каблуками и проводил рукой по лбу, точно отгоняя назойливых мух. Потом он покачал головой и, глядя на груды своих богатств, успокоился. При виде уходящих вдаль переходов он мысленно стал обозревать другие залы, полные редкостных сокровищ. Бронзовые плиты, слитки серебра и полосы железа чередовались с кругами олова, привезенными с Касситерид по Туманному морю; камедь, добытая в стране чернокожих, вываливалась из мешков, сшитых из пальмовой коры. Золотой песок, набитый в мехи, заметно высыпался через протертые швы. Тонкие волокна, извлеченные из морских трав, висели между льном из Египта, Греции, Тапробана и Иудеи; кораллы поднимались кустами у нижнего края стен; в воздухе носился неопределимый смешанный запах духов, кожи, пряностей и страусовых перьев, висевших большими пучками на самом верху свода. Перед каждым коридором стояли слоновьи клыки, соединенными концами образуя арку над дверью.

Наконец он поднялся на каменный круг. Все управители скрестили руки и опустили головы; только Абдалоним с гордостью высоко носил свою остроконечную митру.

Гамилькар стал спрашивать начальника кораблей. Это был старый моряк с вывороченными ветром веками, белые космы волос спускались ему до бедер, точно на бороде его осталась пена от бурь.

Он ответил, что отправлял флот через Гадес и Тимиамату, огибая Южный Рог и мыс Благоуханий, чтобы достигнуть Эционгабера. Другие корабли продолжали путь на запад в течение четырех месяцев и все время не видели берега; носы

кораблей, однако, застревали в травах, горизонт оглашался шумом водопадов, туманы кровавого цвета затемняли солнце, ветер, отягощенный ароматами, усыплял матросов, и они теперь ничего не могут рассказать: до того память их ослабела. Все же они поднялись на своих судах вверх по скифским рекам, проникли в Колхиду, к урийцам, к эстам, похитили в Архипелаге тысячу пятьсот дев и потопили все чужеземные корабли, переплывшие за мыс Эстримон, чтобы не обнаружилась тайна путей. Царь Птолемей владел шезбарским ладаном; Сиракузы, Элатия, Корсика и острова ничего не доставили, и старый моряк понизил голос, чтобы сообщить, что одна трирема была захвачена в Рузикаде нумидийцами.

— Они на их стороне, господин.

Гамилькар нахмурил брови. Потом он знаком потребовал отчета у начальника путешествий, облаченного в коричневую одежду без пояса; голова его была обмотана длинным белым шарфом, конец которого, проходя у края рта, падал сзади на плечо.

Он сообщил, что караваны выступили, как полагалось, в зимнее равноденствие. Но из тысячи пятисот человек, направившихся в глубь Эфиопии с отличными верблюдами, новыми мехами и большими запасами крашеного холста, только один вернулся в Карфаген. Все остальные умерли от изнеможения или лишились рассудка из-за ужасов пустыни. Уцелевший рассказывал, что далеко за Черным Гарушом, за Атарантами и страной великих обезьян он видел огромные царства, где все, даже мельчайшая домашняя утварь, сделано из золота, где течет река молочного цвета, широкая, как море, где есть леса с синими деревьями, холмы благоуханий и чудовища с человеческими лицами, живущие на скалах; чтобы видеть, глаза их распускаются, как цветы; дальше, за озерами, которые охраняют драконы, возвышаются хрустальные горы, поддерживающие солнце. Другие караваны вернулись из Индии с павлинами, перцем и новыми тканями. Что же касается тех, которые отправились покупать халцедон по дороге через Сирты и храм Аммона, то они, наверное, погибли в песках. Караваны, отправленные в Гетулию и Фацтану, доставили свою обычную добычу, но теперь он, начальник путешествий, не решается снаряжать новые караваны.

Гамилькар понял, что дороги заняты наемниками. Он оперся с глухим стоном на локоть. Начальник ферм так боялся говорить, что весь дрожал, несмотря на свои коренастые плечи и большие красные зрачки. У него было курносое лицо, похожее на морду дога, и на лоб спускалась сетка из волокон древесной коры. За поясом из невыделанной леопардовой шкуры сверкали два огромных ножа.

Как только Гамилькар обернулся, он стал с криком призывать всех Ваалов. Он не виноват! Он ничего не мог сделать! Он сообразовался с погодой, с условиями почвы, со звездами, делал посевы в зимнее солнцестояние, обрезал ветви, когда луна была на ущербе, следил за рабами, берег их одежду.

Гамилькара раздражала его болтливость. Он щелкнул языком, и человек с ножами стал торопливо заканчивать:

— Они все разграбили, господин! Все изломали, все уничтожили! Три тысячи деревьев срублены в Масшале, в Убаде сломаны амбары, засыпаны водоемы! В Тедесе они увезли тысячу пятьсот гоморов муки, в Марацане убили пастухов, съели стада, сожгли твой дом, твой чудный дом из кедровых бревен, куда ты приезжал на лето! Рабы из Тубурбо, которые жали ячмень, убежали в горы, а из ослов, онагров, мулов, таорминских быков и орингских лошадей ни одного не осталось! Всех увели! Сущее проклятие! Я его не переживу!

Он продолжал, плача:

— Если бы ты знал, как полны были кладовые и как сверкали плуги! Какие чудесные бараны, какие дивные быки!..

Гнев душил Гамилькара, и он перестал сдерживать себя:

— Молчи! Бедняк я, что ли? Не лгать! Говорите правду! Я хочу знать свои потери до последнего сикля, до последнего каба! Абдалоним, принеси мне счета кораблей и караванов, а также счета ферм и дома! И если ваша совесть не чиста — горе вам! Ступайте!

Управители вышли, пятясь задом и опустив руки до земли.

Абдалоним вынул из ящика, вделанного в стену, веревки с узлами, полоски холста и папируса, бараньи лопаточные кости, исписанные мелким письмом. Все это он сложил к ногам Гамилькара, потом дал ему в руки деревянную раму с натянутыми внутри тремя нитями, на которые надеты были шары — золотые, серебряные и роговые. Затем он начал:

— Сто девяносто два дома в Маппалах сданы внаем новым карфагенским гражданам по одному беку в месяц.

— Слишком дорого. Щади бедных! И запиши имена тех, которые покажутся тебе наиболее смелыми. Постарайся также узнать, преданны ли они Республике. Продолжай!

Абдалоним колебался, удивленный такой щедростью.

Гамилькар вырвал у него из рук холшовые полосы.

— Это что такое? Три дворца вокруг Камона по тринадцати кезит в месяц! Ставь двадцать! Я не хочу, чтобы меня пожрали богатые.

Управитель над управителями продолжал, отвесив низкий поклон:

— Дана ссуда Тигилласу до конца работ: два киккара из трех, обычный морской процент. Бар-Мелькарту — тысяча

пятьсот сиклей под залог тридцати рабов. Но двенадцать из них умерли в солончаках.

— Значит, хилый народ был,— сказал со смехом суффет.— Да это ничего! Ему, если понадобятся деньги, ссужай! Нужно всегда давать займы и под разные проценты, смотря по тому, сколько у кого богатств.

Тогда Абдалоним поспешил доложить о доходах, которые принесли железные рудники Аннабы, коралловая ловля, производство пурпура, откуп на взимание налога с проживавших в Карфагене греков, вывоз серебра в Аравию, где оно стоило в десять раз дороже золота, захват кораблей, за вычетом десятины на храм богини.

— Я каждый раз показывал на четверть меньше доходов, господин!

Гамилькар считал на шарах, которые звенели под его пальцами.

— Довольно! Что выплачено?

— Стратониклесу коринфскому и трем александрийским купцам вот по этим письмам (они возвращены) десять тысяч афинских драхм и двенадцать талантов сирийского золота. Продовольствие экипажа обошлось по двадцать мин в месяц на трирему...

— Знаю. Сколько погибло?

— Вот счет, на этих свинцовых плитках,— сказал Абдалоним.— Что же касается кораблей, зафрахтованных сообща, то ведь приходилось часто бросать груз в море, и поэтому неравные потери были распределены по числу участников. За снасти, взятые напрокат из арсенала и не возвращенные из-за гибели судов, Сисситы потребовали перед походом на Утику по восемьсот кезит.

— Опять они! — сказал Гамилькар, опустив голову.

Несколько минут он сидел, раздавленный тяжестью общей злобы против него.

— Но где же мегарские счета? — спросил он.— Я их не вижу.

Абдалоним, побледнев, взял из другого ящика дощечки из дерева дикой смоковницы, нанизанные по пачкам на кожаные шнуры.

Гамилькар слушал его, озабоченный подробностями домашнего хозяйства; его успокаивал однообразный голос, произносивший цифры за цифрами, но речь Абдалонима стала замедляться. Вдруг он уронил на пол деревянные дощечки и бросился на землю, вытянув руки, в позе осужденного. Гамилькар спокойно поднял дощечки; губы его раскрылись, и глаза расширились, когда он увидел помеченными среди расходов за один день огромные количества мяса, рыбы, дичи,

вина и благовоний, а также много разбитых ваз, умерших рабов, испорченных ковров.

Абдалоним, продолжая лежать распростертым на полу, рассказал ему про пиршество варваров. Он не мог послушаться старейшин. Саламбо тоже требовала, чтобы он не жалел денег и хорошо принял солдат.

При имени дочери Гамилькар вскопчил. Потом, сжав губы, он сел на подушки и стал обрывать бахрому ногтями, задыхаясь, устремив в пространство неподвижный взгляд.

— Встань,— сказал он и спустился вниз с каменного круга.

Абдалоним последовал за ним; колени его дрожали. Но, схватив железный прут, он стал с неистовством взламывать пол. Один из деревянных дисков подался, и под ним обнаружился вдоль всего коридора несколько широких крышек, которые замыкали ямы, куда складывали хлеб.

— Видишь, Око Ваала,— сказал управитель, весь дрожа,— они не все взяли! Каждая яма имеет в глубину пятьдесят локтей, и все наполнены доверху! В твое отсутствие такие же ямы были вырыты, по моему приказу, в арсеналах, в садах, повсюду! Твой дом полон хлеба, как твое сердце полно мудрости.

Улыбка пробежала по лицу Гамилькара.

— Хорошо, Абдалоним! — проговорил он.

Потом, наклонившись, он сказал ему на ухо:

— Вывези еще хлеба из Этрурии, из Бруттиума, откуда хочешь и по какой угодно цене! Накопи и спрячь! Я хочу, чтобы весь хлеб Карфагена был в моих руках.

Когда они дошли до конца коридора, Абдалоним открыл одним из ключей, висевших у него на поясе, большую квадратную комнату, разделенную посредине кедровыми колоннами. Золотые, серебряные и медные монеты, размещенные на столах или уложенные в ниши, поднимались вдоль четырех стен до кровельных стропил. В огромных корзинах из гиппопотамовой кожи лежали по углам ряды маленьких мешков; разменная монета навалена была кучами на полу; рассыпавшиеся местами слишком высокие груды имели вид рухнувших колонн. Большие карфагенские монеты, изображавшие Танит и лошадь под пальмой, смешивались с монетами колоний, носившими изображения быков, звезд, шара или полумесяца. Дальше расположены были неровными кучами монеты разных достоинств, разных размеров, разных эпох — начиная со старинных ассирийских, тонких, как ноготь, до старинных латинских, толще руки, и от эгинских монет в виде пуговиц до бактрианских дощечек и коротких брусков древней Лакедемонии; некоторые были ржавые, грязные, позеленевшие от воды, почерневшие от огня; их захватили сетями или нашли после

осады городов среди развалин. Суффег быстро подсчитал, соответствуют ли наличные суммы представленным ему счетам прибыли и потерь. Перед уходом он увидел три медных кувшина, совершенно пустых. Абдалоним отвернул голову в знак ужаса; Гамилькар, примирившись с потерями, ничего не сказал.

Через несколько коридоров и зал они пришли, наконец, к двери, где на страже стоял человек, для верности привязанный вокруг живота длинной цепью, вделанной в стену. Это был римский обычай, недавно введенный в Карфагене. У раба чудовищно отросли борода и ногти, и он качался справа налево, как зверь в клетке. Завидев Гамилькара, он бросился к нему с криком:

— Сжался надо мной, Око Ваала! Смилуйся и умертви меня! Вот уже десять лет как я не видел солнца. Во имя твоего отца, сжался надо мной!

Гамилькар, не отвечая ему, ударил несколько раз в ладони; появились три человека, и все четверо сразу, напрягая силы, вынули из колец огромный засов, замыкавший дверь. Гамилькар взял светильник и исчез во мраке.

Можно было предположить, что там находились семейные гробницы, на самом же деле это был большой колодезь. Он был вырыт, чтобы обмануть ожидания воров, и в нем ничего не хранилось. Гамилькар обошел его, потом, наклонившись, повернул на валиках огромный жернов и проник через отверстие в конусообразное помещение.

Стены его были покрыты медной чешуей; посредине на гранитном пьедестале стояла статуя Кабира, носившего имя Алета, который первый устроил рудники в Кельтиберии. У подножия статуи крестообразно расположены были большие золотые щиты и серебряные вазы чудовищных размеров с закрытыми горлышками, странной формы и совершенно не годные для употребления; много металла отливалось таким образом, чтобы сделать невозможным похищение и даже перемещение сокровищ.

Гамилькар зажег своим светильником рудниковую лампу, прикрепленную к головному убору идола; зеленые, желтые, синие, фиолетовые, винного и кровавого цвета огни осветили вдруг залу. Она была полна драгоценных камней, заключенных в золотые сосуды вроде тыквенных бутылок. Они были подвешены, как лампы, к бронзовым постаментом. Отдельно лежали вдоль стен самородки. Среди камней были калаисы, извлеченные из недр горы с помощью пращей, карбункулы, образовавшиеся из мочи рысей, глоссопетры, упавшие с луны, тианы, алмазы, сандастры, бериллы, три рода рубинов, четыре породы сапфира и двенадцать разновидностей изумруда. Камни сверкали подобно брызгам молока, синим льдинкам, серебряной

пыли и отбрасывали огни в виде полос, лучей, звезд. Нефриты, порожденные громом, сверкали рядом с халцедонами, исцеляющими от яда. Были там еще топазы с горы Забарки для предотвращения ужасов, бактрианские опалы, спасавшие от выкидышей, и рога Аммона, которые кладут под кровать, чтобы вызвать сны.

Огни камней и свет ламп отражались в больших золотых щитах. Гамилькар стоял, улыбаясь, скрестив руки; он наслаждался не столько зрелищем, сколько сознанием своего богатства. Сокровища были недоступны, неисчерпаемы, бесконечны. Предки, спавшие под его ногами, посылали его сердцу частицу своей вечности. Он чувствовал близость к подземным духам. То было подобие радости Кабира; сверкающие лучи, касавшиеся его лица, казались ему концом невидимой сети, которая через бездны привязывала его к центру мира.

Мелькнувшая в голове мысль вызвала в нем дрожь, и, став позади идола, он направился прямо к стене. Потом стал рассматривать среди татуировки на своей руке горизонтальную линию с двумя другими, перпендикулярными, что на ханаанском счислении означало число тринадцать. Он пересчитал до тринадцатой бронзовые пластинки и еще раз поднял свой широкий рукав; вытянув правую руку, он прочел на другом месте руки другие линии, более сложные, и легким движением провел по ним пальцами, будто играя на лире. Наконец он ударил семь раз большим пальцем, и целая часть стены сразу повернулась.

Она скрывала склеп, где хранилось много таинственного, безыменного, неисчислимо дорогого. Гамилькар спустился по трем ступенькам, взял в серебряном тазу кожу ламы, плававшую в черной жидкости, потом снова поднялся наверх.

Абдалоним опять пошел впереди него. Он ударял о плиты пола своей высокой палкой с колокольчиками на набалдашнике и перед каждым отделением громко произносил имя Гамилькара, сопровождая его хвалами и благословениями.

В круглой галерее, куда сходились все проходы, нагромождены были вдоль стен балки из альгумина, мешки с лавзонией, лепешки из лемносской глины и черепаховые щиты, наполненные жемчугом. Суфлет, проходя мимо, касался их своим платьем, даже не глядя на огромные куски амбры, вещества почти божественного, созданного лучами солнца.

Из одного отделения вырывался благоуханный пар.

— Открой дверь!

Они вошли.

Голые люди месили тесто, выжимали травы, мешали угли, разливали масло по кувшинам, открывали и закрывали маленькие продолговатые ячейки, выдолбленные вокруг стены и столь многочисленные, что все помещение походило на внутренность

улья. Они были полны до краев мироболаном, бделием, шафраном и фиалками. Всюду были разбросаны камеди, порошки, корни, стеклянные пузырьки, ветки таволги, лепестки роз; трудно было дышать среди этих ароматов, несмотря на вихри дыма от росного ладана, который курился посредине на бронзовом треножнике.

Хранитель благовоний, бледный и длинный, как восковая свеча, подошел к Гамилькар, чтобы растереть в его руках пучок метопиона, в то время как двое других натирали ему пятки листьями комарника. Гамилькар оттолкнул их; это были кирейцы, люди гнусных нравов, но все же почитаемые за их тайны.

Чтобы выказать свое усердие, хранитель благовоний поднес суффету отведать в ложке из янтаря немного маловатра; потом он проткнул шилом три индийских сосуда. Гамилькар, знавший все уловки мастеров, взял рог, полный бальзама, поднес его к углям и наклонил бальзам над своей одеждой: на платье появилось коричневое пятно — доказательство подделки. Тогда он пристально взглянул на хранителя благовоний и, ничего не сказав, бросил ему газелий рог в лицо.

Однако, несмотря на свое возмущение подделкой, нарушавшей его собственные интересы, Гамилькар, взглянув на ящики нарда, приготовленные для отправки за море, велел положить туда сурьмы для увеличения веса.

Потом он спросил, где три коробки псагаса, предназначенного для его личного потребления.

Хранитель благовоний сознался, что не знает, так как солдаты пришли с ножами, подняли вой, и он открыл им все ящики.

— Так ты их боишься больше, чем меня! — воскликнул суффет, и глаза его сверкнули сквозь дым, как факелы, устремившись на большого бледного человека, который стал понимать, что его ждет.

— Абдалоним! Прогнать его до заката сквозь строй! Растерзать его!

Этот убыток, менее значительный, чем другие, привел его в бешенство, так как при всем старании забыть о варварах он всюду на них наткнулся. Их разнузданность смешивалась с позором его дочери, и он негодовал против всех в доме за то, что они знали об этом и не сказали ему. Но что-то заставляло его все более погружаться в свое несчастье. Охваченный бешеным желанием все разузнать, он обошел под навесами, позади дома для торговли, склады дегтя, дерева, якорей и снастей, меда и воска, хранилище тканей, запасы съестных продуктов, мастерскую мрамора и амбар, где хранились сильфий.

Он прошел за сады, чтобы осмотреть хижинки, где работали на дому ремесленники, изделия которых поступали в продажу.

Портные вышивали плащи, другие занимались плетением сетей, расписывали подушки, выкраивали сандалии; рабочие из Египта полировали раковинной папирус, челнок ткачей неустанно щелкал, наковальни оружейных мастеров звонко гудели.

Гамилькар сказал им:

— Куйте мечи! Куйте без устали! Мне они будут нужны.

Он вынул спрятанную у него на груди кожу антилопы, пропитанную ядами, и велел изготовить себе из нее панцирь крепче медного, не проницаемый для огня и железа.

Как только он подошел к рабочим, Абдалоним, чтобы направить в другую сторону его гнев, старался возбудить его против них, ворча на их нерадивость.

— Какая негодная работа! Позор! Ты слишком добр к ним, господин.

Гамилькар, не слушая его, пошел дальше.

Он должен был замедлить шаги, потому что дороги были загромождены большими деревьями, обожженными во всю длину, как в лесах, где расположились на ночлег пастухи. Заборы были сломаны, вода в канавах высохла, и в грязных лужах валялись осколки стекла и скелеты обезьян. На кустах повисли лоскутья материи; под лимонными деревьями истлевшие цветы лежали желтой гниющей кучей. Слуги, действительно, бросили все на произвол судьбы, полагая, что хозяин больше не вернется.

На каждом шагу Гамилькар открывал какое-нибудь новое бедствие, новое доказательство того, о чем он не хотел знать. Вот он теперь загрязнил свои пурпуровые сапожки, ступая на нечистоты. И эти люди не здесь, он не может направить против них катапульту, чтобы разнести их на куски! Ему было стыдно, что он их защищал; его обманули, предали. Но он не мог отомстить ни солдатам, ни старейшинам, ни Саламбо, ни кому бы то ни было; а так как он ощущал потребность выместить свой гнев на ком-нибудь, то приговорил к работам в рудниках сразу всех садовых рабов.

Абдалоним дрожал каждый раз, как Гамилькар приближался к зверинцу. Но суффет направился к мельнице, откуда доносились зловещие звуки.

Там вращались среди пыли тяжелые жернова, то есть два порфиновых конуса, один на другом, причем верхний, снабженный воронкой, вертелся над нижним при помощи толстых брусьев. Одни рабочие толкали жернов, напирая грудью и руками, а другие, впряженные, тянули его. Трение лямки образовало у них подмышками гнойные пузыри, как бывает на холке у ослов, и черные лохмотья, едва прикрывавшие их поясицу, свисали на ноги точно длинный хвост. Глаза у них были красные, кандалы на ногах звенели, и они порывисто дышали все

вместе. На рты им были надеты намордники, для того чтобы они не могли есть муку, а железные перчатки без пальцев сжимали руки, чтобы помешать им хватать муку.

Когда вошел Гамилькар, деревянные брусья закричали еще громче. Зерно хрустело при размоле. Несколько человек упало на колени, другие, продолжая работать, переступали через них.

Гамилькар вызвал Гиденема, начальника над рабами. Тот явился, разодетый из чванства в богатые одежды. Его туника с прорезами на боках была из тонкой багряницы, тяжелые серьги оттягивали уши, и, закрепляя полосы тканей, которыми были обмотаны его ноги, золотой шнур извивался от щиколоток до бедер, как змея вокруг дерева. Он держал в пальцах, унизанных кольцами, ожерелье из гагатовых зерен, при помощи которых узнавали, кто подвержен падучей болезнью.

Гамилькар знаком велел ему снять намордники. Тогда рабы с воем голодных зверей бросились на муку и стали ее пожирать, уткнувшись лицами в насыпанные груды.

— Ты их истощаешь! — сказал суфкет.

Гиденем ответил, что это единственное средство усмирять их.

— Не стоило посылать тебя в Сиракузы учиться в школе рабов. Созови других.

Повара, виночерпии, конюхи, скороходы, носильщики носилок, банщики и женщины с детьми — все выстроились в саду в ровную линию от дома для торговли до помещений для зверей. Они затаили дыхание. Глубокое молчание наполняло Мегару. Солнце спускалось над лагуной у катакомб. Павлины жалобно кричали. Гамилькар шел медленным шагом.

— На что мне эти старики? — сказал он. — Продай их! Слишком много галлов, они пьяницы! И слишком много критян, они лгуны! Купи мне каппадокийцев, азиатов и негров.

Он удивился малому числу детей.

— Нужно, чтобы каждый год рождались дети в доме, Гиденем! Оставляй на ночь открытыми двери хижин для свободы сношений.

Затем он велел показать воров, лентяев, мятежников. Он распределил наказания, попрекая Гиденема; и Гиденем, как бык, опустил низкий лоб, на котором скрещивались густые брови.

— Посмотри, Око Ваала, — сказал он, указывая на коренастого ливийца, — вот этого схватили с веревкой на шее.

— Ты, что же, хочешь умереть? — презрительно спросил суфкет.

Раб бестрепетно ответил:

— Да!

Тогда, не думая ни о плохом примере для других, ни о денежной потере, Гамилькар сказал слугам:

— Увести его!

Может быть, у него мелькнуло желание принести искупительную жертву. Он намеренно причинил себе ущерб, чтобы этим предупредить более грозные беды.

Гиденем спрятал калек позади других. Гамилькар увидел их.

— Кто тебе отрубил руку?

— Солдаты, Око Ваала.

Потом он спросил самнита, который шатался, как раненый журавль:

— А тебя кто искалечил?

Оказалось, что это начальник сломал ему ногу железной палкой. Такая бессмысленная жестокость возмутила суффета; вырвав из рук Гиденема гагатовое ожерелье, он крикнул:

— Проклятье собаке, которая уродует стадо! Калечить рабов? Помилуй, Танит! Ты разоряешь своего господина! Задушить его в навозной куче! А те, которых тут нет, где они? Ты убил их, присоединившись к солдатам?

Лицо Гамилькара было такое страшное, что все женщины разбежались. Рабы, отступая, образовали большой круг, посредине которого они остались вдвоем. Гиденем неистово целовал его сандалии. Гамилькар стоял, подняв на него руку.

Но, сохранив ясность мыслей, как в разгаре битвы, он вспомнил множество гнусностей и позор, о котором хотел не думать. При свете гнева, как при сверкании молнии, перед ним сразу предстали все постигшие его беды. Правители деревень убежали из страха перед солдатами, быть может, по соглашению с ними. Все его обманывали. Он слишком долго сдерживал свой гнев.

— Привести их сюда! — крикнул он. — Заклеймить им лбы раскаленным железом, как трусам!

Тогда принесли и разместили среди сада оковы, железные ошейники, ножи, цепи для приговоренных к работам в рудниках, колодки для зажатия ног, клешни для сжимания плеч, а также скорпионы — кнуты о трех плетях, заканчивающихся медными крючками.

Всех подлежащих наказанию поместили против солнца, со стороны Молоха-всепожирателя, положили наземь на живот или спину, а приговоренных к бичеванию приставили к деревьям, с двумя людьми около них: один считал удары, а другой их наносил.

Бичующий ударял обеими руками; бичи свистя срывали кору платанов. Кровь брызгала дождем на листья, и окровавленные тела корчились с воем у корней деревьев. Те, которых клеймили железом, разрывали себе лицо ногтями. Слышен был треск железных винтов; раздавались глухие толчки; иногда воздух огла-

шался вдруг пронзительным криком. У кухонь, среди разорванных одежд и содранных волос, люди раздували огонь опахалами, и слышался запах горелого тела. Истязуемые ослабевали, но, привязанные за руки, не падали, а только вращали головой, закрывая глаза. Другие, глядевшие на истязания, стали испускать вопли ужаса, и львы, вспоминая, быть может, о пире, зевая расположились у края рвов.

Тогда показалась Саламбо на своей террасе. Она растерянно бегала из конца в конец. Гамилькар увидел ее. Ему показалось, что она простирает к нему руки с мольбой о пощаде. Он в ужасе направился в загон для слонов.

Слоны составляли гордость знатных карфагенян. Они носили на себе их предков, побеждали в войнах, и их почитали, как любимцев Солнца.

Мегарские слоны были самыми сильными в Карфагене. Гамилькар взял перед отъездом с Абдалонима клятву, что он будет беречь их, но они пали от увечий; осталось только три, и они лежали среди двора в пыли, перед обломками своих яслей.

Они узнали его и подошли к нему.

У одного были страшно рассечены уши, у другого — большая рана на колене, а у третьего — отрезан хобот.

Они смотрели на него грустным разумным взглядом; а тот, который лишился хобота, наклонил огромную голову и согнул колени, стараясь нежно погладить хозяина уродливым обрубком.

При этой ласке слона у Гамилькара потекли слезы. Он бросился на Абдалонима.

— Презренный! Распять его! Распять!

Абдалоним, лишаясь чувств, упал навзничь на землю. Из-за фабрик пурпура, откуда медленно поднимался к небу синий дым, раздался лай шакала. Гамилькар остановился.

Мысль о сыне, точно прикосновение бога, сразу его успокоила. Сын был продолжением его силы, нескончаемым продолжением его существа. Рабы не понимали, почему он вдруг затих.

Направляясь к фабрикам пурпура, он прошел мимо эргастула — длинного здания из черного камня, выстроенного в четырехугольном рву, с узкой дорожкой вдоль краев и четыремя лестницами по углам.

Иддибал, повидимому, ждал наступления ночи, чтобы до конца подать знак. «Еще, значит, не поздно», — подумал Гамилькар и спустился в тюрьму. Несколько человек крикнули ему: «Вернись!» Наиболее отважные последовали за ним.

Открытая дверь хлопала на ветру. Сумерки проникали в узкие бойницы, и внутри видны были разбитые цепи, висевшие на стенах. Это было все, что осталось от военнопленных!

Гамилькар страшно побледнел, и те, что склонились извне надо рвом, увидели, как он оперся рукой о стену, чтобы не упасть.

Но шакал прокричал три раза кряду. Гамилькар поднял голову; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Потом, когда солнце село, он исчез за изгородью из кактусов и вечером, на собрании богатых в храме Эшмуна, произнес, входя:

— Светочи Ваалов, я принимаю начальство над карфагенскими войсками против армии варваров!

VIII

МАКАРСКАЯ БИТВА

На следующий же день Гамилькар взял с Сисситов двести двадцать три тысячи кикаров золота и назначил налог в четырнадцать шекелей с богатых. Даже женщины должны были вносить свою долю; налог взимался и за детей, и, что было самым чудовищным в глазах карфагенян, он принудил к уплате подати жреческие коллегии.

Он потребовал выдачи всех лошадей, всех мулов, всего оружия. Некоторые хотели скрыть свое богатство, — их имущество было продано. Борясь со скупостью других, он сам дал шестьдесят доспехов и тысячу пятьсот гоморов муки, то есть столько же, сколько все товарищество торговцев слоновой костью.

Он послал в Лигурию нанять солдат — три тысячи горцев, привыкших ходить на медведей; им заплатили вперед за шесть месяцев по четыре мины в день.

Все же нужна была армия. Но он не брал в нее, как это делал Ганнон, всех граждан. Он браковал прежде всего людей сидячего образа жизни, затем людей с толстыми животами или трусливых с виду. Зато он принимал обесчещенных людей, чернь Малки, сыновей варваров, вольноотпущенников; в награду он обещал новым карфагенянам полное право гражданства.

Первой его заботой было преобразование Легиона. Эти красивые молодые люди, которые считали себя военной славой Республики, пользовались полным самоуправлением. Он сместил их начальников, стал сурово обращаться с ними, заставлял их бегать, прыгать, всходить единым духом по подъему Бирсы, метать копья, бороться, спать ночью на площадях. Семьи легионеров приходили на них смотреть и жалели их.

Он заказал более короткие мечи, более крепкую обувь, точно определил число их слуг и ограничил дозволенное количество клади; и так как в храме Молоха хранились триста римских

метательных копий, он все забрал, несмотря на протесты верховного жреца.

Из числа слонов, вернувшихся из Утики и имевшихся у частных собственников, он составил фалангу в семьдесят два слона и превратил ее в грозную военную силу. Каждый погонщик имел молот и долото, чтобы во время битвы раскроить череп слону, если тот взбесится.

Гамилькар уничтожил право Великого совета выбирать военачальников. Старейшины ссылались на законы, но он не считался с ними. Никто не решался роптать, все покорялись его властному характеру.

Он взял на себя одно руководство военными действиями, общее управление, финансы и, предупреждая нарекания, потребовал, чтобы счетами заведывал суфжет Ганнон.

Он производил работы на укреплениях и, желая иметь достаточное количество камня, приказал снести старые внутренние стены, ставшие ненужными. Но различие имущественных состояний, заменив племенную иерархию, продолжало разделять потомство побежденных и сыновей победителей. Патриции были возмущены тем, что сносят развалины, а народ, сам не зная почему, радовался.

Вооруженные отряды с утра до вечера проходили по улицам; ежеминутно раздавался звук труб; на повозках возили щиты, палатки, пики; дворы были полны женщин, которые разрывали холст; всех охватывало возрастающее рвение; душа Гамилькара стала душой Республики.

Он разделил солдат на четные количества и расставил их рядами так, чтобы сильные чередовались со слабыми, и таким образом наименее отважные и наиболее малодушные шли вперед под напором других. Но из своих трех тысяч лигуров и лучших солдат Карфагена он смог образовать лишь простую фалангу из четырех тысяч девяноста шести гоплитов, защищенных бронзовыми шлемами и вооруженных деревянными копьями длиной в четырнадцать локтей.

Две тысячи молодых людей имели пращи, кинжалы и носили сандалии. Он присоединил к ним еще восемьсот солдат, вооруженных круглыми щитами и римскими мечами.

Тяжелая кавалерия состояла из тысячи девяти сот прежних легионеров, одетых в латы из золоченой бронзы, как ассирийские клинабарии. Кроме того, у него было четыреста конных стрелков из лука, тех, кого называли тарентинцами, в шапках из меха ласки, с обоюдоострыми топорами, в кожаных туниках. Наконец, тысяча двести негров из квартала караванов, присоединенных к клинабариям, научены были бежать рядом с жеребцами, придерживаясь одной рукой за их гриву. Все было готово, однако Гамилькар не выступал.

По ночам он часто уходил из Карфагена один и шел за лагуны, к устьям Макара. Не собирался ли он присоединиться к наемникам? Лигуры, расположившиеся на Маппалах, окружали его дом.

Опасения богатых как будто оправдались, когда однажды триста варваров подошли к стенам. Суффет открыл им ворота. То были перебежчики; они явились к своему прежнему господину из страха или из верности.

Возвращение Гамилькара не удивило наемников; этот человек, по их мнению, не мог умереть. Он вернулся, чтобы исполнить свои обещания. В их надежде не было ничего безрассудного, — до того глубока была пропасть между родиной и войском. К тому же они не считали себя в чем-либо виновными. Все забыли про пир.

Шпионы, которых они перехватили, рассеяли их заблуждения. Это было торжеством для наиболее ожесточенных, и даже самые безразличные пришли в бешенство. К тому же две осады навели на них скуку. Ничто не двигалось с места. Лучше уж вступить в открытый бой! Много солдат поэтому разбежалось и бродило по окрестностям. При известии, что войско вооружается, они вернулись, Мато прыгал от радости.

— Наконец-то, наконец! — восклицал он.

Вражда, которую он чувствовал против Саламбо, обратилась на Гамилькара. Его злоба наметила себе, наконец, определенную жертву. И так как ему теперь легче было представить себе, в чем будет состоять его месть, то он уже почти поверил, что она осуществится, и заранее ликовал. Одновременно его охватили и глубокая нежность, и острое вожделие. То он видел себя среди солдат потрясающим головой суффета на копье, то ему казалось, что он в комнате с пурпуровым ложем и жмется в объятиях Саламбо, покрывает ее лицо поцелуями, проводит рукой по ее густым черным волосам. Эта мечта, неосуществимость которой он понимал, терзала его. Он поклялся себе, что коль скоро его провозгласили шалишимом, он поведет открытую войну. Твердая уверенность, что он не вернется с этой войны, побуждала его вести ее беспощадно.

Он пришел к Спендию и сказал ему:

— Возьми своих солдат, а я приведу своих. Предупреди Автарита. Мы погибнем, если Гамилькар нападет на нас! Слышишь? Вставай!

Спендий был поражен его властным тоном. Мато обыкновенно подчинялся ему, и если у него бывали вспышки гнева, то они быстро проходили. Но теперь он казался и более спокойным, и более грозным. Гордая воля сверкала в его глазах, как пламя жертвенника.

Грек не соглашался с его доводами. Он жил в одной из

карфагенских палаток, с каймой из жемчуга, пил прохладительные напитки из серебряных чаш, играл в коттабу, отпустил волосы и медленно вел осаду. К тому же у него были тайные сношения с городом, и он не хотел уходить, уверенный, что ему через несколько дней откроют ворота.

Нар Гавас, переходивший все время от одного к другому войску, был как раз поблизости. Он поддержал мнение Спендия и даже выразил порицание ливийцу за то, что он от избытка храбрости хочет снять осаду.

— Уходи от нас, если ты боишься! — воскликнул Мато. — Ты обещал нам смолу, серу, слонов, пехоту и лошадей! Где все это?

Нар Гавас напомнил ему, что он истребил последние когорты Ганнона. Что же касается слонов, то на них охотятся в лесах. Пехоту он вооружает, а лошади уже в пути. И нумидиец, поглаживая страусовое перо, спускавшееся ему на плечо, поводил глазами, как женщина, и раздражающе улыбался. Мато не знал, что ему ответить.

Вошел незнакомый человек, в поту, растерянный, с окровавленными ногами, с развязанным поясом; быстрое дыхание рывало его худую грудь. Говоря на непонятном наречии, он широко раскрывал глаза, точно рассказывал о какой-то битве. Нар Гавас выскочил и созвал своих всадников.

Они выстроились на равнине, образуя перед ним круг.

Нар Гавас, сидя на лошади, опустил голову и кусал губы. Наконец он разделил свое войско на две половины и велел первой ждать его; потом, властным жестом призывая других за собой, он исчез на горизонте по направлению к горам.

— Господин! — проговорил Спендий. — Мне не нравится эта странная случайность: суфлет вернулся, а Нар Гавас оставляет нас...

— Что за беда? — презрительно ответил Мато.

Было особенно необходимо предупредить Гамилькара, соединившись с Автаритом. Но если бы они прекратили осаду городов, то население могло выйти и напасть на них сзади; а спереди перед ними были бы карфагеняне. После долгих переговоров следующие меры были решены и тотчас же приведены в исполнение.

Спендий с пятнадцатью тысячами солдат отправился к мосту, построенному на Макаре в трех милях от Утики. По четырем углам моста соорудили для охраны его четыре огромные башни, снабженные катапультами. С помощью срубленных деревьев, осколков скал, плетений из терновника и каменных стен загородили в горах все дороги, все лощины. на вершинах гор сложили кучами травы для сигнальных огней; там же поместили на некотором расстоянии один от другого зорких пастухов.

Конечно, рассуждали варвары, Гамилькар не пойдет, как Ганнон, через гору Горячих источников; он сообразит, что Автарит, владея позицией, загородит ему путь. К тому же неудача в начале кампании погубила бы его, между тем как победа повела бы к дальнейшим битвам, так как наемники встретились бы им дальше. Он мог бы еще высадиться у Виноградного мыса и оттуда пойти на один из городов. Но тогда он очутился бы между двумя войсками, а такой неосторожности он не совершит при немногочисленности его сил. Следовательно, он должен будет идти низом вдоль Арианы, потом повернуть налево, чтобы обойти устье Макара, а затем пройти прямо к мосту. Там Мато и ждал его. Ночью, при свете факелов, он следил за работой землекопов, мчался в Гиппо-Зарит на работы в горах, потом, не зная отдыха, возвращался обратно. Спендий завидовал его неутомимости. Во всем, однако, что касалось сношений со шпионами, выбора часовых, пользования машинами и всеми орудиями обороны, Мато покорно слушался Спендия. Они перестали говорить о Саламбо. Один о ней больше не думал, другого удерживала скромность.

Мато часто ходил в сторону Карфагена, стараясь увидеть войска Гамилькара. Он метал взоры в горизонт, ложился плашмя на землю, и шум крови в жилах казался ему гулом приближающегося войска.

Он сказал Спендию, что если Гамилькар не появится через три дня, он выйдет со всем своим войском навстречу ему и даст бой. Прошло еще два дня. Спендий удерживал его. На утро шестого дня он двинулся в путь.

Карфагеняне с таким же нетерпением, как и варвары, ждали, чтобы началась война. В палатках и в домах все желания и тревога сводились к одному и тому же: все спрашивали себя, почему медлит Гамилькар.

Время от времени он поднимался на купол храма Эшмуна, становился рядом с глашатаем лунных смен и наблюдал за направлением ветра.

Однажды — это был третий день месяца Тибби — он на глазах у всех стремительно спустился с Акрополя. В Маппалах поднялся гул. Вскоре улицы наполнились людьми, солдаты начали надевать оружие, окруженные плачущими женщинами, которые бросались им на грудь; потом они быстро бежали на Камонскую площадь и становились в ряды. Не разрешалось ни следовать за ними, ни даже говорить с ними, ни подходить к укреплениям. В течение нескольких минут в городе была могильная тишина. Солдаты призадумались, опершись на свои копья, а их домашние вздыхали.

На закате войско выступило из западных ворот; но вместо того чтобы направиться в Тунис или итти горным путем по направлению к Утике, солдаты продолжали свой путь вдоль морского берега. Вскоре они дошли до лагуны, где круглые пространства, совершенно белые от соли, сверкали, как огромные серебряные блюда, забытые на берегу.

Луж попадалось все больше. Почва становилась топкой, ноги в ней вязли. Гамилькар не оборачивался. Он все время ехал впереди войска, и его лошадь, вся в желтых пятнах, точно дракон, шла по морскому илу, разбрасывая брызги пены и напрягая мышцы. Наступила безлунная ночь. Несколько солдат крикнули, что все погибнут; Гамилькар выхватил у них оружие и передал слугам. Ил становился все глубже. Пришлось садиться на вьючных животных. Некоторые ухватились за хвосты лошадей, сильные тянули за собой слабых, и корпус лигуров толкал вперед пехоту остриями пик. Мрак спустился. Войско сбилось с пути. Все остановились.

Рабы суффета отправились вперед искать вежи, вбитые по его приказанию на определенных расстояниях. Они кричали во мраке, и войско издалека следовало за ними.

Почувствовалась твердая почва. Смутно обрисовался белый поворот, и войско очутилось на берегу Макара. Несмотря на холод, огней не зажигали.

Среди ночи поднялся сильный ветер. Гамилькар велел разбудить воинов, но трубных звуков не было: начальники слегка ударили спящих по плечу.

Человек высокого роста спустился в воду. Она не доходила ему до пояса; значит, можно было перейти реку.

Суфдет приказал расставить в реке тридцать два слона в ста шагах расстояния один от другого; остальные слоны, стоя ниже, должны были останавливать ряды солдат, уносимых течением. Таким образом все, держа оружие над головой, перешли Макар точно между двух стен. Гамилькар заметил, что западный ветер, нагоняя пески, загоразживал реку, создавая во всю длину ее естественную насыпь.

Гамилькар очутился на левом берегу реки, против Утики, и к тому же на широкой равнине, что было чрезвычайно удобно для пользования слонами, составлявшими главную силу его войска.

Необычайно искусная переправа восхитила воинов. Им хотелось тотчас же итти на варваров, но суфдет велел отдыхать два часа. Как только показалось солнце, войско двинулось по равнине в три ряда: сперва слоны, затем легкая пехота с кавалерией позади; фаланга следовала за ними.

Варвары, расположившиеся в Утике, а также пятнадцать тысяч, стоявшие вокруг моста, были поражены тем, как колы-

халась земля вдали. Сильный ветер гнал вихри песка; они вздымались точно вырванные из земли, взлетали вверх огромными светлыми лоскутьями, которые потом разрывались и снова сплачивались, скрывая от наемников карфагенское войско. При виде рогов на шлемах солдат одни думали, что к ним направляется стадо быков; развевавшиеся плащи казались другим крыльями; а те, которые много странствовали, пожимали плечами и объясняли все миражем. Тем временем надвигалось нечто огромное. Легкий пар, тонкий, как дыхание, расстилался по пустыне. Резкий и как бы дрожащий свет отдалял глубину неба и, проникая в предметы, делал расстояние неопределенным. Огромная равнина расстилалась со всех сторон в бесконечную даль; едва заметные колебания почвы продолжались до самого горизонта, замкнутого широкой синей чертой; все знали, что там море.

Оба войска, выйдя из палаток, устремили взоры вдаль. Осаждавшие Утику теснились на валах, чтобы лучше видеть.

Наконец они стали различать несколько поперечных полос, усеянных ровными точками. Полосы постепенно уплотнялись, увеличивались; покачивались черные возвышения, и вдруг показались как бы четырехугольные кустарники: то были слоны и пики. Поднялся общий крик: «Карфагеняне!»

Без сигнала, не дожидаясь команды, солдаты из Утики и стоявшие у моста бросились бежать, чтобы вместе напасть на Гамилькара.

Услышав это имя, Спендий затрепетал. Он повторял, задыхаясь:

— Гамилькар! Гамилькар!

А Мато был далеко! Что делать? Бежать совершенно невозможно! Неожиданность нападения, ужас перед суффетом и в особенности необходимость немедленно принять решение потрясали его. Он уже видел себя пронзенным тысячью мечей, обезглавленным, мертвым. Но его звали: тридцать тысяч солдат готовы были следовать за ним. Его обуяло бешенство против самого себя. Чтобы скрыть свою бледность, он вымазал щеки румянами; потом застегнул кнemiды, панцырь, выпил залпом чашу чистого вина и побежал за своим войском, которое спешило к осаждавшим Утику.

Оба войска соединились так быстро, что суффет не успел выстроить своих солдат в боевом порядке. Он постепенно замедлял движение. Слоны остановились; они качали тяжелыми головами, на которых были пучки страусовых перьев, и ударяли хоботом по плечам.

В глубине пространств, разделявших слонов, виднелись когорты велитов, а дальше — большие шлемы клинабариев, железные наконечники копий, сверкавшие на солнце панцы-

ри, развевавшиеся перья и знамена. Карфагенское войско, состоявшее из одиннадцати тысяч трехсот девяноста шести человек, казалось, едва вмещало их в себе, так как оно образовало длинный, узкий с боков, сильно сжатый прямоугольник.

При виде их слабости варваров охватила безудержная радость. Гамилькара не было видно. Уж не остался ли он позади? Да и не все ли равно! Презрение, которое они чувствовали к этим купцам, поднимало их дух; прежде чем Спендий скомандовал, они сами поняли маневр и поспешили его выполнить.

Они развернулись большой прямой линией, вытянувшейся далеко за фланги карфагенского войска, чтобы окружить его со всех сторон. Но когда они подошли к карфагенянам на расстояние трехсот шагов, слоны, вместо того чтобы идти вперед, повернули назад; потом вдруг клинабарии, переменив фронт, последовали за слонами. Наемники еще больше изумились, когда увидели, что вслед за ними побежали все стрелки. Значит, карфагеняне боятся и бегут. Страшное гиканье поднялось в войсках варваров, и, сидя на дромадере, Спендий воскликнул:

— Я так и знал! Вперед! Вперед!

Сразу полетели дротики, стрелы, камни из пращей. Слоны, которым стрелы вонзались в крупы, поскакали вперед; их окружила густая пыль, и они скрылись из виду, как тени в облаке.

Между тем в отдалении раздался громкий топот шагов, заглушаемый резкими звуками труб, неистово оглашавшими воздух. Пространство, которое расстилалось перед варварами, наполненное вихрем пыли и смутным гулом, привлекало, как бездна. Некоторые бросились туда. Показалось несколько когорт пехоты; они сомкнулись, в то же время прибежала пехота и примчалась галопом конница.

Гамилькар приказал фаланге разбить свои части, а слонам, легкой пехоте и коннице пройти через образовавшиеся промежутки и быстро двинуться на фланги. Он так верно рассчитал пространство, отделявшее его от варваров, что когда последние надвинулись на него, все карфагенское войско составляло большую прямую линию.

Посредине щетинилась фаланга, состоявшая из синтагм, или правильных четырехугольников по шестнадцати человек с каждой стороны. Начальники всех шеренг виднелись между неровно торчавшими длинными железными острями, потому что шесть первых рядов скрещивали копыта, держа их за середину, а десять следующих рядов опирались ими на плечи своих соратников, которые шли впереди. Лица исчезали наполовину под забралами шлемов; бронзовые кнемиды покрывали правые ноги; широкие цилиндрические щиты спускались до колен.

Эта страшная четырехугольная громада двигалась, как один человек, казалась живой, как зверь, и действовала, как машина. Две когорты слонов правильно окаймляли четырехугольник; вздрагивая, они сбрасывали с себя осколки стрел, представшие к их черной коже. Индусы, сидя на холках слонов, среди пучков белых перьев, сдерживали их крючком багра, в то время как в башнях солдаты, укрытые до плеч, спускали с больших туго натянутых луков железные стержни, обмотанные зажженной паклей.

Направо и налево от слонов неслись пращники с одной пращей у бедер, другой — на голове, а третьей — в правой руке. Клинабарии, каждый в сопровождении негра, держали копыя вытянутыми, положив их между ушами лошадей, покрытых золотом, как и они сами. Далее шли, на некотором расстоянии один от другого, солдаты легко вооруженные, со щитами из рысьих шкур; из-за щитов высывались острия метательных копий, которые они держали в левой руке. Тарентинцы, ведущие каждый по две лошади, замыкали с двух концов эту стену солдат.

Армия варваров, в противоположность карфагенской, не смогла сохранить правильный строй. На чрезмерно длинной прямой линии образовались волнообразные выемки и пустые промежутки. Все задыхались от быстрого бега.

Фаланга грузно двинулась, ударив всеми копьями. Под этим страшным напором слишком тонкая линия наемников вскоре дрогнула посредине.

Тогда карфагенские фланги развернулись, чтобы охватить их; за ними последовали слоны. Ударяя копьями вкось, фаланга разрезала войско варваров; два огромных обрубка пришли в смятение; фланги, действуя пращами и стрелами, гнали их в сторону фалангитов. Чтобы их отбить, нужна была конница, а от нее осталось только сто нумидийцев, которые бросились против правого эскадрона клинабариев. Все другие оказались запертыми и не могли вырваться. Опасность стала неминуемой, и необходимо было немедленно принять решение.

Спендий отдал приказ напасть на фалангу одновременно с двух флангов, чтобы пройти через все насквозь. Но самые узкие ряды, проскользнув под самыми длинными, вернулись на свое прежнее место, и фаланга повернулась к варварам, такая же страшная с боков, как была перед тем с фронта.

Варвары ударили по древкам копий, но конница мешала сзади их наступлению. Опираясь на слонов, фаланга сплывала и удлинялась, принимая форму то четырехугольника, то конуса, то ромба, то трапеции, то пирамиды. Двойное внутреннее движение происходило неустанно по всей фаланге от головы к хвосту; те, что находились в задних рядах, бежали в пе-

редние, а солдаты первых рядов, уставшие или раненые, отступали назад. Варвары оказались брошенными на фалангу, не имевшую возможности двинуться вперед. Поле сражения было похоже на океан, на поверхности которого подпрыгивали красные султаны с бронзовой чешуей, в то время как светлые щиты свертывались, точно завитки серебряной пены. Временами от одного конца до другого широкие волны спускались, потом вновь поднимались, в середине же оставалась неподвижная тяжелая масса. Копья попеременно наклонялись и поднимались. В других местах обнаженные мечи двигались так быстро, что мелькали только острия; эскадроны конницы раздвигали круги, которые вихрем замыкались за ними.

Покрывая голоса начальников, звуки труб и скрип лир, в воздухе свистели свинцовые шары и глиняные ядра; они вырывали мечи из рук, исторгали мозг из черепов. Раненые, одной рукой ограждая себя щитом, простирали мечи рукоятью к земле. Другие, валяясь в лужах крови, поворачивались, чтобы укусить врагов в пятку. Толпа была такая плотная и пыль такая густая, гул такой сильный, что ничего нельзя было различить. Малодушных, которые предлагали сдаться, даже не слышали. Когда в руках не было оружия, сцеплялись телами. Груды трещали под латами, в судорожно сжатых руках висели трупы с запрокинутой головой. Отряд в шестьдесят умбрийцев, твердо стоя на ногах, держа перед глазами пики и скрежеща зубами, был несокрушим и обратил в бегство сразу две синтагмы. Эпирские пастухи побежали к левому эскадрону клинабариев и, вращая палками, схватили лошадей за гривы; лошади, сбросив седоков, помчались по полю. Карфагенские пращники, отброшенные в разных местах, растерялись. Фаланга стала колебаться, начальники бегали растерянные, блюстители строя толкали солдат, выравнивая ряды. Варвары тем временем снова выстроились; они возвращались, победа склонялась на их сторону.

Но в это время раздался крик, страшный крик, вопль бешенства и боли. Семьдесят два слона ринулись вперед двойным рядом. Гамилькар ждал, чтобы наемники сгучились в одном месте, и тогда пустил на них слонов; индусы с такой силой вонзили острия багров, что у слонов потекла по ушам кровь. Хоботы их, вымазанные суриком, торчали вверх, похожие на красных змей. Грудь была защищена рогатиной, спина — панцирем, клыки были удлинены железными клинками, кривыми, как сабля; а чтобы сделать их более свирепыми, их опоили смесью перца, чистого вина и ладана. Они потрясали своими ожерельями с погремушками, ревели; погонщики наклоняли головы под потоком огненных стрел, которые стали устремляться с башен.

Чтобы лучше устоять, варвары ринулись вперед сплоченной массой; слоны с яростью врезались в толпу. Железные острия их нагрудных ремней рассекали когорты, как нос корабля рассекает волны; когорты стремительно отхлынули. Слоны душили людей хоботами или же, подняв с земли, заносили их над головой и передавали в башни. Они распарывали людям животы, бросали их в воздух, и человеческие внутренности висели на клыках, как пучки веревок на мачтах. Варвары пытались выколоть им глаза, перерезать сухожилия на ногах. Подползая под слонов, они всаживали им в живот меч до рукояти и погибали раздавленные; наиболее отважные цеплялись за ремни. Среди пламени, под ядрами и стрелами они продолжали перепиливать кожаные ремни, и башня из ивняка грузно рушилась, точно она была из камня. Четырнадцать слонов на крайнем правом фланге, разъяренные болью от ран, повернули вспять, наступая на вторую шеренгу. Индусы схватили тогда свои молоты и долота и со всего размаха ударили слонов в затылок.

Огромные животные осели и стали падать одни на других. Образовалась целая гора; и на эту грудю трупов и оружия поднялся чудовищный слон, которого звали «Гневом Ваала»; нога его застряла между цепями, и он выл до вечера. В глазу его торчала стрела.

Другие слоны, как завоеватели, которые наслаждаются резнею, сшибали с ног, давили, топтали варваров, набрасывались на трупы и на останки.

Чтобы оттеснить отряды, окружавшие их колоннами, слоны поворачивались на задних ногах, непрерывно вращаясь и вместе с тем продвигаясь вперед. Силы карфагенян удвоились, и битва возобновилась.

Варвары слабели; греческие гоплиты побросали оружие. Все заметили Спендия: согнувшись на своем дромадере, он гнал его, вонзая ему в плечи два копья. Тогда все бросились к флангам и побежали по направлению к Утике.

Клинобарии, чьи лошади обессилели, даже не пытались настигнуть их. Лигуры, изнемогавшие от жажды, кричали, стремясь двинуться к реке. Но менее пострадавшие карфагеняне, помещенные среди синтагм, топтали ногами от бешенства, видя, что месть ускользает от них; они уже бросились нагонять наемников. Появился Гамилькар.

Он сдерживал серебряными поводьями пятнистую лошадь, всю в поту. Повязки у рогов его шлема развевались по ветру; свой овальный щит он подложил под левое бедро. Одним движением пики с тремя остриями он остановил войско.

Тарентинцы быстро перескочили каждый со своей лошади

на вторую, запасную, и помчались направо и налево, к реке и к городу

Фаланга без труда истребила все, что оставалось от войска варваров. Когда к раненым протягивались мечи, некоторые, закрыв глаза, сами подставляли горло. Другие неистово защищались; их побивали издали камнями, как бешеных собак. Гамилькар приказал брать как можно больше пленных, но карфагеняне неохотно повиновались ему — до того им было отраднo вонзать мечи в тела варваров. А так как им стало жарко, они продолжали работать обнаженными руками, как жнецы. Когда они прервали резню, чтобы передохнуть, то увидели вдали всадника, который мчался за убегающим солдатом. Всадник схватил его за волосы, несколько времени так продержал, потом сразил одним ударом топора.

Спустилась ночь, карфагеняне и варвары исчезли. Убежавшие слоны бродили на горизонте с зажженными башнями. Они пылали во мраке, как маяки, исчезающие в тумане. На равнине все было недвижно; только вздымалась река, полная трупов, которые она уносила в море.

Два часа спустя явился Мато. Он увидел при свете звезд длинные неровные груды людей, лежавших на земле.

То были ряды варваров. Он наклонился, — все были мертвы. Он громко кликнул — никто не отозвался.

Утром этого дня он выступил из Гиппо-Зарита со своими солдатами, чтобы идти на Карфаген. Из Утики только что ушло войско Спендия, и жители стали сжигать осадные машины. Все сражались с неистовством. Но когда шум и смятение, доносившиеся со стороны моста, непонятным образом усилились, Мато двинулся кратчайшей дорогой через горы, и так как варвары бежали равниной, то он никого не встретил.

Перед ним поднимались в тени маленькие пирамидальные массы, а за рекой, поближе, светились вровень с землей недвижные огни. Карфагеняне на самом деле отступили за мост, и, чтобы обмануть варваров, суфдет установил много сторожевых постов на другом берегу.

Мато, продолжая двигаться вперед, стал как будто различать карфагенские знамена, потому что в воздухе появились недвижные лошадиные головы, прикрепленные к древкам, которых не было видно. Издалека доносились шум, звуки песен и звон чаш.

Не зная, где он очутился и как ему найти Спендия, испуганный, растерявшись во мраке, Мато стремительно повернул назад по той же дороге. Заря уже занималась, когда он увидел с горы город и остовы машин, почерневшие от огня и похожие на скелеты великанов, прислоненные к стенам.

Все отдыхали среди тишины, страшно изнеможенные. У палаток рядом с солдатами почти голые люди спали на спине или опустив голову на руки и подложив под нее панцырь. Некоторые сдирали с ног окровавленные повязки. Умиравшие медленно вращали головой; другие, едва тащась, приносили им воду. Вдоль узких дорожек часовые ходили, чтобы согреться, или стояли с суровыми лицами, повернувшись к горизонту и держа пику на плече.

Мато увидел Спендия и подошел к нему. Спендий укрылся под обрывком холста, натянутым на две палки, вбитые в землю; он сидел, обхватив колени руками и опустив голову.

Они долго ничего не говорили.

Наконец Мато прошептал:

— Мы разбиты?

Спендий мрачно ответил:

— Да, разбиты!

И на все другие вопросы он отвечал только жестами отчаяния.

До них доносились стоны и предсмертные хрипы. Мато открыл шатер. Вид солдат напомнил ему другое бедствие на том же месте, и, скрежеща зубами, он сказал:

— Презренный! Ты уже один раз...

Спендий прервал его.

— Ты и тогда отсутствовал.

— Истинное проклятие! — воскликнул Мато. — Но когда-нибудь я его настигну! Я одолею его! Я убью его! О, если бы я был тут!..

Мысль о том, что он пропустил битву, приводила его в еще большее отчаяние, чем самое поражение. Он выхватил меч и бросил его на землю.

— Как же карфагеняне разбили вас?

Бывший раб стал рассказывать ему о военных действиях. Мато точно видел все перед глазами и возмущался. Вместо того чтобы бежать к мосту, нужно было обойти Гамилькара сзади.

— Ах, я знаю! — сказал Спендий.

— Нужно было удвоить глубину твоего войска, не посылать велитов против фаланги и открыть проходы слонам. В последнюю минуту можно было еще все отбить. Не было необходимости бежать.

Спендий ответил:

— Я видел, как он проехал, в большом красном плаще, с поднятыми руками, возвышаясь над столбами пыли, точно орел, летевший рядом с когортами. Повинуясь каждому движению его головы, когорты сдвигались, устремлялись вперед.

Толпа толкнула нас друг на друга. Он глядел на меня — я почувствовал в сердце точно холод лезвия.

— Он, может быть, выбрал нарочно этот день? — тихо сказал Мато.

Они расспрашивали друг друга, старались понять, почему суфлет выступил в самых неблагоприятных условиях. Чтобы смягчить свою вину или чтобы ободрить самого себя, Спендий сказал, что еще не все надежды потеряны.

— Да хоть бы и были потеряны, мне все равно! — сказал Мато. — Я буду продолжать войну один!

— И я тоже! — воскликнул грек, вскочив с места.

Он ходил крупными шагами, глаза его сверкали, странная улыбка собирала складки на его лице и делала его похожим на шакала.

— Мы начнем все снова! Не покидай меня! Я не создан для битв при солнечном свете, сверкание мечей слепит меня. Это у меня болезнь, я слишком долго жил в эргастуле. Но мне ничего не стоит влезть на стены ночью, проникнуть в крепость, и тогда трупы убитых мною охладели прежде, чем пропоет петух! Укажи мне кого-нибудь, что-нибудь, врага, сокровище, женщину.

Он повторил:

— Да, женщину, и будь она даже царской дочерью, я немедленно сложу у твоих ног желанную. Ты упрекаешь меня за то, что я проиграл Ганнону битву, но я ведь снова победил его. Признайся, мое свиное стадо принесло нам больше пользы, чем фаланга спартиатов.

Уступая потребности похвастать и утешить себя в поражении, он стал перечислять все, что сделал для наемников.

— Это я подтолкнул галла в садах суффета! А потом, в Сикке, это я их всех привел в неистовство, пугая коварством Республики! Гискон готов был рассчитаться с ними, но я не дал возможности говорить переводчикам. Как у них чесался язык! Помнишь? Я провел тебя в Карфаген, я украл заимф. Я провел тебя к ней. Я сделаю еще больше: ты увидишь!

Он расхохотался, как безумец.

Мато смотрел на него, широко раскрыв глаза. Ему было не по себе в присутствии человека, такого трусливого и вместе с тем такого страшного.

Грек снова заговорил веселым голосом, щелкая пальцами:

— Эвоэ! После дождика проглянет солнце! Я работал в каменоломнях, и я же пил масик на своем собственном корабле под золотым навесом, как Птолемей. Несчастье должно обострить ум. Настойчивость смягчает судьбу. Она любит ловких людей. Она уступит!

Он снова подошел к Мато и взял его за руку.

— Господин, карфагеняне уверены теперь в своей победе. У тебя есть целая армия, которая еще не сражалась, и твои солдаты послушны тебе. Пусти их вперед. Мои тоже пойдут, чтобы отомстить карфагенянам. У меня осталось три тысячи карийцев, тысяча двести пращников и целые когорты стрелков. Можно даже составить фалангу. Возобновим бой!

Мато, потрясенный разгромом, еще не знал, что предпринять. Он слушал с раскрытым ртом, и бронзовые латы, которые стягивали ему бока, приподнимались от быстрого биения сердца. Он поднял меч и крикнул:

— Следуй за мной! Идем!

Разведчики, вернувшись, сообщили, что трупы карфагенян убраны, мост разрушен и Гамилькар исчез.

IX

ПОХОД

Гамилькар полагал, что наемники будут ждать его в Утике или же вновь выступят против него. Считая свои силы недостаточными для наступления или для обороны, он направился на юг по правому берегу реки, что его сразу обезопасило от внезапного нападения.

Он хотел, закрывая пока глаза на мятеж туземных племен, чтобы они прежде всего порвали с варварами; потом, когда они останутся в своих провинциях без союзников, он сможет на них напасть и всех истребить.

В четырнадцать дней он умиротворил область между Тукабером и Утикой с городами Тиньикаба, Тессура, Вакка и еще другими — на западе. Зунгар, построенный в горах, Ассурас, знаменитый своим храмом, Джераадо, славившийся можжевеловником, Тапитис и Гагур отправили к нему послов. Жители деревень являлись, принося в дар съестные припасы, умоляли о защите, целовали ему и солдатам ноги и жаловались на варваров. Некоторые приносили ему в мешках головы наемников, говоря, что это они их убили; на самом деле они отрубали головы у мертвецов. Много солдат сбилось с пути во время бегства, и трупы их находили в разных местах, под оливковыми деревьями и в виноградниках.

Чтобы поразить народ, Гамилькар на следующий же день после победы послал в Карфаген две тысячи пленных, взятых на поле битвы. Они прибывали длинными колоннами по сто человек; у всех руки, скрученные назад, были привязаны к бронзовой перекладине, которая давила им на затылок. Раненые, у которых сочилась кровь, тоже шли; конница, ехавшая сзади, погоняла их бичами.

Карфаген ликовал! Говорили, что убито шесть тысяч варваров, что остальные недолго продержатся, что война кончена; все обнимали друг друга на улицах и в храмах; лица богов Патэков натирали маслом и киннамоном, выражая этим свою благодарность им. Пучеглазые, с толстыми животами и поднятыми до плеч руками, идолы казались живыми под свежей краской и как бы принимали участие в радости народа. Богатые раскрыли двери своих домов; город гудел от барабанного боя; храмы были освещены всю ночь, и прислужницы богини, сойдя в Малку, соорудили на перекрестках подмости из сикоморового дерева и всем отдавались. Победителям дарили земли, давали обеты принести жертвы Мелькарту. Суффету назначено было выдать сто золотых венцов; его сторонники предлагали воздать ему новые почести и предоставить новые полномочия.

Он просил старейшин вступить в переговоры с Автаритом, чтобы обменять хотя бы всех захваченных варваров на старика Гискона и других карфагенян, попавших в плен. Наемников, по происхождению италийцев или греков, ливийцы и кочевники, составлявшие войско Автарита, знали лишь очень смутно; им казалось поэтому, что если Республика предлагает столько варваров в обмен за такое малое количество карфагенян, это значит, что варвары не имеют никакой цены, а карфагеняне, напротив того, представляют большую ценность. Они боялись ловушки. Автарит отказал.

Тогда старейшины постановили казнить пленных, хотя суффет писал им, чтобы их не предавали смерти. Он намеревался включить лучших из них в свое войско и этим вызвать переход других в свои ряды. Но ненависть одержала верх над всяческим благоразумием.

Две тысячи пленных варваров приведены были в Маппалы, где их привязали к надгробным стелам. Торговцы, кухонная челядь, вышивальщицы и даже женщины, вдовы погибших солдат, вместе со своими детьми, — все, кто только хотел, приходили побивать их стрелами. В них целились медленно, чтобы продлить пытку; лук то опускали, то поднимали вверх, и толпа горланила, толкаясь вокруг них. Расслабленных приносили на носилках; многие предусмотрительно запаслись пищей и не уходили до вечера; другие оставались на всю ночь. Сооружены были палатки, и в них пили. Многие заработали большие деньги, отдавая напрокат луки.

Распятые трупы были оставлены в стоячем положении и казались на могилах красными статуями. Возбуждение захватило даже население Малки, принадлежавшее к коренным местным семьям, в обычное время равнодушное к судьбам родины. Из благодарности за доставленное им удовольствие они стали

интересоваться делами Республики, почувствовали себя карфагенянами, и старейшины считали, что поступили очень мудро, слив весь народ в общем чувстве мести.

Благословение богов тоже не заставило себя ждать, ибо со всех сторон слетались вороны. Они кружились в воздухе с громким карканьем, образуя облако, которое все время свертывалось. Оно видно было из Клипеи, из Радеса и с Гермейского мыса. Временами облако вдруг разрывалось, разметав далеко вокруг свои черные спирали. Это случалось, когда в него врезывался орел, который потом снова улетал; на террасах, на куполах, на остриях обелисков и на фронтонах храмов виднелись разжиревшие птицы; они держали в покрасневших клювах куски человеческого мяса.

Зловоние заставило, наконец, карфагенян снять трупы. Некоторые были сожжены; остальных бросили в море, и волны, гонимые северным ветром, унесли их на берег, в глубину залива, к лагерю Автарита.

Кара, которой подвергли пленных, очевидно, привела варваров в ужас: с высоты Эшмуна видно было, как они сложили палатки, согнали стада, навьючили поклажу на ослов, и к вечеру все войско удалилось.

Расположившись между горой Горячих источников и Гиппо-Заритом, оно должно было преградить суффету путь к тирским городам, оставляя за собой возможность вернуться в Карфаген.

Предполагалось, что тем временем две другие армии постараются настигнуть Гамилькара на юге, Спендий — с востока, Мато — с запада, с расчетом соединиться всем троем и охватить его. Пришло подкрепление, на которое они не надеялись: вернулся Нар Гавас с тремястами верблюдов, нагруженными смолой, с двадцатью пятью слонами и шестью тысячами всадников.

Чтобы ослабить наемников, суфдет счел благоразумным создать затруднения Нар Гавасу вдаль, в его собственных владениях. Из Карфагена он вошел в соглашение с гетульским разбойником Масгабой, который искал себе где-нибудь царства. С помощью карфагенских денег он поднял нумидийцев, обещав им свободу. Нар Гавас, предупрежденный сыном своей кормилицы, бросился в Цирту, отравил победителей водою цистерн, снес несколько голов, восстановил порядок и после этого сильнее варваров возненавидел суффета.

Начальники четырех войск условились относительно способов ведения войны. Предполагалось, что она продлится очень долго; нужно было все предвидеть.

Прежде всего решили просить содействия у римлян и предложили Спендию взять на себя эту миссию; но он был пере-

бежчик и не решился на это. Двенадцать человек из греческих колоний отплыли из Аннабы на нумидийской ладье. Потом предводители потребовали, чтобы все варвары принесли им клятву в полном повиновении. Каждый день начальники осматривали одежду и обувь солдат. Часовым запрещено было иметь при себе щиты, потому что они часто подпирали их копьями и засыпали стоя; тех, которые везли с собой поклажу, заставили бросить ее; все, по римскому образцу, полагалось носить на спине. В защиту против слонов Мато учредил отряд конных солдат, катафрактов; в этом отряде человек и лошадь исчезали под панцырем из гиппопотамовой шкуры, утыканной гвоздями; а чтобы защитить копыта лошадей, для них изготовили плетеную обувь.

Запрещено было грабить города, мучить народы, не принадлежавшие к пунической расе. Но так как съестные припасы истощались, Мато приказал распределять порции между солдатами, не заботясь о женщинах. Сначала солдаты делили пищу с женщинами. Но недостаток пищи изнурял многих из них. Это было постоянным поводом к ссорам и попрекам; некоторые сманивали подруг у товарищей обещанием поделиться своей порцией. Мато приказал беспощадно выгнать всех женщин. Они бежали в лагерь Автарита; галльские женщины и ливийки заставили их удалиться. Тогда они отправились к стенам Карфагена молить Цереру и Прозерпину о покровительстве, так как в Бирсе был храм, посвященный этим богиням во искупление ужасов, совершенных некогда при осаде Сиракуз. Сисситы, предъявив свои права на военную добычу, выбрали самых молодых, чтобы продать их, а новые карфагенские граждане взяли себе в жены белокурых лакедемонянок.

Некоторые из женщин упрямо продолжали следовать за наемниками. Они бежали около синтагм, рядом с начальниками. Они звали своих сожителей, тянули их за край плаща, били себя в грудь, проклиная их и протягивая к ним своих плачущих голых детей. Это зрелище смягчало варваров; но женщины мешали, представляли собой опасность. Несколько раз их отгоняли, они опять возвращались. Мато приказал обратиться против них пики, поручив это коннице Нар Гаваса. А когда балеары стали кричать ему, что им нужны женщины, он ответил:

— У меня их нет!

Дух Молоха овладел Мато. Невзирая на укоры совести, он совершал ужасные поступки, воображая, что повинуется велениям бога. Когда ему не удавалось опустошить поля, Мато забрасывал их камнями, чтобы сделать бесплодными.

Он несколько раз слал гонцов и к Автариту и к Спендию, чтобы их поторопить. Но действия суффета были непостижимы.

Он располагался лагерем поочередно в Эйдусе, Моншаре, Тегенте; лазутчики говорили, что видели его в окрестностях Ишиила, вблизи владений Нар Гаваса, и вскоре стало известно, что он переправился через реку к северу от Тебурбы, как будто намереваясь вернуться в Карфаген. Едва прибыв в одно место, он переходил в другое. Пути, по которым он шел, оставались неизвестными. Не давая сражения, суфбет сохранял выгодные положения: преследуемый варварами, он как будто вел их за собою.

Переходы и возвращения назад еще более утомляли карфагенян; силы Гамилькара, перестав пополняться, уменьшались со дня на день. Теперь население деревень приносило ему съестные припасы не с такой охотой, как прежде. Он всюду наталкивался на нерешительность и затаенную ненависть; несмотря на все его мольбы, обращенные к Великому совету, из Карфагена не было никакой помощи. Говорили, — может быть, действительно думая это, — что он в ней не нуждается, что его жалобы напрасны или что он хитрит. Чтобы повредить ему, сторонники Ганнона преувеличивали значение его победы. Карфаген готов был пожертвовать войсками, которыми командовал суфбет, но считал, что нельзя выполнять все его дальнейшие требования. Война и так слишком обременительна и дорого стоит! А патриции, сторонники Гамилькара, из гордости очень слабо поддерживали его.

Отчаявшись в Республике, Гамилькар насильно собрал со всех племен то, что ему нужно было для войны: зерно, масло, лес, скот и людей. Население вскоре разбежалось. Города, через которые проходило войско, оказывались пустыми; обыскивая дома, солдаты ничего в них не находили. Чувство страшной оторванности охватило войско Гамилькара.

Карфагеняне, придя в бешенство, стали громить провинции; они закапывали водоемы, жгли дома. Горящие головни, уносимые ветром, разлетались далеко вокруг, и на горах горели леса, окружая долины венцом пламени. Чтобы итти дальше, приходилось ждать. Потом они опять пускались в путь под палящим солнцем и шли по горячему пеплу.

Иногда на краю дороги сверкали где-нибудь в кустах зоркие, как у тигра, глаза. То был варвар, присевший на корточки и выпачкавшийся в пыли, чтобы не выделяться среди листвы. Или же, проходя вдоль рывтины, шедшие на флангах слышали вдруг грохот катящихся камней; поднимая глаза, они видели выскакивающего изо рва босоногого человека.

Тем временем с уходом наемников Утика и Гиппо-Зарит освободились от осады. Гамилькар приказал им итти к нему на помощь. Не решаясь стать на его сторону, оба города ответили неопределенными извинениями и любезностями.

Тогда Гамилькар круто повернул на север, решив открыть себе один из тирских городов, даже если бы для этого понадобилось прибегнуть к осаде. Ему нужна была точка опоры на морском берегу, чтобы добывать с островов или из Кирены продовольствие и солдат; более всего ему хотелось овладеть Утикой, которая была ближе других к Карфагену.

Суфдет ушел из Зуитина и осторожно обогнул Гиппо-Заритское озеро. Вскоре ему пришлось выстроить свои полки колонной, чтобы подняться на гору, разделявшую две долины. На закате солнца войско спускалось с воронкообразной вершины горы и увидело перед собою, вровень с землей, как бы бронзовых волчиц, бегущих по траве.

Вдруг показались развевающиеся на шлемах перья, и раздалось грозное пение под аккомпанемент флейт. То было войско Спендия; кампанийцы и греки, из ненависти к Карфагену, стали носить римские доспехи. В то время слева показались длинные копья, щиты из леопардовых шкур, холщовые панцири, оголенные плечи. Это были иберийцы Мато, лужитанцы, баlearы, гегулы. Послышалось ржание лошадей Нар Гаваса. Они рассыпались вокруг холма. Далее шло сборное полчище под начальством Автарита. Оно состояло из галлов, ливийцев и кочевников; среди них, по рыбьим костям в волосах, можно было узнать пожирателей нечистой пищи.

Таким образом, варвары, точно рассчитав свои движения, действительно соединились. Сами тому удивляясь, они несколько времени простояли неподвижно, совещаясь друг с другом.

Суфдет построил свое войско кругообразно, чтобы давать со всех сторон одинаковый отпор. Высокие заостренные щиты, укрепленные в траве один подле другого, окружали пехоту. Клинабарии стояли вне круга, а дальше разместили в разных местах слонов. Наемники до крайности устали, и решено было ждать утра. Уверенные в победе, варвары провели всю ночь за едой.

Они зажгли большие яркие огни; ослепляя своим светом наемников, они погружали в тень карфагенское войско, расположенное внизу. Гамилькар наподобие римлян окопал свой лагерь рвом шириной в пятнадцать шагов, глубиной в десять локтей; внутри устроена была насыпь, на которой укрепили переплетенные между собою острые колья. На восходе солнца наемники поразились, увидав, что карфагеняне засели, как в крепости.

Они заметили среди палаток Гамилькара, который прохаживался и отдавал приказания. На нем был темный чешуйчатый панцырь; за ним следовала его лошадь. Время от времени он останавливался, указывая на что-то вытянутой правой рукой.

Тогда многие вспомнили подобные же утра, когда при громких звуках труб он медленно проходил перед ними и взгляд его укреплял их, как чаша вина. Они были чуть ли не растроганы его видом. Те же, которые не знали Гамилькара, были вне себя от радости, что сейчас захватят его.

Решили, что не следует нападать всем вместе, они мешали бы друг другу на таком узком пространстве. Нумидийцы могут броситься наперерез, но клинабарии, защищенные панцырями, тогда раздавят их. Кроме того, как перебраться через ограды? Что касается слонов, то они не были еще достаточно обучены.

— Все вы трусы! — воскликнул Мато.

Взяв с собой наиболее отважных, он двинулся на укрепления. Град камней отразил их: суфкет захватил на мосту оставленные ими катапульты.

Эта неудача быстро изменила неустойчивый дух варваров. Чрезмерная храбрость, воодушевлявшая их вначале, исчезла; они хотели победить, но как можно менее рискуя своей жизнью. По мнению Спендия, следовало старательно сохранять свое выгодное положение и взять пуническое войско измором. Карфагеняне стали рыть колодцы, и так как вокруг были горы, то они обнаружили воду.

С высоты своих частоколов они метали стрелы, бросали комья земли, навоз, вырытые ими камни; в то же время вдоль насыпи неустанно работали шесть катапульт.

Но источники могли сами собой иссякнуть, продовольствие должно было истощиться, катапульты испортиться. Наемники, в десять раз превосходящие своей численностью карфагенян, в конце концов добились бы победы. Чтобы выиграть время, суфкет сделал вид, что хочет начать переговоры; однажды утром варвары нашли в своих рядах баранью шкуру, покрытую письменами. Гамилькар оправдывался в своей победе; он говорил, что его принудили к войне старейшины. Чтобы показать, что он держит слово, он предложил им разграбить Утику или Гиппо-Зарит по их выбору. Заканчивая свое послание, Гамилькар заявил, что он совершенно их не боится, потому что предатели на его стороне и благодаря этому он легко одолеет остальных.

Варвары были смущены; предложение немедленной добычи прельщало их; они поверили в чье-то предательство, не подозревая, что суфкет лишь бахвалится, готовя им западню, и перестали доверять друг другу. Каждый стал следить за словами и действиями другого, и от страха они не могли ночью спать. Иные покидали своих соратников и уходили каждый в другое войско по своему выбору. Галлы с Автаритом присоединились к цизальпинским воинам, чей язык они понимали.

Четыре начальника собирались каждый вечер в палатке Мато и, сидя на корточках вокруг положенного на землю щита, внимательно продвигали вперед и отодвигали маленькие деревянные фигурки, придуманные Пирром для воспроизведения маневров. Спендий наглядно разъяснил, каковы силы и возможности Гамилькара, и молил, клянясь всеми богами, не упускать случая. Мато раздраженно шагал, размахивая руками. Война с Карфагеном была для него личным делом; он возмущался, что другие вмешиваются в нее и не хотят его слушаться. Автарит, угадывая по выражению его лица, что он говорит, рукоплескал ему. Нар Гавас откидывал голову в знак презрения; все принятые меры он считал пагубными; он уже не улыбался, как прежде. У него вырывались вздохи, точно он старался подавить скорбь об утраченной мечте и отчаяние, вызванное неудачным предприятием.

В то время как варвары обсуждали сделанные предложения и ни на что не решались, суфет усиливал укрепления. Он приказал вырыть за частоколом второй ров, возвести вторую стену, выстроить на углах деревянные башни; рабы его доходили до самых аванпостов, чтобы расставлять там западни. Но слоны, которым уменьшали корм, старались вырваться из пут. Чтобы тратить меньше сена, он велел клинабариям убить наименее сильных жеребцов; некоторые отказались выполнить приказ; он снес им головы. Лошадей съели. Воспоминание об этом свежем мясе печалило всех несколько дней.

Из глубины амфитеатра, в котором карфагеняне замкнулись, они видели на высотах вокруг себя четыре лагеря варваров, охваченные сильным волнением. Женщины ходили взад и вперед, неся на головах бурдюки; козы, бляя, прыгали вокруг связок копий; сменялись часовые; воины садились за еду вокруг треножников. Племена доставляли им достаточно продовольствия, и наемники даже не подозревали, до чего их бездействие пугало войско Гамилькара.

Со второго же дня карфагеняне заметили в лагере кочевников группу человек в триста, в стороне от других. Это были богатые, содержавшиеся в плену с начала войны. Ливийцы расставляли их на краю рва и метали копья из-за их спин, пользуясь их телами как заграждением. Несчастных нельзя было узнать: лица их были скрыты под грязью и паразитами. Вырванные места волос обнажали гноившиеся нарывы на голове, и все они были такие худые и страшные на вид, что походили на мумии в дырявых саванах. Некоторые рыдали с бессмысленным выражением лица. Другие кричали друзьям, чтобы они убивали варваров. Один из них, неподвижный, с опущенной головой, не проронил ни слова. Его большая белая борода падала до рук, закованных в цепи. Карфагеняне, точно

вдруг ощутив в глубине сердца гибель, грозящую Республике, узнали Гискона. Хотя опасно было приближаться к месту, где он стоял, все же они проталкивались вперед, чтобы увидеть его. На него надели в насмешку тиару из кожи гиппопотама со вставленными в нее камешками. Это придумал Автарит, вызвав, однако, неудовольствие Мато.

Гамилькар, выведенный из себя, велел открыть частокөл, решив во что бы то ни стало вырваться наружу. Карфагеняне бешено домчались до половины горы, пробежав эколо трехсот шагов. Навстречу им ринулся такой поток варваров, что их откинуло назад в свои же ряды. Один из легионеров, не успев вбежать за ограду, споткнулся о камень. К нему подбежал Зарксас и, повалив наземь, вонзил ему в горло кинжал, вынул его и, прильнув к ране, с радостным воем, вздрагивая от головы до пят, стал сосать кровь. Затем он спокойно сел на труп, поднял лицо, откинув шею, чтобы лучше вдыхать воздух, как это делает серна, напившись воды из потока, и пронзительным голосом запел песню балеаров; неопределенная мелодия была полна долгих модуляций, и они прерывались и чередовались, как эхо в горах. Он призывал своих убитых братьев, приглашая их на пир; потом опустил руки между колен, понурил голову и заплакал. Это ужасное зрелище привело варваров в трепет, особенно греков.

Карфагеняне не пытались больше делать вылазки. Но они не думали сдаваться, зная, что, сдавшись, погибнут в муках.

Между тем жизненные припасы, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более чем по десяти коммеров хлеба, по три гина пшена и по двенадцати бецов сушеных плодов. Не было ни мяса, ни оливкового масла, ни солений, ни овса для лошадей. Опуская исхудавшие шеи, лошади искали в пыли втоптаные соломинки. Часовые, стоя на земляной насыпи, часто примечали при лунном свете какую-нибудь собаку варваров, бродившую над окопами среди кучи отбросов. Собаку убивали камнем и, спустившись вниз при помощи ремней от щитов, не говоря ни слова, съедали ее. Иногда поднимался страшный лэй, и часовой не возвращался. В четвертой дилохии двенадцатой синтагмы три фалангита, подравшись из-за крысы, зарезали друг друга ножами.

Все тосковали о своих семьях, о своих домах: бедные вспоминали свои хижины, похожие на улья, раковины у порога, развешанные сети; а патриции — свои большие залы, окутанные синеватой мглой; там они отдыхали днем, в час наибольшей истомы, внимая смутному гулу улиц и трепету листьев в садах. Чтобы глубже погрузиться в воспоминания и полнее ими насладиться, они прикрывали веки; боль от раны выводила их из

забытья. Каждую минуту происходили схватки или поднималась какая-нибудь новая тревога: горели башни, пожиратели нечистой пищи вскакивали на частокол; им отрубали руки топорами; следом за ними прибегали другие; железный дождь падал на палатки. Карфагеняне построили галереи из камыша для защиты от метательных снарядов, заперлись в них и не двигались с места.

Каждый день солнце, обходя холм, с первых же часов после восхода покидало глубь ущелья и оставляло их в тени. Спереди и сзади поднимались серые скаты, усеянные камнями, которые местами обросли мхом, а над их головами расстилалось небо, неизменно чистое, более холодное и гладкое, чем металлический купол. Гамилькар был так возмущен поведением Карфагена, что чувствовал желание перейти к варварам и повести их на Карфаген. Вскоре стали роптать носильщики, маркитанты и рабы, а ни народ, ни Великий совет не присылали даже слова надежды! Положение становилось невыносимым, особенно при мысли, что оно должно было еще ухудшиться.

Узнав о поражении, Карфаген вскипел гневом, и, может быть, суффета менее возненавидели бы, если бы он дал разбить себя с самого начала.

Теперь не было ни времени, ни денег, чтобы обратиться к другим наемникам. Если же произвести новый набор в городе, то чем снарядить солдат? Гамилькар забрал все оружие! И кому поручить командование? Лучшие начальники были там, у Гамилькара! Гонцы, отправленные суффетом, появились на улицах и оглашали их криками. Великий совет обеспокоился и постарался их убраться.

Это была ненужная предосторожность; все были против Барки и обвиняли его в чрезмерной мягкости. Следовало после победы истребить наемников. И зачем ему было разорять союзные племена? Ведь, казалось бы, принесены достаточно тяжелые жертвы! Патриции жалели о внесенных ими четырнадцати шекелях, Сисситы — о своих двухстах двадцати трех тысячах киккаров золота. Те, которые ничего не дали, жаловались не менее других. Народ злобствовал против новых карфагенян, которым Республика обещала полное право гражданства; и лигуров, так доблестно сражавшихся, проклинали, смешивая их с варварами: принадлежность к их племени становилась преступлением, сообщничеством. Купцы на порогах своих лавок, рабочие, проходившие со свинцовой линейкой в руке, торговцы рассолом, полоскавшие свои кувшины, банщики в банях и продавцы горячих напитков — все обсуждали военные действия. Рисовали пальцем на песке планы битв, и даже

самые ничтожные люди как будто умели на словах исправить ошибки Гамилькара.

Жрецы говорили, что это наказание за его длительное безбожие. Гамилькар не приносил жертв, не подверг очищению свой войска и даже отказался взять с собою авгуров. Обвинение в святотатстве усиливало затаенную злобу против него и бешенство, вызванное разбитыми надеждами. Вспоминали поражения в Сицилии и бремя его гордости, которое приходилось так долго выносить. Коллегия жрецов не могла простить ему захват их казны и требовала, чтобы Великий совет торжественно обещал распять его, если он когда-либо вернется.

Другим бедствием была страшная жара, наступившая в тот год в месяце Элуле. С берегов озера поднималось зловоние; оно носилось в воздухе вместе с дымом курений, который клубился на улицах улиц. Неумолчно раздавалось пение гимнов. Толпы народа теснились на ступенях храмов; стены были покрыты черными завесами; восковые свечи озаряли лоб богов Патэков, и кровь верблюдов, зарезанных для жертвоприношения, текла по лестнице, образуя красные водопады. Мрачное неистовство охватило Карфаген. Из закоулков самых узких улиц, из самых мрачных притонов выходили бледные фигуры, люди со змеиным профилем; они скрежетали зубами. Жители, занятые разговорами на площадях, оборачивались на пронзительный вопль женщин, который наполнял дома и вырывался за ограды. Временами разносился слух, что варвары уже близко; их будто бы видели за горой Горячих источников; они будто бы расположились лагерем в Тунисе. Шум голосов увеличивался, нарастал и смещивался в общем гуле. Затем наступало общее молчание; одни застывали на фронтонах зданий, куда они вскарабкались, и прикрывали рукой глаза, а другие, лежа на животе у подножия укреплений, внимательно прислушивались. Когда проходил страх, все снова предавались гневу. Но сознание своей беспомощности вскоре погружало их в прежнюю печаль.

Она усиливалась всегда по вечерам, когда все поднимались на террасы и приветствовали громким криком Солнце с поклонами по девяти раз. Оно медленно опускалось за лагуной, потом вдруг исчезало в горах, в той стороне, где находились варвары.

Приближался трижды священный праздник, когда с высоты костра взлетал к небу орел, символ воскресшего года, знаменуя привет народа своему верховному Ваалу и как бы союз с силой Солнца. Однако теперь, охваченный чувством ненависти, народ наивно поклонялся Молоху, губителю людей, и все отвернулись от Танит. Лишенная покрывала, Раббет как бы утратила часть своего могущества. Исчезла благотворная сила

ее вод, она покинула Карфаген, сделалась перебежницей, врагом. Некоторые бросали в нее камнями, чтобы оскорбить ее. Но, понося богиню, многие ее жалели. Ее любили, быть может, даже глубже, чем прежде.

Значит, причиной всех несчастий была утрата заимфа. Саламбо косвенно участвовала в похищении покрывала, и общий гнев распространился и на нее; она должна понести кару. Вскоре в народе возникла смутная мысль об искупительной жертве. Чтобы умиротворить Ваалов, следовало без колебаний принести в жертву нечто бесконечно драгоценное: прекрасное, юное, девственное существо старинного рода, происходящее от богов, звезду мира человеческого. Каждый день неизвестные люди вторгались в сады Мегары: рабы, дрожавшие за собственную жизнь, не решались оказать им сопротивление. Люди эти, однако, не шли дальше лестницы, украшенной галерами. Они стояли внизу, поднимая глаза к верхней террасе: они ждали Саламбо и в течение целых часов кричали, изливая свой гнев против нее, как собаки, воюющие на луну.

Х

ЗМЕЯ

Крики черни не пугали дочь Гамилькара.

Она была поглощена более высокой заботой: занемогла ее большая змея, черный пифон; а змея была для Карфагена общенародным и вместе с тем личным фетишем. Ее считали порождением земного ила, так как она выходит из недр земли и ей не нужно ног, чтобы двигаться по земле: движения ее подобны струистому течению рек, холод ее тела напоминает вязкий плодородный мрак глубокой древности, а круг, который она описывает, кусая свой хвост, подобен кругу планет, разуму Эшмуна.

Пифон Саламбо несколько раз отказывался съесть четырех живых воробьев, которых ему преподносили каждое полнолуние и каждое новолуние. Его великолепная кожа, покрытая, подобно небесному своду, золотыми пятнами на черном фоне, пожелтела, сделалась дряблой, сморщенной и слишком просторной для тела; пушистая плесень распространялась вокруг головы, а в углу век показались маленькие красные точки,— они как будто двигались. Время от времени Саламбо подходила к корзинке, сплетенной из серебряной проволоки. Она отдергивала пурпуровую занавеску, раздвигала листья лотоса, птичий пух; змея все время лежала свернувшись, недвижимая, как увядшая лиана. Саламбо так долго смотрела на нее, что ей

казалось, будто сердце ее, кружась спиралью, подступает к горлу и какая-то другая змея душит ее.

Саламбо была в отчаянии от того, что видела заимф; вместе с тем она испытывала как бы радость и затаенную гордость. Сверкавшие складки тайли неведомое: то было облако, окутывавшее богов, то была тайна мировой жизни, и Саламбо, приходя в ужас от самой себя, жалела, что не коснулась покрывала.

Она почти все время сидела, поджав ноги, в глубине своей комнаты, обнимая руками левое колено, с полуоткрытым ртом, с опущенной головой, с остановившимся взглядом. Она с ужасом вспоминала лицо своего отца; ей хотелось уйти в финикийские горы, свершить паломничество в храм Афаки, куда Танит спустилась в виде звезды. Ее воображению рисовались манящие и вместе с тем пугающие образы, и с каждым днем чувство одиночества все сильнее охватывало ее. Она даже не знала ничего о Гамилькаре.

Утомленная своими мыслями, она поднималась, с трудом передвигая ноги в маленьких сандалиях с постукивающими на каждом шагу каблучками, и бродила по большой тихой комнате. Сверкающие пятна аметистов и топазов дрожали на потолке, и Саламбо, продолжая ходить, слегка поворачивала голову, чтобы их видеть. Она пила прямо из горлышка висевших амфор, обмахивала грудь большими опахалами или развлекалась тем, что сжигала киннамон в выдолбленных жемчужинах. В час заката Таанах вынимала ромбовидные куски черного войлока, закрывавшие отверстия в стене; тогда в комнату влетали голуби, натертые мускусом, подобно голубям Танит; их розовые лапки скользили по стеклянным плитам пола среди зерен овса, которые Саламбо бросала им полными пригоршнями, как сеятель в поле. Иногда она вдруг раздражалась рыданиями и недвижно лежала на широком ложе из кожаных ремней, неустанно повторяя одно и то же слово, мертвенно бледная, с широко раскрытыми глазами, бесчувственная, холодная. Все же она слышала в это время крики обезьян на верхушках пальм и непрерывный скрип большого колеса, накачивавшего воду в порфиновый бассейн.

Иногда в течение нескольких дней Саламбо отказывалась от пищи. Ей снилось, что потускневшие звезды падают к ее ногам. Она призывала Шагабарима, но когда он приходил, ей нечего было ему сказать.

Его присутствие было для нее облегчением, она не могла без него обойтись. Но она внутренне восставала против его власти над нею. В ее чувстве к жрецу был ужас, соединявшийся с ревностью и ненавистью. Но вместе с тем она по-своему любила

его из благодарности за странное наслаждение, какое испытывала в его присутствии.

Он сразу увидел в страданиях Саламбо влияние Раббет, так как умел искусно распознавать, какие боги посылали болезни. Чтобы исцелить Саламбо, он приказывал кропить ее покои водою, настоянной на вербене и руте; она ела по утрам мандрагоры; на ночь ей клали под голову мешочек со смесью из ароматных трав, приготовленной жрецами. Он даже применял к ним баарас — огненного цвета корень, который отгоняет на север злых духов. Наконец, повернувшись к Полярной звезде, он трижды произносил шопотом таинственное имя Танит; но Саламбо все не выздоравливала, и тревога его возрастала.

В Карфагене не было никого учнее Шагабарима. В молодости он учился в школе Могбедов в Борзиппе, близ Вавилона, потом побывал в Самофракии, в Пессинунте, Эфесе, Фессалии и Иудее, посетил храмы набатейцев, затерянные в песках, и пешком прошел вдоль берегов Нила, от водопадов до моря. Закрыв лицо покрывалом и потрясая факелами, он бросал черного петуха в костер из сандарака перед грудью Сфинкса, отца ужасов. Он спускался в пещеры Прозерпины, он видел вертящиеся пятьсот колонн лемносского лабиринта, сияющий тартентский светильник, на стержне которого укреплено столько огней, сколько дней в году; по ночам он иногда принимал у себя греков и расспрашивал их. Строение мира занимало его не менее, чем природа богов; при помощи астрономических сооружений, установленных в Александрийском портике, он наблюдал равноденствия и сопровождал до Кирен бематистов Эвергета, которые измеряют небо, считая свои шаги. В связи со всем этим в мыслях его возникла своеобразная религия, без определенных догматов, и именно вследствие этого головокружительная и пламенная. Он перестал верить, что земля имеет вид сосновой шишки; он считал ее круглой и вечно падающей в пространство с такой непостижимой быстротой, что ее падение незаметно.

Из того, что солнце расположено над луной, он приходил к выводу о превосходстве Ваала, считая, что солнце — лишь отражение и облик его. И все наблюдения над жизнью земли приводили его к признанию верховной власти истребляющего мужского начала. Затем он втайне обвинял Раббет в несчастье своей жизни. Не ради нее ли верховный жрец, шествуя среди бряцания кимвалов, лишил его некогда будущей мужественности? И он следил печальным взглядом за теми, которые уходили с жрицами в тень фисташковых деревьев.

Дни его проходили в осмотре камильниц, золотых сосудов, щипцов и лопаток для алтарного пепла и всех одеяний, приго-

товленных для статуй, вплоть до бронзовой иглы, которой завивали волосы на старой статуе Танит в третьей храмовой пристройке, вблизи виноградника с гроздьями из изумруда. В одни и те же часы он поднимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их; в одной и той же позе он воздевал руки; на одних и тех же плитах пола, распростершись, молился, в то время как вокруг него множество жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком.

В бесплодной его жизни Саламбо была точно цветком в расщелине гробницы. Он все же был суров с нею и не щадил ее, назначая покаяния и говоря ей горькие слова. Его жреческий сан устанавливал между ними как бы равенство пола, и он сетовал на девушку менее за то, что не мог ею обладать, чем за то, что она так прекрасна, в особенности — так чиста. Он часто замечал, что она уставала следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой.

Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбо, как молнии, озаряющие пропасти. Это бывало ночью, на террасе, когда, оставшись вдвоем, они созерцали звезды. Карфаген расстилался внизу, у их ног, а залив и море смутно сливались с окружающим мраком.

Он излагал ей свое учение о душах, спускающихся на землю тем же путем, каким проходит солнце среди знаков зодиака. Простирая руку, он указывал ей в созвездии Овна врата рождения человеческого, а в созвездии Козерога — врата возвращения к богам. Саламбо напрягала взор, чтобы увидеть их, так как принимала его отвлеченные представления за действительность; ей казались истинными в своей сущности все символы и даже форма его речи, причем и для самого жреца различие между символом и действительностью не было вполне ясным.

— Души мертвых, — говорил он, — растворяются в луне, как трупы в земле. Их слезы образуют влагу луны. Там обитающе, полное мрака, обломков и бурь.

Она спросила, что ждет ее там.

— Сначала ты будешь томиться, легкая, как пар, который колышется над водами, а после испытаний и более длительных страданий ты уйдешь к очагу Солнца, к самому источнику разума!

Однако он не говорил о Раббет. Саламбо думала, что он умалчивает о ней из стыда за побежденную богиню; называя ее общим именем, обозначающим луну, она славилась нежное, покровительствующее плодородию светило. Наконец он воскликнул:

— Нет, нет! Свое плодородие земля получает от дневного светила! Разве ты не видишь, что она бродит вокруг него, как влюбленная женщина, которая гонится по полю за тем, кого любит?

И он нескончаемо превозносил благодать солнечного света.

Он не только не убивал в ней мистические порывы, а, напротив того, вызывал их с каким-то наслаждением, мучил ее откровениями своего безжалостного учения. Саламбо, несмотря на страдания любви, страстно внимала этим откровениям.

Но чем больше Шагабарим сомневался в Танит, тем более он жаждал верить в нее. В глубине души его томили угрызения совести. Он нуждался в доказательствах, в проявлении воли богов и, в надежде обрести их, придумал нечто, что должно было одновременно спасти и его родину, и его веру.

Он стал сокрушаться при Саламбо о совершенном святотатстве и о несчастиях, которые оно вызывает даже в небесах. Потом он вдруг сообщил ей о том, в какой опасности находится суфбет, осажденный тремя армиями под предводительством Мато. В глазах карфагенян Мато, после того как он похитил покрывало, сделался как бы царем варваров. Шагабарим прибавил, что спасение Республики и ее отца зависит от нее одной.

— От меня? — воскликнула она. — Как я могу?..

Но жрец презрительно улыбнулся:

— Ты никогда не согласишься!

Она стала умолять его, и Шагабарим, наконец, сказал:

— Ты должна пойти к варварам и взять у них заимф!

Она опустилась на табурет из черного дерева и сидела, протянув руки на коленях, вся дрожа, как жертва у подножия алтаря в ожидании смертоносного удара. У нее стучало в висках, в глазах пошли огненные круги, и в своем оцепенении она понимала только одно — что она обречена на близкую смерть.

Но если Раббет восторжествует, если заимф будет возвращен и Карфаген избавится от врагов, то за это стоит заплатить жизнью одной женщины, думал Шагабарим. К тому же, быть может, ей отдадут заимф, и она вернется невредимой.

Он не приходил к ней три дня. Вечером четвертого дня она за ним послала.

Чтобы еще больше воспламенить ее сердце, он рассказал ей, какой бранью осыпали Гамилькара в Совете; он говорил ей, что она виновата и должна искупить свое преступление и что Раббет требует от нее этой жертвы.

Громкий гул голосов, часто проносясь над Маппалами, доходил до Мегары. Шагабарим и Саламбо быстро выходили из покоев и, стоя на лестнице, украшенной галерами, смотрели вниз.

На Камонской площади народ кричал, требовал оружия.

Старейшины отказывались выполнить их требование, считая всякое усилие бесполезным. Отряды, уходившие на войну без начальников, были разбиты и уничтожены. Наконец их отпустили, и, как бы отдавая дань Молоху или просто испытывая смутное желание разрушать что бы то ни было, они вырывали в рощах храмов большие кипарисы, зажигали их факелами Кабиров и с песнями носили по улицам. Чудовищные огни двигались, медленно раскачиваясь и освещая ярким светом стеклянные шары на верхушках храмов, украшения колоссов, тараны судов; они возвышались над террасами и казались солнцами, катящимися по городу; они спустились с Акрополя. Раскрылись ворота Малки.

— Ты готова? — спросил Шагабарим. — Или, быть может, ты поручишь им сказать отцу, что отрекаешься от него?

Она спрятала лицо в складки покрывала. Огни удалились, постепенно спускаясь к краю вод.

Ее удерживал неопределенный ужас; она боялась Молоха, боялась Мато. Этот человек исполинского роста, завладевший заимфом, властвовал теперь над Раббет, как Ваал, и представлялся ей окруженным таким же сверканием. Ведь души богов вселялись иногда в тела людей. Разве Шагабарим, говоря о нем, не сказал ей, что она должна побороть Молоха? Мато слился с Молохом, и она соединила их в одном образе; они оба преследовали ее.

Она хотела узнать, что ее ожидает, и подошла к змее, ибо будущее можно определить по ее движениям. Корзина была пуста, и это встревожило Саламбо.

Пифон обвился хвостом вокруг одной колонки серебряных перил у подвешной постели и терся о нее, чтобы высвободиться из старой пожелтевшей кожи; светлое сверкающее тело обнажилось, как меч, наполовину вынутый из ножен.

В следующие дни, по мере того как Саламбо поддавалась уговорам и чувствовала себя все более готовой притти на помощь Танит, пифон выздоравливал, толстел и, видимо, оживал.

Она внутренне убедилась, что Шагабарим выражает волю богов. Однажды утром, проснувшись полная решимости, она спросила, что нужно сделать, чтобы Мато вернул покрывало.

— Потребовать его, — сказал Шагабарим.

— А если он откажет?

Жрец пристально взглянул на нее с улыбкой, какой она никогда еще не видела на его лице.

— Тогда что? — повторила Саламбо.

Он вертел в пальцах концы поясок, которые спускались ему на плечи с тиары, и, недвижимый, молчал, опустив глаза. Наконец, видя, что она не понимает, он сказал:

— Ты останешься с ним наедине.

— И что же? — сказала она.

— Наедине в его палатке.

— А затем?

Шагабарим закусил губы. Он придумывал, как бы ответить.

— Если тебе суждено умереть, то только потом, — сказал он. — Потом! Не бойся! И, что бы ни случилось, не зови на помощь, не пугайся! Ты должна быть покорной, понимаешь? Должна подчиниться его желаниям, в которых выражается воля неба!

— А покрывало?

— Об этом позаботятся боги, — ответил Шагабарим.

Она прибавила:

— Может быть, ты пойдешь со мной, отец?

— Нет.

Он велел ей стать на колени и, держа левую руку поднятой и вытянув правую, поклялся за нее, что она принесет обратно в Карфаген покрывало Танит. Со страшными заклинаниями она посвящала себя богам и повторяла, обесиленная, каждое слово, которое произносил Шагабарим.

Он назначил ей очищения, сказал, какие она должна соблюдать посты, и затем объяснил, как пробраться к Мато, прибавив, что с ней пойдет человек, который знает дорогу.

Она почувствовала себя точно освобожденной, радовалась, что вновь увидит заимф, и благословляла Шагабарима за его увещания.

То была пора, когда карфагенские голуби улетали в Сицилию на гору Эрикс, к храму Венеры. Перед отлетом они в течение нескольких дней искали и звали друг дружку, чтобы всем собраться вместе; однажды вечером они улетели. Их гнал ветер, и большое белое облако скользило по небу высоко над морем.

Горизонт залит был кровавым светом. Голуби как будто понемногу спускались к волнам, затем исчезли, точно поглощенные морем, добровольно падая в пасть солнца. Саламбо, следившая за их полетом, опустила голову, и Таанах, думая, что угадывает причину ее печали, тихо сказала ей:

— Они вернутся, госпожа.

— Да, я знаю.

— И ты вновь увидишь их.

— Может быть, — сказала она со вздохом.

Она никому не поведала своего решения. Чтобы все скрыть, она послала Таанах купить в предместье Кинидзо (вместо того чтобы обратиться к дворцовым управителям) все, что ей нужно было: киноварь, благовония, льняной пояс и новые одежды.

Старая рабыня удивлялась этим приготовлениям, но не осмеливалась предлагать госпоже вопросы. И наконец наступил назначенный Шагабаримом день, когда Саламбо должна была отправиться.

В двенадцатом часу она увидела в глубине аллеи смоковниц слепого старца, который приближался, опираясь рукой на плечо шедшего перед ним мальчика; другой рукой он прижимал к бедру род цитры из черного дерева. Евнухи, рабы и женщины были тщательно удалены, и никто не мог знать о том, что подготавливалось.

В углах покоя Таанах зажгла на четырех треножниках огонь из стробуса и кардамона; потом она развернула большие вавилонские ковры и натянула их на веревки вокруг комнаты; Саламбо не хотела, чтобы даже стены видели ее. Сидя у входа в покой, играл на кинноре музыкант, а мальчик стоя прикасался губами к камышовой флейте. Вдали утихал гул улиц, фиолетовые тени у колоннад храмов удлинялись; с другой стороны залива подножие гор, оливковые кущи и желтые неводеланные земли, уходившие волнами в бесконечную даль, сливались в голубоватой дымке. Не слышно было ни звука; несказанное уныние тяжело нависло в воздухе.

Саламбо присела на ониксовую ступеньку на краю бассейна; она подняла широкие рукава, завязала их за плечами и стала медленно совершать омоения по священному ритуалу.

Затем Таанах принесла ей в алебастровом сосуде свернувшуюся жидкость; то была кровь черной собаки, зарезанной бесплодными женщинами в зимнюю ночь на развалинах гробницы. Саламбо натерла себе ею уши, пятки, большой палец правой руки; на ногте остался даже красноватый след, точно она раздавила плод.

Поднялась луна, и раздались одновременно звуки цитры и флейты.

Саламбо сняла серьги, ожерелье, браслеты и длинную белую ситарру. Она распустила волосы и некоторое время медленно встряхивала их, чтобы освежиться. Музыка у входа продолжалась; она состояла из одних и тех же трех нот, быстрых и яростных; струны бряцали, заливалась флейта; Таанах ударяла мерно в ладоши. Саламбо, покачиваясь всем телом, шептала молитвы, и ее одежды падали одна за другой к ее ногам.

Тяжелая завеса дрогнула, и над шнуром, поддерживавшим ее, показалась голова пифона. Он медленно спустился подобно капле воды, стекающей вдоль стены, прополз между разостланными тканями, потом, упираясь хвостом в пол, выпрямился; глаза его, сверкавшие ярче карбункулов, устремились на Саламбо.

Боязнь холодного или, быть может, чувство стыдливости остановило ее на мгновение. Но она вспомнила повеления Шагабарима и сделала шаг вперед. Пифон опустился на пол и, прижавшись серединой своего тела к затылку Саламбо, опустил голову и хвост, точно разорванное ожерелье, концы которого падают до земли. Саламбо обернула змею вокруг бедер, подмышками и между колен; потом, взяв ее за челюсти, приблизила маленькую треугольную пасть к краю своих зубов и, полузакрыв глаза, откинула голову под лучами луны. Белый свет обволакивал ее серебристым туманом, следы ее влажных ног сверкали на плитах пола, звезды дрожали в глубине воды; пифон прижимал к ней свои черные кольца в золотых пятнах. Саламбо задыхалась под чрезмерной тяжестью, ноги ее подкашивались; ей казалось, что она умирает. А пифон мягко ударял ее кончиком хвоста по бедрам; потом, когда музыка смолкла, он свалился на пол.

Таанах снова подошла к Саламбо; она принесла два светильника, пламя которых горело в стеклянных шарах, полных воды, и выкрасила лавзонией ладони рук Саламбо, нарумянила ей щеки, насурмила брови и удлинила их составом из камеди, мускуса, эбенового дерева и толченых мушиных лапок.

Саламбо, сидя на стуле из слоновой кости, отдалась заботам рабыни. Но строгие посты изнурили ее, и поэтому легкие движения руки Таанах и запах благовоний совсем ее обессилили. Она так побледнела, что Таанах остановилась.

— Продолжай! — сказала Саламбо.

И, преодолев слабость, она оживилась. Ею овладело нетерпение; она стала торопить Таанах, и старая рабыня сказала ворчливым голосом:

— Сейчас, сейчас, госпожа!.. Тебя ведь никто не ждет!

— Нет, — сказала Саламбо, — меня кто-то ждет.

Таанах отшатнулась, пораженная ее словами, и сказала, стараясь что-нибудь выведать:

— Что же ты прикажешь мне, госпожа? Ведь если ты уйдешь...

Саламбо зарыдала. Рабыня воскликнула:

— Ты страдаешь? Что с тобой? Не уходи или возьми меня с собой! Когда ты была совсем маленькая и плакала, я прижимала тебя к сердцу и забавляла своими сосцами. Ты их иссушила, госпожа!

Она ударила себя в иссохшую грудь.

— Теперь я стара! Я не могу утешить тебя! Ты меня больше не любишь! Ты скрываешь от меня свою печаль, пренебрегаешь старой кормилицей!

От нежности и обиды слезы текли у нее по щекам, по шрамам татуировки.

— Нет,— сказала Саламбо,— нет, я люблю тебя! Утешься!

Таанах снова принялась за дело с улыбкой, похожей на гримасу старой обезьяны. Следуя советам Шагабарима, Саламбо приказала одеть себя с большой пышностью, и Таанах нарядила ее во вкусе варваров, с большой изысканностью и в то же время наивно.

На тонкую тунику винного цвета Саламбо надела вторую, расшитую птичьими перьями. Золотая чешуя обхватывала ее бедра, и из-под этого широкого пояса спускались густыми складками голубые шаровары с серебряными звездами. Поверх этого Таанах надела на нее парадное платье из полотна, изготовленного в Сересе, белое с зелеными узорами. К плечу она прикрепила пурпуровый четырехугольник, отягощенный снизу зернами сандастра, и на все эти одежды накинула черный плащ с длинным шлейфом. После того она оглядела Саламбо и, гордясь своей работой, не могла удержаться, чтобы не сказать:

— Ты не будешь прекраснее и в день твоей свадьбы!

— Моей свадьбы! — повторила задумчиво Саламбо, опираясь локтем о ручку кресла из слоновой кости.

Таанах поставила перед нею медное зеркало, такое широкое и высокое, что Саламбо увидела себя в нем во весь рост. Тогда она поднялась и легким движением пальца приподняла слишком низко спустившийся локон.

Волосы ее, осыпанные золотым порошком, взбитые на лбу, спускались на спину длинными волнами и были убраны внизу жемчугом. Пламя светильников оживляло румяна на ее щеках, золото ее одежд и белизну ее кожи; на поясе, на руках и на пальцах ног сверкало столько драгоценностей, что зеркало подобно солнцу бросало на нее отсветы лучей. И Саламбо, стоя рядом с Таанах, наклонявшейся, чтобы поглядеть на нее, улыбалась среди этого ослепительного сверкания.

Потом она стала ходить по комнате, не зная, куда девать время.

Бдург раздалось пение петуха; она покрыла голову длинным желтым покрывалом, надела шарф на шею, сунула ноги в обувь из синей кожи и сказала Таанах:

— Пойди посмотри, не стоит ли в миртовой роще человек с двумя лошадьми.

Когда Таанах вернулась, Саламбо уже спускалась по лестнице, украшенной галерами.

— Госпожа! — крикнула кормилица.

Саламбо обернулась и приложила палец к губам в знак безмолвия и неподвижности.

Таанах тихо соскользнула вдоль галер до самого низа террасы; издали, при свете луны, она увидела в аллее кипари-

сов огромную тень, двигавшуюся вкось, слева от Саламбо; это предвещало смерть.

Таанах вернулась в комнату Саламбо. Она бросилась на пол, раздирая лицо ногтями; она рвала на себе волосы и испускала пронзительные крики.

Но когда она подумала, что ее могут услышать, то перестала кричать. И продолжала рыдать совсем тихо, опустив голову на руки и прижимаясь лицом к плитам пола.

XI

В ПАЛАТКЕ

Проводник Саламбо поехал с нею вверх, за маяк, по направлению к катакомбам; потом они спустились по длинному предместью Молюя с крутыми улочками. Небо начинало бледнеть. Кое-где из стен высывались пальмовые балки, и приходилось наклонять голову. Лошади, ступая шагом, скользили по земле; так они доехали до Тевестских ворот.

Тяжелые створы ворот были полуоткрыты; они проехали, и ворота закрылись за ними.

Сначала они направились вдоль укреплений, а достигнув цистерн, свернули на тенистую узкую полосу желтой земли, которая тянется до Радеса, отделяя залив от озера.

Никого не было видно вокруг Карфагена — ни на море, ни в окрестностях. Море было аспидного цвета; оно тихо плескалось, и легкий ветер, разгоняя пену волн, рябил поверхность белыми полосами. Укутанная в покрывало и плащ, Саламбо все же дрожала от утренней прохлады; от движения и воздуха у нее кружилась голова. Потом взошло солнце; оно пригревало ей затылок, и она невольно задремала. Лошади шли иноходью, увязая во влажном песке.

Миновав гору Горячих источников, они поехали быстрее, так как почва была более твердой.

Поля, несмотря на пору посева и работ, были пустынные на всем пространстве, открытом взгляду. Местами виднелись разбросанные кучи зерна; кое-где осыпался рыжеватый овес. На светлом фоне горизонта деревни выступали черными, причудливо изрезанными очертаниями.

Время от времени на краю дороги возвышалась часть обгоревшей стены. Крыши хижин провалились, и внутри домов видны были осколки глиняной посуды, отрепья одежды, предметы домашнего обихода и разбитые, утратившие всякую форму вещи. Часто из развалин выходили люди в лохмотьях, с землистым лицом и горящим взором. Они быстро убегали или

исчезали в какой-нибудь дыре. Саламбо и ее проводник не останавливались.

Одна за другой тянулись покинутые людьми равнины. На светлой земле лежала неровным слоем угольная пыль, которую вздымал за всадниками бег лошадей. Иногда они попадали в тихие места, где среди высоких трав протекал ручеек; перебираясь на другой берег, Саламбо срывала влажные листья и освежала ими руки. Когда они проезжали через рощу олеандров, лошадь отшатнулась перед лежавшим на земле трупом.

Невольник тотчас же снова усадил Саламбо на подушки. Он был одним из слугителей храма, и ему Шагабарим поручал все опасные предприятия.

Из крайней осторожности он шел теперь пешком рядом с нею, между лошадьми, и хлестал их кожаным ремнем, обернутым вокруг руки. Порою он вынимал из сумки, висевшей у него на груди, шарики из пшеничного теста, финики и яичные желтки, завернутые в листья лотоса, и безмолвно, на ходу, предлагал их Саламбо.

Днем им встретились на дороге три варвара в звериных шкурах. Потом мало-помалу стали появляться другие, бродившие кучками в десять, двенадцать, двадцать пять человек; некоторые из них гнали перед собою коз или хромую корову. У них были толстые палки с медными остриями; на омерзительно грязной одежде сверкали ножи; вид у них был изумленный и угрожающий. Некоторые проходили, произнося обычные благословения, другие посылали вслед проезжающим грубые шутки; раб Шагабарима отвечал каждому на его собственном наречии. Он говорил им, что сопровождает большого мальчика, который едет искать исцеления в далеком храме.

День догорал. Раздался лай собак, и они направились в сторону лая.

При свете заходящего солнца они увидели грубо сложенную из камней ограду, а за ней здание неопределенной формы. По верху стены бежала собака. Невольник бросил в нее камень, и они вошли в высокое помещение со сводами.

Посредине сидела женщина, поджав под себя ноги, и грелась у горевшего хвороста; дым выходил через отверстия в потолке. Седые волосы падали ей до колен, наполовину закрывая ее; не желая им отвечать, она с бессмысленным видом бормотала что-то о мести варварам и карфагенянам.

Невольник стал шарить по комнате, потом снова подошел к старухе и потребовал пищи. У старухи тряслась голова, и, не сводя глаз с пылающих углей, она бормотала:

— Я была рукой. Десять пальцев отрезали. Рот перестал есть.

Невольник показал ей пригоршню золота. Она бросилась к деньгам, но тотчас же снова приняла неподвижную позу.

Он вынул из-за пояса кинжал и приставил её к горлу. Тогда она встала, дрожа, подняла большой камень и принесла амфору с вином и рыб из Гиппо-Зарита, сваренных в меду.

Саламбо отвернулась от этой нечистой пищи и легла спать на лошадиных пополах, разостланных в углу комнаты.

Еще не занимался день, когда спутник ее разбудил.

Собака завывала. Раб тихонько подкрался и одним ударом кинжала отрубил ей голову. Потом он натер кровью ноздри лошадей, чтобы оживить их. Старуха послала ему вслед проклятие. Саламбо услышала и сжала амулет, который носила на груди.

Они снова отправились в путь.

Время от времени она спрашивала, скоро ли они приедут. Дорога извивалась по низким холмам. Слышался только треск кузнечиков. Солнце грело пожелтевшую траву; земля была вся в трещинах, образовавших как бы чудовищные плиты. Иногда проползала гадюка, пролетали орлы. Невольник продолжал бежать. Саламбо грезил, укутавшись в покрывала: несмотря на жару, она их не сняла, боясь загрязнить свой прекрасный наряд.

На равных расстояниях возвышались башни, выстроенные карфагенянами для наблюдения за племенами. Саламбо и ее проводник входили туда, чтобы отдохнуть в тени, потом снова пускались в путь.

Накануне они из осторожности сделали большой объезд. Но теперь им больше никто не встречался; местность была бесплодная, и варвары здесь не проходили.

Снова стали появляться следы опустошения. Иногда среди поля лежал кусок мозаики — только один уцелевший от разрушенного замка. Оливковые деревья, лишённые листьев, казались издали большими кустами терновника. Они проехали через город, все дома которого были выжжены вровень с землей. Вдоль стен лежали человеческие скелеты; попадались также кости дромадеров и мулов. Изъеденная падаль загромождала улицы.

Спускалась ночь. Низкое небо было покрыто тучами.

Они поднимались вверх, по направлению к западу, еще два часа — и вдруг увидели перед собою множество огоньков.

Огоньки светились в глубине амфитеатра. Иногда сверкали золотые бляхи, передвигавшиеся с места на место. То были панцыри клинабариев в карфагенском лагере; потом они увидели вокруг лагеря другие, еще более многочисленные огни, так как армии наемников, соединившиеся теперь, расположились на большом пространстве.

Саламбо сделала движение вперед, но раб Шагабарима увлек ее в сторону, и они поехали вдоль террасы, замыкавшей лагерь варваров. Показалась брешь, и невольник исчез в ней. По верху насыпи ходил часовой с пикой за плечом и луком в руке.

Саламбо подъезжала все ближе; варвар опустил на колени, и длинная стрела пронзила край ее плаща. Она не двинулась с места и что-то закричала; тогда он спросил ее, что ей нужно.

— Говорить с Мато,— сказала она.— Я перебежчик из Карфагена.

Он свистнул, и свист его повторился вдали.

Саламбо ждала. Лошадь ее, испугавшись, вертелась с громким фырканьем.

Когда появился Мато, позади Саламбо поднималась луна. Но лицо ее было скрыто под желтой вуалью с черными разводами, и она была так укутана множеством одежд, что не было возможности разглядеть ее. С высоты насыпи Мато смотрел на смутные очертания ее фигуры; в вечернем полумраке она казалась призраком.

Наконец она сказала ему:

— Отведи меня в свою палатку! Я так хочу!

Смутное воспоминание, которого он не мог определить, произошло в его памяти. У него забилось сердце. Ее властный вид смущал его.

— Следуй за мной! — сказал он.

Загородка опустилась, и Саламбо очутилась в лагере варваров.

Он был полон шумом густой толпы. Яркие огни горели под тысячами котлами; их багровые отсветы освещали отдельные места, оставляя другие в полном мраке. Раздавались крики, призывы; лошади, привязанные к перекладинам, стояли длинными прямыми рядами между палатками; палатки были круглые, четырехугольные, кожаные или холщовые; тут же были хижины из камыша и просто ямы в песке наподобие собачьих нор. Солдаты таскали фашины, лежали на земле, упершись локтями или заворачивались в цыновки, готовясь уснуть; лошадь Саламбо иногда перепрыгивала через них.

Саламбо вспоминала, что видела уже этих людей; но теперь бороды у них были длиннее, лица еще больше почернели, и голоса сделались более хриплыми. Мато, идя впереди нее, отстранял их рукой, отчего приподнимался его красный плащ. Солдаты целовали ему руку или, низко кланяясь, подходили к нему за приказаниями. Он был теперь подлинным, единственным предводителем варваров; Спендий, Автарит и Нар Гавас

пали духом, а он обнаружил столько отваги и упрямства, что все ему покорялись.

Следуя за ним, Саламбо прошла через весь лагерь. Его палатка была в самом конце, в трехстах шагах от окопов Гамиль-кара.

Она заметила справа большой ров, и ей показалось, что к краю его, вровень с землей, прильнули лица. Можно было подумать, что все это отрубленные головы; но глаза их двигались, и из полуоткрытых губ вырывались жалобы на пуническом наречии.

Два негра с смоляными светильниками в руках стояли по обе стороны входа. Мато быстро раздвинул холст палатки. Саламбо последовала за ним.

Палатка была глубокая, с шестом посредине. Освещал ее большой светильник в форме лотоса, наполненный желтоватым маслом, в котором плавала пакля; в полумраке блестели военные доспехи. Обнаженный меч был прислонен к табурету рядом со щитом; на цыновках были свалены бичи из гиппопотамовой кожи, кимвалы, бубенцы, ожерелья; на войлочном одеяле рассыпаны крошки черного хлеба; в углу на круглом камне лежали кучи небрежно брошенной медной монеты. Через разорванный холст палатки ветер доносил пыль лагеря и запах слонов; слышно было, как они ели, лязгая цепями.

— Кто ты? — спросил Мато.

Не отвечая ему, она медленно оглядывалась вокруг себя; потом взор ее устремился в глубину, где над ложем из пальмовых ветвей спускалось на пол нечто синее и сверкающее.

Она быстро направилась туда, невольно вскрикнув. Мато, стоявший за нею, топнул ногой.

— Кто тебя привел? Что тебе нужно?

Она ответила, указывая в глубь палатки:

— Я пришла взять заимф!

Она сорвала с головы покрывало. Он отступил, подавшись назад локтями, раскрыв рот, охваченный ужасом.

Она почувствовала, что ее поддерживает сила богов; глядя в лицо Мато, она потребовала, чтобы он вернул ей заимф, властно и долго настаивая на исполнении своего требования.

Мато не слышал; он глядел на нее, и одежды ее, казалось ему, сливались с ее телом. Волнистое сияние тканей и ослепительный цвет ее кожи были чем-то особым, присущим ей одной. Ее глаза лучились подобно ее брильянтам; блеск ее ногтей продолжал игру камней на ее пальцах; две пряжки туники, слегка приподнимая ее груди, приближали их одну к другой, и мысли его устремились на узкое пространство между ними, куда спускалась цепочка, держа изумруд, видневшийся ниже, под фиолетовым газом.

На ней были серьги с подвесками в виде маленьких сапфировых весов, поддерживавших выдолбленные жемчужины, наполненные благовониями. Из отверстия жемчужины время от времени падала маленькая капелька и смачивала обнаженное плечо. Мато следил, как падали капли.

Неудержимое любопытство влекло его к ней; как дитя трогает запрещенный плод, он дрожа коснулся концом пальца ее груди; холодное тело упруго уступило давлению.

Это прикосновение, хотя и едва ощутимое, глубоко потрясло Мато. Он устремился к Саламбо всем своим существом. Ему хотелось охватить, поглотить, выпить ее всю. Грудь его тяжело вздымалась, зубы стучали.

Взяв ее за обе руки, он мягко притянул ее к себе и сел на панцырь у ложа из пальмовых ветвей, покрытого львиной шкурой. Она стояла. Он глядел на нее снизу вверх и, держа таким образом между колен, повторял:

— Как ты прекрасна! Как ты прекрасна!

Она с трудом выносила его взгляд, неотступно устремленный на нее; она готова была кричать от тревоги и острого отращения к нему, но вспомнила слова Шагабарима и решила покориться.

Мато продолжал держать ее маленькие руки в своих, и время от времени, вопреки приказанию жреца, она отворачивала лицо и пыталась отстранить его движением рук.

Он широко раздувал ноздри, чтобы сильнее вдыхать благоухание, исходившее от нее. То был неопределимый аромат, свежий и вместе с тем одуряющий, как дым курений. От нее исходил запах меда, перца, ладана, роз и еще чего-то.

Но как она очутилась у него, в его палатке, в его власти? Наверное, кто-нибудь послал ее! Не пришла же она за покрывалом? Руки его опустились, и он уронил голову, внезапно охваченный тяжелым раздумьем.

Саламбо, чтобы растрогать его, сказала жалобным голосом:

— Что я тебе сделала? Почему ты хочешь моей смерти?

— Твоей смерти?

Она продолжала:

— Я увидела тебя однажды вечером при свете моих горящих садов, среди дымящихся кубков, среди трупов моих рабов, и твоя ярость была так велика, что ты кинулся на меня и заставил бежать! Ужас овладел после того Карфагеном. Отовсюду шли вести об опустошении городов, о сожженных деревьях, об убийстве солдат. Это ты их погубил, ты их убивал! Я ненавижу тебя! Самое имя твое терзает меня, как угрызения совести! Ты хуже чумы и войны с римлянами! Все провинции потрясены твоим бешенством, все поля усеяны трупами! Я шла

по следам зажженных тобою пожаров, точно по следам Молоха!

Мато вскочил; великая гордость обуяла его; он чувствовал себя вознесенным на высоту бога.

С трепещущими ноздрями, стиснув зубы, она продолжала:

— Мало того, что ты совершил святотатство, ты еще явился ко мне, когда я спала, закутанный в заимф! Я не поняла твоих речей, но ясно видела, что ты влечешь меня к чему-то страшному, на дно пропасти.

Мато воскликнул, ломая руки:

— Нет, нет! Я пришел, чтобы передать тебе заимф! Мне казалось, что богиня сняла свою одежду, чтобы отдать ее тебе, и что ее покрывало принадлежит тебе. В ее ли храме, или в твоём доме, не все ли равно? Ведь ты всевластна, девственно чиста и лучезарно прекрасна, как Танит!

И он прибавил, глядя на нее с беспредельным обожанием:

— Если только ты не сама Танит?

«Я Танит!» — сказала себе Саламбо.

Они замолчали. Вдали грохотал гром. Доносилось блеяние овец, испуганных грозой.

— О, подойди ко мне! — снова заговорил Мато. — Подойди, не бойся! Прежде я был простым солдатом в толпе наемников и таким смиренным, что носил на спине дрова для других. Что мне Карфаген! Полчища его солдат исчезают в пыли твоих сандалий. Все его сокровища, провинции, корабли и острова привлекают меня меньше, чем свежесть твоих уст и твоих плеч. Я хотел снести стены Карфагена только для того, чтобы проникнуть к тебе, чтобы обладать тобой! А пока я предавался мести! Я давлю людей, как раковины, я бросаю их на фаланги, сбиваю рукой пики, останавливаю коней, хватая их за ноздри. Меня не убить из катапульты! О, если бы ты знала, как в бою мои мысли полны тобою! Иногда воспоминание о каком-нибудь твоём жесте, о складке твоей одежды вдруг охватывает меня и опутывает, точно сетью! Я вижу твои глаза в пламени зажигательных стрел, в позолоте щитов, слышу твой голос в звуке кимвалов! Я оборачиваюсь, но тебя нет, и я снова бросаюсь в бой!

Он поднял руки, на которых вены переплетались, как плющ на ветвях дерева. Пот стекал на его грудь между могучими мышцами; тяжелое дыхание вздымало его бока, стянутые бронзовым поясом с длинными ремнями, висевшими до колен, которые были тверже мрамора. Саламбо, привыкшая к евнухам, была поражена его силой. Это была кара, посланная богиней, или влияние Молоха, реявшее вокруг нее среди пяти армий. Она изнывала от слабости, и ее поразили крики перекликающихся часовых.

Пламя светильника колебалось от порывов горячего ветра. Временами все освещалось яркими молниями, потом мрак усиливался, и она видела перед собою только глаза Мато, сверкавшие в темноте, как два раскаленных угля. Она ясно чувствовала, что свершается рок, что близко неотвратимое. Делая усилие над собой, она снова направилась к заимфу и протянула руки, чтобы взять его.

— Что ты делаешь? — воскликнул Мато.

Она кротко ответила:

— Я вернусь с ним в Карфаген.

Он подошел к ней, скрестив руки; его лицо было так страшно, что она остановилась, как пригвожденная.

— Вернешься с ним в Карфаген?

Голос его прерывался, и он повторил, скрежеща зубами:

— Вернешься с ним в Карфаген? А, так ты пришла, чтобы взять заимф, победить меня и потом исчезнуть? Нет! Ты в моих руках, и теперь никто не вырвет тебя отсюда. Я не забыл дерзкого взгляда твоих больших спокойных глаз, не забыл, как ты подавляла меня высокомерием твоей красоты! Теперь мой черед! Ты моя пленница, моя рабыня, моя служанка! Призови, если желаешь, своего отца с его войском, старейшин, богатых и весь свой проклятый народ! Я властвую над тремястами тысяч солдат! Я наберу их еще, в Лузитании, в Галлии, в глубине пустынь, и разрушу твой город, сожгу его храмы. Триремы будут носиться по волнам крови! Я не оставлю ни одного дома, ни одного камня, ни одной пальмы! А если нехватит людей, я приведу медведей с гор, пригоню львов! Не пытайся бежать, я тебя убью!

Бледный, со сжатыми кулаками, он дрожал, точно арфа, струны которой готовы разорваться. Но вдруг его стали душить рыдания, и ноги его подкосились.

— О, прости меня! Я низкий человек, я презреннее скорпионов, грязи и пыли! Когда ты только что говорила, дыхание твое пронеслось по моему лицу, и я упивался им, как умирающий, который пьет воду, припав к ручью. Раздави меня, лишь бы я чувствовал на себе твои ноги! Проклинай меня, — я хочу лишь слышать твой голос! Не уходи! Сжался надо мной! Я люблю тебя, я люблю тебя!

Он опустился перед нею на колени, охватив ее стан обеими руками, откинув голову; руки его блуждали по ее телу. Золотые кольца, продетые в уши, сверкали на его бронзовой шее. Крупные слезы стояли у него в глазах, точно серебряные шары. Он нежно вздыхал и бормотал неясные слова, более легкие, чем ветерок, и сладостные, как поцелуй.

Саламбо была охвачена истомой, в которой терялось ее сознание. Что-то нежное и вместе с тем властное, казавшееся

волей богов, принуждало ее отдаться этой истоме: облака поднимали ее; обессиленная, она упала на львиную шкуру ложа. Мато рванул ее за ступни, золотая цепочка порвалась, и оба конца ее, отскочившие, точно две змейки, ударились о холст палатки. Заимф упал и окутал ее; она увидела лицо Мато, склонившееся к ее груди.

— Молох, ты сжигаешь меня! — крикнула она.

По телу ее пробегали поцелуи солдата, пожиравшие ее сильнее пламени; точно вихрь поднял ее на воздух; ее покорила сила солнца.

Он целовал пальцы ее рук, ее плечи, ноги и длинные косы ее волос.

— Возьми заимф! — сказал он. — На что он мне? Возьми меня вместе с ним! Я покину войско, откажусь от всего! За Гадесом, в двадцати днях пути по морю, есть остров, покрытый золотой пылью и зеленью, населенный птицами. На горах цветут большие цветы, курящиеся благоуханиями; они качаются, точно вечные кадиланицы. В лимонных деревьях, более высоких, чем кедры, змеи молочного цвета алмазами своей пасти стряхивают на траву плоды. Воздух там такой, что нельзя умереть. Я найду этот остров, ты увидишь! Мы будем жить в хрустальных гротах, высеченных у подножия холмов. Еще никто не живет на этом острове, и я буду его царем.

Он стер пыль с ее котурнов, упросил ее взять в рот кусочек граната, положил ей под голову груды одежды вместо подушки. Ему всячески хотелось услужить ей, унизиться перед нею, и он накрыл ей ноги заимфом, точно это было простое покрывало.

— Они еще у тебя, — спросил он, — такие маленькие рога газели, на которые ты вешаешь свои ожерелья? Подари мне их, они мне нравятся!

Он говорил так, как будто войны и в помине не было, и все время радостно смеялся. Наемники, Гамилькар, все препятствия исчезли для него. Луна скользила между двумя облаками. Они видели ее через отверстие палатки.

— О, сколько ночей я провел, глядя на нее! Она мне казалась завесой, скрывавшей твое лицо. Ты глядела на меня сквозь нее. Воспоминание о тебе смешивалось с ее лучами, и я уже не отличал тебя от луны!

Прильнув головой к ее груди, он проливал обильные слезы.

«Так вот каков, — подумала она, — этот страшный человек, наводящий трепет на карфагенян!»

Он заснул. Тогда, высвободившись из его объятий, она ступила ногой на землю и заметила, что цепочка ее порвана.

Девушек знатных домов приучили считать эти ножные пути

почти священными, и Саламбо покраснела, обвивая вокруг ног обрывки золотой цепочки.

Карфаген, Мегара, ее дом, ее опочивальня и места, по которым она ехала, пронеслись в ее памяти несвязными и в то же время ясными картинками. Но то, что произошло, отделяло ее бездной от всего минувшего.

Гроза утихала; редкие капли дождя стучали по кровле палатки, раскачивая ее.

Мато спал, как пьяный, вытянувшись на боку, и одна рука его спустилась с края ложа. Жемчужная перевязь слегка отодвинулась и обнажала его лоб, улыбка раздвинула зубы. Они сверкали, оттененные черной бородой, и полузакрытые глаза выражали тихую, почти оскорбительную радость.

Саламбо глядела на него, не двигаясь, опустив голову и скрестив руки.

Ей бросился в глаза кинжал, лежавший у изголовья на кипарисовой ветке; при виде сверкающего лезвия в ней вспыхнула жажда крови. Издали, из мрака, доносились жалобные голоса, призывавшие ее к действию, подобно хору духов. Она подошла к столу и схватила кинжал за рукоятку. Шорох ее платья разбудил Мато; он полуоткрыл глаза, и губы его приблизились к ее руке; кинжал упал.

Раздались крики; страшный свет вспыхнул за палаткой. Мато отдернул холст, и они увидели пламя, окутавшее лагерь ливийцев.

Горели их камышовые хижины; стебли, извиваясь, трескались в дыму и разлетались, как стрелы; на фоне багрового горизонта мчались обезумевшие черные тени. Раздавались вопли людей, оставшихся в хижинах; слоны, быки и лошади металась среди толпы, давя ее вместе с поклажей и провиантом, который вытаскивали из пламени. Раздавались звуки труб и крики: «Мато! Мато!» Прибежавшие люди хотели ворваться в палатку.

— Выходи! Гамилькар поджег лагерь Автарита!

Мато выскочил одним прыжком. Саламбо осталась одна.

Тогда она стала рассматривать заимф и удивилась, что не чувствует того блаженства, о котором когда-то грезила. Мечта ее осуществилась, а ей было грустно.

Низ палатки поднялся, и показалось чудовище. Саламбо различила сначала только глаза и длинную белую бороду, свисавшую до земли; тело, путаясь в отрепьях рыжей одежды, ползло по земле; при каждом движении вперед обе руки вцеплялись в бороду и снова опускались. Таким образом чудовище доползло до ее ног, и Саламбо узнала старика Гискона.

Для того чтобы давнишние пленники не могли бежать, наемники переламывали им ноги железными палками, и они

погибали, сбившись в кучу во рву, среди нечистот. Более выносливые, услышав звон посуды, приподнимались и кричали; так, высунувшись из рва, Гискон увидел Саламбо. Он угадал в ней карфагенянку по маленьким шарикам из сандастра, которые ударялись о котурны. В предвидении какой-то важной тайны он с помощью товарищей вылез из рва. Потом, двигая руками и локтями, он прополз двадцать шагов и добрался до палатки Мато. Оттуда раздавалось два голоса. Он стал прислушиваться и все услышал.

— Это ты? — сказала она, наконец, охваченная ужасом.

Приподнимаясь на ладонях, он ответил:

— Да, я! Все, вероятно, думают, что я умер?

Она опустила голову. Он продолжал:

— О, почему Ваалы не сжалились надо мной и не послали мне смерть!

Приблизившись к ней так, что он касался ее, Гискон продолжал:

— Они бы избавили меня от необходимости проклинать тебя!

Саламбо отшатнулась, — до того испугало ее это существо, покрытое нечистотами, отвратительное, как червь, и грозное, как призрак.

— Мне скоро исполнится сто лет, — сказал он. — Я видел Агафокла, видел Регула, видел, как римские орлы пронеслись по жатвам карфагенских полей! Я видел все ужасы битв, видел море, запруженное обломками наших кораблей! Варвары, которыми я командовал, заковали мне руки и ноги, как рабу, свершившему убийство. Мои товарищи один за другим умирают рядом со мной, зловоние их трупов не дает мне спать. Я отгоняю птиц, которые прилетают выклевывать им глаза. И все же не было дня, когда я отчаивался бы в торжестве Карфагена! Даже если бы все армии на свете пошли против него, если бы пламя осады поднималось выше холмов, я бы продолжал верить в вечность Карфагена. Но теперь все кончено, все потеряно! Боги возненавидели его! Проклятье тебе, ускорившей его падение своим позором!

Она раскрыла губы.

— Я был тут, у палатки! — воскликнул он. — Я слышал, как ты задыхалась от любви, блудница. Потом он говорил тебе о своих деяниях, и ты позволяла целовать себе руки! Но если тобой и овладела постыдная страсть, то надо было брать пример с диких зверей, которые спариваются втайне, а не выставляя свой позор на глазах у отца!

— Отца? — спросила она.

— А ты не знала, что окопы варваров отстоят от карфагенских всего на шестьдесят локтей и что твой Мато из чрез-

мерной гордости расположился прямо против Гамилькара? Твой отец тут, у тебя за спиной. Если бы я мог подняться по тропинке, которая ведет на площадку, я крикнул бы ему: «Пойди, посмотри на свою дочь в объятиях варвара! Чтобы понравиться ему, она облеклась в одежды богини. Отдавая свое тело, она отдает на поругание славу твоего имени, величие богов, поступает мстью за родину и даже спасением Карфагена!»

Движения его беззубого рта сотрясали длинную бороду; глаза его, устремленные на Саламбо, пожирали ее, и он повторял, задыхаясь от пыли:

— Нечестивая! Будь ты проклята, проклята, проклята!

Саламбо отодвинула холст и, держа высоко его край в руке, смотрела, не отвечая, в сторону лагеря Гамилькара.

— Это там, да? — спросила она.

— Какое тебе дело? Отвернись, уходи! Раздави свое лицо о землю! То место священно, и твое присутствие осквернило бы его!

Она обернула заимф вокруг пояса и быстро собрала свое покрывало, шарф и плащ.

— Я бегу туда! — вскрикнула она и, выскользнув из палатки, исчезла.

Сначала она шла в темноте, никого не встречая, потому что все устремились на пожар; крики усиливались, и пламя обжгло небо позади; ее остановила длинная насыпь.

Она повернула назад, пошла наугад направо и налево, ища лестницу, веревку, камень, что-нибудь, что помогло бы ей взобраться на насыпь. Она боялась Гискона, и ей казалось, что ее преследуют крики и шаги. Начинало светать. Она увидела дорожку вдоль насыпи, ухватила зубами край мешавшей ей одежды и в три прыжка очутилась наверху насыпи.

У ее ног раздался в темноте звонкий крик, тот самый, который она слышала, когда спустилась с лестницы, украшенной галерами. Наклонившись, она узнала невольника Шагабарима и его лошадей.

Он пробродил всю ночь между двумя окопами. Потом, встревоженный пожаром, пошел назад, стараясь разглядеть, что происходит в лагере Мато. Он знал, что место, где он стоял, ближе всего к палатке Мато, и поэтому не двигался оттуда, покорный приказам жреца.

Он встал на одну из лошадей. Саламбо спустилась к нему, и они умчались галопом, объезжая карфагенский лагерь, чтобы найти где-нибудь ворота.

Мато вернулся в свою палатку. Дымящийся светильник слабо озарял ее; ему казалось, что Саламбо спит. Он нежно

ощупал львиную шкуру на постели из пальмовых ветвей, потом окликнул Саламбо. Ответа не было. Тогда он резким движением оторвал кусок холста, чтобы стало светлее. Заимф исчез.

Земля дрожала от топота ног. Раздавались громкие крики, ржание, лязг оружия; трубы трубили тревогу. Вокруг Мато точно кружился вихрь. Обезумев от бешенства, он схватил оружие и выбежал из палатки.

Варвары один за другим бегом спускались с горы; карфагеняне шли на них тяжело и ровно колышущимися рядами. Туман, разрываемый лучами солнца, образовал маленькие колеблющиеся облачка; они поднимались и постепенно открывали знамена, шлемы и острия копий. Из-за быстроты движений казалось, что перемещаются пространства земли, еще окутанные мраком. Местами получалось впечатление скрещивающихся потоков и между ними — неподвижных колючих масс. Мато различал начальников, солдат, глашатаев и даже слуг позади, верхом на ослах. Вместо того чтобы сохранить свою позицию и прикрыть пехоту, Нар Гавас вдруг повернул направо, точно хотел дать Гамилькару возможность смять его.

Его конница опередила слонов, которые замедлили ход, и лошади, вытягивая головы, не стесненные уздой, мчались так бешено, что, казалось, касались животом земли. Вдруг Нар Гавас с решительным видом направился к одному из часовых. Он бросил свой меч, копье, дротики и исчез в толпе карфагенян.

Царь нумидийцев вошел в палатку Гамилькара и сказал ему, указывая на свою конницу, остановившуюся поодаль:

— Барка, я привел тебе мое войско! Отныне оно твое.

Он протерся перед Гамилькаром в знак того, что отдает себя в рабство, и как бы в доказательство своей верности напомнил о своем поведении с начала войны.

Прежде всего он воспрепятствовал осаде Карфагена и избиению пленных; затем он не воспользовался победой над Ганноном после поражения в Утике. Что касается тирских городов, то ведь они расположены на границе его владений. Наконец, он не участвовал в битве при Макаре и не явился туда нарочно, чтобы избежать необходимости сражаться против суффета.

На самом деле Нар Гавас хотел увеличить свои земли захватом карфагенских провинций и, смотря по тому, на чьей стороне был перевес, попеременно или помогал наемникам, или изменял им. Видя, что окончательная победа достанется Гамилькару, он перешел на его сторону. Предательство его, быть может, вызвано было также злобой на Мато за то, что он командовал войском, или за его прежнюю любовь к Саламбо.

Суфсет слушал его, не прерывая. Тот, кто переходит в вой-

ско, где ему имеют право мстить за прежнюю измену, может оказаться нужным человеком. Гамилькар сразу увидел пользу от союза с ним для своих широких замыслов. Вместе с нумидийцами он сможет избавиться от ливийцев. Потом он увлечет за собою Запад и завоюет Иберию. Не спрашивая Нар Гаваса, почему он не явился раньше, и не уличая его во лжи, Гамилькар поцеловал его и три раза стукнулся с ним грудью в грудь.

Он поджег лагерь ливийцев только от отчаяния и чтобы положить всему конец. Войско Нар Гаваса было для него как бы помощью, посланной богами; и, скрывая свою радость, он сказал:

— Да покровительствуют тебе Ваалы! Не знаю, что сделают для тебя Республика, но Гамилькар не бывает неблагодарным.

Шум усиливался; входили военачальники. Гамилькар стал надевать оружие, продолжая говорить:

— Отправляйся! С твоей конницей ты можешь отбросить их пехоту в пространство между твоими слонами и моими. Мужайся! Истреби их!

Нар Гавас бросился выполнять приказ, но в это время вошла Саламбо.

Она быстро спрыгнула с лошади, раскрыла свой широкий плащ и, протягивая руки, развернула заимф.

Кожаная палатка, приподнятая в углах, открывала вид на окружающие горы, сплошь занятые солдатами, и так как Саламбо стояла посредине палатки, то ее видно было со всех сторон. Раздался нескончаемый гул, крик торжества и надежды. Те, которые шли, остановились; умирающие, приподнимаясь на локтях, оборачивались, чтобы благословить ее. Варвары убедились теперь, что она унесла заимф; они видели ее издали или думали, что видят. Раздались и другие крики — бешенства и отмщения — вместе с приветственным гулом карфагенян. Пять армий, расположенных одна над другой на горе, топали ногами и выли вокруг Саламбо.

Гамилькар был не в состоянии говорить и только кивками головы благодарил ее. Глаза его останавливались то на заимфе, то на ней; цепочка на ее ногах была разорвана. Он вздрогнул, охваченный страшным подозрением, но, быстро овладев собой, не поворачивая головы, искоса посмотрел на Нар Гаваса.

Царь нумидийцев скромно стоял в стороне; на лбу у него были следы пыли, которой он коснулся, простершись перед Гамилькаром. Наконец суфдет подошел к нему и сказал внушительным голосом:

— В награду за услуги, которые ты мне оказал, я отдаю тебе мою дочь, Нар Гавас.

Он прибавил:

— Будь мне сыном и защити отца!

Нар Гавас изумленно взглянул на него, потом бросился целовать ему руки.

Саламбо, спокойная как статуя, как будто не понимала; она слегка покраснела, опустив глаза; длинные, загнутые сверху ресницы бросали тень на ее щеки.

Гамилькар пожелал тотчас же ненарушимо обручить их. Он дал Саламбо копье, которое она поднесла в дар Нар Гавасу; ремнем из бычьей кожи им связали вместе большие пальцы, потом стали сыпать на голову зерно. Падая вокруг них, зерна звонко подпрыгивали, звеня, точно град.

XII

АКВЕДУК

Двенадцать часов спустя от наемников осталась только гряда раненых, мертвых и умирающих.

Гамилькар, выйдя неожиданно из глубины ущелья, вновь спустился туда по западному склону, обращенному к Гиппозариту; и так как там было просторнее, он постарался завлечь туда варваров. Нар Гавас окружил их своей конницей, а суффет в это время гнал назад и истреблял. Их поражение было предопределено потерей заимфа. Даже те, которые не придавали этому значения, охвачены были тревогой и ослабели. Гамилькар не стремился овладеть полем битвы и потому отошел дальше влево, на высоты, откуда держал неприятеля в своей власти.

Очертание лагерей угадывалось по наклонным частоколам. Длинная полоса черного пепла дымилась там, где были расположены ливийцы; изрытая почва вздымалась, как морские волны, а палатки с разодранным в клочья холстом казались подобием кораблей, наполовину разбитых о подводные камни. Панцыри, вилы, рожки, куски дерева, железа и меди, зерно, солома, одежда валялись среди трупов; здесь и там догорающие огненные стрелы тлели около нагроможденной поклажи; в некоторых местах земля исчезала под грудой щитов; павшие лошади лежали одна за другой нескончаемым рядом бугров; то и дело попадались ноги, сандалии, руки, кольчуги и головы в касках, поддерживаемые подбородниками; они катились, как шары; пряди волос висели на шипах кустарников; в лужах крови хрипели слоны с распоротыми животами, упавшие вместе со своими башнями; ноги ступали все время по чему-то липкому, и всюду виднелись лужи грязи, хотя и не было дождя.

Трупы покрывали всю гору сверху донизу.

Оставшиеся в живых не шевелились, как и мертвецы. Они сидели, поджав под себя ноги, группами, растерянно глядели друг на друга и молчали.

В конце длинной поляны сверкало под лучами заходящего солнца озеро Гиппо-Зарита. Справа, над поясом стен, поднимались белые дома; за ними было море, уходившее в бесконечную даль. Подпирая голову рукой, варвары вздыхали, вспоминая свою отчизну. Поднявшееся облако серой пыли рассеялось.

Подул вечерний ветер; все груди облегченно вздохнули; по мере того как становилось свежее, черви переползали с холодящих трупов на горячий песок. На верхушках высоких камней недвижные вороны не сводили глаз с умирающих.

Когда спустилась ночь, отвратительные желтые собаки, которые следовали за войсками, тихонько подкрались к варварам. Сначала они стали лизать запекшуюся кровь на еще теплых искалеченных телах, а потом принялись пожирать трупы, начиная с живота.

Беглецы возвращались один за другим, как тени. Отваживались вернуться и женщины; их еще оставалось немало, особенно у ливийцев, несмотря на то, что очень многих перерезали нумидийцы.

Некоторые брали концы веревок и зажигали их вместо факела; другие скрещивали копья, клали на эти носилки трупы и уносили их в сторону.

Трупы укладывали длинными рядами; они лежали на спине, с открытыми ртами, и копья их были тут же, при них; местами они лежали кучей, и часто, чтобы найти пропавших, приходилось разрывать целую груды мертвецов; потом над их лицами медленно проводили факелы. Страшное оружие врагов нанесло им сложные раны. Зеленоватые лоскуты кожи свисали со лба; другие были рассечены на куски, раздавлены до мозга костей, посинели от удушья или были распороты клыками слонов. Хотя смерть настигла почти всех в одно время, трупы разлагались по-разному. Солдаты севера вздулись бледной опухолью, в то время как африканцы, более мускулистого сложения, имели прокопченный вид и уже высыхали. Наемников можно было узнать по татуировке на руках; у старых солдат Антиоха были изображены ястребы; у тех, которые служили в Египте, — головы павлинов; у азиатских принцев — топор, гранат, молоток; у солдат из греческих республик — разрез крепости или имя архонта; у некоторых руки были сплошь покрыты множеством знаков, которые смешивались со старыми рубцами и свежими ранами.

Для солдат латинской расы — самнитов, этрусков, уроженцев Кампании и Бруттиума — разложены были четыре боль-

ших костра. Греки вырыли рвы остриями мечей. Спартиаты завернули мертвецов в свои красные плащи; афиняне клали их лицом к востоку; кантабры зарывали под грудой камней; назамоны сгибали вдвое ремнями из бычьей кожи, а гараманты зарывали на берегу, чтобы их неустанно омывали волны. Латиняне были в отчаянии, что не могли собрать в урны пепел своих мертвецов; кочевники жалели, что тут не было горячего песка, в котором тела превращаются в мумии; а кельтам недоставало трех необтесанных камней под дождливым небом, в глубине залива, усеянного островками.

Поднялись стенания, прерываемые долгим молчанием. Этим хотели воздействовать на души мертвых и заставить их вернуться. Потом, через правильные промежутки времени, опять упрямо поднимался крик.

Живые просили прощения у мертвых за то, что не могли почтить их тела по установленному ритуалу; лишая почестей, они обрекали их на бесконечное скитание среди различных случайностей и перевоплощений. Мертвых призывали, спрашивая, чего они желают; иные же осыпали их бранью за то, что они дали себя победить.

Пламя больших костров придавало еще большую бледность бескровным лицам тех, которые лежали, опрокинувшись на спину, на обломках оружия; слезы одних вызывали плач других, рыдания усиливались, прощание с опознанными мертвецами становилось все более исступленным. Женщины ложились на трупы, прижимались губами к губам, лбом ко лбу; приходилось бить их, чтобы они ушли, когда трупы засыпали землей. Они чернили себе щеки, отрезали волосы, пускали кровь, и она лилась во рвы; многие наносили себе порезы наподобие ран, изуродовавших мертвецов.

Сквозь грохот кимвалов прорывались вопли. Некоторые срывали с себя амулеты и плевали на них. Умиравшие катались по грязи, пропитанной кровью, кусая в бешенстве свои изрубленные кулаки; а сорок три самнита, целый священный отряд юношей, побивали друг друга, как гладиаторы. Вскоре нехватило дров для костров, огонь угас, все площадки были заняты. Уставшие от криков, шатающиеся и обессиленные, они заснули рядом со своими мертвыми братьями; одни — с желанием продлить свою жизнь, полную тревог, а другие — предпочитая не проснуться.

При бледном свете зари на границе лагеря появились солдаты; они проходили, подняв шлемы на острия копий; приветствуя наемников, они спрашивали, не хотят ли те передать что-нибудь на родину.

К ним присоединились еще другие, и варвары узнавали в них своих бывших соратников.

Суффет предложил всем пленным служить в его войсках. Некоторые мужественно отказались; тогда, не желая напрасно кормить их, но вместе с тем решив не отдавать их во власть Великого совета, Гамилькар отпустил их с условием, чтобы они не воевали больше против Карфагена. Тем же, которые смирились из боязни пыток, роздали оружие врага, и они пришли к побежденным не столько для того, чтобы соблазнить их своим примером, сколько из желания похвастать и отчасти из любопытства.

Они рассказали про хорошее обращение с ними суффета. Варвары слушали с завистью, хотя и презирали их. Но при первых словах упрека малодушные перебежчики пришли в бешенство; они стали показывать варварам издали их же копы и панцыри и звали притти за ними. Варвары начали кидать в них камнями; те обратились в бегство; и вскоре на вершине горы видны были только острия копий, выступавших над краем частокола.

Варваров охватила печаль, более тяжкая, чем позор поражения. Они стали думать о бесполезности своего мужества и сидели с остановившимся взглядом, скрежеща зубами.

Одна и та же мысль возникла у всех. Они кинулись толпой к карфагенским пленным. Солдатам суффета случайно не удалось их найти, а так как Гамилькар покинул теперь поле битвы, то они все еще находились в своем глубоком рву.

Их положили наземь на ровном месте. Часовые расположились замкнутым кругом и стали пропускать женщин, по тридцать или сорок сразу. Пользуясь недолгим временем, которое им предоставлялось, женщины бегали от одного к другому в нерешительности, задыхаясь от возбуждения; потом, склонившись к их жалким телам, начинали колотить их, как прачки колотят белье; выкрикивая имена своих мужей, они раздирали их ногтями и выкалывали им глаза иглами, которые носили в волосах. Вслед за ними приходили мужчины и терзали их тело, начиная от ног, которые они отрезали по щиколотки, до лба, с которого они сдирали венки кожи, украшая ими свои головы. Пожиратели нечистой пищи были особенно жестоки в своих выдумках. Они растравляли раны укусом и сыпали в них пыль и осколки глиняных сосудов; когда они ухаживали, другие сменяли их; текла кровь, и они веселились, как сборщики винограда вокруг дымящихся чанов.

Мато сидел на земле, на том же месте, где был, когда кончилась битва, опираясь локтями в колени и охватив руками голову; он ничего не видел, ни о чем не думал.

Услышав радостный гул толпы, он поднял голову. Обрывок холста, прикрепленный к шесту и волочившийся по земле, прикрывал сваленные в кучу корзины, ковры и львиную шкуру. Он узнал свою палатку, и глаза его устремились вниз, точно дочь Гамилькара, исчезнув, провалилась сквозь землю.

Разорванный холст бился по ветру, и длинные обрывки его касались временами губ Мато; он заметил красную пометку, похожую на отпечаток руки. То была рука Нар Гаваса, знак их союза. Мато поднялся. Он взял дымящуюся головню и презрительно бросил ее на обломки свсей палатки. Потом кончиком котурна толкнул в огонь все, что валялось вокруг, чтобы ничего не осталось.

Вдруг неизвестно откуда появился Спендий.

Бывший раб привязал себе к бедру два обломка копья и хромал с жалостным видом, испуская стоны.

— Сними все это,— сказал Мато.— Я не сомневаюсь в твоей храбрости!

Он был так раздавлен несправедливостью богов, что не имел силы возмущаться людьми.

Спендий сделал ему знак и повел в углубление на небольшом холме, где спрятались Зарксас и Автарит.

Они бежали, как и раб, один — несмотря на свою жестокость, другой — вопреки своей храбрости. Но кто бы мог ожидать, говорили они, измены Нар Гаваса, поджога лагеря ливийцев, потери заимфа, неожиданного нападения Гамилькара и в особенности маневра, которым он заставил их вернуться в глубь горы, прямо под удары карфагенян! Спендий не признавался в своем страхе и продолжал утверждать, что сломал ногу.

Наконец трое начальников и шалишим стали обсуждать положение.

Гамилькар заградил им дорогу в Карфаген; они были замкнуты между его войском и владениями Нар Гаваса; тирские города, конечно, перейдут к победителям, так что наемники будут прижаты к морскому берегу, и соединенные силы неприятеля должны их скоро раздавить. Это неминуемо.

Не было никакой возможности избежать войны, и приходилось поэтому вести ее до полного истощения. Но как убедить в необходимости нескончаемого боя всех этих людей, павших духом, с незажившими ранами?

— Я беру это на себя! — сказал Спендий.

Два часа спустя человек, появившийся со стороны Гиппозарита, поднялся бегом на гору. Он размахивал дощечками, которые держал в руках, и так как он кричал очень громко, то варвары окружили его.

Дощечки были посланы греческими солдатами из Сардинии. Они советовали своим африканским соратникам зорко следить за Гисконом и другими пленными. Некий Гиппонакс, торговец из Самоса, сообщил им, приехав из Карфагена, что составляется заговор, чтобы устроить пленным побег. Варварамам советовали быть предусмотрительными ввиду могущества Карфагена.

План, задуманный Спендием, не удавался, вопреки его надеждам. Близость новой опасности, вместо того чтобы поднять дух, только усилила страх; вспоминая прежние угрозы Гамилькара, они ждали чего-то непредвиденного и страшного. Ночь протекла в большой тревоге; некоторые даже сняли оружие, чтобы разжалобить суффета, когда он явится.

На следующий день, в третью дневную стражу, прибежал второй гонец, еще более запыхавшийся и черный от пыли. Грек вырвал у него из рук свиток папируса, покрытый финикийскими письменами. В нем наемников умоляли не падать духом; тунисские храбрецы придут к ним на помощь с большими подкреплениями.

Сначала Спендий прочел письмо три раза кряду; затем, поддерживаемый двумя каппадокийцами, которые посадили его к себе на плечи, он переправлялся с места на место и вновь читал послание. В течение целых семи часов он неустанно ораторствовал.

Он напоминал наемникам обещания Великого совета, африканцам говорил о жестокости управителей, всем варварамам — о несправедливости Карфагена. Мягкость суффета была приманкой, на которую их хотят поймать. Тех, которые перейдут к Карфагену, продадут в рабство, а побежденных замучат насмерть. Бежать некуда. Ни один народ не примет их. Если же они будут продолжать войну, то обретут сразу и свободу, и отмщение, и деньги. Им не придется даже долго ждать, потому что Тунис и вся Ливия спешат им на помощь. Он показал им развернутый свиток папируса.

— Смотрите, читайте! Вот их обещания! Я не лгу.

Бродили собаки с обгаренными кровью черными мордами. Знойное солнце жгло обнаженные головы. Страшное зловоние поднималось от плохо зарытых трупов. Некоторые высунулись из земли до живота. Спендий призывал их в свидетели своей правоты; потом он поднимал кулаки, угрожая Гамилькару.

Мато наблюдал за ним, и, чтобы прикрыть свою трусость, Спендий начал проявлять гнев, который мало-помалу стал казаться подлинным ему самому. Предавая себя богам, он призывал на карфагенян проклятия. пытки, учиненные над пленными,— детская игра. Зачем шадить их и тащить за собой этот ненужный скот?

— Нет, покончим с ними! Мы знаем, что они замышляют. Если уцелеет хоть один, он может нас погубить. Никакой пощады! Лучших видно будет по быстроте ног и силе удара.

Они вновь вернулись к пленным. Несколькое человек еще хрипело; их прикончили, всовывая им в рот клинок ножа, или же добивали острием метательных копий.

Затем они вспомнили о Гисконе, которого нигде не было видно, и варваров охватила тревога. Они хотели убедиться в его смерти, а также участвовать в его убийстве. Три самнитских пастуха обнаружили его в пятнадцати шагах от места, где стояла палатка Мато. Они узнали его по длинной бороде и позвали других.

Распростертый на спине, прижав руки к бедрам и сжав колени, он был похож на мертвеца, обряженного для погребения. Но его тощие ребра опускались и вздымались, и глаза, широко раскрытые на бледном лице, упорно глядели нестерпимым взглядом.

Варвары смотрели на него с большим изумлением. С тех пор как он жил во рву, о нем почти забыли; смущенные старыми воспоминаниями, они держались поодаль и не решались поднять на него руку.

Но те, которые стояли позади, ворчали и подталкивали один другого, и, наконец, из толпы выдвинулся гарамант. Он размахивал серпом; все поняли его намерения. Лица их раскраснелись, и, охваченные стыдом, они заревели:

— Да, да!

Человек с серпом подошел к Гискону. Он взял его за голову и, прижав ее к своему колену, стал быстро отпиливать. Голова упала; две широкие струи крови пробуравили дыру в пыли. Зарксас бросился, схватил голову и легче леопарда побежал по направлению к карфагенянам.

Поднявшись на две трети горы, он вынул спрятанную на груди голову Гискона и, схватив ее за бороду, быстро завертел рукой; брошенная таким образом голова, описав длинную параболу, исчезла за карфагенским окопом.

Вскоре у края частокола показались два крестообразно укрепленных знамени — условный знак при требовании выдачи трупов.

Тогда четыре глашатая, выбранные за ширину груди, отправились с большими медными трубами и провозгласили, говоря в эти трубы, что отныне между карфагенянами и варварами нет ни согласия, ни жалости, ни общности богов; что они заранее отказываются от всяких переговоров, и если им пошлют послов, их отправят назад с отрубленными руками.

Тотчас же после этого Спендия отправили в Гиппо-Зарит

за съестными припасами. Тирский город послал их в тот же вечер; наемники жадно набросились на еду. Насытившись, они быстро собрали остатки поклажи и свое изломанное оружие; женщины столпились посредине. Не заботясь о раненых, которые плакали, оставаясь позади, они быстро двинулись вдоль берега реки, как убегающее стадо волков.

Они шли на Гиппо-Зарит с решением взять его, ибо им нужен был город.

Гамилькар, увидав их издали, пришел в отчаяние, хотя их бегство и льстило его гордости. Следовало напасть на них тотчас же со свежими силами. Еще один такой день — и война была бы окончена! Если медлить, они вернутся с подкреплением, так как тирские города присоединятся к ним; его милосердие к побежденным оказалось бесполезным. Он решил отныне быть беспощадным.

В тот же вечер он отправил Великому совету дромадера, нагруженного браслетами, снятыми с мертвых, и со страшными угрозами потребовал, чтобы ему прислали еще одну армию.

Гамилькара уже давно считали погибшим, и весть о его победе всех поразила и почти привела в ужас. Неопределенное упоминание о возвращении заимфа довершало чудо. Значит, боги и сила Карфагена отныне принадлежали ему.

Никто из его врагов не решался жаловаться или обвинять его. Благодаря преклонению перед ним одних и трусости других войско в пять тысяч человек было готово еще до назначенного срока.

Оно быстро пришло в Утику с целью укрепить тыл суффета, в то время как три тысячи лучших солдат сели на корабли, чтобы отплыть в Гиппо-Зарит, где они должны были отразить варваров.

Командование взял на себя Ганнон; но он поручил армию своему помощнику Магдасану, а сам отправился лишь с десантным отрядом, так как не мог выносить толчки носилок. Его недуг, изъевший ему губы и ноздри, распространился дальше: глубокое отверстие появилось на щеке; в десяти шагах можно было заглянуть ему в горло; он знал, что вид его отвратителен, и потому, как женщина, закрывал лицо покрывалом.

Гиппо-Зарит не исполнял его требований так же, впрочем, как и требований варваров; но каждое утро жители спускали варварам съестные припасы и, крича им с высоты башен, извинялись перед ними, сообщая о требованиях Республики и умоляя их уйти. То же самое они передавали знаками карфагенянам, которые стояли на море.

Ганнон довольствовался блокадой порта, не решаясь на приступ. Он только убедил судей Гиппо-Зарита пустить в город триста солдат. Потом он направился к Виноградному мосту и сделал большой крюк, чтобы окружить варваров, что было совершенно не нужно и даже опасно. Из зависти к суффету он не хотел притти ему на помощь: он останавливал лазутчиков Гамилькара, мешал ему в его планах и тормозил кампанию. Наконец Гамилькар написал Великому совету, прося убрать Ганнона, и Ганнон вернулся в Карфаген, взбешенный низостью старейшин и безумием Гамилькара. После стольких надежд положение стало еще более плачевным; об этом старались не думать и даже не говорить.

К довершению несчастий узнали, что сардинские наемники распяли своего военачальника, овладели крепостями и убивали всюду людей ханаанского племени. Рим угрожал Республике немедленной войной, если она не уплатит тысячу доест талантов и не уступит всей Сардинии. Рим вошел в союз с варварами и послал им плоскодонные суда, нагруженные мукой и сушеным мясом. Карфагеняне погнались за судами и захватили пятьсот человек; но три дня спустя корабли, шедшие из Бизацены с грузом съестных припасов для Карфагена, потонули во время бури. Боги, очевидно, были против Карфагена.

Тогда жители Гиппо-Зарита, подняв фальшивую тревогу, вызвали на стены города триста солдат Ганнона, схватили их за ноги и сбросили вниз. За теми, которые не убились на месте, отправлена была погоня, и они, бросившись в море, потонули.

Утика терпела присутствие солдат в своих стенах, потому что Магдасан последовал примеру Ганнона и, по его приказу, окружил город, не внимая просьбам Гамилькара. Но этих солдат напоили вином с мандрагорой и зарезали во время сна. В то же время подступили варвары; Магдасан бежал, ворота открылись; с тех пор тирские города проявляли стойкую преданность своим новым друзьям и относились с необычайной враждой к прежним союзникам.

Эта измена делу карфагенян послужила примером для других. Надежды на избавление вновь оживились. Самые нерешительные племена перестали колебаться. Все пришло в движение. Суффет узнал об этом и не ждал помощи ниоткуда. Все для него окончательно погибло.

Он тотчас же отпустил Нар Гаваса, чтобы тот мог охранять пределы своих владений. Сам же решил вернуться в Карфаген, набрать солдат и возобновить войну.

Варвары, укрепившиеся в Гиппо-Зарите, увидели его войско, когда оно спускалось с горы

Куда направлялись карфагеняне? Их, вероятно, толкал голод, и, обезумевшие от страданий, они, несмотря на слабость, решили дать сражение. Но нет, карфагеняне повернули направо: они бегут. Можно их настигнуть, смять всех сразу. Варвары бросились в погоню.

Карфагенян остановила река. Она была широкая, а западный ветер еще не дул. Одни пустились вплавь, другие переплывали на щитах; затем они вновь двинулись в путь. Спустилась ночь. Их не стало видно.

Варвары не остановились; они пошли дальше в поисках более узкого места реки. Прибежали люди из Туниса, увлекая за собой жителей Утики. Число их увеличивалось у каждого куста, и карфагеняне, ложась на землю, слышали в темноте их шаги. Время от времени, чтобы замедлить их движение, Барка давал приказ пускать в них град стрел; много варваров было убито. Когда занялась заря, варвары очутились в Арианских горах, на повороте дороги.

Мато, шедший во главе варваров, заметил на горизонте что-то зеленое на вершухе возвышения. Гора перешла в равнину, и показались обелиски, купола и дома. Это был Карфаген!

Мато прислонился к дереву, чтобы не упасть,— до того сильно билось его сердце.

Он думал о том, что произошло в его жизни со времени, когда он последний раз был в Карфагене! Он был изумлен неожиданным возвращением, у него кружилась голова. Потом его охватила радость при мысли, что он вновь увидит Саламбо. Он вспомнил, что имел все основания питать к ней ненависть, но тотчас же отбросил эту мысль. Весь дрожа, напрягая зоры, он глядел на высокую террасу дворца за Эшмуном, над пальмами; улыбка восторга светилась на его лице, точно великий свет озарил его. Он раскрывал объятия, посылал поцелуи и шептал: «Приди ко мне! Приди!» Из груди его вырвался вздох, и две слезы, подобные продолговатым жемчужинам, упали на его бороду.

— Что ты медлишь? — воскликнул Спендий.— Скорей! Вперед! Не то суфлет ускользнет от нас!.. Но у тебя дрожат колени, и ты смотришь на меня, как пьяный!

Он топал ногами от нетерпения и торопил Мато. Щуря глаза, точно при виде давно намеченной цели, он воскликнул:

— Мы настигли их! Настигли! Они у меня в руках!

У него был такой уверенный и торжествующий вид, что он вывел Мато из забвения и увлек своим воодушевлением. Мато чувствовал себя глубоко несчастным, отчаяние овладевало им, и слова Спендия толкали его к мести, давали пищу его гневу. Он вскочил на одного из верблюдов, которые находились в

обозе, и сорвал с него недоуздок; длинной веревкой он хлестал отстававших солдат и носился направо и налево в тылу войска, как собака, сгоняющая стадо.

При звуках его громового голоса ряды солдат сплотились, даже хромые ускорили шаг. Посредине перешейка пространство, разделявшее войска, сократилось. Передовые ряды варваров шли в пыли, поднятой карфагенянами. Войска сближались; варвары настигали карфагенян. Но в это время раскрылись ворота Малки, Тагаста, а также большие ворота Камона. Карфагенское войско разделилось; три колонны вошли в ворота и суетились под сводами. Вскоре слишком сплоченная масса войска вынуждена была остаться на месте; острия копий сталкивались в воздухе, и стрелы варваров звенели о стены.

У порога Камонских ворот показался Гамилькар. Он обернулся и крикнул солдатам, чтобы они расступились; потом сошел с лошади и, ткнув ее мечом в круп, погнал на варваров.

То был орингский жеребец, которого кормили скатанными из муки шариками, и он умел сгибать колени, чтобы хозяину легче было садиться в седло. Почему Гамилькар погнал его? Не было ли это намеренной жертвой с его стороны?

Огромный конь мчался галопом среди копий, опрокидывал солдат, путался среди них ногами, падал, потом бешено вскакивал; и пока они пытались остановить его или изумленно на него смотрели, карфагеняне сплотились и вошли в город. Тяжелые ворота гулко захлопнулись за ними.

Ворота не уступили напору варваров, которые оказались прижатými к ним; в течение нескольких минут по всей линии вытянувшегося войска прошла дрожь, затем она стала стихать и прекратилась.

Карфагеняне выставили войска на акведуке. Солдаты стали бросать камни, ядра, балки. Спендий убедил варваров не упорствовать. Они расположились на некотором отдалении с твердым решением начать осаду Карфагена.

Весть о войне разнеслась за пределы пунических владений; от Геркулесовых столпов и далеко за пределы Кирены мечтали о войне пастухи, сторожившие свои стада, и в караванах говорили о ней ночью при свете звезд. Нашлись люди, которые осмелились напасть на великий Карфаген, властвующий над морями, блистательный, как солнце, и страшный, как бог! Несколько раз утверждали, что Карфаген пал, и все этому верили, потому что все этого желали: покоренные племена, обложенные данью деревни, присоединившиеся провинции и неза-

висимые орды — те, кто ненавидел Карфаген за его тиранию, или завидовал его власти, или же зарился на его богатства. Самые храбрые спешили присоединиться к наемникам. Поражение при Макаре остановило остальных. Но они снова воспрянули духом, приблизились; жители из восточных областей скрывались в клипейских дюнах, по ту сторону залива, и как только показались варвары, они выступили вперед.

То были не ливийцы из окрестностей Карфагена, — те уже давно составляли третье войско, — а кочевники с плоскогорья Барки, разбойники с мыса Фиска и мыса Дерна, из Фащаны и Мармарики. Они прошли через пустыню, утоляя жажду из солоноватых колодцев, выложенных верблюжьими костями; зуаеки, украшающие себя страусовыми перьями, явились на квадрагах; гараманты, закрывающие лицо черным покрывалом, ехали, сидя на крупах раскрашенных кобыл; другие — на осле, на онаграх, зебрах и буйволах; некоторые тащили за собой вместе с семьями и идолами крыши своих хижин, имевшие форму лодок. Пришли также амоницы, у которых кожа сморщилась от горячей воды источников; атаранты, проклинающие солнце; троглодиты, которые со смехом хоронят своих мертвых под ветвями деревьев; отвратительные авзейцы, поедающие саранчу; адирмахиды, которые едят вшей, и гизанты, вымазанные киноварью, которые едят обезьян.

Все они выстроились длинной прямой линией на берегу моря и двинулись вперед, точно вихри песка, поднимаемые ветром. На середине перешейка толпа остановилась, так как наемники, расположившиеся перед ними у стен, не хотели двигаться с места.

Потом со стороны Арианы показались обитатели запада — нумидийцы. Нар Гавас правил только массилийцами; к тому же обычай позволял им покинуть царя после поражения, и поэтому они собрались на берегах Заина и переправились через реку при первом движении Гамилькара. Прежде всего примчались все охотники из Малетут-Ваала и из Гарафоса, одетые в львиные шкуры; они погоняли древками копий тощих маленьких коней с длинными гривами; за ними шли гетулы в панцырях из змеиной кожи; затем фарусийцы в высоких венцах из воска и древесной смолы; за ними следовали кони, макары, тиллабары; у каждого были в руках по два метательных копья и круглый щит из гиппопотамовой кожи. Они остановились близ ка-такомб, у начала лагуны.

Но когда передвинулись ливийцы, на месте, которое они занимали, показалась, наподобие облака, стелющегося по земле, полчища негров. Они пришли из Гаруша-белого и Гаруша-черного, из пустыни авгилов и даже из большой страны Агазимбы, расположенной в четырех месяцах пути на юг от гара-

мантов, и из еще более отдаленных мест. Несмотря на то, что на них были украшения из красного дерева, их грязная черная кожа делала их похожими на вываленные в пыли тутовые ягоды. Они носили панталоны из волокон коры, туники из высушенных трав, а на голову надевали морды диких зверей. Завывая, как волки, они трясли железными прутьями, снабженными кольцами, и размахивали коровьими хвостами, привязанными к палкам наподобие знамен.

За нумидийцами, маврузийцами и гетулами теснились желтые люди из-за Тагира, где они жили в кедровых лесах. Колчаны из кошачьих шкур качались у них за плечами, и они вели на привязи огромных, как ослы, собак, которые не умели лаять.

Наконец, как будто Африка была еще недостаточно опустошена и для накопления диких страстей нужно было присутствие самых низких племен, вслед за всеми другими появились люди с звериным профилем, смеявшиеся бессмысленным смехом, — несчастные существа, изъеденные отвратительными болезнями, уродливые пигмеи, мулаты смешанного пола, альбиносы, мигавшие на солнце красными глазами; они произносили невнятные звуки и клали в рот пальцы, чтобы показать, что хотят есть.

Смесь оружия была не меньшей, чем разнообразие племен и одежд. Здесь имелось все, что только было придумано, чтобы наносить смерть, начиная с деревянных кинжалов, каменных топоров и трезубцев из слоновой кости до длинных сабель, зазубренных, как пилы, очень тонких, сделанных из гнувшегося медного клинка. У многих были ножи, разделенные на несколько ответвлений наподобие рогов антилопы, а также резаки, привязанные к веревке, железные треугольники, дубины, шила. Эфиопы из Бамбота носили в волосах маленькие отравленные стрелы. Некоторые принесли мешки с камнями. Другие, явившись с пустыми руками, щелкали зубами.

Вся эта толпа была в непрерывном движении. Дромадеры, вымазанные дегтем, как корабли, сбрасывали женщин, которые несли детей у бедра. Провизия вываливалась из корзин; проходившие люди топтали куски соли, свертки камеди, гнилые финики, орехи гуру. Иногда на груди, покрытой паразитами, висел на тонком шнурке драгоценный камень, из тех, за которыми охотились сатрапы, камень почти баснословной цены, достаточный, чтобы купить царство. Большинство не знало даже, чего они хотят. Их гнало неотразимое обаяние, любопытство. Кочевые племена, никогда не выдавшие города, пугались тени стен.

Перешеек весь был покрыт теперь толпами людей; эта длинная полоса земли, где палатки казались хижинами среди

наводнения, тянулась до первых рядов других варваров, сверкавших железным оружием и симметрично расположенных по обе стороны акведука.

Карфагеняне не оправились еще от испуга, вызванного их появлением, как увиделидвигающиеся прямо на них не то чудовища, не то целые здания. Это были осадные машины с мачтами, коромыслами, веревками, коленами, карнизами и щитами — осадные машины, посланные тирскими городами: шестьдесят карробалистов, восемьдесят онагров, тридцать скорпионов, пятьдесят толленонов, двенадцать таранов и три огромных катапульты, которые метали камни весом в пятнадцать талантов. Скопища людей толкали их, уцепившись за низ; каждый шаг сотрясал их; они приблизились и стали против стен.

Понадобилось еще много дней, чтобы закончить приготовление к осаде. Наемники, наученные прежними поражениями, не хотели вступать в бесполезные схватки. Обе стороны не спешили, хорошо зная, что должен начаться страшный бой, который приведет к победе или к полному разгрому.

Карфаген мог долго сопротивляться; его широкие стены представляли собой целый ряд входящих и выступающих углов, очень удобных для отражения приступов.

Со стороны катакомб часть стены обрушилась, и в темные ночи между развалившимися глыбами виднелся свет в лачугах Малки. Свет этот в некоторых местах был выше крепостных валов. Там жили со своими новыми супругами жены наемников, выгнанные Мато. Увидев варваров, они не могли сдержать своих чувств, махали им издали шарфами, потом приходили в темноте поговорить с солдатами сквозь щели в стене, и Великий совет вскоре узнал, что все женщины сбежали. Одни пробрались между камнями, другие, более отважные, спустились вниз при помощи веревок.

Наконец Спендий решил осуществить свой замысел.

Ему мешала война, которая держала его вдали. С тех пор как он снова стоял перед Карфагеном, ему казалось, что население догадывается о его намерении. Вскоре стражи на акведуке стало меньше. Нехватало людей для защиты стен.

Бывший раб упражнялся несколько дней, пуская стрелы в фламинго на озере. Потом однажды вечером, когда светила луна, он попросил Мато зажечь среди ночи большой костер из соломы; солдаты в это время должны были поднять крик. Затем, взяв с собой Зарксаса, он пошел вдоль берега залива по направлению к Тунису.

На высоте последних арок они повернули прямо к акведуку; место было открытое, они прошли ползком до подножия столбов.

Часовые спокойно ходили взад и вперед по площадке.

Показались высокие языки огня; раздались звуки труб; караульные, думая, что начинается приступ, бросились в сторону Карфагена.

Один из них, однако, продолжал стоять и вырисовывался черным силуэтом на фоне неба. За его спиной светила луна, и его огромная тень падала вдаль на равнину, точнодвигающийся обелиск.

Заркас схватил пращу. Из осторожности или, быть может, из жестокости Спендий остановил его.

— Нет, свист ядра могут услышать! Предоставь это дело мне!

Он натянул свой лук изо всех сил, прижав нижний конец к большому пальцу левой руки; затем прицелился, и стрела полетела.

Человек на стене не упал, а исчез.

— Если бы он был ранен, мы бы услышали! — сказал Спендий.

И он стал быстро подниматься вверх, так же как в первый раз, при помощи веревки и багра. Когда он очутился наверху, подле трупа, он спустил веревку. Балеар привязал к ней кирку с долбнем и ушел.

Трубы замолкли. Все снова затихло. Спендий поднял одну из плит, вошел в воду и опустил плиту за собой.

Рассчитав пространство по количеству шагов, он дошел до того самого места, где заметил раньше косое отверстие; и в течение трех часов, до утра, он без устали яростно работал, едва дыша, вбирая в себя воздух из расщелин верхних плит, преисполненный ужаса и раз двадцать думая, что умирает. Наконец раздался треск: огромный камень, отскакивая от нижних арок, слетел вниз — и вдруг водопад, целая река низринулась с неба на равнину. Акведук, разрезанный посередине, стал изливать всю воду. Это была смерть для Карфагена и победа для варваров.

В одно мгновение проснувшиеся карфагеняне появились на стенах, на домах, на храмах. Варвары толкали друг друга и кричали. Они в исступлении плясали вокруг огромного водопада и от избытка радости окунали в него головы.

Наверху акведука показался человек в разорванной коричневой тунике. Он наклонился над самым краем, упираясь руками в бока, и глядел вниз, точно пораженный сам тем, что сделал.

Потом он выпрямился. Он оглядел горизонт с гордым видом, точно говоря: «Все это теперь мое». Варвары разразились рукоплесканиями; карфагеняне, поняв, наконец, свое несчастье, выли от отчаяния. А Спендий бежал от края площадки и, как возница победившей на Олимпийских играх колесницы, вздымал вверх руки, обезумев от радости.

XIII

МОЛОХ

Барвары не нуждались в окопах со стороны Африки; она им принадлежала. Чтобы облегчить доступ к стенам, они разрушили укрепление, окаймлявшее ров. Затем Мато разделил войско на два больших полукруга с целью лучше окружить Карфаген. Гоплиты наемников поставлены были впереди, а за ними стояли пращники и конница; сзади разместился обоз, повозки, лошади; за всем этим, в трехстах шагах от башен, дыбились машины.

При бесконечном количестве названий, которые менялись несколько раз в течение веков, машины эти сводились к двум системам: одни действовали, как пращи, другие — как луки.

Первые, катапульты, состояли из четырехугольной рамы с двумя вертикальными подпорами и одной горизонтальной переключиной. В передней части цилиндр, снабженный канатами, держал большое дышло с жолобом для снарядов; низ цилиндра опутан был клубком крученых нитей; когда отпускали канаты, он поднимался и ударялся о переключину; сотрясение останавливало ее и усиливало ее метательную силу.

Машины второго типа представляли собою более сложный механизм: на маленькой колонке укреплена была переключина самой своей серединой, где кончался под прямым углом своего рода канал; на концах переключины поднимались два шлема, содержащие клубки конских волос; здесь укреплены были две небольшие балки, поддерживающие концы веревки, которую спускали вниз канала, на бронзовую пластинку. Посредством пружины металлическая пластинка отделялась и, скользя по желобкам, выталкивала стрелы.

Катапульты назывались также онаграми по их сходству с дикими ослами, которые швыряют камни ногами; а метательные машины — скорпионами, потому что имели крючок, который помещался на пластинке и, опускаясь от удара кулаком, приводил в действие пружину.

Сооружение машин требовало искусных выкладок; дерево для них нужно было выбирать самое твердое; зубчатые колеса делались из бронзы, их натягивали рычагами, блоками, воротами или барабанами; крепкие стержни определяли различное направление метательных снарядов, цилиндры служили для передвижения машин, и самые громоздкие из них, которые нужно было привозить по частям, устанавливались на виду у неприятеля.

Спендий расположил три больших катапульты в трех главных углах; у каждого ворот он поставил по тарану, перед каж-

дой башней — по метательной машине, а позади с места на место переезжали машины, укрепленные на повозках. Нужно было только их обезопасить от огня осаждаемых и прежде всего закопать ров, отделявший их от стен.

Подвезли решетки из плетеных зеленых камышей и дубовых дуг, похожие на огромные щиты, скользящие на трех колесах. Маленькие хижины, покрытые свежими шкурами и выложенные водорослями, укрывали работников; катапульты и стрелометы защищены были занавесями из веревок, вымоченных в уксусе, чтобы сделать их негоряемыми. Женщины и дети собирали камни на берегу, рыли землю руками и приносили ее солдатам.

Карфагеняне, со своей стороны, тоже готовились.

Гамилькар сейчас же успокоил население, объявив, что воды в цистернах хватит на сто двадцать три дня. Это его заявление, а также его присутствие среди них, в особенности же возвращение заимфа, преисполняло всех надеждой. Карфаген воспрянул духом, и не принадлежавшие к ханаанской расе заразились увлечением других.

Вооружили рабов, опустошили арсеналы; каждый из жителей имел назначенный для него пост и определенное занятие. Тысяча двести человек из перебежчиков остались в живых, и суфдет сделал их всех начальниками; плотники, оружейники, кузнецы и золотых дел мастера были приставлены к машинам. Карфагеняне сохранили несколько машин, вопреки условиям мира с римлянами. Машины починили. Карфагеняне были мастера этого дела.

Две стороны, северная и восточная, защищенные морем и заливом, оставались неприступными. На стену, обращенную к варварам, притащили стволы деревьев, жернова, сосуды с серой, чаны с растительным маслом и сложили там печи. Кроме того, на верхних площадках башен навалены были кучи камней, и дома, непосредственно примыкавшие к насыпи, набили песком, чтобы укрепить ее и сделать более широкой.

Эти приготовления раздражали варваров. Им хотелось тотчас же начать бой. Но тяжесть, которой они нагроулили катапульты, была так чрезмерна, что дышла сломались, и приступ пришлось отложить.

Наконец на тринадцатый день месяца Шабара, при восходе солнца, раздался сильный стук в Камонские ворота.

Семьдесят пять солдат тянули канаты, расположенные у основания гигантского бревна, горизонтально висевшего на цепях, которые спускались со столбов; бревно заканчивалось бронзовой бараньей головой. Оно было завернуто в бычьи шкуры; в нескольких местах его обхватывали железные обручи; бревно было в три раза толще человеческого тела, длиной в сто

двадцать локтей и, подталкиваемое вперед и назад бесчисленными голыми руками, мерно раскачиваясь, приближалось и отступало.

Тараны, установленные у других ворот, тоже пришли в действие. В полых колесах барабанов видны были люди, поднимавшиеся со ступеньки на ступеньку. Блоки и шлемы закрепились, веревочные завесы опустились, и разом вылетели заряды камней и стрел. Все пращники, расставленные в разных местах, бросились бежать. Некоторые подходили к окопу, пряча под щитом горшки со смолой, и затем бросали их вперед сильным движением руки. Град камней, стрел и огня перелетал через первые ряды и описывал дугу, которая оканчивалась за стенами. Но над стенами вытянулись высокие краны для обмачивания кораблей, и с них спустились огромные клещи, заканчивавшиеся двумя полукругами, зубчатыми изнутри. Они вцепились в таран. Солдаты, ухватившись за бревно, тянули его назад. Карфагеняне изо всех сил поднимали его вверх, и схватка длилась до вечера.

Когда на следующий день наемники снова взялись за осадные работы, верх стен оказался выложенным тюками хлопка, холстом и подушками; амбразуры заткнуты были цыновками, а на валу, между мачтовыми кранами, виден был строй вил и досок, прикрепленных к палкам. Началось бешеное сопротивление.

Стволы деревьев, охваченные канатами, падали и вновь поднимались, ударяя в тараны; железные крюки, выбрасываемые метательными машинами, срывали крыши с хижин; с площадок башен низвергались целые потоки кремней и валунов.

Тараны разбили Камонские и Тагастские ворота. Но карфагеняне нагромодили внутри такое количество строительного материала, что ворота не растворялись, а продолжали недвижно стоять.

Тогда подвели к стенам буравы, чтобы, врезываясь между глыбами, их расшатать. Машины лучше управлялись и были в непрерывном движении, с утра до вечера работая с точностью ткацкого станка.

Спендий управлял машинами, не зная устали. Он сам натягивал канаты балист. Для того чтобы напряжение было равным с обеих сторон, канаты стягивали, ударяя по ним поочередно справа и слева до тех пор, пока обе стороны не издавали одинакового звука. Спендий поднимался на рамы машин и тихонько стучал по ним носком, прислушиваясь, как музыкант, который настраивает лиру. Потом, когда дышло катапульти поднималось, когда колонна балисты дрожала от сотрясений пружины и камни вылетали лучами, а стрелы устремлялись

ручьём, он наклонялся всем телом и вытягивал руки, точно хотел помчаться вслед за ними.

Солдаты, восторгаясь ловкостью Спендия, исполняли его приказания. Весело выполняя работу, они давали машинам шуточные названия. Так, щипцы для захвата таранов назывались *волками*, а закрытые решетки — *виноградными шпалерами*; себя называли ягнятами, говорили, что готовятся к сбору винограда; снаряжая машины, они обращались к онаграм: «Лягни их как следует!», а к скорпионам: «Жаль их в самое сердце!» Эти шутки, всегда одни и те же, поддерживали в них бодрость духа. Однако машины никак не могли разрушить вал. Он состоял из двух стен и был весь наполнен землей; машины сбивали лишь верхушки стен; осажденные каждый раз вновь их возводили. Мато приказал построить деревянные башни, такой же высоты, как и каменные. В ров набросали дерн, колья, валуны, повозки с колесами, чтобы скорее заполнить его; прежде чем ров был совсем засыпан, огромная толпа варваров хлынула на образовавшееся ровное место и подступила к подножию стен, как разбушевавшееся море.

Подвели веревочные лестницы и самбуки, состоявшие из двух мачт, с которых спускалось посредством талей много бамбуков, перекладин с подвижным мостом внизу. Самбуки образовали ряд прямых линий, прислоненных к стене, и наемники поднимались гуськом, держа в руках оружие. Не было видно ни одного карфагенянина, хотя осаждающие прошли уже две трети вала. Но вдруг амбразуры раскрылись, изрыгая, как пасти драконов, огонь и дым; песок разлетался и проникал в закрепы панцирей; нефть прилипала к одежде; расплавленное олово прыгало по шлемам, пробуравливало в теле дыры; дождь искр обжигал лица, и выжженные глазные впадины, казалось, плакали слезами, крупными, как миндалины. У солдат, желтых от масла, загорались волосы. Они пускались бежать, перебрасывая огонь на других. Их тушили издали, бросая им в лицо плащи, пропитанные кровью. Некоторые, даже не имея ран, стояли, как вкопанные, с раскрытым ртом и распростертыми руками.

Приступ возобновлялся в течение нескольких дней; наемники надеялись восторжествовать благодаря своей выдержке и отваге.

Иногда кто-нибудь становился на плечи другого, вбивал колышек между камней стены, пользовался им как ступенькой и вколачивал следующую, продолжая подниматься. Защищенные краем амбразуры, выступавших из стен, солдаты поднимались таким образом все выше, но всегда, достигнув некоторой высоты, падали вниз. Большой ров был переполнен; под ногами живых лежали грудами раненые вместе с умирающими и

трупам. Среди распоротых животов, вытекающих мозгов и луж крови обожженные туловища казались черными пятнами; руки и ноги, торчавшие из груды тел, стояли прямо, как шпа-леры в сожженном виноградики.

Одних веревочных лестниц было мало, и тогда пустили в дело толленоны — сооружения из длинной балки, поперечно укрепленной на другой; в конце балки находилась четырех-угольная корзина, где могли поместиться тридцать человек пехоты с оружием.

Мато хотел войти в первую снаряженную для отправки корзину. Спендий его удержал.

Люди нагнулись над вóротом; большая балка поднялась, приняла горизонтальное положение, потом выпрямилась почти вертикально и, сильно нагруженная на конце, согнулась, как гигантский камыш. Солдаты, спрятанные в корзине до подбородка, скорчились, видны были только перья их шлемов. Наконец, когда балка поднялась в воздух на пятьдесят локтей, она несколько раз повернулась направо и налево и потом, опустившись, точно рука великана, приподнявшего на ладони целое войско пигмеев, поставила на край стены корзину, полную людей. Они выскочили, смешались с толпой и больше не вернулись.

Все другие толленоны были тоже быстро снаряжены. Но для того, чтобы взять город, нужно было бы иметь их в сто раз больше.

Ими пользовались с беспощадностью; в корзины садились эфиопские стрелки; потом, когда канаты были укреплены, они повисали в воздухе и выпускали отравленные стрелы. Пятьдесят толленонов, поднявшись над амбразурами, окружали Карфаген, как чудовищные ястребы, и негры с хохотом смотрели, как стража на валу умирала в страшных судорогах.

Гамилькар послал туда своих гоплитов; он давал им пить по утрам настойку из трав, предохранявших от действия яда.

Однажды в темный вечер он посадил лучших своих солдат на грузовые суда, на доски и, повернув в порту направо, высадился с ними у Тении. Потом они подошли к первым рядам варваров и, напав на них с фланга, устроили страшную резню.

Солдаты спускались ночью на веревках со стен, с факелами в руках, уничтожали все осадные работы наемников и снова поднимались наверх.

Мато неистовствовал, всякое препятствие только усиливало его ярость. Он доходил до ужасных безумств. Мысленно он призывал Саламбо на свидание и ждал ее. Она не приходила, и это казалось ему новым предательством. Он возненавидел ее. Если бы он увидел ее труп, то, быть может, и отступил. Он усилил аванпосты, расставил вилы у подножия вала, вырыл

волчьи ямы и велел ливийцам притащить целый лес, чтобы сжечь Карфаген, как лисью нору.

Спендий упрямо настаивал на продолжении осады. Он старался изобрести наводящие ужас машины.

Другие варвары, расположившиеся лагерем вдаль, на перешейке, поражались медленности осады. Они стали роптать; их пустили вперед.

Они бросились к воротам и стали колотить в них своими ножами и метательными копьями. Их голые тела не были защищены от ранений, и карфагеняне избивали их в огромном количестве. Наемники радовались этому, ревниво относясь к добыче. Это повело к ссорам, к взаимному избиению. Так как поля были опустошены, все стали вырывать друг у друга съестные припасы. Наемники падали духом. Много полчищ ушло; но людей было такое множество, что этого не было заметно.

Наиболее рассудительные пытались устроить подкопы; плохосдерживаемая почва осыпалась. Они переходили рыть в другие места; Гамилькар всегда узнавал о направлении их работ, прикладывая ухо к бронзовому щиту, и рыл контрмины под дорогой, где должны были передвигаться деревянные башни; когда их приводили в движение, они проваливались в ямы.

Наконец все убедились, что город нельзя взять до тех пор, пока не будет воздвигнута до высоты стен длинная земляная насыпь, которая даст осаждающим возможность сражаться на одном уровне с осажденными. Насыпь решили вымостить, чтобы можно было катить по ней машины. Тогда уж Карфагену невозможно будет устоять.

Карфаген начал страдать от жажды. Вода, которая продавалась в начале осады по две кезиты за меру, теперь стоила уже по серебряному шекелю за то же количество; запасы мяса и хлеба также иссякали. Стали опасаться голода. Поговаривали даже о лишних ртах, что привело всех в ужас.

От Камонской площади до храма Мелькарта на улицах валялись трупы, и так как был конец лета, то сражающихся терзали огромные черные мухи. Старики переносили раненых, а благочестивые люди продолжали устраивать мнимые похороны своих родных и друзей, погибших вдаль во время войны. Восковые статуи с волосами и в одеждах лежали поперек входа в дом. Они таяли от жара свечей, горевших подле них. Краска стекала им на плечи, а по лицам живых, которые распевали тягучим голосом похоронные песни, струились слезы.

Толпа бегала по улицам; начальники громко отдавали приказы, и все время слышались удары таранов.

Воздух становился таким тяжелым, что тела распухали, не

могли уместиться в гробах. Их сжигали посреди дворов: Стиснутое в узком пространстве, пламя перебегало на соседние стены, и длинные языки огня вырывались из домов точно кровь, брызжащая из артерий. Так Молох овладел Карфагеном; он обхватил валы, катился по улицам, пожирал даже трупы.

На перекрестках стояли люди, носившие в знак отчаяния плащи из подобранного на улицах тряпья. Они бунтовали против старейшин, против Гамилькара, предсказывали народу полное поражение, убеждая его все разрушать и ни с чем не считаться. Самыми опасными были объевшиеся беленой: во время приступов безумия они воображали себя дикими зверями и бросались на прохожих, чтобы растерзать их. Вокруг них собиралась толпа, забывая о необходимости защищать Карфаген. Суффет решил действовать подкупом, чтобы обрести сторонников своей политики.

Стремясь удержать в городе дух богов, статуи их заковали в цепи. Надели черные покрывала на Патэков и покрыли властями алтари; старались возбудить гордость и ревность Ваалов, напевая им на ухо: «Неужели ты дашь себя победить? Неужели другие сильнее тебя? Покажи свою силу, помоги нам! Пусть другие народы не говорят: куда девались их боги?»

Непрерывная тревога волновала жрецов. Особенно были испуганы жрецы Раббет, ибо возвращение заимфа не принесло никакой пользы. Жрецы заперлись в третьей ограде, неприступной, как крепость. Только один из них решался выходить: верховный жрец Шагабарим.

Он приходил к Саламбо, но сидел молча, устремив на нее пристальный взгляд. Или же говорил безумолку и осыпал ее еще более суровыми упреками, чем прежде.

По непостижимому противоречию, он не мог простить Саламбо, что она последовала его приказаниям. Шагабарим все понял, и неотступная мысль о происшедшем терзала его беспомощную ревность. Он обвинял Саламбо в том, что она причина войны. Мато, по его словам, осаждает Карфаген, чтобы вновь овладеть заимфом. И он изливал свои чувства в проклятиях и насмешках над варваром, который так жаждет обладать святыней. Но жрец хотел сказать совсем не то.

Саламбо не чувствовала никакого страха перед Шагабаримом. Тревога, владевшая ею прежде, совершенно рассеялась. Странное спокойствие водворилось в ее душе. Ее взгляд не был таким блуждающим и сверкал ясным пламенем.

Пифон снова заболел, но так как Саламбо, видимо, выздоровела, то старуха Таанах радовалась болезни змеи, уверенная, что она впитала в себя болезнь ее госпожи.

Однажды утром она нашла пифона за ложем из бычьих шкур. Он лежал свернувшись, холоднее мрамора, и голова

его исчезла под грудой червей. На ее крики явилась Саламбо. Она пошевелила труп пифона кончиком сандалии, и рабыня была поражена равнодушием госпожи.

Дочь Гамилькара уже не предавалась постам с таким рвением, как прежде. Она проводила дни на террасе. Опираясь локтями на перила, она глядела вдаль. Края стен в конце города вырисовывались на небе неровными зигзагами, и копы часовых вдоль стены казались каймой из колосьев. Вдали, между башнями, она видела осадные работы варваров; а в те дни, когда осада прерывалась, она могла даже разглядеть, чем они заняты. Они чинили оружие, смазывали жиром волосы или же мыли в море окровавленные руки. Палатки были закрыты; выючные животные ели корм; косы колесниц, стоявших полукругом, казались издали широкой серебряной саблей, лежащей у подножия гор. Она вспомнила речи Шагабарима и ждала своего жениха Нар Гаваса. Вместе с тем ей хотелось, несмотря на свою ненависть к Мато, вновь увидеть его. Из всех карфагенян она одна, быть может, могла бы говорить с ним без страха.

К ней в покои часто приходил отец. Он садился на подушки и смотрел на нее почти с нежностью, точно находил в созерцании ее отдохновение от своих чувств. Он несколько раз расспрашивал ее о путешествии в лагерь наемников. Он спросил ее, не внушил ли ей кто-нибудь мысль отправиться туда. Она знаком головы отвечала, что нет; так она гордилась тем, что спасла заимф.

Но в разговоре суфлет все время возвращался к Мато под предлогом нужных ему военных сведений. Он не мог понять, что произошло в долгие часы ее пребывания в палатке. Саламбо ничего не сказала о Гисконе, ибо слова имели в ее глазах действительную силу; она боялась, как бы передаваемые кому-нибудь проклятия не обратились на него же. Она также скрывала, что хотела убить Мато, из боязни упреков за то, что не выполнила этого желания. Она говорила, что шалишим казался взбешенным, кричал, а потом заснул. Саламбо ничего больше не рассказала, быть может, из стыда или по своей невинности, не придавая особого значения поцелуям Мато. Все, что тогда произошло, носилось в ее затуманенной печалью голове как воспоминания о тяжком сне. Она даже не могла бы выразить словами своих чувств.

Однажды вечером, когда отец и дочь сидели вместе, вбежала Таанах с испуганным лицом. Она сказала, что во дворе стоит старик с ребенком и требует, чтобы его провели к суффету.

Гамилькар побледнел и возбужденно приказал:

— Проведи его сюда.

Иддибал вошел и не простерся ниц перед господином. Он держал за руку мальчика, одетого в плащ из козьей шерсти; и тотчас же, приподняв капюшон, закрывавший лицо мальчика, сказал:

— Вот он, господин, возьми его.

Суфкет и раб удалились в глубину комнаты.

Мальчик продолжал стоять посреди покоя; скорее внимательным, нежели удивленным взглядом осматривал он потолок, мебель, жемчужные ожерелья, лежавшие на пурпуровых тканях, и величественную молодую женщину, склонившуюся к нему.

Ему было лет десять, и он был не выше римского меча. Курчавые волосы осеняли его выпуклый лоб. Глаза, казалось, искали широких пространств. Ноздри тонкого носа широко раздувались. Все его существо озарено было необъяснимым сиянием, исходящим от тех, которые предназначены для больших дел. Когда он сбросил слишком тяжелый плащ, на нем осталась рысья шкура вокруг стана, и он решительно ступал маленькими босыми ногами, побелевшими от пыли. Он, несомненно, угадывал, что совершается нечто важное, и стоял недвижно, заложив одну руку за спину, нагнув голову и держа палец во рту.

Гамилькар подозвал к себе знаком Саламбо и сказал ей, понизив голос:

— Спрячь мальчика у себя, слышишь? Никто, даже из домашних, не должен знать о его существовании.

Потом, уже выйдя из покоя, Гамилькар еще раз спросил Иддибала, уверен ли он, что их никто не видел.

— Никто,— ответил раб.— Улицы были пустые.

Война распространялась на все провинции, и он стал тревожиться за сына своего господина. Не зная, где его укрыть, Иддибал проехал в челноке вдоль берегов и в течение трех дней лавировал по заливу, разглядывая крепостной вал. В этот вечер, видя, что окрестности Камона пустыньны, он быстро пересек проход и высадился вблизи арсенала. Вход в порт был свободен.

Но вскоре варвары построили напротив огромный плот, чтобы помешать карфагенянам выходить из порта. Они двигали деревянные башни и в то же время продолжали строить насыпь.

Все сообщения с внешним миром были прерваны, и начался невыносимый голод.

Убили всех собак, всех мулов, ослов, потом пятнадцать слонов, которых привел суфкет. Львы храма Молоха взбесились, и рабы, служители храма, боялись к ним подходить. Им сначала бросали в пищу раненых варваров, а потом еще

не остывшие трупы; они не стали их есть и околели. В сумерки жители бродили вдоль старых укреплений и собирали между камнями травы и цветы, которые потом кипятили в вине; вино стоило дешевле воды. Другие пробирались к аванпостам врага и крали пищу прямо из палаток; варвары бывали так этим поражены, что часто отпускали их, не тронув. Наступил день, когда старейшины решили зарезать тайком лошадей Эшмуна. То были священные лошади, которым жрецы переплетали гриву золотыми лентами; их мясо, разрезанное на равные куски, спрятали за жертвенником. Потом по вечерам, под предлогом молитв, старейшины поднимались в храм, втихомолку поедали мясо и уносили под одеждой по куску для своих детей. В отдаленных кварталах, вдали от стен, менее нуждающиеся жители, из страха перед другими, запирались наглухо у себя в домах.

Камни катапульта и обломки зданий, снесенных в целях защиты, образовали груды развалин среди улиц. В самые спокойные часы толпа народа вдруг с криками пускалась бежать, а с высоты Акрополя огни пожаров казались разбросанными по террасам пурпуровыми лохмотьями, которые кружил ветер.

Три больших катапульты действовали непрерывно. Принимаемые ими опустошения были ужасны; голова одного человека отскочила на фронтоном дома Сисситов; на улице Кинидзо рожавшая женщина была раздавлена глыбой мрамора, а ее ребенка вместе с ложем отнесло до перекрестка Цинасина, где оказалось и одеяло.

Больше всего раздражали снаряды пращников. Они падали на крыши, в сады, во дворы, в то время как люди сидели, тяжело вздыхая, за жалкой трапезой. Страшные снаряды снабжены были вырезанными на них надписями, которые отпечатывались на теле раненых. И на трупах можно было прочесть ругательства вроде: *свинья, шакал, гад*, а иногда насмешки: *«Вот тебе!»* или же *«Поделом мне!»*

Часть вала, которая тянулась от угла порта до цистерн, была пробита.

Жители Малки оказались запертыми, таким образом, между старой оградой Бирсы и варварами. Но все были заняты укреплением стены и тем, чтобы сделать ее как можно более толстой и высокой; им некогда было думать о жителях Малки; их оставили без защиты, и они все погибли. Несмотря на то, что их ненавидели, гибель их вызвала возмущение против Гамилькара.

На следующий день он открыл ямы, где хранился хлеб, и его управители роздали этот хлеб народу. В течение трех дней все ели доотвала.

Но жажда от этого сделалась еще более невыносимой, и все время они видели перед собой нескончаемую струю чистой воды, падавшей из акведука.

Гамилькар не падал духом. Он надеялся на какой-нибудь случай, на что-нибудь решающее, необычайное.

Его собственные рабы сорвали серебряные листы с храма Мелькарта; из порта при помощи воротов извлекли четыре длинных судна и доставили их к подножию Маппал, проделав отверстие в стене, которая обращена была к берегу. На этих судах рабы Гамилькара отправились в Галлию, чтобы достать там за какую угодно цену наемников. Гамилькар был в отчаянии, что не мог снестись с царем нумидийцев, так как знал, что он стоит позади варваров, готовый на них броситься. Но Нар Гавас не был достаточно силен, чтобы отважиться на это одному. Суфсет велел поднять вал на двенадцать пядей, собрать в Акрополе весь строительный материал из арсеналов и еще раз исправить машины.

Для закручивания катапульта обычно употребляли длинные сухожилия быков или поджилки оленей. Но в Карфагене не было ни оленей, ни быков. Гамилькар попросил у старейшин, чтобы их жены пожертвовали свои волосы. Все жены согласились на жертву, но волос оказалось недостаточно. В домах Сисситов содержались тысяча двести взрослых рабынь, предназначенных в наложницы для Греции и Италии; их волосы, упругие благодаря постоянному умушчиванию, вполне годились для военных машин. Но убытки были бы потом слишком велики. Поэтому решили взять лучше волосы у жен плебеев. Совершенно равнодушные к благу отечества, женщины из народа при появлении слуг старейшин с ножницами в руках поднимали отчаянный вопль.

Новый взрыв бешенства поднял дух варваров. Видно было издали, как они смазывали свои машины жиром мертвецов; другие вырывали у мертвецов ногти и сшивали их, сооружая таким образом панцыри. Они придумали еще заряжать катапульты сосудами, полными змей, привезенных неграми. Глиняные сосуды разбивались о каменные плиты, змеи расплозились и кишели в таком количестве, точно выходили из самых стен. Варвары, недовольные своим изобретением, стали его совершенствовать; их машины начали выбрасывать всевозможные нечистоты, человеческие испражнения, куски падали, трупы. Появилась чума. У карфагенян выпадали зубы, и десны их побелели, как у верблюдов после долгого пути.

Машины расставили на насыпи, хотя она еще не достигала высоты вала. Перед двадцатью тремя башнями укреплений города стояли теперь еще двадцать три деревянных башни. Снова установили все толлоны, а посредине, немного позади,

виднелась страшная стенобитная башня Дементрия Полиоркета, которую Спендию удалось, наконец, соорудить.

Пирамидальная, как Александрийский маяк, она была высотой в сто тридцать локтей и шириной в двадцать три, в девять этажей, суживавшихся к вершине и защищенных бронзовой чешуей; в башне были пробиты многочисленные двери, за которыми находились солдаты; на верхней площадке стояла катапульта и рядом с нею два стреломета.

Тогда Гамилькар приказал воздвигнуть кресты для всех, кто заговорит о том, чтобы сдать; даже женщин привлекали к работе. Все спали на улицах и с тревогой ожидали событий.

Однажды утром, незадолго до восхода солнца (был седьмой день месяца Низана), они услышали страшный крик, поднятый варварами; гремели оловянные трубы, большие пафлагонийские рога ревели, как быки. Все вскочили и бросились к валу.

Целый лес копий, пик и мечей шетинился у подножия. Лес этот ринулся к стенам, зацепляя за них лестницы, и в отверстиях амбразур появились головы варваров.

Бревна, поддерживаемые длинными рядами солдат, ударялись о ворота; туда, где насыпь не доходила до верха вала, наемники, чтобы разрушить стену, приходили сомкнутыми рядами; первый ряд сидел на корточках, второй сгибал колени, а остальные поочередно поднимались все выше, до последних, стоявших во весь рост. В других местах, чтобы подняться на стену, самые высокие шли впереди, самые низкие — в хвосте, все левой рукой упирали щиты в шлемы и так тесно соединяли их краями, что были похожи на больших черепах. Снаряды скользили по этим косым рядам.

Карфагеняне бросали жернова, толкачи, чаны, бочки, кровати — все, что представляло тяжесть и могло убивать. Некоторые подстерегали врагов в амбразурах с рыбацкими сетями; когда варвар подходил, он запутывался в петлях и бился, как рыба. Осажденные сами разрушали стенные зубцы; куски стены отпадали, поднимая страшную пыль; катаapultы с насыпи выпускали снаряды друг против друга; камни сталкивались и разлетались на тысячи кусков, падавших дождем на воинов.

Вскоре две толпы сплотились в толстую цепь человеческих тел; она выпячивалась в промежутках насыпи и, несколько растягиваясь с обоих концов, непрерывно катилась, не подвигаясь вперед. Солдаты охватывали друг друга, лежа ничком, как борцы. Женщины, свесившись с амбразур, поднимали вой. Их стаскивали за покрывала, и белизна их обнажавшегося тела сверкала под руками негров, которые вонзали в них кинжалы. Трупы, сдавленные толпою, не падали; поддержанные плечами соседей, они по несколько минут стояли с остановив-

шимся взглядом. Некоторые, у кого виски были пробиты насквозь дротиками, качали головой, как медведи. Рты, раскрывшись для крика, оставались открытыми; отрубленные руки отлетали вверх. Много совершалось подвигов, о которых долго рассказывали потом уцелевшие.

С деревянных вышек и каменных башен летели стрелы. Толленоны быстро шевелили своими длинными реями, и когда варварам удалось разрушить под катакомбами старое кладбище предков, они стали бросать в карфагенян плиты с могил. Под тяжестью слишком нагруженных корзин канаты иногда лопались, и сгрудившиеся в корзинах солдаты, воздевая руки, падали с высоты.

До полудня ветераны гоплитов упорно осаждали Тению, чтобы проникнуть в порт и разрушить корабли. Гамилькар велел разложить на крыше Камона огонь из морской соломы; дым ослеплял варваров, и они свернули налево, подкрепляя своими полчищами ужасную толпу, которая толкалась в Малке. Синтагмы, особо составленные из силачей, пробили трое ворот. Высокие заграждения из досок, утыканные гвоздями, остановили их; четвертые ворота легко уступили напору, варвары бегом кинулись через них и скатились в ров, где устроены были западни. В юго-западном углу Автарит со своим отрядом разрушил стену, расселины которой были заткнуты кирпичами. За стеной дорога шла вверх, и они легко поднялись по ней. Наверху, однако, оказалась вторая стена, сложенная из камней и длинных поперечных балок, чередовавшихся, как поля шахматной доски. Это была галльская кладка, которую суфлет применил в создавшемся положении. Галлам казалось, что они очутились перед одним из городов своей родины. Они нехотя вели атаку и были вскоре отброшены.

От Камонской улицы до Овощного рынка все дороги были теперь в руках варваров, и самниты приканчивали умирающих рогатинами или же, поставив ногу на стену, глядели вниз на дымящиеся развалины и на возобновляющуюся вдали битву.

Пращники, расставленные позади, продолжали метать снаряды. Но от долгого употребления пружины акарнанийских пращей сломались, и некоторые солдаты стали, как пастухи, бросать камни рукой, другие запускали свинцовые шары кнутовищем. Зарксас, с черными волосами до плеч, кидался во все стороны и увлекал за собой балеаров. Две сумки висели у него с боков; он беспрестанно опускал в них левую руку, а правая кружилась подобно колесу боевой колесницы.

Мато сначала избегал вступать сам в бой, чтобы лучше руководить всем войском варваров. Он появлялся то вдоль залива у наемников, то близ лагуны у нумидийцев, то на берегу озера, среди негров; из глубины равнины он гнал к линиям

укреплений толпы непрерывно прибывавших солдат. Мало-помалу он приблизился к стенам; запах крови, вид резни и гром труб воспламенили его сердце. Он вернулся в свою палатку и, сбросив панцырь, надел львиную шкуру, более удобную для битвы. Львиная морда надевалась на голову, окружая лицо кольцом из клыков; две передние лапы скрещивались на груди, а задние спускались когтями ниже колен.

Он оставил на себе широкий пояс, на котором сверкал топор с двойным лезвием, и, взяв большой меч, стремительно бросился вперед через пролом в стене. Подобно работнику, который, обрубая ветви ивы, старается сбить их как можно больше, чтобы лучше заработать, он двигался вперед, уничтожая вокруг себя карфагенян. Тех, которые пытались схватить его сбоку, он опрокидывал ударами рукояти; когда на него нападали спереди, он закалывал нападавших; обращавшихся в бегство рассекал надвое. Два человека сразу вскочили ему на спину; он одним прыжком отступил к воротам и раздавил их. Меч его то спускался, то поднимался и наконец раскололся об угол стены. Тогда он схватил свой тяжелый топор и стал потрошить карфагенян, как стадо овец. Они все дальше отступали от него, и он подошел ко второй ограде у подножия Акрополя. Предметы, которые солдаты бросали сверху, грозили ступени и поднимались выше стен. Мато, очутившись среди развалин, обернулся, чтобы призвать своих соратников.

Он увидел, что перья их шлемов развеваются в разных местах над толпой; потом они опустились, и это значило, что солдаты его в опасности. Он бросился к ним; широкий венец красных перьев сплотился, и они вскоре пробрались к Мато и окружили его. Из боковых улиц стекалась огромная толпа. Она схватила его, подняла и увлекла с собой за стену, туда, где насыпь была высокая.

Мато громким голосом отдал приказ; все щиты опустились на шлемы; он вскочил на них, чтобы уцепиться за что-нибудь и войти в Карфаген; продолжая размахивать страшным топором, он бежал по щитам, похожим на бронзовые волны, как морской бог, несущийся по водам.

В это время человек в белой одежде ходил по краю вала, невозмутимый и равнодушный к окружавшей его смерти. Иногда он приставлял к глазам правую руку, точно искал кого-то. Мато прошел мимо него внизу. Тогда взор карфагенянина вдруг вспыхнул и безжизненное лицо искзилось; подняв тощие руки, он стал громко кричать ему вслед ругательства.

Слов его не было слышно, но в сердце Мато проник такой жестокий и бешеный взгляд, что он зарычал. Он бросил в кричащего длинный топор; солдаты накинулись на Шагабарима; Мато, не видя его более, упал навзничь, обессиленный.

Вблизи раздался страшный скрежет, к которому примешивалось ритмическое пение глухих голосов.

То был скрежет опромной стенобитной машины, окруженной толпой солдат. Они тащили ее обеими руками, тянули веревками и толкали плечом, потому что откос, поднимавшийся с равнины на насыпь, хотя и очень отлогий, затруднял передвижение машин такого необычайного веса; но машина стояла все же на восьми колесах, обшитых железом, и подвигалась вперед с самого утра, медленно, подобно горе, поднимающейся на другую гору. Потом снизу из нее выступил огромный таран; двери упали, и в глубине показались, подобно железным колоннам, солдаты в панцырях. Видно было, как они карабкались вверх и спускались вниз по двум лестницам, проходящим через все этажи. Некоторые поджидали, пока крючья дверей коснутся стены, и тогда бросались вперед; посредине верхней площадки кружились мотки метательных машин и опускалось дышло катапульты.

Гамилькар в это время стоял на крыше Мелькарта. По его расчетам таран должен был направиться прямо к храму и стать против того места, которое наименее уязвимо и поэтому именно не охранялось стражей. Давно уже его рабы приносили на сторожевой путь козьи меха; здесь они воздвигали из глины две поперечные перегородки, образовавшие своего рода бассейн. Вода протекала на насыпь; и странным казалось, что Гамилькара это не беспокоило.

Когда машина была уже шагах в тридцати от него, он приказал положить доски поверх улиц, между домами, от цистерн до вала; солдаты стали ходить по доскам гуськом, передавая из рук в руки шлемы и амфоры с водой, которые они неустанно опорожняли. Карфагеняне возмущались такой тратой воды. Таран разрушал стену; но вдруг из раздвинувшихся камней хлынула вода. Тогда высокая бронзовая громада в девять этажей, заключавшая в себе более трех тысяч солдат, начала медленно накреняться, как корабль. Оказалось, что вода, проникая в глубь насыпи, размыла путь; колеса стали увязать; в первом этаже показалось из-за кожаной занавеси лицо Спендия; он дул изо всех сил в трубу из слоновой кости. Огромное сооружение, судорожно поднявшись, подвинулось еще шагов на десять; но почва все более размягчалась, грязь залепила оси колес, и машина остановилась, страшно накренясь набок. Катапульта скатилась на край площадки и под тяжестью своего дышла упала, разрушая под собой нижние этажи. Солдаты, стоявшие у дверей, летели в пропасть или же цеплялись за концы длинных балок и увеличивали своей тяжестью наклон машины, которая распадалась на куски, треща по всем скрепам.

Другие варвары бросились им на помощь. Они столпились плотной массой. Карфагеняне спустились с вала и, нападавая сзади, беспрепятственно убивали их. Но в это время примчались колесницы, снабженные косами. Они неслись, оцепляя толпу; карфагеняне снова поднялись на стену. Спустилась ночь, и варвары постепенно отошли.

На равнине, от голубоватого залива до белой лагуны, кинулась темная масса людей; и озеро, куда стекала кровь, растлалось вдаль, как огромный багровый пруд.

Насыпь была так завалена трупами, что казалась сложенной из человеческих тел. Посредине возвышалась стенбитная машина, полная доспехов, и время от времени огромные обломки ее отпадали, точно камни обрушивающейся пирамиды. На стенах видны были широкие подтеки свинца. Местами горели разрушенные деревянные башни, и дома казались развалинами огромного амфитеатра. Поднимались тяжелые клубы дыма, унося искры, угасавшие в темном небе.

Карфагеняне, томимые жаждой, бросились к цистернам. Они выломали двери. В глубине оказалась только мутная лужа.

Что было делать? Варваров оставались несметные полчища, и, отдохнув, они захотят возобновить осаду.

Во всех частях города на углах улиц народ совещался всю ночь. Одни говорили, что нужно усласть женщин, больных и стариков; другие предлагали покинуть город и основаться где-нибудь вдаль, в колонии. Но не доставало кораблей, и до самого восхода солнца ничего не было решено.

На следующий день не сражались, так как все были разбиты усталостью. Спавшие похожи были на трупы.

Карфагеняне, размышляя о причинах своих несчастий, вспомнили, что не послали в Финикию ежегодные дары Мелькарту Тирийскому, и пришли в ужас. Боги, возмущенные Республикой, будут длить свою месть.

На богов смотрели как на жестоких господ, которых можно умиротворить мольбами или же подкупить подарками. Все были беспомощны перед Молохом-всепожирателем. Жизнь и самое тело людей принадлежали ему; поэтому для спасения жизни карфагеняне обычно жертвовали частицей тела, чтобы укротить его гнев. Детям обжигали зажженными прядями шерсти лоб или затылок; этот способ умиротворения Ваала приносил жрецам много денег, и они всегда убеждали прибегать к нему как к более легкому и мягкому.

На этот раз, однако, дело шло о самой Республике. Всякая польза должна была искупаться какой-нибудь потерей, и все расчеты строились на нуждах более слабого и требовательности более сильного. Не могло быть поэтому такой муки, кото-

рую нельзя было бы претерпеть ради Молоха, так как его услаждали самые страшные мучения, а карфагеняне теперь всецело зависели от его воли. Необходимо было его удовлетворить. Примеры показывали, что этим способом можно отвести напасти. Верили также, что сожжение жертв очистит Карфаген. Жестокость толпы была заранее распалена. К тому же выбор должен был пасть исключительно на знатные семьи.

Члены Совета собрались на совещание, которое было очень продолжительным. Ганнон тоже явился на него. Сидеть он уже не мог и остался лежать на носилках у двери, полузакрытый бахромой длинных занавесок. И когда жрец Молоха спросил всех, согласны ли они принести в жертву своих детей, голос Ганнона раздался в тени, как рычание духа в глубине пещеры. Он выразил сожаление, что у него самого нет детей, чтобы отдать их на заклятие, и пристально посмотрел при этих словах на Гамилькара, сидевшего против него в другом конце зала. Суффета так смутил его взгляд, что он опустил глаза. Все одобрили Ганнона, кивая каждый по очереди головой в знак согласия. Следуя ритуалу, суфкет должен был ответить верховному жрецу:

— Да будет так.

Тогда старейшины постановили совершить жертвоприношение, причем облекли свое решение в обычную иносказательную форму; есть вещи, которые легче исполнить, нежели выразить словами.

Решение Совета стало известно в Карфагене. Раздались стенания. Всюду слышались крики женщин; мужья утешали их или осыпали упреками.

Три часа спустя распространилась еще более поразительная весть: суфкет открыл источники у подножия утеса. Все побежали туда. В ямах, прорытых в песке, виднелась вода. Несколько человек, лежа на животе, уже пили ее.

Гамилькар сам не знал, действовал ли он по совету богов или по смутному воспоминанию о тайне, сообщенной ему когда-то отцом; но, покинув Совет, он спустился на берег и вместе со своими рабами стал рыть песок.

Он начал раздавать одежду, обувь и вино, отдал все оставшиеся у него запасы хлеба и даже впустил толпу в свой дворец, открыл ей кухни, кладовые и все комнаты, за исключением комнаты Саламбо. Он возвестил, что скоро прибудет шесть тысяч галльских наемников и что македонский царь шлет солдат.

Но уже на второй день источники стали высыхать, а к вечеру третьего дня совершенно иссякли. Тогда все снова заговорили о решении старейшин, и жрецы Молоха приступили к своему делу.

В дома являлись люди в черных одеждах. Многие заранее уходили под предлогом какого-нибудь дела или говоря, что идут купить лакомства; слуги Молоха приходили и забирали детей. Другие тупо сами же их отдавали. Детей уводили в храм Танит, где жрецы должны были хранить и забавлять их до наступления торжественного дня.

Эти люди появились внезапно у Гамилькара и, застав его в садах, обратились к нему:

— Барка, ты знаешь, зачем мы пришли... за твоим сыном.

Они прибавили, что мальчика видели в сопровождении старика лунной ночью минувшего месяца в Маппалах.

Гамилькар едва не задохнулся от ужаса, но, быстро сообщив, что всякое отрицание напрасно, выразил согласие и ввел пришедших в дом для торговли. Прибежавшие рабы стали, по знаку своего господина, стеречь выходы.

Гамилькар вошел обезумевший в комнату Саламбо. Он одной рукой схватил Ганнибала, другой сорвал шнурок с лежавшей под рукой одежды, связал мальчику ноги и руки, а концом шнура заткнул ему рот, чтобы он не мог говорить; затем он спрятал его под ложе из бычьих шкур, опустив падавшее до земли покрывало.

После того он начал ходить взад и вперед, поднимал руки, кружился, кусал губы, устремив недвижно глаза в пространство, задыхаясь, как умирающий.

Наконец он ударил три раза в ладони. Явился Гиденем.

— Послушай,— сказал он,— найди среди рабов мальчика восьми-девяти лет, с черными волосами и высоким лбом.

Вскоре Гиденем вернулся и привел с собой мальчика. Он был жалкий, худой и в то же время одутловатый; кожа его казалась серой, как и грязные лохмотья, которыми он был опоясан. Он втягивал голову в плечи и тер себе рукой глаза, залепленные мухами.

Как можно принять его за Ганнибала! Но времени, чтобы найти другого, не было. Гамилькар посмотрел на Гиденема, ему хотелось задушить его.

— Уходи! — крикнул он.

Начальник над рабами убежал.

Значит, несчастье, которого он давно боялся, действительно наступило. Напрягая все силы, он стал придумывать какое-нибудь средство, чтобы избежать его.

За дверью раздался голос Абдалонима. Суффета звали. Служители Молоха выражали нетерпение.

Гамилькар с трудом удержал крик, точно его обожгли раскаленным железом: он опять забегал по комнате, как безумный. Потом опустился у перил и, опираясь локтями о колени, сжал кулаками лоб.

В порфириновом бассейне оставалось еще немного чистой воды для омовений Саламбо. Несмотря на отвращение и гордость, суфлет окунул в воду мальчика и, как работорогвец, принялся мыть его и натирать скребками и глиной. Затем он взял из ящика у стены два четырехугольных куска пурпура, надел ему один на прудь, другой на спину и соединил их у ключиц двумя алмазными пряжками. Он смочил ему голову благовониями, надел на шею янтарное ожерелье и обул в сандалии с жемчужными каблуками, в сандалии своей дочери! Но он дрожал от стыда и раздражения. Саламбо, торопливо помогавшая ему, была так же бледна, как и он. Мальчик улыбался, ослепленный великолепием новых одежд, и даже, осмелев, стал хлопать в ладоши и скакать, когда Гамилькар повел его с собою.

Он крепко держал мальчика за руку, точно боясь потерять его; мальчику было больно, и он заплакал, продолжая бежать рядом с Гамилькаром.

У эргастула, под пальмой, раздался жалобный, молящий голос. Голос этот шептал:

— О господин, господин!..

Гамилькар обернулся и увидел рядом с собой человека отвратительной наружности, одного из тех несчастных, которые жили в доме без всякого дела.

— Что тебе надо? — спросил суфлет.

Раб, весь дрожа, пробормотал:

— Я его отец!

Гамилькар продолжал идти; раб следовал за ним, сгибая колени и вытягивая вперед голову. Лицо его было искажено несказанной мукой. Его душили рыдания, которые он сдерживал; ему хотелось одновременно и спросить Гамилькара и закричать ему: «Пощади!»

Наконец он отважился слегка коснуться его локтя пальцем.

— Неужели ты его...

У него не было силы закончить, и Гамилькар остановился, пораженный его скорбью.

Он никогда не думал, — до того широка была пропасть, разделявшая их, — что между ними могло быть что-нибудь общее. Это показалось ему оскорблением и покушением на его исключительные права. Он ответил взглядом, более тяжелым и холодным, чем топор палача. Раб упал без чувств на песок к его ногам. Гамилькар перешагнул через него.

Трое людей в черных одеждах ждали его в большой зале, стоя у каменного диска. Он тотчас же стал рвать на себе одежды и кататься по полу, испуская пронзительные крики:

— Ах, бедный Ганнибал. О мой сын, мое утешение, моя надежда, моя жизнь! Убейте и меня! Уведите и меня! Горе! Горе!

Он царапал себе лицо ногтями, рвал волосы и выл, как плакальщицы на погребениях.

— Уведите его, я слишком страдаю! Уйдите! Убейте и меня!

Служители Молоха удивлялись тому, что у великого Гамилькара такое слабое сердце. Они были почти растроганы.

Раздался топот босых ног и прерывистый хрип, подобный дыханию бегущего дикого зверя; на пороге третьей галереи, между косяками из слоновой кости показался бледный человек, с отчаянием простиравший руки; он крикнул:

— Мое дитя!

Гамилькар одним прыжком бросился на раба и, закрывая ему руками рот, стал кричать еще промче:

— Этот старик воспитывал его! Он называет его своим сыном. Он с ума сойдет! Довольно! Довольно!

Вытолкнув за плечи трех жрецов и их жертву, он вышел вместе с ними и сильным ударом ноги захлопнул за собою дверь.

Гамилькар прислушивался в течение нескольких минут, все еще боясь, что они вернутся. Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании; но опасность еще не вполне миновала, и эта смерть, если она раздражит богов, могла обернуться против его же сына.

Тогда, изменив свое намерение, он послал ему через Тааных лучшее, что имелось на кухнях: четверть козла, бобы и консервы из гранат.

Раб, который давно не ел, бросился на пищу, и слезы его капали на блюда.

Гамилькар, вернувшись, наконец, к Саламбо, развязал шнурки Ганнибала и высвободил его. Мальчик в раздражении укусил ему руку до крови. Гамилькар ласково оттолкнул сына.

Чтобы усмирить мальчика, Саламбо стала пугать его Ламией, киренской людоедкой.

— А где она? — спросил он.

Ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он ответил:

— Пускай придут, я их убью!

Гамилькар открыл ему страшную правду. Но он рассердился на отца, утверждая, что, будучи властителем Карфагена, мог бы уничтожить весь народ.

Наконец, истощенный напряжением и гневом, Ганнибал заснул мятежным сном. Он бредил во сне, прислонившись спиной к пурпуровой подушке. Голова его слегка откинулась назад, а маленькая рука, отделившись от тела, протянулась в повелительном жесте.

Когда наступила глубокая ночь, Гамилькар осторожно поднял сына и спустился в темноте по лестнице, украшенной галереями. Пройдя мимо складов, он взял корзину винограда и кувшин чистой воды. Мальчик проснулся перед статуей Алета, в пещере, где хранились драгоценные камни; при виде окружающего его сияния камней он тоже улыбался на руках у отца, как тот, другой мальчик.

Гамилькар был уверен, что никто не отнимет у него сына. В эту пещеру нельзя было проникнуть, так как она соединялась с берегом подземным ходом, известным ему одному. Озираясь вокруг, он облегченно вздохнул. Потом он посадил мальчика на табурет около золотых щитов.

Его теперь никто не видел, не было надобности сдерживать себя, и он дал волю своим чувствам. Подобно матери, которой вернули ее первенца, он бросился к сыну, прижимая его к груди, смеялся и плакал в одно и то же время, называл его нежными именами, покрывал поцелуями. Маленький Ганнибал, испуганный его порывистой нежностью, затих.

Гамилькар вернулся неслышными шагами, нащупывая вокруг себя стены. Он пришел в большой зал, куда лунный свет проникал через расселину купола; посреди комнаты, вытянувшись на мраморных плитах, спал раб, насыщенный пищей.

Гамилькар взглянул на него, и в нем как будто зашевелилась жалость. Кончиком котурна он пододвинул ему ковер под голову. Затем он поднял глаза и взглянул на Танит, узкий серп которой сверкал на небе; он почувствовал себя сильнее Ваалов и преисполнился презрением к ним.

Приготовления к жертвоприношению уже начались.

В храме Молоха выбили кусок стены, чтобы извлечь медного идола, не касаясь пепла жертвенника. Затем, как только взошло солнце, служители храма двинули идола на Камонскую площадь.

Идол передвигался, птясь назад, скользя на валах; плечи его были выше стен; едва завидя его издали, карфагеняне быстро убежали, ибо нельзя безнаказанно созерцать Ваала иначе, чем в проявлении его гнева.

По улицам распространился запах благовоний. Двери всех храмов раскрылись; в них появились скинии богов на колесницах или на носилках, которые несли жрецы. Большие султаны из перьев развевались по углам, лучи исходили из остроконечных кровель, заканчивавшихся хрустальными, серебряными или медными шарами.

То были ханаанские Ваалы, двойники верховного Ваала;

они возвращались к своему первоначалу, чтобы преклониться перед его силой и уничтожиться в его блеске.

В шатре Мелькарта из тонкой пурпуровой ткани сокрыто было керосиновое пламя; на шатре Камона гиацинтового цвета высился фаллос из слоновой кости, окаймленный венцом из драгоценных камней; за занавесками Эшмуна, эфирно-голубого цвета, спал пифон, свернувшись в круг; боги Патэки, которых жрецы несли на руках, похожи были на больших спеленутых детей,— пятки их касались земли.

Затем следовали все низшие формы божества: Ваал-Самен, бог небесных пространств; Ваал-Пеор, бог священных высот; Ваал-Зебуб, бог разврата, и все боги соседних стран и родственных племен: Ярбал ливийский, Адрамелек халдейский, Киюн сирийский; Деркету с лицом девственницы ползла на плавниках, а труп Таммуза везли на катафалке среди факелов и пучков срезанных волос. Для того чтобы подчинить властителей небесного свода Солнцу и чтобы влияние каждого из них не мешало его влиянию, жрецы несли на высоких шестах металлические звезды, окрашенные в разные цвета. Тут были представлены все светила, начиная с черного Неба, духа Меркурия, до отвратительного Рагаба, изображавшего созвездие Крокодила. Абаддиры — камни, падающие с луны, кружились в пращах из серебряных нитей; жрецы Цереры несли в корзинах маленькие хлебы, воспроизводившие женский половой орган; другие жрецы шли со своими фетишами, своими амулетами; появились забытые идолы; взяты были даже мистические эмблемы кораблей. Казалось, что Карфаген хотел весь сосредоточиться на мысли о смерти и разрушении.

Перед каждым из шатров стоял человек, державший на голове широкий сосуд, в котором курился ладан. Носились облака дыма, и сквозь него можно было различить ткани, подвески и вышивки священных шатров. Облака двигались медленно вследствие своей огромной тяжести. Оси колесниц иногда зацеплялись за что-нибудь на улицах; благочестивые люди пользовались тогда случаем коснуться Ваалов своими одеждами и сохраняли их потом, как святыню.

Медный идол продолжал шествовать к Камонской площади. Богатые, неся скипетры с изумрудными набалдашниками, двинулись из глубины Мегары, старейшины, с венцами на головах, собрались в Кинидзо, а управляющие казной, матросы и многочисленная толпа похоронных служителей, все со знаками своих должностей или эмблемами своего ремесла, направлялись к скинням, которые спускались с Акрополя, окруженные коллегиями жрецов.

В честь Молоха они надели самые пышные свои драгоценности. Алмазы сверкали на их черных одеждах; но слишком

широкие кольца падали с похудевших рук, и ничто не могло быть мрачнее, чем эти безмолвные люди, у которых серьги удалялись о бледные щеки, а золотые тиары сжимали лоб, судорожно морщинившийся от глубокого отчаяния.

Наконец Ваал достиг самой середины площади. Его жрецы сделали ограду из решеток, чтобы отстранить толпу, и расположились вокруг него.

Жрецы Камона в одеждах из рыжеватой шерсти выстроились перед своим храмом, под колоннами портика; жрецы Эшмуна в льняных одеждах, с ожерельями из голов кукуфы и в остроконечных тиарах, расположились на ступенях Акрополя; жрецы Мелькарта в фиолетовых туниках заняли западную сторону; жрецы абаддиров, затянутые в повязки из фригийских тканей, стали на востоке; а с южной стороны вместе с кудесниками, покрытыми татуировкой, поместили крикунов в заплатанных одеждах, служителей Патэков и Идонов, которые предсказывали будущее, держа во рту кость мертвеца. Жрецы Цереры в голубых одеждах остановились из предосторожности на улице Сатев и тихим голосом напевали фесмофорий на мегарском наречии.

Время от времени шли ряды совершенно голых людей; широко расставив руки, они держались за плечи друг друга. Они извлекали из глубины груди глухие хриплые звуки; их глаза, устремленные на колосса, сверкали в пыли, и они равномерно раскачивались все вместе, точно сотрясаясь от одного движения. Они были в таком неистовстве, что для восстановления порядка рабы, служители храмов, пуская в ход палки, заставили их лечь на землю ничком, лицом на медные решетки.

В это время из глубины площади выступил вперед человек в белой одежде. Он медленно прошел через толпу, и в нем узнали жреца Танит — верховного жреца Шагабарима. Раздался крик, ибо в этот день все были под властью мужского начала и богиню настолько забыли, что даже не заметили отсутствия ее жрецов. Но все были еще более поражены, когда увидели, что Шагабарим открыл решетчатую дверь, одну из тех, куда входили для приношения жертв. Жрецы Молоха усмотрели в этом оскорбление, нанесенное их богу; возмущенно размахивая руками, они пытались оттолкнуть его. Упитанные мясом жертв, облеченные в пурпур, как цари, в трехрядных колпаках, они презирали бледного евнуха, истощенного умерщвлением плоти, и гневный смех сотрясал на их груди черные бороды, растившиеся в виде солнечного сияния.

Шагабарим, не отвечая им, продолжал итти; пройдя медленным шагом через все огороженное пространство, он оказался между ногами колосса и коснулся его с двух сторон, простирая руки, что составляло торжественный ритуал богопочита-

ния. Слишком долго мучила его Раббет; от отчаяния или, быть может, не находя бога, вполне соответствующего его пониманию, он решил избрать своим божеством Молоха.

В толпе, устрешенной таким вероотступничеством, послышался ропот. Порвалась последняя нить, связывавшая души с милосердным божеством.

Но Шагабарим не мог по своему увещью участвовать в служении Ваалу. Жрецы в красных мантиях изгнали его из ограды; когда он оказался за нею, он поочередно обошел все жреческие коллегии; затем жрец, оставшийся без бога, исчез в толпе. Она расступилась перед ним.

Тем временем между ногами колосса зажгли костер из алоэ, кедра и лавров. Длинные крылья Молоха погружались в огонь; мази, которыми его натерли, текли по его медному телу, точно капли пота. Вдоль круглой плиты, на которую он упирался ногами, стоял недвижный ряд детей, закутанных в черные покрывала; несоразмерно длинные руки бога спускались к ним ладонями, точно собираясь схватить этот венец и унести его на небо.

Богатые, старейшины, женщины — вся толпа теснилась за жрецами и на террасах домов. Большие раскрашенные звезды перестали кружиться; скинии стояли на земле; дым кадилниц поднимался отвесно, точно гигантские деревья, простирающие в синеву свои голубоватые ветви.

Многие лишились чувств; другие точно окаменели в экстазе. Беспредельная тревога тяжело ложилась на грудь. Последние возгласы один за другим затихли, и карфагенский народ задыхался, охваченный жаждой ужаса.

Наконец верховный жрец Молоха провел левой рукой по лицам детей под покрывалами, вырывая у каждого прядь волос на лбу и бросая ее в огонь. Жрецы в красных плащах запели священный гимн:

— Слава тебе, Солнце! Царь двух поясов земли, творец, сам себя породивший, отец и мать, отец и сын, бог и богиня, богиня и бог!..

Голоса их потерялись в грохоте музыкальных инструментов, которые зазвучали все сразу, чтобы заглушить крики жертв. Восьмиструнные шеминиты, кинноры о десяти, небалы о двенадцати струнах скрипели, шипели, гремели. Огромные мехи, утыканые трубами, производили острое щелканье; непрерывно ударяемые тамбурины издавали быстрые глухие удары; и среди грома труб сальсалимы трещали, как крылья саранчи.

Рабы, служители храмов, открыли длинными крючками семь отделений, расположенных одно над другим по всему телу Ваала. В самое верхнее положили муку; во второе — двух голубей; в третье — обезьяну; в четвертое — барана; в пятое —

овцу. А так как для шестого не оказалось быка, то туда положили дубленую шкуру, взятую из храма. Седьмое отделение осталось открытым.

Прежде чем что-либо предпринять, нужно было испробовать, как действуют руки идола. Тонкие цепочки, начинавшиеся у пальцев, шли к плечам и спускались сзади; когда их тянули книзу, раскрытые руки Молоха поднимались до высоты локтей и, сходясь, прижимались к животу. Их несколько раз привели в движение короткими, прерывистыми толчками. Инструменты смолкли. Пламя бушевало.

Жрецы Молоха ходили по широкой плите, всматриваясь в толпу.

Нужна была жертва отдельного человека, совершенно добровольная, так как считалось, что она увлечет за собою других. Никто пока не являлся. Семь проходов от барьеров к колоссу оставались пустыми. Чтобы заразить толпу примером, жрецы вынули из-за поясов острые шила и стали наносить себе раны на лице. В ограду впустили обреченных, которые лежали в стороне, распростершись на земле. Им бросили связку страшных железных орудий, и каждый из них избрал себе пытку. Они вонзали себе вертела в грудь, рассекали щеки, надевали на головы терновые венцы; потом схватились за руки и, окружая детей, образовали второй большой круг,— он то сжимался, то расширялся. Они приближались к перилам, затем отступали, снова приближались и проделывали это вновь и вновь, маня к себе толпу головокружительным хоромом среди крови и криков.

Мало-помалу люди проникали в проходы и доходили до конца; они бросали в огонь жемчуга, золотые сосуды, чаши, факелы, все свои богатства; дары становились все более щедрыми и многочисленными. Наконец шатающийся человек с бледным, безобразно искаженным от ужаса лицом толкнул вперед ребенка; в руках колосса очутилась маленькая черная ноша; она исчезла в темном отверстии. Жрецы наклонились над краем большой плиты, и вновь раздалось пение, славящее радость смерти и воскресение в вечности.

Жертвы поднимались медленно, и так как дым восходил высокими клубами, то казалось, будто они исчезали в облаке. Ни один не шевелился; все были связаны по рукам и по ногам; под темными покрывалами они ничего не видели, и их нельзя было узнать.

Гамилькар, в красном плаще, как все жрецы Молоха, стоял около Ваала, у большого пальца его правой ноги. Когда привели четырнадцатого мальчика, все заметили, что Гамилькар отпрянул в ужасе. Но вскоре, приняв прежнюю позу, он скрестил руки и опустил глаза. С другой стороны статуи верховный

жрец стоял так же неподвижно, как и он. Опустив голову, стянутую ассирийской митрой, жрец смотрел на сверкавшую у него на груди золотую бляху; она была покрыта вещами камнями, и на ней горели радугой отблески пламени. Он бледнел, обезумев от ужаса. Гамилькар склонил голову, и оба они были так близки от костра, что края их плащей, приподнимаясь, иногда касались огня.

Медные руки двигались все быстрее и быстрее безостановочным движением. Каждый раз, когда на них клали ребекка, жрецы Молоха простирали на жертву руки, чтобы взвалить на нее преступления народа, и громко кричали: «Это не люди, это быки!» Толпа кругом редела: «Быки! Быки!» Благочестивые люди кричали: «Ешь, властитель!» А жрецы Прозерпины, подчиняясь из страха требованиям Карфагена, бормотали элевзинскую молитву:

— Пролей дождь! Роди!

Жертвы, едва очутившись у края отверстия, исчезали, как капля воды на раскаленном металле, и белый дым поднимался среди багрового пламени.

Но голод божества не утолялся; оно требовало еще и еще. Чтобы дать ему больше, ему нагружали руки, стянув жертвы сверху толстой цепью, которая их держала. Верные служители Ваала хотели вначале считать число жертв, чтобы узнать, соответствует ли оно числу дней солнечного года; но так как жертвы все прибавлялись, то их уже нельзя было сосчитать среди головокружительного движения страшных рук. Длилось это бесконечно долго, до самого вечера. Потом внутренние стенки отверстий зарделись более темным блеском. Тогда стали различать горевшее мясо. Некоторым даже казалось, что они видят волосы, отдельные члены, даже все тело жертв.

Наступал вечер; облака спустились над головой Ваала. Костер, переставший пылать, представлял собою пирамиду углей, доходивших до колен идола; весь красный, точно великан, залитый кровью, с откинутой назад головой, он как бы шатался, отяжелев от опьянения.

По мере того как жрецы торопились, неистовство толпы возрастало; число жертв уменьшалось: одни кричали, чтобы их пощадили, другие — что нужно еще больше жертв. Казалось, что стены, покрытые людьми, должны рушиться от криков ужаса и мистического сладострастия. К идолу пришли верующие, таща цеплявшихся за них детей; они били их, чтобы оттолкнуть и передать красным людям. Музыканты останавливались по временам от изнеможения, и тогда слышны были крики матерей и шипение жира, падавшего на угли. Опившиеся беленой ползали на четвереньках, кружились вокруг колосса и рычали, как тигры; Идоны пророчествовали; обреченные с рассеченны-

ми губами пели гимны. Ограду снесли, потому что все хотели принять участие в жертвоприношении; отцы, чьи дети умерли задолго до того, кидали в огонь их изображения, игрушки, их сохранившиеся останки. Те, у кого были ножи, бросались на других, и началась резня. При помощи бронзовых веялок рабы, служители храма, собрали с края плиты упавший пепел и развеяли его по воздуху, чтобы жертвоприношение разнеслось над всем городом и достигло звездных пространств.

Шум и яркий свет привлекли варваров к подножию стен; хватаясь, чтобы лучше видеть, за обломки стенобитной машины, они глядели, цепenea от ужаса.

XIV

УЩЕЛЬЕ ТОПОРА

Карфагеняне еще не успели разойтись по домам, как уже сгустились тучи; те, которые, подняв голову, глядели на идола, почувствовали на лбу крупные капли. Пошел дождь.

Он лил обильными потоками всю ночь; гремел гром. То был голос Молоха, который победил Танит, и теперь, оплодотворенная, она раскрывала с высоты небес свое широкое лоно. Иногда карфагеняне видели ее в проблеске света, распростертую на подушках облаков; потом мрак смыкался, точно богиня, еще истомленная, хотела снова заснуть. Карфагеняне, считая, что воду рождает луна, кричали, чтобы помочь ей в родах.

Дождь падал на террасы, заливал их, образуя озера во дворах, водопады на лестницах, водовороты на углах улиц. Он лил тяжелыми теплыми массами. С углов зданий падали широкие пенистые струи; на стенах повисла белая пелена воды, а омытые дождем крыши храмов сверкали при свете молний черным блеском. Потоки сбегали с Акрополя тысячью дорог; рушились дома; балки, штукатурка, мебель уплывали в ручьях, которые бурно текли по плитам.

Чтобы собрать дождевую воду, выставляли амфоры, кувшины, расстилали холст. Дождь гасил факелы. Тогда стали брать головки из костра Ваала, и, чтобы лучше напиться, карфагеняне запрокидывали голову и раскрывали рот. Другие, наклонившись над краем грязных луж, опускали в них руки до плеч и пили, пока их не начинало рвать водой, как буйволов. Постепенно распространилась свежесть. Люди, разминая тело, вдыхали влажный воздух и, опьяненные радостью, прониклись великими надеждами. Все бедствия были забыты. Родина еще раз воскресла.

Они как бы испытывали потребность обратить на других излишек бешенства, который не могли направить против самих

себя. Подобное жертвоприношение не должно оставаться бесплодным; и хотя они раскаивались, но были охвачены неистовством, которое преследует соучастников неисправимых преступлений.

Варваров гроза застигла в плохо закрывавшихся палатках; дрожащие, еще не успев обсушиться и на следующий день, они вязли в грязи, отыскивая провиант и оружие, испорченное, потерянное.

Гамилькар отправился сам к Ганнону и в силу своих полномочий передал ему командование войсками. Старый суфлет колебался несколько минут между своей злобой к Гамилькару и жаждой власти и все же принял предложение.

Затем Гамилькар велел спустить на воду галеру, вооруженную с каждого конца катапультой. Ее поставили в заливе против плота. Он посадил на корабли, которыми располагал, лучшую часть войск. Повидимому, решив бежать, он быстро повернул на север и исчез в тумане.

Но три дня спустя (когда стали готовиться к новому приступу) прибыли в смятении люди с ливийского берега. Барка высадился у них, стал собирать отовсюду припасы и завладел страной.

Варвары были возмущены, как будто это было предательством с его стороны. Те, которые более всего тяготились осадой, в особенности галлы, без всякого колебания покинули стены, чтобы попытаться примкнуть к нему. Спендий хотел отстроить заново стенобитную машину; Мато составил план пути, ведущего от его палатки до Мегары и поклялся пройти этот путь; но никто из их солдат не двинулся с места. Другие, которыми командовал Автарит, ушли, бросив на произвол судьбы западную часть вала.

Беспечность была так велика, что о замене ушедших другими не подумали.

Нар Гавас следил за ними издалека, с гор. Однажды ночью он перевел свое войско берегом моря на обращенную к материку лагуну и вступил в Карфаген.

Он явился туда спасителем, с шестью тысячами солдат, которые привезли муку под плащами, и с сорока слонами, нагруженными фуражом и сушеным мясом. Слонов окружили, стали давать им имена. Карфагенян радовало не столько прибытие такой помощи, как самый вид этих сильных животных, посвященных Ваалу; они были залогом его благоволения, знаком, что он, наконец, примет участие в войне и защитит их.

Старейшины выразили Нар Гавасу свою признательность, после чего он поднялся во дворец Саламбо.

Он ни разу не видел ее с тех пор, как в палатке Гамилькара, среди пяти войск, почувствовал прикосновение ее маленькой

холодной и нежной руки, соединенной с его рукой. После обручения она уехала в Карфаген. Любовь, от которой его отвлекали иные мысли, вновь овладела им; теперь он надеялся осуществить свои права, жениться на Саламбо, обладать ею.

Саламбо не понимала, каким образом этот юноша мог когда-нибудь стать ее господином! Хотя она молила ежедневно Танит о смерти Мато, ее ужас перед ливийцем ослабевал. Она смутно чувствовала, что ненависть, которой он преследовал ее, была почти священна; и ей хотелось бы видеть в Нар Гавасе хоть отблеск того неистовства, которое до сих пор ослепляло ее в Мато. Ей хотелось узнать поближе Нар Гаваса, но присутствие его было бы ей тягостно. Она послала сказать ему, что ей не разрешается его принять.

К тому же Гамилькар запретил допускать нумидийского царя к Саламбо; отдаляя до конца войны эту награду, он надеялся усилить таким образом преданность Нар Гаваса. Из страха перед суффетом Нар Гавас удалился.

Но по отношению к Совету ста он выказал большое высокомерие. Он отменил их распоряжения, потребовал преимущества для своих солдат и назначил их на ответственные посты; варвары были поражены, увидев нумидийцев на башнях.

Но еще сильнее было удивление карфагенян, когда прибыли на старой пунической триреме четыреста карфагенян, захваченных в плен во время войны с Сицилией. Гамилькар тайно отослал квиритам экипажи латинских кораблей, взятых до отпадения тирских городов; Рим ответил на это возвращением карфагенских пленных. Кроме того, Рим отверг предложения наемников в Сардинии и даже отказался признать своими подданными жителей Утики.

Гиерон, который правил в Сиракузах, был увлечен примером. Чтобы сохранить свои владения, он должен был соблюдать равновесие между этими двумя народами; поэтому он был заинтересован в спасении хананеян и объявил себя их другом, послав им тысячу двести быков и пятьдесят три тысячи небелей чистой пшеницы.

Еще более глубокая причина заставляла всех помогать Карфагену. Было очевидно, что если восторжествуют наемники, то все, от солдат до кухонной прислуги, взбунтуются, и никакая государственная власть, ничей дом не смогут устоять.

Гамилькар тем временем наступал на восточные области. Он отгеснил галлов, и варвары оказались как бы осажденными.

Тогда он стал их тревожить неожиданными наступлениями. То приближаясь, то снова уходя и неустанно продолжая этот маневр, он постепенно отдалил их от лагерей. Спендий вынужден был следовать за ними, а в конце концов и Мато.

Мато не пошел, однако, дальше Туниса и заперся в его сте-

нах. Это упорство было очень мудро, так как вскоре показался Нар Гавас, вышедший из каменных ворот со своими слонами и солдатами. Гамилькар звал его к себе. Но уже другие варвары бродили по провинции в погоне за суффетом.

В Клипее к Гамилькару перешли три тысячи галлов. Он получил лошадей из Киренаики, оружие из Бруттиума и возобновил войну.

Никогда еще гений его не был таким изобретательным и стремительным. В течение пяти лунных месяцев он увлекал варваров за собою, определенно зная, куда хочет их привести.

Варвары сначала пытались окружить его небольшими отрядами, но он все время ускользал от них. Тогда они стали действовать все сообща. Их войско состояло приблизительно из сорока тысяч человек, и несколько раз, к их радости, карфагеняне отступали перед ними.

Больше всего их беспокоила конница Нар Гаваса. Часто в самые душные часы, когда они шли по равнине, полусонные под тяжестью оружия, на горизонте вдруг появлялась широкая полоса пыли; то мчались галопом всадники, и из облака, в котором сверкали горящие глаза, сыпался град стрел. Нумидийцы в белых плащах испускали громкие крики и поднимали руки, сжимая коленями вздымавшихся на дыбы коней, потом быстро поворачивали и исчезали. У них были в отдалении навьюченные на дромадеров запасы дротиков, и, вновь возвращаясь, еще более страшные, они выли, как волки, и исчезали, как ястребы. Варвары, стоявшие в передних шеренгах, падали один за другим, и так продолжалось до вечера, когда войска пытались вступить в горы.

Хотя горы представляли большую опасность для слонов, Гамилькар углубился в них. Он следовал вдоль длинной цепи, которая тянется от Гермейского мыса до вершины Загуана. Варвары думали, что этим он хотел скрыть недостаточность своих сил. Но постоянная неуверенность, в которой он их держал, измучила их больше всякого поражения. Они, однако, не падали духом и шли за ним.

Наконец однажды вечером, между Серебряной горой и Свинцовой, среди больших утесов при входе в ущелье варвары настигли отряд велитов. Все войско находилось, очевидно, впереди, потому что слышны были топот шагов и звуки труб, и тотчас же карфагеняне бросились бежать через ущелье. Оно спускалось в долину, имевшую форму топора и окруженную высокими утесами. Чтобы настигнуть велитов, варвары бросились туда. Вдали, вместе с мчавшимися быками, бежали беспорядочной толпой карфагеняне. Среди них заметили человека

в красном плаще. Это был суффет. Их охватило неистовство и радость. Некоторые, из лени или из осторожности, остались у входа в ущелье. Но конница, примчавшаяся из леса, погнала их к остальному войску пиками и саблями; вскоре все варвары спустились в долину.

Вся эта громада людей несколько времени колыхалась и потом остановилась; они не находили перед собой выхода.

Те, которые были ближе к ущелью, вернулись; проход совершенно исчез. Стали кричать шедшим впереди, чтобы они продолжали путь; они оказались прижатыми к горе и издали осыпали бранью товарищей за то, что те не могли найти обратной дороги.

Действительно, едва только варвары спустились в долину, как солдаты, притаившиеся за глыбами скал, стали поднимать их бревнами и опрокидывать; и так как скат был очень крутой, то огромные глыбы, быстро падая вниз, совершенно закрыли узкое отверстие.

На другом конце долины был длинный проход, местами пересеченный трещинами; он вел к лощине, поднимавшейся к плоскогорью, на котором расположилось карфагенское войско. В этом проходе вдоль стены утесов поставили заранее лестницы; защищенные извилинами трещин, велиты успели схватить их и подняться вверх, прежде чем их настигли. Некоторые даже спустились на самое дно лощины; их оттуда вытащили канатами, так как почва в этом месте состояла из движущегося песка и наклон был такой, что невозможно было подняться, даже ползя на коленях. Варвары тотчас же настигли велитов, но перед ними вдруг опустилась, как упавший с неба вал, решетка вышиной в сорок локтей, точно соответствовавшая ширине прохода.

План суффета, таким образом, удался. Никто из наемников не знал гор; идя во главе колонн, они увлекали за собой остальных. Скалы, суженные в основании, легко обрушились, и в то время как все бежали, войско Гамилькара, видневшееся на горизонте, кричало, точно охваченное отчаянием. Гамилькар, правда, мог потерять своих велитов, и действительно, только половина их уцелела, но он пожертвовал бы и в двадцать раз большим количеством людей для удачи подобного предприятия.

До самого утра варвары толкались тесными рядами из конца в конец равнины. Они ощупывали гору руками, ища выхода.

Наконец занялся день; вокруг них возвышалась со всех сторон большая белая крутая стена. Не было возможности спастись, не было даже надежды. Оба естественных выхода из ущелья были закрыты, один — решеткой, другой — грудой скал.

Варвары безмолвно посмотрели друг на друга и в изнеможении опустились наземь, чувствуя ледяной холод в спине и страшную тяжесть век.

Потом они вскочили и бросились к скалам. Но даже самые невысокие глыбы, сдавленные тяжестью других, навалившихся на них сверху, были неприступны. Варвары хотели зацепиться за них, чтобы подняться на вершину,— выпуклость глыб не давала возможности подступить к ним. Они пытались разбить глыбы с двух сторон ущелья,— их орудия сломались. Они разложили большой огонь, сжигая шесты палаток, огонь не мог сжечь гору.

Они опять кинулись к решетке; она была утыкана длинными гвоздями, толстыми, как колья, острыми, как иглы дикобраза, насаженными гуще, чем щетина щетки. Но их охватило такое бешенство, что они все же двинулись на решетку. Острия вонзались в их тела до позвоночника; следующие бросились через них; потом все упали назад, оставляя на этих страшных ветвях ключья тела и окровавленные волосы.

Когда отчаяние их несколько улеглось, они подсчитали, сколько у них осталось съестных припасов. У наемников, поклажа которых пропала, пищи было не более, чем на два дня; у других совсем ничего не было, так как они ждали обоза, обещанного южными деревьями.

Поблизости от них бродили быки, которых карфагеняне выпустили в ущелье, чтобы привлечь варваров. Их закололи копьями, съели, и когда желудки наполнились, мысли просветлели.

На следующий день они зарезали всех мулов, около сорока, соскребли их кожи, прокипятили внутренности, растолкли кости и уже не поддавались отчаянию, надеясь на прибытие тунисской армии, наверное, извещенной о том, что с ними случилось.

Но вечером пятого дня голод усилился; они стали грызть перевязи мечей и маленькие губки, окаймлявшие их шлемы изнутри.

Эти сорок тысяч человек теснились, как на ипподроме, который образовали вокруг них горы. Одни оставались у решетки или у подножия скал, другие разбрелись по равнине. Более сильные избегали встречи друг с другом, а пугливые обращались за поддержкой к храбрым, хотя те не могли их спасти.

Во избежание заразы трупы велитов тотчас же похоронили; следы вырытых ям сгладились.

Варвары лежали обессиленные на земле. Между их рядами проходил иногда кто-нибудь из ветеранов; они выкрикивали проклятия карфагенянам, Гамилькару и даже Мато, хотя по-

следний был совершенно неповинен в их несчастье; но им казалось, что страдания их были бы не так велики, если бы кто-нибудь делил их с ними. Они стонали, а некоторые тихо плакали, как малые дети.

Они отправлялись к начальникам и молили облегчить чем-нибудь их страдания. Те ничего не отвечали или, придя в бешенство, хватили камни и бросали им в лицо.

Некоторые тщательно хранили, зарыв в землю, запас пищи — несколько пригоршней фиников, немного муки — и ели ночью, прикрывая лицо плащом. Те, у которых были мечи, держали их обнаженными. Наиболее недоверчивые стояли, прислонившись к горе.

Солдаты обвиняли своих начальников и угрожали им. Но Автарит не боялся показываться. С несокрушимым упрямством варвара он по двадцать раз в день направлялся вдаль, к скалам, каждый раз надеясь, что, может быть, глыбы сдвинулись с места. Раскачивая свои тяжелые плечи, покрытые мехом, он напоминал своим спутникам медведя, выходящего весной из берлоги, чтобы посмотреть, растаял ли снег.

Спендий, окруженный греками, прятался в одной из расщелин скал; он был так напуган, что распустил слух о своей смерти.

Все страшно отощали, кожа их покрывалась синеватыми пятнами. Вечером девятого дня умерло трое иберов.

Их спутники в испуге убежали. С умерших сняли все одежды, и обнаженные белые тела остались лежать на песке под лучами солнца.

Тогда вокруг них медленно стали бродить гараманты. Это были люди, привыкшие к жизни в пустыне и не почитавшие никакого бога. Наконец старший из них сделал знак; наклонясь к трупам, они стали вырезать ножами полосы мяса и, сидя на корточках, ели мертвечину. Другие, глядя на них издали, кричали от ужаса; многие, однако, в глубине души завидовали их мужеству.

Среди ночи несколько человек подошли к гарамантам и, скрывая, как им этого хочется, попросили дать лишь маленький кусочек, по их словам — только чтобы испробовать. Более смелые последовали за ними, число их увеличивалось, и вскоре собралась целая толпа. Но почти все, почувствовав на губах вкус этого холодного мяса, опустили руки; некоторые же ели с наслаждением.

Для того, чтобы увлечь своим примером других, они стали уговаривать друг друга. Те, которые отказывались вначале, теперь шли к гарамантам и уже не возвращались. Они жарили на углях куски мяса, насаженные на острие копья, посыпали их вместо соли пылью и дрались из-за лучших кусков. Когда три

трупа были съедены, все взоры устремились в даль равнины, ища глазами новую добычу.

Но тут они вспомнили о карфагенянах, о двадцати пленниках, взятых при последнем столкновении; до сих пор их никто не видел. Они исчезли; к тому же это было мезью. Потом, так как нужно было жить, вкус к этой пище уже привился, а иначе они умерли бы с голоду, — стали резать носильщиков воды, конюхов, всех слуг наемников. Каждый день убивали по несколько человек. Некоторые ели очень много, окрепли и повеселели.

Но вскоре некое стало употреблять в пищу. Тогда принялись за раненых и больных. Ведь все равно они не могли выздороветь, не лучше ли избавить их от мучений? И как только кто-нибудь шатался от слабости, все кричали, что он погиб и должен служить спасению других. Чтобы ускорить их смерть, прибегали к хитростям; у них крали последние остатки страшного пайка, на них точно нечаянно наступали ногами. Умирающие, притворяясь сильными, пытались протягивать руки, подниматься, смеяться. Лишившиеся чувств просыпались от прикосновения зазубренного лезвия, которым отпиливали у них части тела. Потом убивали просто из жестокости, без надобности, для удовлетворения своей ярости.

На четырнадцатый день на войско спустился тяжелый теплый туман, обычный в тех местах в конце зимы. Перемена температуры вызвала многочисленные смерти, и разложение совершалось в теплой горной сырости с ужасающей быстротой. Моросивший на трупы дождь, разлагая их, превратил вскоре равнину в большой гнойник. В воздухе носились белые испарения. Они ударяли в нос, проникали под кожу, застилали глаза. Варварам мерещилось в них предсмертное дыхание товарищей, их отходящие души. Всех охватило отвращение. Им не хотелось прежней пищи, они предпочли бы умереть.

Два дня спустя погода прояснилась, и снова пробудился голод. Порою им казалось, что у них вырывают внутренности клещами. Тогда они катались в судорогах, запикивали себе в рот землю, кусали руки и раздражались неистовым хохотом.

Еще больше мучила их жажда, потому что не оставалось ни капли воды; мехи были совершенно опустошены уже с девятого дня. Чтобы заглушить жажду, они прикладывали к языку металлическую чешую поясов, набалдашники из слоновой кости, лезвия мечей. Бывшие проводники караванов по пустыням стягивали себе животы веревкой. Другие сосали камень или пили мочу, охлажденную в медных шлемах.

А войско из Туниса все еще не приходило! То, что оно было так долго в пути, казалось им доказательством скорого его прибытия. К тому же Мато, на доблесть которого можно было

положиться, не оставит их. «Завтра придут!» — говорили они, и так проходил еще день.

Вначале они молились, давали обеты, произносили заклинания; но теперь они чувствовали к своим богам только ненависть и из мести старались не верить в них.

Люди буйного нрава погибали первыми; африканцы выдерживали голод лучше, чем галлы. Зарксас лежал среди балеаров, вытянувшись, недвижимый, перекинув волосы через руку. Спендий нашел растение с широкими листьями, выделявшими обильный сок; он заявил, что растение ядовитое, для того чтобы другие его не касались, а сам питался этим соком.

Все настолько обессилели, что не могли сбить ударом камня летающих воронов. Временами, когда ягнятник садился на труп и в течение долгого времени потрошил его, кто-нибудь из варваров ползком подкрадывался к нему, держа в зубах дротик. Птица с белыми перьями, обеспокоенная шумом, отрывалась от трупа, потом, спокойно оглядываясь, как баклан, стоящий на подводном камне среди волн, вновь погружала в труп свой отвратительный желтый клюв; придя в отчаяние, человек падал лицом в пыль. Некоторым удавалось находить хамелеонов, змей. Но больше всего поддерживала людей любовь к жизни. Они всецело сосредоточивались на этом чувстве и жили, привязанные к существованию напряжением воли, длившим его.

Наиболее выносливые держались вместе, сидели, расположившись кругом, среди равнины, между мертвыми; закутавшись в плащи, они безмолвно отдавались печали.

Те, что родились в городах, вспоминали шумные улицы, таверны, театры, бани и цирюльни, в которых рассказывают столько интересного. Другие вновь видели перед собой деревню при заходе солнца, когда волнуются желтые нивы и большие волны с ярмом от плуга на шее поднимаются по холмам. Странствовавшие мечтали о водоемах, охотники — о лесах, ветераны — о битвах; в охватившей их дремоте мысли приобретали увлекательность и отчетливость сновидений. У них вдруг начинались галлюцинации; одни искали дверь, через которую могли бы бежать, и хотели пройти сквозь гору; другим казалось, что они плавают по морю в бурю и командуют судном; или же они отшатывались в ужасе, так как им представлялись в облаках карфагенские войска. Иные воображали, будто они на пиру, и пели песни.

Многие, охваченные странным бредом, повторяли одно и то же слово или непрерывно делали одно и то же движение. А когда они поднимали голову и глядели друг на друга, их душили рыдания при виде страшного разрушения на лицах. Некоторые уже больше не страдали и, чтобы убить время, рассказывали друг другу про опасности, которых им удалось избежать.

Смерть стала неизбежной для всех и должна была скоро наступить. Сколько раз они уже тщетно пытались пробить себе выход. Но вступить в переговоры с победителями не было возможности; они даже не знали, где теперь находился Гамилькар.

Ветер дул со стороны ложины и не переставая гнал через решетку каскадами песок; плащи и волосы варваров были им покрыты, как будто земля, поднимаясь на них, хоронила их под собою. Ничто не двигалось с места; вечная гора казалась им каждое утро все более высокой.

Иногда в глубине неба в свободной воздушной стихии пролетали, взмахивая крыльями, стаи птиц. Варвары закрывали глаза, чтобы не видеть их.

Сначала слышался звон в ушах, ногти у заболевших чернели, холод подступал к груди; они ложились на бок и с криком испускали дух.

На девятнадцатый день умерших было две тысячи азиатов, полторы тысячи солдат с Архипелага, восемь тысяч из Ливии, самые молодые из наемников, а также целые племена — в общем двадцать тысяч солдат, половина войска.

Автарит, у которого осталось только пятьдесят галлов, хотел дать убить себя, чтобы положить конец всему, когда на вершине горы, прямо против него, показался человек.

Он стоял так высоко, что казался карликом. Автарит увидел, однако, на его левой руке щит в форме трилистника и воскликнул:

— Карфагенянин!

И в долине, перед решеткой, и под скалами все тотчас же поднялись. Карфагенский солдат ходил по краю пропасти, и варвары глядели на него снизу.

Спендий поднял с земли бычью голову, сделал венец из двух поясов, надел его на рога и насадил голову на шест в знак мирных намерений. Карфагенянин исчез. Они стали ждать.

Наконец вечером, точно камень, оторвавшийся от скалы, упала сверху перевязь из красной кожи, покрытая вышивкой с тремя алмазными звездами; посредине был отпечаток знака Великого совета — лошадь под пальмой. Это был ответ Гамилькара: он послал пропуск.

Им нечего было бояться; всякая перемена обозначала конец страданиям. Ими овладела беспредельная радость; они обнимали друг друга, плакали. Спендий, Автарит и Зарксас, а также четыре италийца, негр и два спартанца предложили свои услуги в качестве парламентариев. Это было принято. Но они не знали, как пройти к карфагенянам.

Со стороны скал раздался треск; самая верхняя глыба перевернулась и соскочила вниз. Скалы были несокрушимы только со стороны варваров: чтобы пробить выход, их нужно было бы поднять в косом направлении; кроме того, глыбы были плот-

но сжаты узким ущельем. С внешней же стороны достаточно было сильного толчка, чтобы они скатились. Карфагеняне их столкнули, и при восходе солнца глыбы скал стали катиться в долину, образуя как бы ступеньки огромной разрушенной лестницы.

Варвары не могли подняться по ним. Им спустили лестницы, и все устремились к ним. Их отбросил град снарядов из катапульты: только десять человек были взяты наверх.

Они шли в сопровождении клинабариев и опирались руками на крупы лошадей, чтобы не упасть.

После первых минут радости они стали ощущать тревогу, уверенные, что Гамилькар предъявит им очень жестокие требования. Но Спендий успокаивал их.

— С ним буду говорить я! — сказал он, похваляясь, что знает, как нужно вести переговоры, чтобы спасти войско.

За всеми кустами они встречали в засаде часовых, которые простирались ниц перед перевязью; Спендий надел ее на плечо.

Когда они прибыли в карфагенский лагерь, толпа окружила их, и до них доносились перешептывания и смех. Открылся вход в одну из палаток.

Гамилькар сидел в самой глубине на табурете у низкого стола, на котором сверкал обнаженный меч. Военачальники стоя окружали его.

Увидав вошедших, он откинулся назад, потом наклонился, чтобы разглядеть их.

У них были сильно расширенные зрачки; черные круги вокруг глаз шли до нижнего края ушей; посиневшие носы выступали между впавшими щеками, прорезанными глубокими морщинами. Слишком широкая для их мускулов кожа на теле исчезала под слоем пыли аспидного цвета; губы прилипали к желтым зубам; от них исходило зловоние, точно из полуоткрытых могил; они казались живыми мертвецами.

Посредине палатки, на циновке, куда собирались сесть начальники, дымилось блюдо с вареной тыквой. Варвары впились в него глазами, дрожа всем телом, и на глазах у них показались слезы. Но они все-таки старались сдержаться.

Гамилькар отвернулся и заговорил с кем-то. Тогда они бросились плашмя и стали есть, лежа на животе. Лица их утопали в жиру, и шумное чавканье примешивалось к их радостным рыданиям. Им дали докончить еду, вероятно, скорее от изумления, чем из жалости. Затем, когда они поднялись, Гамилькар знаком приказал говорить человеку, носившему перевязь. Спендий испугался; он бормотал несвязные слова.

Гамилькар, слушая его, крутил вокруг пальца большой золотой перстень, тот, с которого был сделан на перевязи оттиск

печати Карфагена. Он уронил перстень на землю; Спендий тотчас же поднял его; в присутствии своего господина он снова почувствовал себя рабом. Другие задрожали, возмущенные его низкопоклонством.

Но грек возвысил голос и стал рассказывать о преступлениях Ганнона, зная, что он враг Гамилькара, и стараясь разжалобить последнего подробностями об их несчастиях и напоминаниями об их преданности. Он говорил долго, быстро, коварно и даже резко; в конце концов, увлеченный собственным пылом, он совершенно забылся.

Гамилькар ответил, что принимает их извинения. Значит, будет заключен мир, и на этот раз окончательный! Но он требовал, чтобы ему выдали десять наемников по его выбору, без оружия и без туник.

Они не ждали таких милостивых требований, и Спендий воскликнул:

— Мы дадим тебе двадцать, если хочешь, господин!

— Нет, мне довольно десяти,— мягко ответил Гамилькар.

Их вывели из палатки, чтобы они могли обсудить предъявленное им требование. Как только они очутились одни, Автарит стал заступаться за товарищей, которыми нужно было пожертвовать, а Зарксас сказал Спендию:

— Почему ты не убил его? Ведь его меч был совсем близко от тебя.

— Убить — его! — сказал Спендий.

И несколько раз он повторил: «Его! Его!», точно это было нечто невозможное и точно Гамилькар был бессмертен.

Они были так измучены, что растянулись на земле, легли на спину и лежали, не зная, на что решиться.

Спендий убеждал их уступить. Они согласились и вернулись в палатку.

Тогда суфлет поочередно вложил свою руку в руки десяти варваров, сжимая им большие пальцы; после того он вытер руку об одежду, так как их липкая кожа была жесткой на ощупь и в то же время мягкой и отвратительно жирной. Наконец он сказал им:

— Вы все — начальники варваров и дали клятву за всех?

— Да! — ответили они.

— Вы клялись добровольно? От глубины души, с намерением исполнить ваше обещание?

Они подтвердили ему, что вернутся к войску для того, чтобы выполнить данное обязательство.

— Хорошо,— сказал суфлет.— В силу соглашения, состоявшегося между мною, Баркой, и вами, посланниками наемников, я избираю вас, и вы останетесь у меня!

Спендий упал без чувств на цыновку. Варвары, как бы от-

казавшись от него, теснее прижались друг к другу; после этого не было произнесено ни одного слова, не раздалось ни одной жалобы.

Наемники, ожидавшие, но так и не дождавшиеся их возвращения, думали, что их предали; несомненно, парламентареры перешли на сторону суффета.

Они прождали еще два дня, а на утро третьего приняли, наконец, решение. При помощи веревок, копий, стрел и обрывков холста, расположенных в виде ступенек, они вскарабкались на скалы; оставив за собой самых слабых, которых было около трех тысяч, они двинулись в путь, чтобы соединиться с тунисским войском.

Над ущельем расстилался луг, поросший кустами; варвары съели на них все почки. Потом они очутились в поле, засеянном бобами,— и все исчезло, точно над полем пронеслась туча саранчи. Три часа спустя они пришли на второе плоскогорье, опоясанное зелеными холмами.

Между волнистыми линиями этих холмов, на некотором расстоянии один от другого, сверкали снопы серебристого цвета; варвары, ослепленные солнцем, стали лишь смутно различать черные массы. По мере приближения снопы эти все возвышались. То были копия на башнях, высившихся на спинах грозно вооруженных слонов.

Кроме рогатин на их надгрудных ремнях, кроме заостренных клыков и бронзовых блях, покрывавших бока, а также кинжалов, всунутых в наколенники, у слонов на конце хобота были кожаные кольца, куда продеты были рукоятки тесаков. Выступив все вместе с дальнего края долины, они двигались с двух сторон параллельными рядами.

Несказанный ужас привел варваров в оцепенение. Они даже не пытались бежать, сразу окруженные со всех сторон.

Слоны врезались в ряды варваров, острия надгрудных ремней рассекали толпу, копия клыков бороздили ее, как плуги; они резали, рубили, косили своими хоботами; башни, полные зажигательных стрел, казались движущимися вулканами; видна была только огромная куча, в которой человеческие тела казались белыми пятнами, куски бронзы — серыми бляхами, кровь — красной пряжей; страшные животные, проходя среди этого ужаса, проводили черные борозды. Самого бешеного слона вел нумидиец в венце из перьев. Он бросал дротики с ужающей быстротой, издавая в промежутках долгий пронзительный свист. Огромные животные, послушные, как собаки, косились во время резни в его сторону.

Круг, который занимали слоны, постепенно суживался.

Ослабевшие варвары перестали сопротивляться; вскоре слоны заняли центр долины. Им нехватало места, они теснились, поднимаясь на задние ноги, и клыки их сталкивались. Нар Гавас сразу усмирил их, и, повернув назад, они рысью побежали к холмам.

Тем временем две синтагмы варваров, убежавшие направо, туда, где почва образовала углубление, бросили оружие; став все вместе на колени перед карфагенскими палатками, они поднимали руки, умоляя о пощаде.

Их связали, положили рядами на землю и вернули слонов.

Груды трещали, как взламываемые сундуки; с каждым шагом слон убивал двух человек; их тяжелые ноги вдавливались в тела, причем бедра сгибались, и казалось, что слоны хромают. Они шли, не останавливаясь, до конца.

Снова все стало недвижимым на равнине. Спустилась ночь. Гамилькар наслаждался зрелищем свершенной мести. Вдруг он вздрогнул.

Он увидел, и все увидели вместе с ним, в шестистах шагах налево, на вершине небольшого холма — варваров! Четыреста самых отважных наемников — этруски, ливийцы и спартанцы — ушли в горы с самого начала и до этого времени пребывали в нерешительности. После избиения своих соратников они решили пробить строй карфагенян и уже спускались тесными рядами, представляя собой великолепное и грозное зрелище.

К ним тотчас же направили вестника. Он передал, что суфкет нуждается в солдатах и готов принять их без всяких условий, так как восхищен их храбростью. Посланный Карфагена предложил им подойти поближе и направиться к месту, которое он им укажет и где они найдут съестные припасы.

Варвары побежали туда и провели всю ночь за едой. Тогда карфагеняне стали роптать на суффета, упрекая его в пристрастии к наемникам.

Уступил ли он влиянию ненасытной злобы, или то было особо утонченное коварство? Гамилькар явился на следующий день к наемникам сам, без меча, с обнаженной головой, в сопровождении клинабариев и заявил им, что ему теперь приходится кормить слишком много людей и он не намерен поэтому принять их всех. Но так как ему нужны солдаты и он не знает, как избрать лучших, то повелевает им биться насмерть друг с другом; затем он примет победителей в свою особую гвардию. Такая смерть не хуже всякой другой. Отстранив своих солдат (так как карфагенские знамена скрывали от наемников горизонт), он показал им сто девяносто двух слонов Нар Гаваса, выстроенных в прямую линию; хоботы их вооружены были широкими клинками и были похожи на руки гигантов с топорами над головой.

Барвары в молчании глядели друг на друга. Их страшила не смерть, а необходимость подчиниться ужасному приказу.

Постоянное общение создавало тесную дружескую связь между этими людьми. Лагерь заменял для большинства из них отечество; живя вне семей, они переносили на товарищей свою потребность в нежности; друзья спали рядом, накрываясь при свете звезд одним плащом. Во время непрерывных скитаний по всяческим странам, среди резни и приключений между ними возникали странные любовные отношения, бесстыдные союзы, не менее прочные, чем брак; более сильный защищал младшего в битвах, помогал ему переходить через пропасти, утирал на его лбу пот, крал для него пищу; а младший, большей частью ребенок, подобранный на дороге и ставший потом наемником, платил за эту преданность нежной заботливостью и супружеской лаской.

Они обменивались ожерельями и серьгами, которые когда-то подарили друг другу в часы опьянения после большой опасности. Все предпочитали умереть, и никто не хотел убивать другого. Юноша говорил другу с седой бородой: «Нет, нет, ты сильнее меня! Ты отомстишь за нас. Убей меня!» А старший отвечал: «Мне осталось меньше жить! Убей меня ударом в сердце и забудь!» Братья смотрели друг на друга, держась за руки, а любовники стоя прощались навеки, плача друг у друга на плече.

Они сняли панцыри, чтобы острия мечей скорей вонзились в тело. И тогда обнажились на телах следы ран, полученных, когда они защищали Карфаген. Рубцы эти были подобны надписям на колоннах.

Они выстроились в четыре ровных ряда, как гладиаторы, и робко вступили в бой. Некоторые завязали себе глаза, и мечи их медленно скользили по воздуху, точно палки слепых. Карфагеняне стали громко смеяться и кричали им, что они трусы. Барвары оживились, и вскоре битва сделалась общей, быстрой и страшной.

Иногда два бойца останавливались, истекая кровью, обнимались и умирали, целуя друг друга. Ни один не отступал. Они бросились на протянутые мечи. Неистовство их было так велико, что испугало издали карфагенян.

Наконец они остановились. Из груди у них вырвался глухой хрип, и глаза сверкали из-под длинных окровавленных волос, висевших мокрыми прядями, точно они выкупались в пурпуре. Некоторые быстро кружились, как пантеры, раненные в лоб. Другие стояли недвижно, глядя на труп у своих ног; потом они начинали раздирать себе лицо ногтями и, взяв меч в обе руки, вонзали его себе в живот.

Осталось в живых еще шестьдесят человек. Они попросили пить. Им крикнули, чтобы они отбросили мечи, и только когда они это сделали, им принесли воды.

В то время как они пили, погружая лица в сосуды с влагой, шестьдесят карфагенян, накинувшись на них, убили их кинжалами в спину.

Гамилькар сделал это для потворства жестоким инстинктам своего войска и чтобы привязать его к себе этим предательством.

Таким образом, война была окончена; так по крайней мере считал Гамилькар; он уверен был, что Мато не будет больше сопротивляться; и, охваченный нетерпением, суффет велел немедленно тронуться в путь.

Его разведчики пришли сказать, что заметили издали обоз, направлявшийся к Свинцовой горе. Гамилькара это не обеспокоило. Наемники были уничтожены, и без них кочевники не будут его тревожить. Самое важное овладеть Тунисом. И он направился туда быстрым маршем.

Он послал Нар Гаваса в Карфаген с вестями о победе; и царь нумидийцев, гордясь своим успехом, явился к Саламбо.

Она приняла его в садах, под широкой смоковницей, обложенная подушками из желтой кожи; с нею была Таанах. На голове у Саламбо был белый шарф, который закрывал рот и лоб, оставляя открытыми только глаза; но губы ее сверкали из-под прозрачной ткани, подобно драгоценным камням на ее пальцах; руки она тоже держала под покрывалом и за все время не сделала ни одного движения.

Нар Гавас сообщил ей о поражении варваров. Она в благодарность благословила его за услуги, оказанные ее отцу. Тогда он стал рассказывать о всех подробностях похода.

Голуби тихо ворковали на окружавших их пальмовых деревьях, а в траве летало много других птиц: галеолы с ожерельем на груди, перепела из Тартесса и карфагенские цесарки. Сад, загущенный в течение долгого времени, сильно разросся: колоквинт вился вокруг ветвей кассии, цветы ласточкинки росли среди полей роз, всевозможные дикие растения свивались, образуя навесы, и, как в лесу, косые лучи солнца отбрасывали на землю тень от листьев. Одичавшие домашние животные убежали при малейшем шуме. Иногда появлялась газель, к копытцам которой пристали павлиньи перья. Далекий гул города терялся в рокоте вод. Небо было совершенно синее, на море — ни одного паруса.

Нар Гавас замолчал, и Саламбо глядела на него, не отвечая. На нем была льняная одежда, расписанная цветами и обшитая внизу золотой бахромой; его заплетенные волосы были

зачесаны за уши и скреплены двумя серебряными стрелами; правой рукой он опирался на древко копья, украшенное янтарными кольцами и пучками волос.

Саламбо глядела на него, и Нар Гавас будил в ней множество смутных мыслей. Этот юноша с нежным голосом и женским станом чаровал ее взор своей грацией и представлялся ей как бы старшей сестрой, которую Ваалы послали ей в защиту. Ее охватило воспоминание о Мато, и ей захотелось узнать, что с ним случилось.

Нар Гавас ответил, что карфагеняне направились в Тунис, чтобы захватить его. По мере того как он излагал ей возможности успеха и говорил о слабости Мато, ее охватывала странная радостная надежда. Губы ее дрожали, грудь тяжело вздымалась. Когда, наконец, он обещал сам убить его, она воскликнула:

— Да! Непременно убей!

Нумидец ответил, что он пламенно желает смерти Мато, так как по окончании войны станет ее супругом.

Саламбо вздрогнула и опустила голову.

Нар Гавас продолжал, сравнивая свои желания с цветами, томящимися в ожидании дождя, с заблудившимся путником, ожидающим восхода солнца. Он сказал ей еще, что она прекраснее луны, освежительнее утреннего ветра, отраднее лица гостеприимного хозяина. Он обещал ей привезти из страны чернокожих предметы, каких в Карфагене не знают, и говорил, что покои их дома будут посыпаны золотым песком.

Наступил вечер; в воздухе носились благоухания. Они долго безмолвно глядели друг на друга, и глаза Саламбо из-за длинных покрывал казались двумя звездами в просвете между облаками. Нар Гавас ушел до заката солнца.

Когда он уехал из Карфагена, старейшины облегченно вздохнули. Народ встретил его еще более восторженно, чем в первый раз. Если Гамилькар и нумидийский царь справятся одни с наемниками, они будут несокрушимы. Старейшины решили поэтому для ослабления Барки привлечь к спасению Республики того, кто им был мил,— старого Ганнона.

Он немедленно направился в западные провинции, чтобы совершить месть в тех самых местах, где прежде потерпел позор. Жители этих провинций и варвары умерли, спрятались или бежали. Гнев его разразился над самой местностью. Он сжег развалины развалил, он не оставил ни одного дерева, ни одной травки; детей и калек, встречавшихся на пути, предавали пыткам; женщин отдавали солдатам, чтобы их насиловали, прежде чем убить; самых красивых бросали в его носилки, потому что страшный недуг разжигал его пламенными желаниями, и он удовлетворял свою страсть с бешенством отчаяния.

Часто на хребте холмов черные палатки вдруг исчезали, точно снесенные ветром, и широкие круги с сверкающими краями, которые оказывались колесами повозок, с жалобным скрипом приходили в движение и постепенно скрывались в глубине долин. Племена, отказавшиеся от осады Карфагена, блуждали таким образом по провинциям, выжидая случая или победы наемников, чтобы вернуться. Но под влиянием ужаса или голода они все двинулись потом обратно на родину и больше не возвращались.

Гамилькар не завидовал успехам Ганнона. Но ему хотелось поскорей кончить войну, и он приказал Ганнону вернуться в Тунис. Ганнон явился к стенам города в назначенный день.

Город отстаивало все туземное население, затем двенадцать тысяч наемников и все пожиратели нечистой пищи; они, как и Мато, не спускали взора с видневшегося на горизонте Карфагена, и простой народ, так же как шалишим, созерцал издали высокие стены Карфагена, мечтая о скрывающихся за ними бесконечных наслаждениях. Объединенные общей злобой, осажденные быстро организовали сопротивление. Они изготовили шлемы из мехов, срубили все пальмы в садах, чтобы сделать копья, вырыли водоемы, а для продовольствия ловили в озере крупных белых рыб, питавшихся падалью и нечистотами. Полуразвалившиеся стены города никогда не восстанавливались по вине завистливого Карфагена; они были такие непрочные, что их легко было опрокинуть ударом плеча. Мато заткнул бреши камнями, выбитыми из стен домов. Начался последний бой; Мато ни на что не надеялся, но все же думал о том, что счастье переменчиво.

Карфагеняне, приблизившись, увидели на валу человека, который высился над амбразурами. Стрелы, летавшие вокруг него, повидимому, пугали его не более, чем стая ласточек, и, странным образом, ни одна стрела не задевала его.

Гамилькар расположил свой лагерь с южной стороны, Нар Гавас с правой стороны занял долину Радеса, а Ганнон — берег озера; три военачальника решили сохранить каждый свою позицию, чтобы потом всем вместе напасть на город.

Гамилькар хотел сначала показать наемникам, что они понесут наказание как рабы. Он приказал распять десять посланцев рядом, на маленьком возвышении против города.

Это зрелище заставило осажденных покинуть вал.

Мато решил, что если бы ему удалось быстро пройти между стенами и палатками Нар Гаваса, прежде чем успеют выступить нумидийцы, он мог бы напасть на тыл карфагенской пехоты; она оказалась бы тогда запертой между его отрядом и войсками, находящимися в городе. Он быстро кинулся вперед со своими ветеранами.

Нар Гавас это заметил. Он прошел берегом озера к Ганнону и сказал ему, что нужно послать войско на помощь Гамилькару. Считал ли он действительно, что Гамилькар слаб и не сможет устоять против наемников? Действовал ли он из коварства или по глупости? Этого никто никогда так и не узнал.

Ганнон, из желания унижить своего соперника, не колебался ни одной минуты. Он приказал трубить в рога, и все его войско кинулось на варваров. Они повернули назад и устремились прямо на карфагенян, стали их валить, топтать ногами; отбросив их таким образом, они дошли до палатки Ганнона, где он находился в это время вместе с тридцатью карфагенянами, самыми знатными из старейшин.

Он, повидимому, был поражен их дерзостью и призвал своих военачальников. Варвары подступили к нему с кулаками, осыпая его ругательствами. Началась давка, и те, которые схватили Ганнона, с трудом удержали его на ногах. Он в это время шептал каждому из них на ухо:

— Я тебе дам все, чего захочешь! Я богат, спаси меня!

Они тащили его; при всей тяжести тела ноги его уже не касались земли. Увели и старейшин. Страх Ганнона усилился.

— Вы меня разбили, я ваш пленник! Я дам за себя выкуп! Выслушайте меня, друзья мои!

Сдавливая Ганнона с боков, толпа поднимала его плечами и несла, а он все время повторял:

— Что вы собираетесь сделать со мной? Что вам нужно? Я ведь не упорствую, сами видите! Я всегда был добрым!

У двери стоял огромный крест. Варвары ревели:

— Сюда, сюда!

Стараясь их перекричать, он заклинал варваров именем их богов, чтобы они повели его к шалишиму: он должен сообщить ему нечто, от чего зависит их спасение.

Они остановились, и некоторые решили, что следует призвать Мато. Отправилась разыскивать его.

Ганнон упал на траву; он увидел вокруг себя еще другие кресты, точно пытка, от которой он должен был погибнуть, заранее множилась; он старался убедить себя, что ошибается, что воздвигнут один только крест, и даже хотел поверить, что одного креста нет. Наконец его подняли.

— Говори! — сказал Мато.

Он предложил выдать Гамилькара, после чего они войдут в Карфаген и будут царствовать там вдвоем.

Мато ушел, давая знак скорее покончить с Ганноном. Он был убежден, что предложение Ганнона было хитростью и желанием выиграть время.

Варвар ошибался; Ганнон был в той крайности, когда всякие соображения исчезают, и к тому же он так ненавидел Га-

милькара, что принес бы его в жертву со всем его войском при малейшей надежде на спасение.

На земле лежали, изнемогая, старейшины; им уже проделали веревки подмышки. Тогда старый суфлет понял, что наступила смерть, и заплакал.

С него сорвали всю оставшуюся на нем одежду, обнажив безмерное уродство его тела. Нарывы покрывали всю эту бесформенную массу; жир, свисавший с его ног, закрывал ногти и сползал с пальцев зеленоватыми лоскутами; слезы, стекавшие между буграми щек, придавали лицу ужасающе печальный вид; казалось, что они занимали на нем больше места, чем на всяком другом человеческом лице. Царская его повязка, наполовину развязавшаяся, влачилась в пыли вместе с его белыми волосами.

Варвары думали, что у них не будет достаточно крепких веревок, чтобы поднять Ганнона на верх креста, и поэтому, следуя карфагенскому обычаю, прибили его к кресту, прежде чем поднять. Страдания пробудили в Ганноне гордость. Он стал осыпать своих мучителей бранью. Он извивался в бешенстве, как морское чудовище, которое закалывают на берегу, и предсказывал варварам, что они умрут еще в больших муках и что он будет отомщен.

Его слова оправдались. С другой стороны города, откуда поднимались языки пламени вместе со столбами дыма, посланцы наемников корчились в предсмертных муках.

Некоторые, вначале лишившиеся чувств, пришли в себя от свежего дуновения ветра; но подбородок опускался на грудь, и тело слегка оседало, несмотря на то, что руки были прибиты гвоздями выше головы; из пяток и из рук крупными каплями текла кровь, медленно, как падают с ветвей спелые плоды. Карфаген, залив, горы и равнины — все точно кружилось, как огромное колесо; иногда их обволакивал вихрь пыли, поднимавшийся с земли, их сжигала страшная жажда, язык сворачивался во рту, и они чувствовали струившийся по телу ледяной пот, в то время как душа их отходила.

Все же они еще различали где-то в бесконечной глубине улицы, солдат, идущих в бой, покачивание мечей; гул битвы доходил до них смутно, как доходит шум моря до потерпевших кораблекрушение, когда они умирают на снастях корабля. Итальянцы, более крепкие, чем другие, еще продолжали кричать; лакедемоняне молчали, сомкнув веки; Зарксас, такой сильный когда-то, склонился, как сломанный тростник; эфиоп рядом с ним откинул назад голову через перекладину креста; недвижимый Автарит вращал глазами; его длинные волосы, захваченные в расщелину дерева, стояли прямо на голове, и хрип, который он издавал, казался злобным рычанием. Спендий нежи-

данно проявил необычайное мужество; он стал презирать жизнь, уверенный в близком освобождении навеки, и ждал смерти с полным спокойствием.

Они слабели, но иногда вздрагивали от прикосновения перьев, задевавших их губы. Большие крылья окружали их тенью, и воздух наполнился карканьем; крест Спендия был самый высокий, и поэтому на него и опустился первый коршун. Тогда он повернул лицо к Автариту и медленно сказал ему с неизъяснимой улыбкой:

— Ты помнишь львов по дороге в Сикку?

— Они были наши братья,— ответил галл, испуская дух.

Барка тем временем пробился через ограду и дошел до цитадели. Под бурным порывом ветра дым вдруг рассеялся, открывая горизонт до стен Карфагена; ему даже казалось, что он видит людей, глядящих вдаль, на террасе храма Эшмуна; обратив взгляд в другую сторону, он увидел слева, у озера, тридцать огромных крестов.

Чтобы придать им еще более страшный вид, варвары вздвигли кресты из соединенных концами шестов своих палаток; тридцать трупов старейшин вырисовывались очень высоко на небе. На груди их виднелись точно белые бабочки,— то были перья стрел, пущенных в них снизу.

На вершине самого большого креста сверкала широкая золотая лента; она свисала с плеча, так как руки с этой стороны не было. Гамилькар с трудом узнал Ганнона. Его разрыхленные кости рассыпались, когда в них попадали железные наконечники стрел, и части его тела отпадали. На кресте были бесформенные останки, точно части животных, висящие на дверях у охотника.

Суффет ничего не знал о случившемся; город, расстилавшийся перед ним, скрывал все, что было позади, а начальники, которых он посылал поочередно к полководцам, не возвращались. Явились беглецы с рассказами о поражении, и карфагенское войско остановилось. Это гибельное несчастье, постигшее их в разгар победы, смутило их, и они перестали слушаться приказов Гамилькара.

Мато воспользовался этим, чтобы продолжать разгром лагеря нумидийцев.

Разрушив лагерь Ганнона, он снова двинулся на них. Они выпустили слонов. Но наемники, выхватив факелы из стен, помчались по равнине, размахивая огнем; испуганные слоны ринулись в залив, убивая друг друга, и стали тонуть под тяжестью вооружений. Нар Гавас пустил свою конницу; наемники пали ниц, лицом к земле; потом, когда лошади были в трех шагах от них, они одним прыжком очутились под животами лошадей

и распарывали их кинжалами; половина нумидийцев погибла, когда явился Гамилькар.

Обессиленные наемники не могли устоять против его войска. Они отступили в порядке до горы Горячих источников. Суфдет из благоразумия не погнался за ними. Он направился к устью Макара.

Тунис принадлежал ему. Но он превратился в груды дымящихся развалин, которые тянулись вниз через бреши стены до середины равнины; вдали, между берегами залива, трупы слонов, гонимые ветром, сталкивались, точно архипелаг черных скал, плавающих на водах.

Чтобы вынести войну, Нар Гавас опустошил свои леса, взял старых и молодых слонов, самцов и самок; военная сила его царства была непоправимо сломлена. Народ, видевший издали гибель слонов, был в отчаянии; люди плакали на улицах, называя слонов по именам, точно умерших друзей: «О Непобедимый! О Слава! Грозный! Ласточка!»

В первый день о них говорили больше, чем об убитых гражданах.

А на следующий день появились палатки наемников на горе Горячих источников. Тогда отчаяние дошло до того, что многие, в особенности женщины, бросались головой вниз с высоты Акрополя.

О намерениях Гамилькара ничего не было известно. Он жил один в своей палатке, имея при себе только одного мальчика: никто, даже Нар Гавас, не разделял с ним трапезы. Все же после поражения Ганнона Гамилькар стал оказывать Нар Гавасу исключительное внимание; но царь нумидийский так сильно желал стать его зятем, что боялся верить в его искренность.

Бездействие Гамилькара прикрывало ловкую тактику. Он всяческими хитростями склонял на свою сторону начальников деревень, и наемников отовсюду гнали и травили, как диких зверей. Лишь только они вступали в лес, вокруг них загорались деревья; когда они пили воду из какого-нибудь источника, она оказывалась отравленной; пещеры, куда они прятались на ночь, замуровывались. Жители деревень, которые прежде защищали варваров и были их соумышленниками, стали их преследовать, и наемники видели на них карфагенское оружие.

У многих варваров лица были изъедены красными лишаями; они думали, что заразились, прикасаясь к Ганнону. Другие полагали, что сыпь эта — наказание за то, что они съели рыб Саламбо. Но они не только не раскаявались, а, напротив, мечтали о еще более мерзких святотатствах, чтобы как можно больше унижить карфагенских богов. Им хотелось совершенно их уничтожить.

Так они скитались еще три месяца вдоль восточного побе-

режья, потом зашли за гору Селум и дошли до песков пустыни. Они искали убежища, все равно какого. Только Утика и Гипло-Зарит не предавали их; но эти города обложил Гамилькар. Потом они наугад поднялись к северу, даже не зная дорог. У них мутилось в голове от всего, что они терпели.

Их охватывало все возрастающее раздражение; и вдруг они очутились в ущелье Коб, опять перед Карфагеном!

Начались частые стычки. Счастье разделилось поровну между войсками; но обе стороны были так измучены, что предпочли бы мелким столкновениям решительный бой, с тем чтобы он был последним.

Мато хотел отправиться сам с таким предложением к суффету. Один из его ливийцев обрек себя в жертву вместо него и пошел. Все были убеждены, что он не вернется.

Но он вернулся в тот же вечер.

Гамилькар принял их вызов. Решено было сойтись на следующий день при восходе солнца на равнине Радеса.

Наемники спросили, не сказал ли он еще что-нибудь, и ливиец прибавил:

— Когда я продолжал стоять перед ним, он спросил, чего я жду. Я ответил: «Я жду, чтобы меня убили». Тогда он возразил: «Нет, уходи. Я убью тебя завтра вместе с другими».

Это великодушное изумило варваров и преисполнило некоторых из них ужасом. Мато жалел, что его посланца не убили.

У него осталось еще три тысячи африканцев, тысяча двести греков, тысяча пятьсот кампанийцев, двести иберов, четыреста этрусков, пятьсот самнитов, сорок галлов и отряд нафуров, кочующих разбойников, встреченных в стране фиников,— всего было семь тысяч двести девятнадцать солдат, но ни одной полной синтагмы. Они заткнули дыры своих панцирей костями животных и заменили бронзовые котурны рваными сандалиями. Медные и железные бляхи отягощали их одежды; кольчуги висели лохмотьями на теле, и рубцы выступали на руках и лицах, как пурпуровые нити в волосах.

Им помнился гнев погибших товарищей; он усиливал их отвагу; они смутно чувствовали себя служителями бога, обитающего в сердце угнетенных, и как бы священнослужителями вселенской мести. К тому же их доводила до бешенства чудовищная несправедливость, от которой они пострадали, и в особенности их раздражал вид Карфагена на горизонте. Они дали клятву сражаться друг за друга до смерти.

Они зарезали выючных животных и плотно наелись, чтобы подкрепить силы. Затем легли спать. Некоторые молились, обращаясь к разным созвездиям.

Карфагеняне прибыли на равнину первыми. Они натерли края щитов растительным маслом, чтобы стрелы легче скользили по ним; пехотинцы, носившие длинные волосы, из осторожности срезали их на лбу; в пятом часу утра Гамилькар велел опрокинуть все миски, зная, как неосторожно вступать в бой с полным желудком. Его войско состояло из четырнадцати тысяч человек, их было приблизительно вдвое больше, чем у варваров. Гамилькар никогда не испытывал подобного беспокойства: его поражение привело бы Республику к гибели, и он сам погиб бы на кресте. Если бы, напротив, он одержал победу, то переправился бы через Пиренеи, обе Галлии и Альпы в Италию, и могущество рода Барки укрепилось бы навеки. Двадцать раз в течение ночи он вставал, чтобы самому за всем присмотреть вплоть до последних мелочей. Карфагеняне же были измучены долгим ужасом, в котором они жили. Нар Гавас сомневался в преданности своих нумидийцев. К тому же варвары могли победить их. Им овладела странная слабость, и он непрерывно пил воду из больших чаш.

Однажды неизвестный ему человек вошел в его палатку и положил на пол венец из каменной соли, украшенной священными рисунками, сделанными с помощью серы и перламутровых ромбов. Жениху иногда посылали брачный венец; это было знаком любви, своего рода призывом.

Дочь Гамилькара, однако, не чувствовала никакой нежности к Нар Гавасу.

Ее нестерпимо терзало воспоминание о Мато; ей казалось, что смерть этого человека освободила бы ее от мысли о нем, подобно тому как для исцеления раны, нанесенной укусом змеи, нужно раздавить ее на ране. Царь нумидийцев был покорен ей; он нетерпеливо ждал свадьбы, и так как свадьба должна была последовать за победой, то Саламбо послала ему этот подарок, чтобы поднять в нем мужество. Теперь тревога его исчезла: он уже ни о чем не думал, кроме счастья, которое ему обещало обладание столь прекрасной женщиной.

И Мато мучило видение — образ Саламбо; но он отогнал мысль о ней и подавленную любовь перенес на товарищей по оружию. Он любил их, как частицу самого себя, своей ненависти, и это возвышало его дух и поднимало силы. Он ясно знал, что нужно было делать. И если иногда у него вырывались стоны, то их вызывало воспоминание о Спендии.

Он выстроил варваров в шесть равных рядов. Посредине он поставил этрусков, скованных бронзовой цепью; стрелки стояли за ними, а на двух флангах он разместил нафуров верхом на короткошерстных верблюдах, покрытых страусовыми перьями.

Суфлет расположил карфагенян в том же порядке. За пехотой, рядом с велитами, он поставил клинабариев, за ними —

нумидийцев. Когда взошло солнце, враги стояли, выстроившись одни против других. Все мерили издали друг друга грозными взглядами. Сначала произошло легкое колебание. Наконец оба войска пришли в движение.

Варвары, чтобы не устать, шли медленно, ступая грузными шагами. Центр карфагенского войска образовал выпуклую кривую. Потом войска сошлись с ужасающим грохотом, подобным треску столкнувшихся кораблей. Первый ряд варваров быстро раскрылся, и стрелки, спрятавшиеся за ними, стали метать ядра, стрелы, дротики. Тем временем кривая линия карфагенян понемногу выравнилась, сделалась совершенно прямой, потом перегнулась в другую сторону; тогда две половины расторгнутой линии велитов параллельно сблизились, как сходящиеся половинки циркуля. Варвары, устремляясь на флангу, вступили в расщелину между велитами и этим губили себя. Мато остановил их, и в то время как два карфагенских фланга продолжали идти вперед, он выдвинул три внутренних ряда своего строя; вскоре они выступили за фланги, и войско его выстроилось в тройную длину.

Но варвары, стоявшие на обоих концах, оказались самыми слабыми, особенно находившиеся слева, так как они истощили запас стрел: отряд велитов, подступивший к ним, сильно опустил их ряды.

Мато отвел их назад. На его правом фланге стояли кампанийцы, вооруженные топорами; он двинул их на левый карфагенский фланг; центр напал на врага, а солдаты с другого конца, находившиеся вне опасности, держали велитов в отдалении.

Тогда Гамилькар разделил свою конницу на небольшие отряды, разместил между ними гоплитов и двинул на наемников.

Эта конусообразная громада имела на своем фронте конницу, а широкие бока конуса щетинились пиками. Противиться им варвары никак не могли; только у греческой пехоты было бронзовое оружие; все другие имели лишь ножи, насаженные на шесты, серпы, взятые на фермах, мечи, сделанные из колесных ободьев; слишком мягкие лезвия сгибались от ударов, и в то время как варвары выпрямляли их ногами, карфагеняне в полной безопасности рубили врагов направо и налево.

Этруски, скованные цепью, не двигались с места. Убитые не падали и составляли преграду своими трупами; эта широкая бронзовая линия то раздавалась, то сжималась, гибкая, как змея, неприступная, как стена. Варвары сплывались за нею, останавливались на минуту, чтобы перевести дух, потом вновь пускались вперед с обломками оружия в руке.

У многих уже не было никакого оружия, и они насккивали на карфагенян, кусая им лица, как собаки. Галлы из гордости

сняли одежду, и издали видны были их крупные белые тела; чтобы устрашить врага, они сами расширяли свои раны. Среди карфагенских синтагм не раздавался более голос глашатая, выкрикивавшего приказы; знамена служили сигналами, поднимаясь над пылью, и все двигались, уносимые окружающей их колеблющейся массой.

Гамилькар приказал нумидийцам двинуться вперед, но на встречу им помчались нафуры.

Облаченные в широкие черные одежды, с пучком волос на макушке и со щитом из кожи носорога, они сражались железным оружием без рукоятки, придерживаемым веревкой; их верблюды, покрытые перьями, издавали протяжные глухие звуки. Лезвия падали на точно намеченные места, потом отскакивали резким ударом, унося отсеченную часть тела. Бешеные верблюды скакали между синтагмами. Те, у которых переломаны были ноги, подпрыгивали, как раненые страусы.

Карфагенская пехота вновь бросилась вся целиком на варваров и разорвала их ряды. Мелкие отряды кружились, оторванные одни от других. Сверкающее оружие карфагенян оцепляло их, точно золотыми венцами; посредине двигалась толпа солдат, и солнце, падая на оружие, бросало на острия мечей летающие белые блики. Ряды клинабариев оставались растянутыми среди равнины; наемники срывали с них доспехи, надевали на себя и возвращались в бой. Карфагеняне, обманутые видом варваров, несколько раз попадали в их ряды. Они теряли голову и не могли двинуться с места или же стремительно отступали, и торжествующие крики, поднимавшиеся издали, точно толкали их, как обломки кораблей в бурю. Гамилькар приходил в отчаяние. Все гибло из-за гения Мато и непобедимой храбрости наемников.

Но вдруг на горизонте раздались громкие звуки тамбуринов. Шла толпа, состоявшая из стариков, больных и пятнадцатилетних подростков, а также женщин; они не могли побороть своей тревоги и шли из Карфагена; чтобы стать под защиту какой-нибудь грозной силы, они взяли у Гамилькара единственного слона, который оставался у Республики, слона с отрезанным хоботом.

Тогда карфагенянам показалось, что родина, покидая свои стены, пришла, чтобы приказать им умереть за нее. Их охватил удвоенный приступ ярости, и нумидийцы увлекли за собою всех других.

Варвары, находясь среди равнины, опирались на маленький холм. У них не было никакой надежды победить или даже остаться в живых; но это были лучшие, самые бесстрашные и сильные из наемников.

Пришедшие из Карфагена стали бросать в них через головы

нумидийцев вертела, шпиковальные иглы, молоты; те, которые наводили ужас на консулов, умирали теперь под ударами палок, брошенных женщинами; наемников истребляла карфагенская чернь.

Они укрылись на вершине холма. Круг их после каждой пробитой в нем бреши смыкался; два раза они спускались вниз, и каждый раз их отбрасывали назад. Карфагеняне, сбившись в кучу, простирали руки; они просовывали копыя между ног товарищей и наугад наносили удары. Они скользили в лужах крови; трупы скатывались вниз по крутому склону. Слон, который пытался подняться на холм, ходил по живот среди мертвых тел. Казалось, что он с наслаждением топтал их; его укороченный хобот с широким концом порой поднимался, как огромная пивка.

Все остановилось. Карфагеняне, скрежеща зубами, смотрели на вершину холма, где стояли варвары.

Наконец они порывисто кинулись вперед, и схватка возобновилась. Наемники временами подпускали их, крича, что сдаются, потом с диким хохотом сразу убивали себя; по мере того как падали мертвые, живые становились на них, чтобы защищаться. Образовалась как бы пирамида; она постепенно возвышалась.

Вскоре их осталось только пятьдесят, потом только двадцать, потом только три человека и, наконец, только два: самнит, вооруженный топором, и Мато, сохранивший еще свой меч.

Самнит, сгибая колени, поочередно ударял топором вправо и влево и предупреждал Мато об ударах, направляемых на него.

— В эту сторону, господин! Наклонись!

Мато потерял свои наплечники, шлем, панцырь; он был совершенно голый и бледнее мертвеца; волосы его стояли дыбом, в углах рта выступила пена. Меч его вращался так быстро, что составлял как бы ореол вокруг него. Камень сломал его меч у самой рукоятки; самнит был убит. Поток карфагенян сплывался и приближался к Мато. Тогда он поднял к небу свои безоружные руки, закрыл глаза и с распростертыми руками, как человек, который кидается с утеса в море, бросился на копыя.

Копья раздвинулись перед ним. Он несколько раз устремлялся на карфагенян, но они отступали, отводя оружие.

Нога его коснулась меча. Он хотел его схватить, но почувствовал себя связанным по рукам и по ногам и упал.

Нар Гавас следовал за ним уже несколько времени шаг за шагом с широкими сетями, какими ловят диких зверей. Воспользовавшись минутой, когда он нагнулся, Нар Гавас набросил на него сеть.

Мато поместили на слоне, скрутив ему крест-накрест руки и ноги; и все, которые не были ранены, сопровождая его, с криками устремились в Карфаген.

Известие о победе распространилось в Карфагене непонятным образом уже в третьем часу ночи; водяные часы храма Камона показывали пятый час, когда победители прибыли в Малку; тогда Мато открыл глаза. Дома были так ярко освещены, что город казался объатым пламенем.

Нескончаемый гул смутно доходил до него, и, лежа на спине, он смотрел на звезды.

Дверь закрылась, и его окружил мрак.

На следующий день в тот же самый час испустил дух последний из людей, оставшихся в ущелье Топора.

В тот день, когда ушли товарищи наемников, возвращавшиеся зуаэки скатили вниз скалы и в течение некоторого времени кормили запертых в ущелье.

Варвары все ждали Мато и не хотели покидать горы из малодушия, из чувства усталости, а также из упрямства, свойственного больным, которые отказываются менять место; наконец, когда припасы истощились, зуаэки ушли. Известно было, что варваров в ущелье осталось не более тысячи трехсот человек, и, чтобы покончить с ними, не было надобности в солдатах.

В течение трех лет войны количество диких зверей, в особенности львов, сильно увеличилось. Нар Гавас сделал на них облаву, потом, помчавшись за ними и привязав несколько коз на некотором расстоянии одну от другой, погнал их в ущелье Тспора. Там они и были все, когда человек, посланный старейшинами, прибыл посмотреть, что осталось от варваров.

На всем протяжении равнины лежали львы и трупы; мертвые смешались в одну кучу с одеждой и оружием. Почти у всех недоставало или лица, или руки; некоторые казались еще нетронутыми, другие совершенно высохли, и шлемы их полны были прахом черепов; ноги, на которых уже не было мяса, высовывались из кнемид, на скелетах уцелели плащи; кости, высушенные солнцем, лежали на песке яркими пятнами.

Львы отдыхали, прижавшись грудью к земле и вытянув лапы, шурясь от света, усиленного отражением белых скал. Другие, сидя на задних лапах, пристально глядели в пространство или же, покрытые широкими гривами, спали, сытые, уставшие, скачущие. Они были недвижны, как горы и мертвецы. Спускалась ночь; по небу тянулись широкие красные полосы.

В одной из куч, горбившихся неправильными рядами по равнине, вдруг поднялось нечто, похожее на призрак. Тогда один из львов двинулся вперед; его чудовищные очертания бро-

сали черную тень на багровое небо. Подойдя к человеку, лез опрокинул его одним ударом лапы.

Затем он лег на него животом и стал медленно раздирать ему когтями внутренности.

Потом широко раскрыл пасть и в течение нескольких минут протяжно ревел. Эхо горы повторяло его рев, пока, наконец, он не затих в пустыне.

Вдруг сверху посыпались мелкие камни. Раздался шум топтливых шагов; со стороны решетки из ущелья показались заостренные морды и прямые уши; сверкнули дикие глаза. То были шакалы, явившиеся, чтобы пожрать останки.

Карфагенянин, который смотрел вниз, нагнувшись над краем пропасти, пошел обратно.

XV

МАТО

Карфаген объят был радостью, глубокой, всенародной, безмерной, неистовой; заделали пробоины в развалинах, наново выкрасили статуи богов, усыпали улицы миртовыми ветками; на перекрестках дымился ладан, и толпа на террасах казалась в своих пестрых одеждах пучками распускающихся в воздухе цветов.

Непрерывный гул толпы заглушался выкриками носильщиков воды, поливавших каменные плиты; рабы Гамилькара раздавали от его имени поджаренный ячмень и куски сырого мяса. Люди подходили на улицах друг к другу, целовались и плакали; тирские города были завоеваны, кочевники прогнаны, все варвары уничтожены. Акрополь исчезал под цветными велариумами; тараны трирем, выстроившихся рядами за молотом, сверкали, точно плотина из драгоценных камней; всюду чувствовался восстановленный порядок, начало новой жизни; в воздухе разливалось счастье. В этот день праздновалось бракосочетание Саламбо с царем нумидийским.

На террасе храма Камона золотые и серебряные изделия огромных размеров покрывали три длинных стола, приготовленных для жрецов, старейшин и богатых; четвертый стол, стоявший выше других, предназначен был для Гамилькара, Нар Гаваса и Саламбо. Саламбо спасла отечество тем, что вернула ему заимф, и поэтому свадьба ее превратилась в национальное торжество, и внизу на площади толпа ждала ее появления.

Но другое желание, более острое, вызывало нетерпение толпы: в этот торжественный день должна была состояться казнь Мато. Сначала предлагали содрать с него кожу с живого, за-

лить ему внутренности расплавленным свинцом, уморить голодом; хотели также привязать его к дереву, чтобы обезьяна, стоя за его спиной, била его по голове камнем; он оскорбил Таниг, и ему должны были отомстить кинокефалы Таниг. Другие предлагали возить его на дромадере, привязав к телу в разных местах льняные фитили, пропитанные растительным маслом. Приятно было представлять себе, как дромадер будет бродить по улицам, а человек на его спине корчиться в огне, точно светильник, колеблемый ветром.

Но кому из граждан поручить пытать его, и почему лишить этого наслаждения всех других? Нужно было придумать способ умерщвления, в котором участвовал бы весь город, так, чтобы все руки, все карфагенское оружие, все предметы в Карфагене, до каменных плит улиц и до вод залива, участвовали в его истязании, в его избитии, в его уничтожении. Поэтому старейшины решили, что он пойдет из своей тюрьмы на Камонскую площадь, никем не сопровождаемый, со связанными за спиной руками; запрещено было наносить ему удары в сердце, чтобы он оставался в живых как можно дольше; запрещено было выкалывать ему глаза, чтобы он до конца видел свою пытку; запрещено было также бросать в него что-либо и ударять его больше чем тремя пальцами сразу.

Хотя он должен был появиться только к концу дня, толпе несколько раз казалось, что она его видит; все бросались к Акрополю; улицы пустели; потом толпа с долгим ропотом возвращалась. Многие стояли, не двигаясь с места, целые сутки и издали перекликались, показывая друг другу ногти, которые они отрастили, чтобы глубже запустить их в его тело. Другие ходили взад и вперед в большом волнении; некоторые были так бледны, точно ждали собственной казни.

Вдруг за Маппалами над головами людей показались высокие опахала из перьев. То была Саламбо, вышедшая из дворца; у всех вырвался вздох облегчения.

Но процессия двигалась медленным шагом, и прошло много времени, прежде чем она подошла к толпе.

Впереди шли жрецы богов Патэков, потом жрецы Эшмуна и Мелькарта и затем, одна за другой, все другие коллегии жрецов, с теми же значками и в том же порядке, в каком они следовали в день жертвоприношения. Жрецы Молоха прошли, опустив голову, и толпа, точно чувствуя раскаяние, отстранялась от них. Жрецы Раббет, напротив, выступали гордо, с лирами в руках; за ними следовали жрецы в прозрачных одеждах, желтых или черных; они выпускали возгласы, похожие на крики птиц, извивались, как змеи, или же кружились под звуки флейт, подражая пляске звезд; их легкие одежды разносили по улицам волны нежных ароматов. Толпа встречала рукопле-

сканиями шедших среди женщин кедешимов с накрашенными веками, олицетворяющих двуполость божества; надушенные и наряженные, как женщины, они были подобны им, несмотря на свои плоские груди и узкие бедра. Женское начало в этот день царило всюду; мистическое сладострастие наполняло тяжелый воздух; уже загорались факелы в глубине священных роц; ночью там должна была состояться оргия; три корабля привезли из Сицилии куртизанок, и много их прибыло также из пустыни.

Коллегии выстраивались по приходе во дворах храма, на наружных галереях и вдоль двойных лестниц, которые поднимались у стен, сходясь вверху. Ряды белых одежд появлялись между колоннадами, и здание наполнялось челоэческими фигурами, недвижимыми, точно каменные изваяния.

За коллегиями жрецов шли заведующие казной, начальники провинций и вся партия богатых. Внизу поднялся шум. Толпа хлынула из соседних улиц; рабы, служители храмов, гнали ее назад палками. Наконец, среди старейшин с золотыми тиарами на головах, на носилках под пурпуровым балдахином появилась Саламбо.

Раздались бурные крики; громче зазвучали кимвалы и крогалы, заремели тамбурины, и пурпуровый балдахин скрылся между двух колонн.

Он вновь показался на втором этаже. Саламбо медленно шла под балдахином; потом она прошла по террасе, направляясь вглубь, и села на кресло в виде трона, сделанное из черепашьего щитка. Под ноги ей поставили табурет из слоеновой кости с тремя ступеньками; на нижней стояли на коленях два негритенка, и она иногда клала им на голову обе руки, отягощенные слишком тяжелыми кольцами.

От щиколоток до бедер ее обхватывала сетка из густых петель в виде рыбьей чешуи, блестящая как перламутр; синий пояс стягивал стан, и в двух прорезах в виде полумесяца виднелись груди; острые кончики их были скрыты подвесками из карбункулов. Ее головной убор был сооружен из павлиньих перьев, звезд и драгоценных камней; широкий белоснежный плащ падал с ее плеч. Прижав локти к телу, сдвинув колени, с алмазными браслетами на руках, у самых плеч, она стояла в священной позе, вся выпрямившись.

На двух сидениях пониже поместились ее отец и ее супруг. Нар Гавас был в светлой одежде и в венце из каменной соли, из-под которого спускались две косы, закрученные, как рога Аммона; фиолетовая туника Гамилькара была расшита золотыми виноградными ветвями; сбоку у него висел боевой меч.

В пространстве, замкнутом столами, пифон из храма Эшмуна лежал на земле между сосудами с розовым маслом и,

кусая себе хвост, описывал большой черный круг. Посредине круга стояла медная колонна, поддерживавшая хрустальное яйцо; на него падал свет солнца, и лучи его расходились во все стороны.

Позади Саламбо выстроились жрецы Танит в льняных одеждах. Справа от нее, образуя длинную золотую полосу, сидели старейшины в тиарах; слева длинным зеленым рядом расположились богатые с их изумрудными жезлами; в отдалении разместились жрецы Молоха, образуя своими плащами как бы пурпуровую стену. Другие коллегии занимали нижние террасы. Толпа запрудила улицы. Она поднималась на крыши домов и расположилась сплошными рядами до вершины Акрополя. Имея у своих ног народ, над головой — свод небес, а вокруг себя — беспредельность моря, залив, горы и далекие провинции, Саламбо в своих сверкающих одеждах сливалась с Танит и казалась гением Карфагена, воплощением его души.

Пир должен был длиться всю ночь, и светильники с несколькими ветвями стояли, как деревья, на скатертях из цветной шерсти, покрывавших низкие столы. Большие кувшины из сплава золота и серебра, амфоры из синего стекла, черепаховые ложки и маленькие круглые хлебы теснились среди двойного ряда тарелок, выложенных по краям жемчугом. Кисти винограда с листьями обвивались, как тирсы, вокруг лоз из слоновой кости; куски снега таяли на подносах из черного дерева; лимоны, гранаты, тыквы и арбузы лежали горками на высоких серебряных вазах; кабаны с раскрытой пастью утопали в пряных приправах; зайцы, покрытые шерстью, точно прыгали между цветами; мясные фарши наполняли раковины; печенья имели символические формы; когда поднимали крышки с блюд, оттуда вылетали голуби. Рабы, подоткнув туники, ходили вокруг столов на цыпочках; время от времени лиры играли гимны или раздавалось пение хора. Гул толпы, немолчный, как рокот моря, носился вокруг пиршества и точно баюкал его необъятной гармонией. Некоторые вспоминали пир наемников; все отдавались мечтам о счастье. Солнце стало спускаться, и серп луны уже поднимался в другой части неба.

Вдруг Саламбо, точно ее кто-то окликнул, повернула голову; народ, глядевший на нее, следил за направлением ее взора.

На вершине Акрополя открылась дверь темницы, высеченной в скале у подножия храма; в черной дыре стоял на пороге человек. Он вышел согнувшись, с растерянным видом дикого зверя, вдруг выпущенного на свободу.

Свет ослепил его, и он стоял некоторое время, не двигаясь с места. Все его узнали и затаили дыхание.

Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным, окружено почти священным блеском. Все вытянули шеи, чтобы

взглянуть на него, в особенности женщины. Они горели желанием видеть того, кто был виновником смерти их детей и мучей; из глубины их души поднималось, против воли, низкое любопытство, желание познать его вполне; желание это смешивалось с угрызениями совести и усиливало ненависть. Наконец он ступил вперед; смущение, вызванное неожиданностью, исчезло. Толпа подняла руки, и его не стало видно.

Лестница Акрополя имела шестьдесят ступеней. Он быстро спустился с них, точно уносимый горным потоком с высоты горы; трижды видно было, как он делал прыжки; потом он очутился внизу и остановился.

Плечи его были в крови; грудь дышала тяжелыми толчками; он так силился разорвать путы, что руки его, крестообразно связанные на обнаженной пояснице, надувались, как кольца змеи. С того места, где он очутился, перед ним расходилось несколько улиц. В каждой из них протянуты были из конца в конец параллельно три ряда бронзовых цепей, прикрепленных к пупу богов Патэков; толпа теснилась у домов, а посредине расхаживали слуги старейшин, размахивая бичами. Один из них стегнул его изо всех сил. Мато двинулся в путь.

Все вытягивали руки поверх цепей, крича, что для Мато оставлен слишком широкий путь. Так он шел, ощупываемый, пронзаемый, раздраемый пальцами толпы; когда он доходил до конца одной улицы, перед ним открывалась другая. Несколько раз он бросался в сторону, чтобы укусить своих преследователей; тогда они быстро отступали, цепи заграждали ему путь, и толпа разражалась хохотом.

Кто-то из детей разорвал ему ухо; девушка, прятавшая под рукавом острое веретена, рассекла ему щеку; у него вырывали клочья волос, куски тела; другие палками или губкой, пропитанной нечистотами, мазали ему лицо. Из шеи с правой стороны хлынула кровь; толпа пришла в неистовство. Этот последний из варваров был для карфагенян олицетворением всех варваров, всего войска; они мстили ему за все свои бедствия, за свой ужас, за свой позор. Бешенство толпы еще более разгоралось по мере того, как она удовлетворяла свою жажду мести; слишком натянутые цепи гнулись и едва не разрывались; толпа не чувствовала ударов, которыми рабы ее отгоняли; некоторые цеплялись за выступы домов; изо всех отверстий в стенах высывались головы; все то зло, которое народ уже не мог нанести Мато, изливалось в криках толпы.

Мато осыпали жестокостью, грубой бранью, проклятиями, насмешливым подзадориванием, и, точно мало было тех мук, которые он терпел, ему пророчили еще более страшные пытки в вечности.

Слитный вой, несмолкаемый, бессмысленный, наполнял со-

бою Карфаген. Иногда один какой-нибудь звук, хриплый, неистовый, свирепый, повторялся в течение нескольких минут всем народом. Стены дрожали от него сверху донизу, и Мато казалось, что дома с обеих сторон улицы наступали на него, поднимали на воздух и, как две могучие руки, душили его. Но он вспомнил, что когда-то уже испытал нечто подобное. И тогда была та же толпа на террасах, те же взгляды, та же ярость. Но он шел свободный, все расступались перед ним,— его защищал бог. Это воспоминание становилось все более отчетливым и преисполняло его сокрушающей печалью. Тени проходили перед его глазами; город кружился перед ним, кровь струилась из раны в боку; он чувствовал, что умирает; клени его сгибались, и он тихо опустился на каменные плиты.

Кто-то пошел в храм Мелькарта и, взяв с треножника между колоннами раскаленный на горящих угольях железный прут, просунул его под первую цепь и прижал к ране Мато. От тела пошел дым; вой толпы заглушил голос Мато; он снова встал на ноги.

Пройдя еще шесть шагов, он упал в третий, потом в четвертый раз; каждый раз его поднимала новая пытка. На него направляли трубки, из которых капало кипящее масло; ему бросали под ноги осколки стекла; он продолжал идти. На углу улицы Сатеб он прислонился к стене под навесом лавки и более не двигался.

Рабы Совета старейшин хлестали его бичами из гиппопотамовой кожи так долго и так яростно, что бахрама их туник сделалась мокрой от пота. Мато казался бесчувственным; но вдруг он сорвался с места и бросился бежать наугад, громко стуча зубами, точно от страшного холода. Он миновал улицу Будеса, улицу Сепо, промчался через Овощной рынок и добежал до Камонской площади.

С этой минуты он принадлежал жрецам; рабы оттеснили толпу; Мато очутился на просторе. Он огляделся вокруг себя, и глаза его встретились с глазами Саламбо.

Еще вначале, едва он сделал первый шаг, она поднялась с места; потом произвольно, по мере того как он приближался, она постепенно подходила к краю террасы, и скоро все кругом исчезло, и она ничего не видела, кроме Мато. В душе ее наступило безмолвие, точно открылась пропасть, и весь мир исчез под гнетом одной-единственной мысли, одного воспоминания, одного взгляда. Человек, который шел к ней, притягивал ее.

Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого; он представлял собой сплошную красную массу; разорвавшиеся веревки свисали с бедер, но их нельзя было отличить от сухожилий его рук, с которых сошла кожа; рот его был широко

раскрыт; из орбит выходили два пламени, точно поднимаясь к волосам; и несчастный продолжал итти.

Он дошел до подножия террасы. Саламбо наклонилась над перилами; эти страшные зрачки были обращены на нее, и она поняла, сколько он выстрадал за нее. Он умирал, но она видела его таким, каким он был в палатке, на коленях перед нею, обнимающим ее стан, шепчущим ей нежные слова. Она жаждала вновь их услышать; она готова была крикнуть. Он упал навзничь и больше не шевелился.

Жрецы окружили Саламбо. Она была почти без чувств; они увели ее и вновь усадили на трон. Они ее поздравляли, ибо все, что совершилось, было ее заслугой. Все хлопали в ладоши, топали, неистово кричали, называя ее имя.

Какой-то человек бросился к трупу. Хотя он был без бороды, но на нем было облачение жрецов Молоха, а у пояса — нож, которым жрецы разрезают священное мясо жертв; нож заканчивался рукоятью в виде золотой лопатки. Шагабарим одним ударом рассек грудь Мато, вырвал сердце, положил его на лопатку и, поднимая руки, принес в дар Солнцу.

Солнце садилось за водами залива; лучи его падали длинными стрелами на красное сердце. И по мере того как прекращалось его биение, светило погружалось в море; при последнем его трепетании оно исчезло.

Тогда от залива до лагуны, от перешейка до маяка все улицы, все дома и все храмы огласились единым криком; несколько раз крик затихал, потом снова раздавался; здания дрожали от него. Карфаген содрогался от титанической радости и беспредельной надежды.

Нар Гавас, опьяненный гордостью, обнял левой рукой стан Саламбо в знак обладания ею; правой рукой он взял золотую чашу и выпил за гений Карфагена.

Саламбо, подобно своему супругу, поднялась с чашей в руке, чтобы тоже выпить. Но она тут же опустилась, запрокинув голову на спинку трона, бледная, оцепеневшая, с раскрытыми устами. Ее распустившиеся волосы свисали до земли.

Так умерла дочь Гамилькара в наказание за то, что коснулась покрывала Танит.

Искушение
святого Антония



*Памяти моего друга
АЛЬФРЕДА ЛЕ ПУАТВЕНА,
умершего в Нёвиль-Шан-Дуазель
3 апреля 1848 года.*

I

Фиваида. Вершина горы, площадка, закругленная полумесяцем, замыкается большими камнями.

Хижина отшельника — в глубине. Она сделана из глины и тростника, с плоской крышей, без двери. Внутри виднеются кувшин и черный хлеб; посредине, на деревянной подставке, большая книга; на земле тут и там волокна плетенья, две-три циновки, корзина, нож.

В десяти шагах от хижины воткнут в землю высокий крест, а на другом краю площадки склоняется над пропастью старая, искривленная пальма, ибо гора срезана отвесно, и Нил образует как бы озеро у подножия утеса.

Вид справа и слева ограничен оградой скал. Но со стороны пустыни, как плоские уступы берегов, огромные волны пепельно-белых песков простираются параллельно, одна за другой, уходя вверх; совсем же вдали, над песками, цепь Ливийских гор образует стену мелового цвета, слегка растушеванную фиолетовыми парами. Прямо перед глазами садится солнце. Небо на севере серожемчужного оттенка, у зенита пурпурные облака, словно космы гигантской гривы, вытягиваются по голубому своду. Эти пламенные лучи темнеют, полосы лазури становятся перламутрово-бледными; кустарники, валуны, земля — все кажется твердым, как бронза, и в воздухе плавают золотая пыль, столь тонкая, что сливается с трепетанием света.

Святой Антоний,

с длинной бородой, длинными волосами и в тунике из козьей шкуры, сидит, скрестив ноги, собираясь плести циновки. Как только солнце скрывается, он испускает глубокий вздох и говорит, оглядывая горизонт:

Еще день! еще день в прошлом!

Прежде, однако, я не был так несчастен! Перед рассветом я приступал к молитве; потом спускался к реке за водой и возвращался по кругой каменистой тропе с бурдюком на плече, распевая гимны. Затем развлекался уборкой хижины, брался за инструменты; старался, чтобы цыновки были совсем одинаковы, а корзины легки, ибо малейшие дела мои казались мне тогда обязанностями, и в них не было ничего тягостного.

В установленные часы я прекращал работу и, простирая руки на молитве, ощущал как бы поток милосердия, изливавшийся с высоты небес в мое сердце. Ныне он иссяк. Почему?..

Он медленно прохаживается в ограде скал.

Все порицали меня, когда я покидал свой дом. Мать поникала за мертво, сестра издали делала мне знаки, чтобы я вернулся; а та, Аммонария — дитя, что я встречал каждый вечер у водоема, когда она пригоняла буйволов, — плакала. Она бежала за мной. Браслеты на ногах ее блестели в пыли, а туника, распахнувшись на бедрах, развевалась по ветру. Старый аскет, уведивший меня, кричал на нее. Наши верблюды продолжали скакать, и больше я не видал никого.

Сперва я выбрал себе жилищем гробницу одного фараона. Но чары струятся в этих подземных дворцах, где мрак словно сгущен древним курением благовоний. Из глубины саркофагов до меня доносился скорбный голос, звавший меня; а то у меня на глазах оживали вдруг мерзости, нарисованные на стенах, и я бежал к берегам Красного моря и укрылся в развалинах крепости. Там мое общество составляли скорпионы, ползавшие среди камней; вверху же, над головой, в голубом небе непрестанно кружили орлы. Ночью меня раздирали когти, щипали клювы, касались мягкие крылья, и ужасные демоны, воя мне в уши, опрокидывали меня наземь. Раз даже люди одного каравана, направлявшегося в Александрию, мне подали помощь, а затем увели с собой.

Тогда я решил обучиться у доброго старца Дидима. Хотя он был слеп, никто не знал Писания лучше него. Когда кончался урок, он шел гулять, опершись на мою руку. Я вел его на Панаеум, откуда виден маяк и открытое море. Затем возвращались мы через гавань, толкаясь среди людей всяких народностей, вплоть до киммерийцев, одетых в медвежьи шкуры, и гимнософистов с Ганга, натертых коровьим пометом. И непрестанно бывали стычки на улицах: то евреи отказывались платить налог, то мятежники пытались изгнать римлян. Кроме того, город полон еретиков, приверженцев Манеса, Валентина, Василида, Ария — и все пристают к тебе, споря и убеждая.

Их речи иногда мне вспоминаются. Как ни стараешься не обращать на них внимания, они все же смущают.

Я удалился в Кольчии и предался такому великому покаянию, что перестал бояться бога. Тот, другой, желая стать анахоретами, собрались вокруг меня. Я дал им устав деятельной жизни, ненавистя сумасбродства гностиков и мудрствования философов. Со всех сторон осаждали меня посланиями. Издалека приходили посетить меня.

Тем временем народ истязал исповедников, и жажда мученичества увлекла меня в Александрию. Гонение прекратилось за три дня перед тем.

На возвратном пути волны народа остановили меня у храма Сераписа. Правитель, говорили мне, хочет дать последний пример. Посреди портика, белым днем, нагая женщина была привязана к колонне, и два солдата бичевали ее ремнями; при каждом ударе все тело ее корчилось. Она обернулась, открыв рот,— и над толпой, сквозь длинные волосы, закрывавшие ей лицо, мне показалось, что я узнал Аммонарию...

Однако... эта была выше... и прекрасна... неопишимо!

Проводит руками по лбу.

Нет! нет! не хочу думать об этом!

Другой раз Афанасий призвал меня поддержать его против ариан. Все ограничилось поношениями и насмешками. Но с тех пор он был оклеветан, лишился кафедры, бежал. Где он теперь? — Ничего не знаю про то! Никто и не думает сообщать мне новости! Ученики все меня покинули, Иларион — в их числе!

Ему было лет пятнадцать, когда он пришел; он обладал умом таким любознательным, что каждую минуту задавал мне вопросы. Затем слушал задумчиво,— и все, в чем я нуждался, приносил мне без ропота, проворнее козленка, да так весело, что рассмешил бы патриархов. Да, то был сын для меня!

Небо стало красным, земля совсем почернела. Под порывами ветра, как огромные саваны, вздымаются полосы песку и снова падают. В просвете вдруг проносятся птицы, как бы треугольным отрядом, подобным куску металла, только края которого трепещут.

Антоний смотрит на них.

Ах! как бы я хотел последовать за ними!

Сколько раз взираю также с завистью на большие корабли, с парусами, похожими на крылья, и особенно когда они увозили вдаль тех, кого я принимал у себя! Что за прекрасные часы мы проводили вместе! как изливались наши души! Никто так не захватил меня, как Аммон: он рассказывал мне о своем путешествии в Рим, о катакомбах, о Колизее, о благочестии знаменитых женщин, еще тысячу разных вещей!.. и я не захо-

тел уехать с ним! Откуда это мое упорство продолжать подобную жизнь? Я хорошо бы сделал, если бы остался у нитрийских монахов, раз они умоляют меня. Они живут в отдельных кельях и вместе с тем общаются друг с другом. По воскресеньям труба сзывает их в церковь, где висят три скорпиона для наказания преступников, воров и пролаз, ибо устав у них суров.

Тем не менее, нет у них недостатка и в сладостях жизни. Верные приносят им яйца, плоды и даже инструменты для вытаскивания заноз из ног. Вокруг Писпира — виноградники, а у табенцев есть плот, чтобы ездить за провизией.

Но я лучше бы служил моим братьям, будучи просто священником: помогаешь бедным, совершаешь таинства, пользуешься влиянием в семьях.

Впрочем, миряне не все же осуждены, и только от меня самого зависело стать... например... грамматиком, философом. У меня в комнате был бы тростниковый глобус, в руках всегда дощечки, вокруг меня молодежь, а у двери, как вывеска, подвешен лавровый венок.

Но в этих триумфах слишком много гордости! Лучше быть солдатом. Я был крепок и смел, — достаточно, чтобы натягивать канаты машин, проходить темными лесами, входить с каской на голове в дымящиеся города!.. Ничто мне не мешало также купить на свои деньги должность публикана по сбору пошлин у какого-нибудь моста; и путешественники рассказывали бы мне всякие истории, показывая множество любопытных вещей в своей поклаже...

Александрийские купцы плавают в праздничные дни по Канопской реке и пьют вино из чашечек лотоса под шум бубнов, от которых дрожат прибрежные кабаки. По ту сторону дерева, остриженные конусом, защищают от южного ветра мирные фермы. Кровля высокого дома опирается на тонкие колонки, сближенные как палки решетки; и сквозь эти промежутки хозяин, растянувшись на длинном кресле, видит все свои поля вокруг, караульщиков в хлебах, давальню, куда собирают виноград, быков, которые молотят. Его дети играют внизу, жена наклонилась обнять его.

В белесой мгле ночи тут и там появляются остроконечные морды с прямыми ушами и блестящими глазами. Антоний идет к ним. Камешки скатываются, звери разбегаются. То была стая шакалов. Один лишь остался, он держится на двух лапах, выгнув дугой спину и скосив голову, всей фигурой выражая недоверие.

Как он красив! хочется погладить его по спине, легко-легко.

Антоний свистит, подзывая его. Шакал исчезает.

Ах! он ушел к другим! Что за одиночество! Что за скука!

Горько смеясь:

Вот прекрасное существование — гнуть на огне пальмовые палки для посохов, выделывать корзины, плести циновки, а затем все это выменивать у кочевников на хлеб, о который зубы сломаешь! А! горе мне! будет ли этому конец? Уж лучше смерть! Нет больше сил! Довольно! Довольно!

Он топает ногой и быстрым шагом ходит среди скал, потом, запыхавшись, останавливается, раздражается рыданиями и ложится на землю, на бок.

Ночь тиха; мерцают бесчисленные звезды; слышно только шелканье тарантулов.

Поперечина креста отбрасывает тень на песке; Антоний, плача, замечает ее.

Разве я так слаб? Боже мой! Мужайся! Надо встать!

Он входит в хижину, разгребает золу, находит тлеющий уголь, зажигает факел и втыкает его в деревянную подставку так, чтобы осветить большую книгу.

Раскрою я... Деяния апостолов? да!.. все равно где!

«И узрел отверстое небо и опускаемое за четыре угла большое полотно, в котором находились всевозможные животные земные и дикие звери, гады и птицы; и глас был к нему: Встань, Петр! Заколи и ешь!»

Итак, господь хотел, чтобы его апостол вкушал от всего?.. а я...

Антоний поник головою на грудь. Трепетание страниц, которые шевелит ветер, заставляет его поднять голову, и он читает:

«И избивали иудеи всех врагов своих мечами, умерщвляя и истребляя, поступая с неприятелями своими по своей воле»

Следует исчисление убитых ими: семьдесят пять тысяч. Но ведь они столько претерпели! Да и враги их были врагами истинного бога. И как они, должно быть, наслаждались местью, избивая идолопоклонников! Город, верно, переполнен был мертвецами! Они лежали у порога садов, по лестницам, до такой высоты загромождали комнаты, что дверей нельзя было отворить!.. — Но вот я и погрузился в мысли об убийстве и крови!

Открывает книгу в другом месте.

«Тогда Навуходносор простерся лицом своим ниц и поклонился пред Даниилом».

А! хорошо! Всевышний возносит пророков своих над царями; этот, вот, жил среди пиров, вечно опьяненный наслаждениями и гордостью. Но бог в наказание превратил его в животное. И ходил он на четвереньках!

Антоний хохочет и, раздвинув руки, кончиком пальцев перелистывает страницы. Его взгляд падает на следующую фразу:

«Езекия в великой был радости от их посещения. Он показал им благовония свои, золото и серебро, все ароматы свои, благоуханные масти, все драгоценные сосуды свои и все, что находилось в сокровищницах его».

Представляю себе... драгоценные камни, алмазы, дарики нагромождены до потолка. Человек, скопивший столь великие сокровища, уже не похож на других людей. Перебирая их, он думает, что владеет итогом бесчисленных усилий и как бы жизнью народов, которую он поглотил и может сам изливать. Такая предусмотрительность полезна для царей. Мудрейший из всех не пренебрегал ею. Его корабли везли ему слоновую кость, обезьян... Но где же это?

Он быстро перелистывает

А! вот:

«Царица Савская, прослышавши о славе Соломона, пришла искутить его загадками».

Чем надеялась она его искутить? Дьяволу очень хотелось искутить Иисуса. Но Иисус восторжествовал, потому что был бог, а Соломон, может быть, благодаря своей магической науке. Высокая это наука! Ибо мир, как объяснял мне один философ, образует некое целое, все части коего влияют друг на друга, как органы единого тела. Дело в том, чтобы знать естественную любовь и отвращение вещей и затем давать им ход?.. Можно было бы, значит, изменять то, что представляется непреложным порядком?

Тут две тени, очерченные позади него перекалиною креста, выдаются вперед. Они образуют как бы два больших рога. Антоний кричит:

Господи, помоги!

Тень вернулась на свое место.

А!.. это был обман зрения! только всего! Напрасно мучаю я свой дух. Мне ничего не остается!.. решительно ничего!

Он садится и скрещивает руки.

А между тем... я словно почувствовал его приближение... Но зачем приходит Е м у? Впрочем, разве мне не ведомы его хитрости? Я оттолкнул чудовищного пустытника, предлагавшего мне, смеясь, теплые хлебцы, кентавра, пытавшегося посадить меня себе на спину, и того черного ребенка, появив-

шегоя среди песков, который был очень красив и сказал мне, что называется духом блуда.

Антоний быстро прохаживается взад и вперед.

Ведь по моему приказанию выстроили множество святых убежищ, наполненных столькими монахами во власяницах под козьими шкурами, что можно было бы составить целое войско! Я исцелял издалека больных, я изгонял бесов, я переходил реку среди крокодилов; император Константин написал мне три послания; Валакий, плевавший на мои послания, был разорван своими конями; народ александрийский, когда я снова появился, дрался, чтобы видеть меня, а Афанасий сопровождал меня до дороги. И какие подвиги! Вот уже больше тридцати лет я в пустыне и предаюсь непрерывным стеланиям! Я носил на чреслах своих восемьдесят фунтов бронзы, как Евсейий, я подставлял тело укусам насекомых, как Макарий, я пятьдесят три ночи не закрывал глаз, как Пахомий; и те, кому отрубают голову, кого пытаются клещами и сожигают, имеют меньше заслуг, быть может, ибо моя жизнь — непрерывное мученичество!

Антоний замедляет шаг.

Поистине нет человека, столь глубоко несчастного! Добрые сердца встречаются все реже и реже. Мне уже больше ничего не дают. Моя одежда изношена. У меня нет сандалий, нет даже чашки, ибо я роздал бедным и семье все свое добро, не оставив себе ни обولا. А ведь только на орудия, необходимые мне для работы, мне надо бы иметь немного денег. О! совсем мало! пустяки!.. я был бы бережлив.

Никейские Отцы в пурпурных одеяниях держали себя как волхвы на тронах вдоль стен; и их угощали на пиру, осыпая почестями, особенно Пафнутия, потому что он крив и хром со времен диоклетианова гонения! Император несколько раз облобызал его выколотый глаз. Что за глупости! К тому же среди членов Собора были такие нечестивцы! Епископ из Скифии, Феофил; тот другой из Персии, Иоанн; грубый пастух Спирidon! Александр слишком стар. Афанасий должен был бы помягче обходиться с ариаками, чтобы добиться от них уступок!

Да разве сделали бы они это! Они не хотели меня слушать! Выступавший против меня — высокий молодой человек с завитой бородой — бросал мне со спокойным видом коварные возражения, и, покуда я искал слов, с злыми лицами они смотрели на меня, лая, как гиены. Ах! почему я не могу заставить императора изгнать их всех или лучше избить, раздавить, видеть их страдания! Я-то ведь страдаю, и как!

Изнемогая, он прислоняется к хижине.

Это все от чрезмерных постов! силы мои иссякают. Если бы съесть... разок только, кусок говядины.

С томлением полузакрывает глаза.

А! красного мяса... плотную гроздь винограда!.. кислого молока, дрожащего на блюде!..

Но что со мной?.. Что же это со мной?.. Я чувствую, сердце мое набухает, как море, вздувающееся перед грозой. Бесконечная слабость томит меня, и теплый воздух словно веет ароматом волос. Но поблизости как будто нет женщин?

Оборачивается к тропинке меж скал.

Оттуда они появляются, покачиваясь на носилках, которые несут черные евнухи. Они сходят на землю и, соединяя руки, отягченные кольцами, преклоняют колени. Они рассказывают мне о том, что их тревожит. Жажда сверхчеловеческой страсти терзает их; они хотели бы умереть, во сне они видели богов, зовущих их; край их одежд покрывает мне ступни. Я их отталкиваю. «О, нет, говорят они, не гони! Что делать мне?» Их не страшит никакое покаяние. Они просят самого сурового, готовы разделить мое, готовы жить вместе со мной.

Уже давно я не видел их! Может статься, они придут? почему бы и нет? И вдруг... я услышу звон колокольчиков мула в горах. Мне кажется...

Антоний взбирается на скалу у начала тропинки и наклоняется, устремляя глаза в темноту.

Да! там, в глубине что-то движется, точно люди, ищущие дороги. Но она ведь там! Они сбились с пути!

Зовут:

Вот здесь! сюда! сюда!

Эхо повторяет: «сюда! сюда!»
Остолбенеv, он опускает руки.

Какой стыд! А! бедный Антоний!

И тотчас же слышит шопот: «Бедный Антоний!»

Кто там? отвечайте!

Ветер воет, проносясь в расселинах скал; и в его смутных звуках он различает голоса, словно воздух заговорил. Они низкие и вкрадчивые, свистящие.

Первый

Хочешь женщин?

Второй

А то большие груди серебра?

Третий

Блестящий меч?

Другие

- Весь народ восхищается тобой!
- Усни!
- Убей их, ну же, убей их!

В то же время предметы меняют свой вид: у края утеса старая пальма с желтой листвой превращается в торс женщины, которая склонилась над пропастью, и длинные ее волосы колеблются.

Антоний

оборачивается к хижине, и скамейка, на которой лежит большая книга, со страницами, испещренными черными буквами, кажется ему кустом, покрытым ласточками.

Это факел, конечно, играя огнем... потушим его!

Тушит. Глубокая тьма.

И вдруг в воздухе проплывают сначала лужа воды, затем блудница, угол храма, фигура солдата, колесница с парой вздыбившихся белых коней.

Эти образы появляются внезапно, толчками, выступая во мраке, как живопись пурпуром на черном дереве.

Движение их ускоряется. Они проносятся с головокружительной быстротой. Временами они останавливаются и постепенно бледнеют, тают или же улетают, и немедленно появляются другие.

Антоний закрывает глаза.

Они множатся, толпятся вокруг, осаждают его. Несказанный ужас овладевает им, и он чувствует только жгучее стеснение в груди. Несмотря на оглушительный шум в голове, он ощущает великое молчание, отделяющее его от мира. Он пробует говорить — немислимо! Словно общая связь частей его существа распадается; и, не в силах более сопротивляться, Антоний падает на цыновку.

II

Тогда большая тень, более легкая, чем обычная тень, и окаймленная гирляндой других теней, обозначается на земле.

Это дьявол; он облокотился на крышу хижины и держит под двумя своими крыльями, подобно гигантской летучей мыши, кормящей грудью своих птенцов, семь смертных грехов, чьи гримасничающие головы можно смутно различить.

Антоний, глаза которого попрежнему закрыты, наслаждается своим бездействием и потягивается на цыновке.

Она кажется ему все мягче и мягче, как будто набивается пухом, вздымается, становится постелью, постель — лодкой; вода плещется у ее бортов.

Справа и слева вырастают две узких полосы черной земли, выше которой лежат возделанные поля, с торчащими кое-где сикоморами. Вдали раздается шум бубенцов, барабанов и голоса певцов. То пут-

ники идут в Канопу спать в храме Сераписа, чтобы видеть вещие сны. Антоний знает это, и он скользит, толкаемый ветром, между двух берегов канала. Листья папирусов и красные цветы нимфей, крупнее человека, склоняются над ним. Он растянулся на дне лодки; весло сзади волочится по воде. Время от времени набегают теплый ветерок, и тонкие тростники шуршат. Ропот мелкой волны утихает. Дремота овладевает им. Ему снится, что он — египетский пустынный. Тогда он вдруг вскакивает.

Что, это был сон?.. он был так ясен, что даже не верится. Язык у меня горит! Пить!

Он входит в хижину и ощупью ищет повсюду.

Почва сырая!.. Разве шел дождь? Вот так так! осколки! Кувшин разбит!.. а мех?..

Находит его.

Пуст! совершенно пуст!

Спуститься к реке — понадобилось бы три часа по крайней мере, а ночь так черна, что и дороги не разглядеть. Меня корчит от голода. Где хлеб?

После долгих поисков он подбирает корку величиною не больше яйца.

Как? шакалы стащили его? О, проклятие!

И в ярости он бросает хлеб наземь.

Не успел он сделать это движение, как перед ним стол, покрытый всевозможными яствами.

Скатерть из виссона, бороздчатая, как повязки сфинкса, сияет волнистым блеском, на ней — огромные части кровавого мяса, большие рыбы, птицы в оперенье, четвероногие в шкурах, плоды почти окраски человеческого тела, а куски белого льда и сосуды из фиолетового хрустала искрятся огнями. Антоний замечает посреди стола кабана, дымящегося всеми порами, с поджатыми лапами, с полужакрытыми глазами, и мысль, что он может съесть это чудовищное животное, до крайности его радует. Затем — тут никогда не виданные им кушанья: черное рубленое мясо, золотистое желе, рагу, где плавают грибы, как неньюфары на прудах, взбитые сливки, легкие, как облака.

И аромат всего этого доносит до него соленый запах океана, свежесть источников, могучее благоухание лесов. Ноздри его раздуваются, слюни текут, он бормочет, что этого ему хватит на год, на десять лет, на всю его жизнь!

По мере того как вытарашенные его глаза перебегают с одного блюда на другое, вырастают еще новые, образуя пирамиду, углы которой рушатся. Вина текут, рыбы трепещут, кровь в кушаньях бурлит, мякоть плодов тянется вперед, как влюбленные уста; и стол вздымается ему по грудь, по подбородок, и вот прямо перед ним только одна тарелка и один только хлеб.

Он протягивает руку к хлебу — появляются другие хлеба.

Все это мне!.. все! но...

Антоний отступает.

Был всего лишь один — и вот сколько!.. Так это чудо, такое же чудо, как сотворил господы!..

Для чего? Э, все остальное не менее непонятно! А! Сатана, отыди! отыди!

Толкает стол ногой. Стол исчезает.

Нет! — и вновь ничего?

Глубоко вздыхает.

О! велико было искушение. Но как я избавился от него!

Он подымает голову и спотыкается о звонкий предмет.

Это еще что?

Антоний наклоняется.

Вот так так! чаша! кто-нибудь в пути потерял ее. Ничего удивительного...

Слюнявит палец и трет.

Блестит! металл! Впрочем, так не различишь...

Он зажигает факел и рассматривает чашу.

Она из серебра, украшена выпуклостями по краям, на дне — медаль.

Зацепив ногтем, вынимает медаль.

Эта монета, стоимостью... от семи до восьми драхм — не более того! Все равно! вполне хватит на покупку овечьей шкуры.

Отблеск факела освещает чашу.

Быть не может! она из золота! да!.. вся из золота!

На дне оказывается другая монета, крупнее. Под ней он обнаруживает еще несколько.

Но это уже сумма... на нее можно купить трех быков... участок поля!

Чаша уже вся наполнена золотыми монетами.

Что там! сотню рабов, солдат, целую толпу...

Бугорки по краю, отделяясь, образуют жемчужное ожерелье.

Да с такой драгоценностью можно добыть и жену императора!

Встряхнув, Антоний продает кисть руки в ожерелье. Левой рукой он держит чашу, правой поднимает факел, чтобы лучше осветить ее. Как вода, струящаяся из бассейна, из чаши льются сплошными волнами, образуя целый холмик на песке, алмазы, карбункулы и сапфиры, а попережку — большие золотые монеты с изображениями царей.

Что это? что это? стиреры, сикли, дарики, ариандики! Александр, Димитрий, Птолеми, Цезарь! но ни один из них не обладал столькими! Все мне доступно! прощайте страдания! меня слепят эти лучи! О, сердце мое переполнилось! как хорошо!.. да... еще, еще! без конца! Сколько бы я ни бросал их в море, непрерывно, мне все же останется. Зачем расточать? Я все сберегу и не скажу никому; я выдолблю себе в скале комнату, внутри покрытую бронзовыми плитами, и буду приходить туда, чтобы чувствовать, как ступни мои уминают груды золота; я погружу в него руки по локоть, как в мешки с зерном, я буду растирать им лицо, буду спать на нем!

Он выпускает факел, чтобы обнять всю грудь, и падает ничком наземь.

Подымается. Все пусто.

Что сделал я?

Если бы я умер в эту минуту, то это был бы ад! неотвратимый ад!

Он весь содрогается.

Так значит я проклят? Э, нет! Я сам виноват! я поддаюсь на все ловушки! Другого нет такого дурака и негодяя! Я готов избить себя, о, я хотел бы вырваться из телесных уз! Слишком долго я сдерживался! Я должен мстить, разить, убивать! словно в душе моей стадо диких зверей. О, я готов ударами секиры, в гуще толпы... А! кинжал!..

Заметив нож, хватает его. Нож выскользывает у него из руки, и Антоний стоит, прислонившись к стене хижины, с широко раскрытым ртом, неподвижный, в столбняке.

Все кругом исчезло.

Он грезит, что он в Александрии, на Панеуме — искусственном холме, обвитом лестницей и воздвигнутом в центре города.

Перед ним простирается Мареотисское озеро, вправо — море, влево — равнина, а прямо перед глазами внизу — нагромождение плоских крыш, прорезанное с юга на север и с востока на запад двумя улицами, которые перекрещиваются и образуют во всю свою длину линию портиков с коринфскими капителями. У домов, нависающих над этой двойной колоннадой, — окна с цветными стеклами. К некоторым из них извне пристроены огромные деревянные клетки, в которые снаружи врывается ветер.

Памятники разнообразной архитектуры теснятся друг подле друга. Египетские пилоны возвышаются над греческими храмами. Обелиски встают как копья между зубцов красного кирпича. Посреди площадей — Гермы с заостренными ушами и Анубисы с собачьей головой. Антоний различает мозаику во дворах и подвешенные к балкам потолка ковры

Он охватывает взглядом две гавани (Большую гавань и Эвност), обе круглые, как два цирка, и разделенные молотом, связывающим Александрию с крутым островком, на котором подымается четырехугольная башня Маяка, высотой в пятьсот локтей и о девяти ярусах, с грудой дымящихся черных углей на вершущке.

Малые внутренние гавани разрезают главные гавани. Мол с обоих краев заканчивается мостом на мраморных колоннах, водруженных в море. Под мостами проплывают парусные корабли; и тяжелые габары, нагруженные товарами, таламеги с инкрустациями из слоновой кости, гондолы с тентами, триремы и биремы, всевозможные суда кружат или стоят у набережных.

Вокруг Большой гавани непрерывный ряд царских строений: дворец Птолемея, Музей, Посидион, Цезареум, Тимонион, где укрывался Марк-Антоний, Сома с гробницей Александра; а на другом конце города, за Эвностом, видны в предместье мастерские стекла, ароматов и папируса.

Снуют, толкаются бродячие торговцы, носильщики, погонщики ослов. Тут и там какой-нибудь жрец Озириса со шкурой пантеры на плече, римский солдат в бронзовой каске, много негров. У порога лавок останавливаются женщины, работают ремесленники; и скрип повозок спугивает птиц, клюющих на земле отбросы мяса и остатки рыбы.

На однообразие белых домов узором улиц наброшена как бы черная сетка. Рынки, полные овощей, образуют в ней зеленые букеты, сушилки красильщиков — цветные пластинки, золотые орнаменты на фронтонах храмов — сияющие точки, все это опоясано овалом сероватых стен, пад сводом синего неба, вблизи неподвижного моря.

Но толпа остановилась и смотрит на запад, откуда надвигаются огромные вихри пыли.

То фивадские монахи, одетые в козьи шкуры, вооруженные дубинами и горлающие воинственную религиозную песнь с припевом: «Где они? где они?»

Антонию понятно, что они идут избивать ариан. Вдруг улицы пустеют, видны только улепетывающие ноги.

Теперь пустынные уже в городе. Их ужасающие палки, усаженные гвоздями, вращаются, как стальные солнца. Слышен грохот разбиваемых вещей в домах. Время от времени все стихает. Затем подымается громкий крик...

По улицам, из конца в конец, — непрерывное волнение смятенной толпы.

У многих пики в руках. Иногда две группы встречаются, сливаются в одну; и эта куча скользит по плитам, распадается, исчезает. Но вновь и вновь появляются длинноволосые люди.

Струйки дыма выбиваются из-за угла зданий. Створки дверей срываются. Рухаются куски стен. Падают архитравы.

Антоний вновь видит всех своих врагов, одного за другим. Он узнает тех, кого успел забыть, прежде чем умертвить, он поносит их. Он вспарывает животы, режет, колет, тащит стариков за бороды, давит детей, добивает раненых. Мстят и за роскошь: неграмотные рвут книги, другие ломают, уничтожают статуи, картины, мебель, ларцы, тысячи изяшных вещей, употребления которых они не знают и потому еще больше на них раздражаются. Время от времени они останавливаются перевести дух, потом принимаются сызнова.

Жители, укрывшись во дворах, стонут. Женщины поднимают к небу глаза, полные слез, и обнаженные руки. Чтобы умолить пустынников, они обнимают их колени; те их отталкивают, и кровь брызжет до потолка, стекает полосами по стенам, струится с обезглавленных трупов, наполняет акведуки, стоит на земле широкими красными лужами.

Антонию она дошла до колен. Он ступает по ней, он облизывает ее капельки на губах и трепещет от радости, ощущая ее на своем теле, под волосистой туникой, пропитанной ею.

Наступает ночь. Страшные вопли стихают.
Пустынники исчезли.

Вдруг на внешних галереях, окаймляющих девять ярусов маяка, Антоний замечает плотные черные полосы, словно усевшихся воронов. Он бежит туда и оказывается на вершине.

Большое медное зеркало, повернутое к открытому морю, отражает корабли в водном пространстве.

Антонию забавно на них смотреть; и пока он смотрит на них, их число увеличивается.

Они столпились в заливе, имеющем форму полумесяца. Позади, на мысу, расположился новый город римской архитектуры, с каменными куполами, коническими крышами, розовыми и голубыми мраморами и изобилием меди у волнот капителей, у кровель домов, у углов карнизов.

Лес кипарисов господствует над ним. Цвет моря зеленее, воздух свежее. На горах у горизонта лежит снег.

Антоний ищет дорогу, и тут какой-то человек подходит к нему и говорит: «Иди, тебя ждут!»

Он пересекает форум, входит во двор, нагибается в дверях; и он стоит перед фасадом дворца, украшенным восковой группой, которая представляет императора Константина, повергающего дракона. Посреди порфирового водоема находится золотая раковина, наполненная фисташками. Провожатый говорит, что он может их взять. Он берет.

Затем он почти теряется в анфиладах покоев.

Во всю длину стен идут мозанчные изображения полководцев, подносящих на ладони императору завоеванные города. И повсюду базальтовые колонны, филигранные серебряные решетки, седалища из слоновой кости, стальные ковры, шитые жемчугом. Свет падает со сводов, Антоний продолжает идти. Струятся теплые испарения; иногда он слышит осторожное щелканье сандалий. Стражи, стоящие в передних комнатах, похожие на автоматы, держат на плечах вызолоченные жезлы.

Наконец он в зале, оканчивающейся в глубине фиолетовыми занавесами. Они раздвигаются, и виден император, сидящий на троне, в фиолетовой тунике и в красных полусапожках с черными шнурами.

Жемчужная диадема надета на его волосы в симметрических завитках. У него — полуопущенные веки, прямой нос, тяжелый и сумрачный взгляд. По углам балдахина, простертого над его головой, посажены четыре золотых голубя, а у подножия трона — два эмалевого льва на задних лапах. Голуби начинают ворковать, львы рычат, император вращает глазами, Антоний подходит ближе, и сразу же, без предисловий, они заводят беседу о последних событиях. В городах Антиохии, Эфесе и Александрии разграблены храмы, и статуи богов пошли на горшки и котелки; император немало тому смеется. Антоний укоряет его за терпимость по отношению к новацианам. Но император сердится: новациане, ариане, мелетиане — все ему надоело. Вместе с тем он восхищается епископатом, ибо, раз христиане смеются епископов, которые зависят от пяти-шести лиц, то достаточно их подкупить, чтобы распоряжаться всеми другими. Он и не преминул вручить им значительные суммы. Но он ненавидит отцов Никейского собора. «Пойдем поглядеть на них!» Антоний следует за ним.

И вот они на том же уровне на террасе.

Она возвышается над ипподромом, полным парада, а над ним — портки, где гуляет остальная толпа. Посреди ристалища простирается длинная узкая площадка, на которой расположены маленький храм

Меркурия, статуя Константина, три перевитые бронзовые змеи: на одном конце — большие деревянные яйца, а на другом — семь дельфинов хвостами вверх.

Позади императорского павильона префекты палат, начальники дворцовой охраны и патриции выстроились правильными рядами вплоть до первого яруса церкви, во всех окнах которой видны женщины. Направо — трибуна партии синих, налево — зеленых, внизу — пикет солдат, а на уровне арены — ряд коринфских арок, образующих вход в клетку.

Бега вот-вот начнутся, лошади выравниваются в линию. Высокие султаны меж их ушей колышутся от ветра, как деревья, и, прыгая на месте, они дергают колесницы в форме раковин, управляемые возничими, одетыми в своего рода многоцветные кирасы с узкими у кистей и широкими в плечах рукавами, с голыми ногами, с бородой и волосами, выбритыми на лбу, как у гуннов.

Антоний сначала оглушен плеском голосов. Сверху донизу он видит только покрашенные лица, пестрые одежды, золотые бляхи; а белый песок арены блестит, как зеркало.

Император беседует с ним. Он поверяет ему важные тайны, признается в убийстве своего сына Криспа, советуется даже о здоровье.

Тем временем Антоний замечает рабов в глубине клеток. То — отцы Никейского собора в жалких лохмотьях. Мученик Пафнутий расчесывает гриву одному коню, Феофил моет ноги другому, Иоанн красит копыта третьему, Александр подбирает навоз в корзину.

Антоний проходит среди них. Они выстраиваются в ряд, просят его о заступничестве, целуют ему руки. Вся толпа свищет и гикает на них; и он безмерно наслаждается их унижением. Вот он уже вельможа при дворе, доверенный императора, первый министр! Константин возлагает свою диадему ему на чело. Антоний ее принимает, находя эту честь вполне естественной.

И тут из темноты выступает огромная зала, освещенная золотыми светильниками.

Колонны, наполовину теряющиеся во мраке, — так они высоки, — уходят чредой по обе стороны столов, которые тянутся от самого горизонта, где в светящейся дымке виднеются нагромождения лестниц, ряды аркад, колоссы, башни; позади — смутный край дворца, а за ним высятся кедры, черными массами выделяясь во мгле.

Гости, в венках из фиалок, облокотились на низкие ложа. Вдоль обоих рядов из наклоняемых амфор льется вино; а совсем в глубине, одинокий, с тиарой на голове, весь сверкая карбункулами, ест и пьет царь Навуходоносор.

По правую и по левую руку от него вереницы жрецов в остроконечных шапках кадят куреньями. Внизу по полу ползают пленные цари, безногие и безрукие, и гложут кости, которые он бросает им; ниже сидят его братья с повязками на глазах, слепые.

Непрерывный стон подымается из глубины эргастулов. Нежные и протяжные звуки гидравлического органа чередуются с хорами голосов; и чувствуется, что вокруг залы простирается беспредельный город, людской океан, волны которого бьют о стены.

Бегают рабы, обнося кушанья; снуют женщины, предлагая напитки; корзины трещат под тяжестью хлебов; и верблюды, навьюченный продырявленными бурдюками, проходит вновь и вновь, точа вервену, освежающую плиты пола.

Укротители приводят львов. Танцовщицы в сетках, стягивающих волосы, ходят на руках, извергая огонь из ноздрей; фигляры-негры

жонглируют, голые дети кидаются снежками, которые сплющиваются, падая на блестящее столовое серебро. Чудовищный гул голосов можно принять за бурю, и туман плавает над пиршественным столом — столько там мяса и испарений. Иногда искра от больших факелов, сорванная ветром, пронизывает ночь, как падающая звезда.

Царь рукавом отирает с лица ароматы. Он ест из священных сосудов, потом разбивает их; и мысленно он пересчитывает свои корабли, свои войска, свои народы. Сейчас из прихоти он возьмет и сожжет свой дворец со всеми гостями. Он думает восстановить Вавилонскую башню и свергнуть с престола всевышнего.

Антоний читает издали на его челе все его мысли. Они овладевают им, и он становится Навуходоносором.

В ту же минуту он пресыщается излишествами и истреблением, и его охватывает желание пресмыкаться во прахе. Но унижение того, кто ужасает людей, есть оскорбление их духа, еще новый способ ошеломлять их; и так как нет ничего ниже дикого зверя, то Антоний ползает на четвереньках по столу и ревет, как бык.

Он чувствует боль в руке, — камешек случайно поранил его, — и он снова перед своей хижинкой.

Ограда скал пуста. Звезды сияют. Все безмолвно.

Еще раз я обманулся! Откуда эти наваждения? То плоть во мне бунтует. О, несчастный!

Он бросается в хижину, берет связку веревок с металлическими зубьями на концах, обнажается до пояса и поднимает глаза к небу.

Боже, прими мое покаяние! не отвергни его по его слабости! Сделай его острым, долгим, беспредельным! Пора! к делу!

С силой хлещет себя.

Ай! нет, нет! прочь жалость!

Возобновляет бичевание.

О! о! о! каждый удар раздрает мне кожу, рассекает мне все тело. О, как ужасно жжет!

Э! вовсе это не страшно! что тут такого? Мне даже кажется...

Антоний останавливается.

Ну же, трус, ну еще! Так, так! по рукам, по спине, по груди, по животу, всюду! Свищите, плети, впивайтесь в меня, раздрайте меня! Пусть капли крови моей брызнут до звезд, пусть кости мои затрещат, жилы мои обнажатся! Клещей сюда, дыбу, расплавленного свинца! Мученики не то еще испытывали! ведь правда, Аммонария?

Тень рогов дьявола появляется снова.

Меня бы могли привязать к столбу, рядом с тобой, лицом к лицу, у тебя на глазах, и я бы вторил твоим крикам стонами; и наши страдания слились бы, наши души смешались бы друг с другом

Яростно бичует себя.

Вот, вот! за тебя! еще! зуд пробегает по мне. Какая мука, какое наслаждение! словно поцелуй! Мозг тает во мне! умираю!

Он видит прямо перед собой трех всадников верхом на онаграх, в зеленых одеждах, с лилиями в руках, и все на одно лицо.

Антоний оборачивается и видит трех других подобных же всадников, на таких же онаграх, в той же позе.

Он отступает. Тогда онагры — все сразу — подвигаются на шаг и трутся мордами о него, стараясь куснуть его одежду. Раздаются крики: «Сюда, сюда, здесь!» И в раселинах горы показываются знамена, головы верблюдов в красных шелковых уздечках, навьюченные мулы и женщины в желтых покрывалах, сидящие верхом по мужски на пегих лошадях.

Запахавшиеся животные ложатся, рабы бросаются к тюкам, развертывают пестрые ковры, раскладывают на земле блестящие предметы.

Белый слон, в золотой сетчатой попоне, подбегает, тряся пучком страусовых перьев, прикрепленных у него к лобной повязке.

На его спине, в подушках из голубой шерсти, скрестив ноги, полускрыв веки и покачивая головой, сидит женщина, одетая столь ослепительно, что вся сияет лучами. Толпа простирается ниц, слон подгибает колена, и

Царица Савская,

соскальзывая по его плечу, спускается на ковры и направляется к святому Антонию.

Платье из золотой парчи, с оборками из жемчуга, агатов и сапфиров, на равном расстоянии одна от другой, стягивает ей талию узким корсажем, украшенным цветными нашивками, изображающими двенадцать знаков зодиака. Она в очень высоких сапожках; один из них черный и усеян серебряными звездами с полумесяцем, другой же белый, покрыт золотыми крапинками с солнцем посредине.

Широкие рукава, отделанные изумрудами и птичьими перьями, позволяют видеть маленькую округлую руку в эбеновом браслете у кисти, а у ее пальцев, унизанных кольцами, ногти такие острые, что кончики их почти похожи на иглы.

Плоская золотая цепь, проходя под подбородком, подымается вдоль щек, закручивается спиралью вокруг прически, посыпанной голубым порошком, затем, опускаясь, касается плеч и прикреплена к брильянтовому скорпиону, который вытянул язычок между ее грудей. Две крупных желтоватых жемчужины оттягивают ей уши. Края ее век окрашены в черный цвет. На левой скуле у нее коричневая родинка; и она дышит, открыв рот, как будто корсет ее стесняет.

Идя, она помахивает зеленым зонтиком с ручкой из слоновой кости, увешанным позолоченными колокольчиками, и двенадцать курчавых негритят несут длинный шлейф ее платья, а обезьяна держит его за край, приподнимая его время от времени.

Она говорит:

Ах, прекрасный отшельник! прекрасный отшельник! сердце мое замирает!

Я так топала ногой от нетерпения, что у меня появились мозоли на пятке, и я сломала себе один ноготь! Я посылала пастухов, которые стояли на горах, держа ладонь над глазами, и охотников, которые выкликали твое имя по лесам, и соглядатаев, которые обегали все дороги, спрашивая каждого встречного: «Видели вы его?»

Ночью я плакала, повернувшись лицом к стене. Слезы мои под конец проточили две дыры в мозаике, как лужицы морской воды в скалах, ибо я люблю тебя. О, да: люблю!

Берет его за бороду.

Смейся же, прекрасный отшельник! смейся! я очень веселая, ты увидишь. Я играю на лире, я пляшу, как пчела, и я знаю многое множество рассказов, один забавнее другого.

Ты и не воображаешь, как долгов был наш путь. Вон онагры моих зеленых скороходов,— они лежат мертвые от усталости.

Онагры растянулись на земле без движения.

Три долгих луны они бежали ровным шагом, с кремнем в зубах, чтобы рассекать воздух, все время вытянув хвост, все время не разгибая колен и все время вскачь. Других таких не сыскать! Они достались мне от деда по матери, императора Сахарилия, сына Якшаба, сына Яараба, сына Кастана. Ах! если б они были живы еще, мы запрягли бы их в носилки, чтобы быстро вернуться домой! Но... что ты?.. о чем ты думаешь?

Она всматривается в него.

Ах, когда ты будешь моим мужем, я разодену тебя, я умашу тебя благовониями, я удалю с тебя волосы.

Антоний стоит неподвижно, как столб, бледный, как смерть.

Ты словно печален; или жаль своей хижины? Но я же все покинула для тебя,— даже царя Соломона, а он ведь так мудр, у него двадцать тысяч военных колесниц и прекрасная борода! Я принесла тебе мои свадебные подарки. Выбери! —

Она прохаживается между рядами рабов и товаров.

Вот генисаретский бальзам, фимиам с Гардефанского мыса, ладан, киннамон и сильфий, хорошая приправа к соусам. Есть тут и ассурское шитье, и слоновая кость с Ганга, и элизский пурпур; а в этом ящике со снегом — бурдюк халибона, отборного вина для царей ассирийских,— и его пьют не разбавленным из рога единорога. Вон ожерелья, аграфы, сетки, зонтики, золотой ваазский порошок, касситер из Тартесса,

пандийское голубое дерево, исседонские белые меха, карбункулы с острова Палесимонда и зубочистки из волос тахаса — вымершего зверя, находимого под землей. Эти подушки из Емафа, а бахрама для плаща — из Пальмиры. На этом вавилонском ковре есть... но подойди же! подойди же!

Она тянет святого Антония за рукав. Тот протгивится. Она продолжает:

Эта тонкая ткань, что потрескивает словно искры под пальцами, — знаменитый желтый холст, привезенный купцами из Бактрии. Им требуется сорок три переводчика в их путешествии. Я прикажу сшить тебе из него одежды, которые ты будешь носить дома.

Отстегните крючки у футляра из сикомора и дайте мне ларец слоновой кости, что на спине у моего слона!

Из ящика вынимают что-то круглое, обернутое в покрывало, и подают ларчик резной работы.

Хочешь ты щит Джян-бен-Джяна, того, что построил пирамиды? Вот он! Он сделан из семи кож дракона, положенных одна на другую, скрепленных алмазными винтами и дубленными желчью отцеубийцы. Он изображает с одной стороны все войны, какие происходили со времен изобретения оружия, а с другой — все войны, какие произойдут до конца мира. Молния отскакивает от него, как пробковый мяч. Я надену его тебе на руку, и ты будешь брать его с собой на охоту.

Но если бы ты знал, что у меня в маленьком ящике! Поверни его, попытайся открыть! Это никому не удастся; поцелуй меня, — я скажу тебе — как.

Она берет святого Антония за обе щеки; тот отталкивает ее, простирая руки.

То была такая ночь, что царь Соломон потерял голову. Наконец мы заключили договор. Он поднялся и выходя крадучись...

Она делает пируэт.

Ах! ах! прекрасный отшельник! тебе не узнать этого! тебе не узнать этого!

Она помахивает зонтиком, и все колокольчики на нем звенят.

Чего только нет у меня еще, э! У меня есть сокровища, запертые в галереях, где теряешься, как в лесу. У меня есть летние дворцы, сплетенные из тростников, и зимние дворцы черного мрамора. Посреди озер, обширных, как моря, у меня есть острова, круглые, как серебряные монеты, сплошь покрытые перламутром, а берега их звучат точно музыка при

плеске теплых волн, катящихся по песку. Мои кухонные рабы берут птиц из моих птичников и ловят рыбу в моих садках. У меня резчики сидят, не вставая, и вырезают мои изображения на твердом камне; литейщики, задыхаясь, отливают мои статуи; мастера благовоний смешивают сок растений с уксусом и трут мази. У меня швеи кроят ткани, ювелиры работают над драгоценными изделиями, искусницы изобретают мне прически, а тщательные художники поливают мои панели кипящей смолой, охлаждая ее опахалами. Моих прислужниц хватило бы на целый гарем, а евнухов — на целое войско. Мне подвластны войска, мне подвластны народы! В сенях моего дворца — стража из карликов, и у них за спиной трубы из слоновой кости.

Антоний вздыхает.

У меня упряжи газелей, квадриги слонов, сотни пар верблюдов, и кобылицы с такой длинной гривой, что ноги их путаются в ней, когда они скачут, и стада с такими широкими рогами, что перед ними вырубает леса, когда они пасутся. У меня жирафы гуляют в садах и кладут головы на край моей крыши, когда я дышу свежим воздухом после обеда.

Сидя в раковине, влекомой дельфинами, я объезжаю гроты, слушая, как падает вода со сталактитов. Я направляюсь в страну алмазов, где маги, мои друзья, предлагают мне выбрать лучшие; затем я выхожу на берег и возвращаюсь домой.

Она издает резкий свист, и большая птица, спускаясь с небес, падает на ее прическу, осыпая с нее голубой порошок.

Ее оперение оранжевого цвета кажется составленным из металлической чешуи. Головка с серебряным хохолком обладает человеческим лицом. У нее четыре крыла, ястребиные лапы и огромный павлиний хвост, который она распустила за собой.

Она хватая клювом зонтик царицы, слегка покачивается, пока не приходит в равновесие, затем, вся взъерошившись, остается неподвижной.

Благодарю, прекрасный Симорг-анка! ты указал мне, где таится влюбленный! благодарю, посланник моего сердца!

Он быстр, как желание. За день он облетит весь мир. Вечером возвращается, садится в изюмной моего ложа, рассказывает мне про то, что видел, — про моря, пронесившиеся под ним с рыбами и кораблями, про большие голые пустыни, которые созерцал с высоты небес, и про склонившиеся нивы в полях, и про деревья, растущие на стенах покинутых городов.

В томлении ломает руки.

О! если бы ты захотел, если бы ты захотел!.. У меня есть павильон на мысу посередине перешейка между двух океанов.



Худ. И. Босх ван Акен.

«Искушение св. Антония».

Он облицован по стенам стеклом, пол выложен черепашой, а двери выходят на четыре стороны света. Сверху я вижу, как возвращаются мои корабли и люди поднимаются на холм с ношами на плечах. Мы спали бы на пуху мягче облаков, мы пили бы прохладные напитки в коже плодов и смотрели бы на солнце сквозь изумруды! Приди!..

Антоний отступает. Она приближается и говорит раздраженно:

Как? ни богатство, ни игривость, ни влюбленность на тебя не действуют? Что же тебе надо, а? Хочешь ты тогда женщину похотливую, жирную, с хриплым голосом, с огненными волосами и пышным телом? Предпочтешь ты тело холодное, как кожа змеи, или же большие черные глаза, темнее мистических пещер? ну, гляди, каковы у меня глаза?

Антоний против воли смотрит на них.

Всех тех, кого ты встречал, начиная с уличной девки, поющей под фонарем, до патрицианки, обрывающей лепестки роз с высоты носилок,— все образы, виденные тобой, все грезы твоих желаний — проси их! Я не женщина: я — целый мир! Стоит моим одеждам упасть — и ты откроешь во мне тайну за тайной!

Антоний щелкает зубами.

Положи палец на мое плечо,— и точно огненная струя пробежит по твоим жилам. Обладание малейшей частью моего тела наполнит тебя более сильной радостью, чем завоевание целой империи. Приблизь уста! У моих поцелуев вкус плода, который растет в твоем сердце! Ах! как ты забудешься под покровом моих волос, как упьешься моей грудью, как изумишься моим рукам и ногам, и, спаленный моими зрачками, в моих объятиях, в вихре...

Антоний творит крестное знамение.

Ты презираешь меня! прощай!

Она удаляется, плача, потом возвращается.

Уверен? такую красавицу!

Она хохочет, а обезьяна, поддерживающая край ее платья, поднимает его.

Ты расквешься, прекрасный отшельник, ты будешь стонать! ты заскучаешь! а мне все равно! ля-ля-ля! ох! ох! ох!

Она уходит, закрыв лицо руками, вприпрыжку на одной ноге. Перед святым Антонием тянутся рабы, лошади, дромадеры, слон, служанки, вновь навьюченные мулы, негрятя, обезьяна, зеленые скороходы со сломанными лилиями в руках; и царица Савская удаляется с судорожными всхлипываниями, похожими не то на рыдания, не то на хохот.

III

Когда она исчезает, Антоний замечает на пороге своей хижины ребенка.

«Это, верно, один из слуг царицы»,
думает он.

Ребенок ростом с карлика, но коренаст как Кабир, кривобок, несчастный на вид. Седые волосы покрывают его чудовишно большую голову; и он дрожит от холода в своей жалкой тунике, не выпуская из рук свиток папируса.

Лунный свет из-за облака падает на него.

А н т о н и й

издали наблюдает за ним, и ему становится страшно.

Кто ты?

Р е б е н о к

отвечает:

Твой бывший ученик Иларион!

А н т о н и й

Ты лжешь! Иларион уже много лет, как живет в Палестине.

И л а р и о н

Я вернулся оттуда! это же я!

А н т о н и й

приближается и вглядывается в него.

Однако его лицо сияло как заря, было ясное, радостное. А у этого оно мрачное и старое.

И л а р и о н

Долгие труды истомили меня!

А н т о н и й

Голос тоже другой. Звук его леденит меня.

И л а р и о н

Это от горькой пищи!

А н т о н и й

А седые волосы?

И л а р и о н

Я столько перестрадал!

А н т о н и й

в сторону:

Возможно ли?..

И л а р и о н

Я не был так далеко, как ты думаешь. Пустынник Павел посетил тебя в этом году, в шебае месяце. Ровно двадцать дней тому назад номады принесли тебе хлеба. Третьего дня ты просил матроса достать тебе три шила.

А н т о н и й

Ему все известно!

И л а р и о н

Знай же, что я никогда тебя не покидал. Но ты подолгу не замечаешь меня.

А н т о н и й

Как так? Правда, голова моя так помутилась! Особенно нынче ночью...

И л а р и о н

Когда явились все смертные грехи. Но их жалкие козни рушатся пред таким святым, как ты!

А н т о н и й

О, нет!.. нет! Ежеминутно силы меня оставляют! Почему я не из тех, чьи души всегда бестрепетны и дух тверд,— как, например, великий Афанасий?

И л а р и о н

Он незаконно был рукоположен семью епископами!

А н т о н и й

Что из того? раз его добродетель...

И л а р и о н

Полно! гордый, жестокий человек, вечно в происках и, наконец, был ведь изгнан за барышничество.

А н т о н и й

Клевета!

И л а р и о н

Ты не станешь отрицать, что он хотел подкупить Евстафия, хранителя приношений?

А н т о н и й

Так утверждают. Согласен.

И л а р и о н

Он сжег из мести дом Арсения!

А н т о н и й

Увы!

И л а р и о н

На Никейском соборе он сказал, говоря об Иисусе: «человек господень».

А н т о н и й

А! это богохульство!

И л а р и о н

Впрочем, он так ограничен, что признается в полном непонимании природы Слова.

А н т о н и й,

улыбаясь от удовольствия:

Действительно, ум его не очень-то... возвышен.

И л а р и о н

Если бы тебя поставили на его место, это было бы великим счастьем для твоих братьев, как и для тебя самого. Такая жизнь вдали от других нехороша.

А н т о н и й

Напротив! Человек есть дух и потому должен уйти от бренного мира. Всякое действие принижает его. Я бы хотел не прикасаться к земле,— даже подошвами моих ног!

И л а р и о н

Лицемер, кто удаляется в пустыню, дабы свободнее предаваться разгулу своих вожделений! Ты лишаешь себя мяса, вина, бани, рабов и почестей; но ведь ты даешь полную волю воображению рисовать тебе пиры, благовония, голых женщин и рукоплескания толпы! Твое целомудрие — только более тонкий разврат, а презрение к миру — бессильная злоба против

него! Вот что делает тебе подобных такими унылыми, а может быть, причиной тому и сомнения. Обладание истиной дает радость. Разве Иисус был печален? Он ходил, окруженный друзьями, отдыхал в тени олив, бывал в доме мытаря, умножал чаши, прощая грешнице, исцеляя все скорби. А ты, ты страдаешь лишь своей нищете. Словно тобою движет угрызение совести и дикое безумие, в котором ты способен даже отпихнуть ласкающуюся собаку или улыбающегося ребенка.

А н т о н и й

разражается рыданиями.

Довольно, довольно: ты слишком возмущаешь мое сердце!

И л а р и о н

Отряхни червей со своих лохмотьев! Восстань из нечистот, в которых ты погряз! Твой бог — не Молох, требующий тела в жертву себе!

А н т о н и й

И все же страдание — благословенно. Херувимы склоняются, приемля кровь исповедников.

И л а р и о н

Восхищайся тогда монганистами: они всех превзошли.

А н т о н и й

Но ведь истина учения порождает мученичество!

И л а р и о н

Как может оно доказать его истинность, раз оно одинаково свидетельствует и о заблуждении? .

А н т о н и й

Умолкнешь ты, ехидна!

И л а р и о н

Да оно, может быть, не так уж и трудно. Увещевания друзей, особое удовольствие, что оскорбляешь народные чувства, данная клятва, известное опьянение,—тысяча обстоятельств тут помогают им.

Антоний отходит от Илариона. Иларион следует за ним.

К тому же, этот вид смерти влечет за собой великие беспорядки. Дионисий, Киприан и Григорий избегали его. Петр Александрийский порицал его, а Эльвирский собор...

А н т о н и й

затыкает уши.

Не слушаю больше!

И л а р и о н,

повышая голос:

Вот ты впадаешь в свой привычный грех — лень. Невежество — накопьте гордости. Говорят: «Таково мое убеждение, — о чем спорить?» и презирают учителей, философов, предание, наконец, даже букву Закона, которого и не знают. Ты так уверен, что владеешь всей мудростью?

А н т о н и й

Я всегда слышу голос ее! Гремящие ее слова оглушают меня.

И л а р и о н

Усилия постигнуть божество возвышеннее твоих самоистязаний ради того, чтобы его умиловать. Вся наша заслуга лишь в жажде Истины. Религия одна не истолкует всего, и разрешение вопросов, которых ты не признаешь, может сделать ее более неуязвимой и более высокой. Итак, для ее спасения нужно общаться с братьями — иначе церковь, как собрание верующих, была бы лишь пустым словом — и выслушивать все доводы, не гнушаясь ничем и никем. Волхв Ваалам, поэт Эсхил и Кумская сивилла предрекли Спасителя... Дионисий Александрийский получил свыше веление читать все книги. Святой Климент повелевает нам хранить и изучать греческую письменность. Гермас был обращен призраком некогда любимой женщины.

А н т о н и й

Что за властный вид! И ты словно становишься выше...

Действительно, Иларион все больше и больше вырастает, и Антоний, боясь смотреть на него, закрывает глаза.

И л а р и о н

Успокойся, добрый отшельник!

Давай сядем вон там, на большом камне, — как прежде, когда при первом проблеске утра я приветствовал тебя, называя «ясной денницей», и ты тотчас же приступал к своим наставлениям. Они еще не закончены. Луна нам достаточно светит. Я внемлю тебе.

Он вынул из-за пояса калам и, скрестив ноги на земле, держа в руке папирус, подымает взор на святого Антония, который сидит возле него, склонив голову.

Помолчав, Иларион продолжает:

Ведь слово божие подтверждено нам чудесами,— не так ли? Однако фараоновы волхвы производили их; да и другие обманщики могут производить их; люди впадают тут в заблуждение. Итак, что же такое чудо? Явление, которое нам кажется вне пределов природы. Но знаем ли мы все ее могущество? и из того, что нечто обыденное не изумляет нас, следует ли, что мы его понимаем?

Антоний

Пустое! надо верить Писанию.

Иларион

Святой Павел, Ориген и многие другие понимали его не дословно; однако, если его изъяснять аллегориями, оно становится достоянием немногих, и очевидность истины исчезает. Что же делать?

Антоний

Положиться на церковь.

Иларион

Итак, Писание бесполезно?

Антоний

Вовсе нет! хотя в Ветхом завете, признаю, есть... темные места... Но Новый сияет чистым светом.

Иларион

Однако ангел-благовеститель, по Матфею, является Иосифу, а по Луке — Марии. Помазание Иисуса женщиной происходит, по первому евангелию, в начале его служения, а согласно трем остальным — за несколько дней до его смерти. Питье, предлагаемое ему на кресте, по Матфею, — уксус с желчью, по Марку — вино и мирра. Согласно Луке и Матфею, апостолы не должны иметь ни серебра, ни суммы, ни даже сандалий и посоха; у Марка, напротив, Иисус запрещает им брать с собой что-либо, кроме сандалий и посоха. Я теряюсь!..

Антоний

с изумлением:

Правда ведь... правда ведь...

И л а р и о н

Когда до него дотронулась кровоточивая, Иисус обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Итак, он не знал, кто прикоснулся к нему? Это противоречит всеведению Иисуса. Если гробница охранялась стражами, женам нечего было беспокоиться о помощнике, чтобы отвалить камень с нее. Итак, стражи отсутствовали или же святые жены не были там. В Эммаусе он вкушает пищу с учениками и дает им потрогать свои раны. Это — человеческое тело, нечто вещественное, весомое и, однако, проходящее сквозь стены. Возможно ли это?

А н т о н и й

Много понадобилось бы времени, чтобы тебе ответить!

И л а р и о н

Зачем ходит на него Святой дух, раз он — бог-сын? Для чего ему нужно крещение, если он — Слово? Как мог дьявол искушать его, бога? Разве эти мысли никогда не приходили тебе в голову?

А н т о н и й

Да!.. часто! Заглушенные или неистовствующие, они живут в моем сознании. Я подавляю их,— они возрождаются, душат меня; и временами мне думается, что я проклят.

И л а р и о н

Тогда тебе нечего служить богу!

А н т о н и й

У меня всегда потребность поклоняться ему!

После долгого молчания

И л а р и о н

продолжает:

Но вне догмы нам предоставлена полная свобода исканий. Желаеть ты знать иерархию ангелов, силу чисел, смысл зарождений и метаморфоз?

А н т о н и й

Да, да! мысль моя бьется, чтобы вырваться из тюрьмы. Мне кажется, что, собравшись с силами, я преуспею в этом. Иной раз даже, на мгновение ока, я словно повисаю над землей; потом снова падаю.

И л а р и о н

Тайна, которою ты хотел бы обладать, хранится мудрецами. Они живут в далекой стране, восседая под гигантскими деревьями, в белых одеждах, спокойные, как боги. Теплый воздух питает их. Леопарды бродят кругом по лужайкам. Журчанье ручьев и ржание единорогов сливается с их головами. Ты их услышишь — и лик Неведомого разоблачится!

А н т о н и й,

вздыхая:

Путь долог, а я стар!

И л а р и о н

О! о! знающие люди не редки! Они даже совсем близко от тебя, здесь! Войдем!

IV

И Антоний видит перед собой огромную базилику.

Из глубины ее льется дивный свет, как бы от некоего многоцветного солнца. Он освещает бесчисленные головы толпы, которая заполняет неф и стремится между колонн к боковым приделам, где в деревянных помещениях виднеются алтари, ложа, цепочки из голубых камешков и изображения созвездий на стенах.

Среди этой колышущейся толпы остановились тут и там группы людей. Одни, стоя на скамьях, проповедуют, подняв палец; другие молятся, скрестив руки, лежат на земле, поют гимны или пьют вино; вокруг стола верные творят вечерю, мученики распеленываются, показывая свои раны; старики, опершись на посохи, рассказывают о своих странствованиях.

Есть тут пришельцы из земли германцев, из Фракии и из Галлии, из Скифии и из Индии, с бородами в снегу, с перьями в волосах, с колючками в бахроме одежд, с темными от пыли сандалиями, с кожей, обожженной солнцем. Мелькают всевозможные одеяния — пурпуровые мантии и холщовые платья, расшитые далматики, шерстяные кафтаны, матросские шапки, епископские митры. Глаза у всех необычайно сверкают. У них вид палачей или евнухов.

Иларийон входит в толпу. Все его приветствуют. Прижавшись к его плечу, Антоний их наблюдает. Он замечает много женщин. Некоторые одеты по-мужски, с наголо остриженными головами; ему страшно.

И л а р и о н

Это христианки, обратившие своих мужей. Впрочем, женщины всегда за Иисуса, даже язычницы, — свидетельство тому — Прокула, жена Пилата, и Поппея, наложница Нерона. Не трепещи! вперед!

Появляются все новые и новые лица.

Они множатся, раздвигаются, легкие, как тени, испуская громкие крики, в которых слышатся и рычания ярости, и возгласы любви, в славословия, и проклятия.

А н т о н и й,

понижив голос:

Чего они хотят?

И л а р и о н

Господь сказал: «Еще многое имею сказать вам». Они знают это многое.

И он толкает его к золотому трону о пяти ступенях, где, окруженный девяностю пятью худыми и очень бледными учениками, умашенными маслом, восседает пророк Манес, прекрасный как архангел, недвижимый как статуя, в индийском одеянии, с карбункулами в заплетенных волосах; в левой его руке — книга с цветными рисунками, а под правой — глобус. Рисунки изображают создания, дремавшие в хаосе. Антоний наклоняется, чтобы разглядеть их. Затем

М а н е с

псворачивает глобус и, соизмеряя слова с лирой, издающей кристальные звуки, говорит:

Земля небесная у высшего предела, земля смертная у низшего предела. Ее поддерживают два ангела — Сплендитененс и Омофор с шестью ликами.

На вершине высшего неба пребывает бесстрастное божество; внизу, лицом к лицу, — Сын божий и Князь тьмы.

Когда тьма продвинулась до его царства, бог извлек из своей сущности силу, которая произвела первого человека; и он окружил ее пятью стихиями. Но демоны тьмы похитили у него одну часть, и эта часть есть душа.

Есть лишь одна единая душа, разлитая повсеместно, как вода реки, разветвленной на многие рукава. Она вздыхает в ветре, скрежещет в мраморе под пилой, воеет голосом моря, и она плачет млечными слезами, когда обрывают листья смоковницы.

Души, отлетевшие из этого мира, переселяются на звезды, которые суть существа одушевленные.

А н т о н и й

смеется.

О, что за сумасбродство!

Ч е л о в е к

безбородый, сурового вида.

Почему?

Антоний хочет отвечать, но Иларион шепчет ему, что это — великий Ориген; и

Манес

продолжает:

Сначала они останавливаются на луне, где очищаются. Затем восходят на солнце.

Антоний

медленно:

Не знаю... что мешает нам... так думать.

Манес

Цель всякой твари есть освобождение небесного луча, заключенного в материи. Ему легче ускользнуть в запахах, пряностях, аромате старого вина — этих невесомых вещах, подобных мыслям. Но круговорот жизни его удерживает. Убийца возродится в теле келефа, убивший животное станет этим животным; посадив виноградную лозу, ты будешь связан ее ветвями. Питание поглощает его. Итак, воздерживайтесь! поститесь!

Иларион

Они умеренны, как ты видишь!

Манес

Его много в мясе, меньше в овощах. И чистым, по высоким их заслугам, доступно отделять от растений эту светоносную часть, и она возносится в дом свой. Животные чрез размножение заточают ее в теле. Итак, бегите женщин!

Иларион

Восхищайся их воздержанием!

Манес

Или лучше поступайте так, чтобы они были бесплодны.— Для души лучше пасть на землю, нежели томиться в телесных узах.

Антоний

А! мерзость!

Иларион

Но что нужды в иерархии гнусности? Церковь сделала ведь из брака таинство!

Сатурнин

в сирийской одежде.

Он насаждает пагубный строй! Отец, чтобы покорить мя-

тежность ангелов, повелел им создать сей мир. Христос пришел, дабы бог иудеев, который был одним из этих ангелов...

А н т о н и й

Как ангел? он? создатель!

К е р д о н

Разве он не желал убить Моисея, обмануть своих пророков? разве не соблазнил он народы, не распространил ложь и идолопоклонство?

М а р к и о н

Несомненно, Создатель не есть истинный бог!

Святой Климент Александрийский
Материя вечна!

Б а р д е с а н

в одежде вавилонского волхва.

Она образована семью планетными духами.

Г е р н и а н е

Ангелы создали души!

П р и с к и л л и а н е

Создал мир дьявол!

А н т о н и й

откидывается назад.

Ужас!

И л а р и о н,

поддерживая его:

Ты слишком быстро отчаиваешься! ты плохо понимаешь их учение! Смотри: вот тот, кто воспринял свое учение от Феодата, друга святого Павла. Выслушай его!

И по знаку Илариона выступает

В а л е н т и н

в тунике из серебряной ткани; у него хриплый голос и заостренный череп.

Мир — создание исступленного бога.

А н т о н и й

опускает голову.

Создание истступленного бога!..

После долгого молчания:

Как так?

В а л е н т и н

Совершеннейшее из существ, из Эонов, Бездна почилла с Мыслью в лоне Глубины. От их союза возник Ум, подружкой коего стала Истина.

Ум и Истина породили Слово и Жизнь, а те, в свою очередь, породили Человека и Церковь,— и это составляет восемь Эонов!

Считает по пальцам.

Слово и Истина произвели десять других Эонов, то есть пять пар. Человек и Церковь произвели двенадцать других, среди них — Параклета и Веру, Надежду и Милосердие, Совершенство и Мудрость-Софию.

Совокупность сих тридцати Эонов образует Плерому, или Всебытие божие. И как отзвуки удаляющегося голоса, как струи испаряющегося запаха, как огни заходящего солнца, так постепенно ослабевают Могушества, истекшие из Начала.

Но София, жаждущая познать Отца, вынеслась вон из Плеромы,— и Слово создало тогда другую пару — Христа и Святого духа, который объединил все Эоны; и все вместе произвели Иисуса, цвет Плеромы.

Между тем усилие Софии вырваться из Плеромы оставило в пустоте образ ее, злую субстанцию — Ахарамот. Спаситель возымел к ней сострадание, освободил ее от страстей; и из улыбки освобожденной Ахарамот родился свет, слезы ее создали воды, ее печаль породила черную материю.

От Ахарамот изошел Демиург, творец миров, небес и Дьявола. Он пребывает гораздо ниже Плеромы, даже не замечая ее, настолько, что он полагает себя истинным богом и твердит устами своих пророков: «Нет иного бога, кроме меня!» Потом он сотворил человека и бросил ему в душу нематерьяльное семя, которое было Церковью, отблеском другой Церкви, помещенной в Плероме.

Ахарамот, однажды, достигнув высшей области, соединится со Спасителем; огонь, сокрытый в мире, уничтожит всю материю, поглотит сам себя, и люди, став чистыми духами, вступят в брак с ангелами!

О р и г е н

Тогда Демон будет побежден, и наступит царство божие!

Антоний сдерживает крик; и тотчас

В а с и л и д

берет его за локоть.

Верховное существо с бесконечными истечениями именуется Абракау, а Спаситель со всеми своими благими свойствами — Каулакау, иначе — линия над линией, прямизна над прямизной.

Силу Каулакау приобретают с помощью слов, начертанных на этом халцедоне для памяти.

И он показывает у себя на шее маленький камень, на котором вырезаны причудливые линии.

Тогда ты будешь перенесен в Незримое, и, став выше закона, ты презришь все, даже добродетель!

Мы же, Чистые, мы должны бежать страдания по примеру Каулакау.

А н т о н и й

Как? а крест?

Э л к е с а и т ы

в гиацинтовых одеждах отвечают ему:

Печаль, ничтожество, осуждение и угнетение моих отцов изгладилась благодаря пришествию посланного.

Можно отрицать Христа низшего, человека Иисуса, но надлежит поклоняться другому Христу, явившемуся на свет под крылом Голубицы.

Почитайте брак! Святой дух — женщина!

Иларион исчез; и вот перед Антонием, тесным толпой,

К а р п о к р а т и а н е,

лежащие с женщинами на шарлаховых подушках:

Прежде чем войти в Единое, ты пройдешь через ряд условий и действий. Чтобы избавиться от мрака, выполняй отныне его дела! Супруг скажет супруге: «Окажи милость твоему брату», и она поцелует тебя.

Н и к о л а и т ы,

собравшиеся вокруг дымящегося кушанья:

Вот идоложертвенное мясо,—вкуси его! Отступничество дозволено тому, чье сердце чисто. Насыщай свою плоть тем, чего она требует. Старайся изничтожить ее распутством. Пруникос, мать Неба, валялась в позоре.

Маркосиане

в золотых кольцах, умащенные бальзамом.

Войди к нам, дабы соединиться с Духом! Войди к нам, дабы испытать бессмертия!

Один из них показывает ему за висящим ковром тело человека с головой осла, что изображает Саваофа, отца Дьявола. В знак ненависти он плюет на него.

Другой открывает очень низкую постель, усыпанную цветами, говоря, что

Духовный брак сейчас свершится.

Третий держит стеклянную чашу, совершает возгласие; в чаше появляется кровь.

А! вот она! вот она! кровь Христова!

Антоний отстраняется. Но он обрызган водой, выплеснувшейся из купели.

Гельвидиане

бросаются в нее, головой вниз, бормоча:

Человек, возрожденный крещением, безгрешен!

Затем он проходит мимо большого огня, у которого греются Адамиты, совершенно обнаженные в подражание райской чистоте, и наталкивается на

Мессалиан

Они валяются на полу, в полудремоте, оцепеневшие.

О, раздави нас, если хочешь, мы не двинемся с места!
Труд — грех, всякая работа — скерна!

Позади них презренные

Патерниане,

мужчины, женщины и дети, сплошной кучей в грязи, поднимают свои отвратительные лица, выпачканные вином:

Нижние части тела, сотворенные Дьяволом, ему принадлежат. Давайте же пить, есть, блудодействовать!

Аэтий

Преступления — потребности, до которых не опускается око божие!

Но вдруг

Человек,

одетый в карфагенский плащ, выскакивает из их толпы со связкой ремней в руке и, стегая, как попало, направо и налево, неистово кричит:

А! обманщики, разбойники, симонийцы, еретики и демоны! червоточина школ, подонки ада! Вот Маркион, синопский матрос, отлученный за кровосмешение; Карпократ изгнали как мага; Эций обокрал свою наложницу, Николой продавал жену, а Манес, называющий себя Буддою, а по имени Кубрик, был ободран заживо острием тростника, и его дублёная кожа болтается на вратах Ктесифона!

А н т о н и й

узнал Тертуллиана и бросается к нему.

Учитель! ко мне! ко мне!

Т е р т у л л и а н,

продолжая:

Разбивайте иконы! скрывайте девиц под покрывалами! Молитесь, поститесь, плачьте, умерщвляйте плоть! Прочь философию! прочь книги! после Иисуса знание бесполезно!

Все разбежались, и Антоний видит на месте Тертуллиана женщину, сидящую на каменной скамье.

Она рыдает, прислонив голову к колонне: волосы ее распущены, тело, в длинной бурой сямарре, поникло.

Затем они оказываются рядом, вдали от толпы. Наступило молчание, необычайное спокойствие, как в лесу, когда ветер стихает и листья вдруг сразу перестают шевелиться.

Женщина очень красива, хотя поблекла и бледна, как покойница. Они глядят друг на друга, и глаза их шлют взаимно как бы волны мыслей, тысячу старинных, смутных и глубоких воспоминаний. Наконец

П р и с к и л л а

начинает говорить:

Я находилась в последней комнате бань и задремала под уличный шум.

Вдруг я услышала громкие голоса. Кричали: «Это маг! это Дьявол!» и толпа остановилась перед нашим домом, против Эскулапова храма. Я приподнялась на руках до высоты стдушины.

В перистиле храма стоял человек с железным ошейником на шее. Он брал уголья с жаровни и проводил ими широкие полосы на груди, взывая «Иисус! Иисус!» Народ говорил: «Это не дозволено! побьем его камнями!» Но он продолжал. То было нечто неслыханное, восхитительное. Цветы, огромные как солнца, вращались перед моими глазами, и из пространств до меня доносились трепетания золотой арфы. Смерклось. Руки мои выпустили перекладины, тело ослабло, и когда он увел меня в свой дом...

А н т о н и й

Но о ком говоришь ты?

П р и с к и л л а

Да о Монтане!

А н т о н и й

Монтан умер.

П р и с к и л л а

Это неправда!

Г о л о с

Нет, не умер Монтан!

Антоний оборачивается; рядом с ним, с другой стороны, на скамье сидит вторая женщина — белокурая и еще более бледная, с припухшими веками, словно она долго плакала. Не дожидаясь его вопроса, она говорит:

М а к с и м и л л а

Мы возвращались из Тарса по горам, когда на одном повороте дороги увидели под смоковницей человека.

Он издали закричал: «Стойте!» и бросился к нам с бранью. Рабы сбежались. Он разразился смехом. Лошади вздыбились. Молоссы выли.

Он стоял. Пот катился по его лицу. Плащ его хлопал от ветра.

Называя нас по именам, он поносил суету наших деяний, позор наших тел, и он грозил кулаком, указывая на дромадеров, в негодовании на серебряные колокольчики, подвешенные у них под челюстью.

Его ярость внушала мне ужас, и в то же время словно какое-то сладостное чувство меня убаюкивало, опьяняло.

Сначала приблизились рабы. «Господин,— сказали они,— животные наши устали»; затем заговорили женщины: «Нам страшно», и рабы отошли. Затем дети подняли плач: «Мы голодны!». И, не дождавись ответа, женщины исчезли.

А он говорил. Я почувствовала кого-то возле меня. То был мой супруг; я внимала другому. Он полз между камней, крича: «Ты покидаешь меня?» и я ответила: «Да, отыди!», дабы последовать за Монтаном.

А н т о н и й

За внухом!

П р и с к и л л а

А! это тебя удивляет, грубый сердцем! Но ведь Магдалина, Иоанна, Марфа и Сусанна не делили ложа со Спасителем. Души способны с еще большей страстью обниматься, нежели тела. Дабы соблюсти непорочность Евстолии, епископ Леонтий изувечил себя, любя больше любовь свою, чем свою силу мужчины. Притом же, это не моя вина: некий дух понуждает меня; Сотас не мог меня излечить. А все-таки жесток он! Что нужды! Я — последняя из пророчиц, и после меня наступит конец света.

М а к с и м и л л а

Он осыпал меня подарками. Впрочем, ни одна и не любит его так, — и ни одна так не любима им!

П р и с к и л л а

Ты лжешь! Меня он любит!

М а к с и м и л л а

Нет, меня!

Дерутся.

Между их плеч появляется голова негра.

М о н т а н

в черном плаще с застежкой из двух костей человеческого скелета.

Успокойтесь, мои голубицы! Мы неспособны к земному счастью, но наш союз дает нам полноту духовную. За веком Отца — век Сына; и я предвещаю третий век — век Параклета. Его свет сошел на меня в те сорок ночей, когда небесный Иерусалим сиял на небе над моим домом в Пепузе.

Ах, в какой тоске кричите вы, бичуемые ремнями! как ваше исстрадавшееся тело ищет пламенной моей ласки! как вы томитесь на моей груди неосуществленной любовью! Сила ее открыла вам миры, и вы можете ныне созерцать души вашими очами.

Антоний делает жест изумления.

Т е р т у л л и а н,

вновь появившийся возле Монтана:

Несомненно, раз у души есть тело, ибо что не имеет никакого тела, не существует.

М о н т а н

Дабы сделать ее более тонкой, я установил всяческое умерщвление плоти, три поста в год и еженощные молитвы

с закрытыми устами,— из опасения, чтобы дыхание, вырвавшись наружу, не замутило мысли. Надлежит воздерживаться от вторичных браков, а лучше вовсе от брака! Ангелы грешили с женами.

Архонтики

во власяницах из конского волоса.

Спаситель сказал: «Я пришел разрушить дело Женщины».

Татианиане

в тростниковых власяницах.

Она и есть древо зла! Одежды из шкур — наше тело.

И, подвигаясь все в том же направлении, Антоний встречает

Валесиан,

распростертых на земле с красными бляхами внизу живота под туникой.

Они протягивают ему нож:

Поступай как Ориген и как мы! Или ты боишься боли, трус? или любовь к своей плоти тебя удерживает, лицемер?

И пока он смотрит, как они пререкаются, лежа на спине в лужах крови,

Каиниты

с волосами, связанными гадюкой, проходят мимо него, голося у него над ухом:

Слава Каину! слава Содому! слава Иуде!

Каин создал племя сильных, Содом ужаснул землю своей карой, и через Иуду бог спас мир! — Да, Иуда! без него нет смерти и нет искупления!

Исчезают в дикой толпе.

Циркумцеллиане

в волчьих шкурах, в терновых венцах и с железными палицами в руках. Они вопят:

Давите плод! мутите источники! топите детей! грабьте богатого, который наслаждается счастьем, который много ест! бейте бедного, который завидует попоне осла, корму собаки, гнезду птицы и сокрушается, что другие не так несчастны, как он.

Мы, святые, дабы ускорить конец света, отравляем, жжем, избиваем!

Спасение лишь в муках. Мы предаем себя мукам. Мы

сдираем клещами кожу со своих черепов, ложимся под плуг, бросаемся в жерла печей!

Долой крещение! долой евхаристию! долой брак! проклятие всему!

По всей базилике усугубляются безумства.

Авдиане мечут стрелы в Дьявола; Коллиридиане подбрасывают к потолку синие покрывала; Аскиты простираются перед мехом; Маркиониты совершают крещение мертвеца елеем.

Женщина рядом с Апеллесом в пояснение его слов показывает круглый хлеб в бутылки; другая, окруженная Сампсеянами, раздаёт, как просфору, пыль своих сандалий. На усыпанном розами ложе Маркосиан двое любовников обнимаются. Циркумцеллиане режут друг друга, Валесиане хрипят, Бардесан поет, Карпократ пляшет, Максимилла с Прискиллой громко стонут, а Каппадокийская лжепророчица, вся голая, облокотившись на льва и потрясая тремя факелами, орет Грозный Призыв.

Колонны колеблются, как стволы деревьев, амулеты на шеях ересиархов пересекаются огненными линиями, созвездия в часовнях движутся и стены расступаются под напором толпы, каждая голова которой — мятушаяся с ревом волна.

Между тем из недр этого гула голосов при взрывах смеха раздается песнь, в которой снова слышится имя Иисуса.

То — люди из простонародья; все они хлопают в ладоши в ритм пения. Посреди них

А р и й

в одежде дьякона.

Безумцы, ратующие против меня, берутся истолковать бессмыслицу; чтобы посрамить их до конца, я сочинил песенки, такие забавные, что их знают наизусть на мельницах, в кабаках и в гаванях.

Тысячу раз нет! Сын не совечен Отцу и не единосущ! Иначе не произнес бы он слов: «Отче, да минует меня чаша сия! — Что называете вы меня благим? Никто не благ, только один бог! — Иду к богу моему и богу вашему!» и других слов, свидетельствующих, что он сотворен. На то указывают и все его именованья: агнец, пастырь, источник, мудрость, сын человеческий, пророк, путь благой, краугольный камень!

С а в е л и й

А я утверждаю, что оба они — едины.

А р и й

Антиохийский собор постановил обратное.

А н т о н и й

Что же такое Слово?.. Кто был Иисус?

Валентиниане

Он был супруг раскаявшейся Ахарамот!

Сифиане

Он был Сим, сын Ноя!

Феодотиане

Он был Мельхиседек!

Меринтиане

Он был всего лишь человек!

Аполлинаристы

Он принял его вид! он лишь изображал страдания.

Маркел Анкирский

Он — проявление Отца!

Папа Каликст

Отец и Сын — два образа единого бога!

Мефодий

Он был сначала в Адаме, затем в человеке!

Керинф

И он воскреснет!

Валентин

Невозможно: тело его небесное!

Павел Самосатский

Он стал богом лишь после крещения!

Гермоген

Он живет на солнце!

И все ересиархи окружают Антония, который плачет, закрыв лицо руками.

Иудей

рыжебородый, с пятнами проказы на коже, подходит вплотную к нему и страшно усмехается:

Его душа была душой Исава! Он страдал беллерофонтовой болезнью; а его мать, торговка благовониями, отдалась Пантеру, римскому солдату, на снопах маиса в вечер жатвы.

А н т о н и й

порывисто подымает голову, молча на них смотрит, затем идет прямо на них.

Ученые, маги, епископы и дьяконы, люди и призраки, прочь! Прочь! Прочь! Все вы — обман!

Е р е с и а р х и

Наши мученики больше мученики, чем твои, молитвы наши труднее, порывы любви возвышеннее и восторги столь же долги.

А н т о н и й

Но нет откровения! нет доказательств!

Тогда все потрясают в воздухе свитками папируса, деревянными дощечками, кусками кожи, полосами тканей и толкают друг друга.

К е р и н ф и а н е

Вот евангелие от евреев!

М а р к и о н и т ы

Евангелие господа!

М а р к о с и а н е

Евангелие Евы!

Э н к р а т и т ы

Евангелие Фомы!

К а и н и т ы

Евангелие Иуды!

В а с и л и д

Трактат о присоединенной душе!

М а н е с

Пророчество Баркуфа!

Антоний отбивается, ускользает от них,— и он замечает в темном углу

С т а р ы х Е б и о н и т о в,

иссохших, как мумия, с потухшим взором, с седыми бровями.

Они говорят дрожащим голосом:

Мы-то знали его, мы знали его, сына плотника! Мы были его сверстниками, жили на той же улице. Его забавляло

лепить из глины птичек, он не боялся порезаться инструментом, он помогал отцу своему в работе либо сматывал матери клубки крашеной шерсти. Потом он совершил путешествие в Египет, откуда принес с собой великие тайны. Мы были в Иерихоне, когда он повстречал пожирателя саранчи. Они разговаривали вполголоса, так что никто их не слышал. Но как раз с этого времени он прогремел в Галилее, и о нем пошли всякие рассказы.

Они повторяют, дрожа:

Мы-то знали его! мы его знали!

А н т о н и й

Ах! рассказывайте, рассказывайте еще! Какое было у него лицо?

Т е р т у л л и а н

Дикого и отгалкивающего вида, ибо он был отягчен всеми грехами, всеми страданиями и уродствами мира.

А н т о н и й

О, нет! нет! Напротив, я представляю себе, что весь его облик был нечеловечески прекрасен.

Е в с е в и й К е с а р и й с к и й

В Панадесе, против старой лачуги, в заросли трав, есть каменное изваяние, воздвигнутое, как говорят, кровоточивой женой. Но время изъело ему лицо, и дожди повредили надпись.

Из кучки Карпократиан выступает женщина.

М а р к е л л и н а

Некогда я была диакониссой в Риме, в маленькой церкви, и там я показывала верным серебряные изображения святого Павла, Гомера, Пифагора и Иисуса Христа.

У меня сохранилось только Христово.

Она приоткрывает плащ.

Хочешь видеть его?

Г о л о с

Он сам является, когда мы призываем его! Час настал! Иди!

И Антоний чувствует у себя на плече грубую руку, которая тянет его за собой.

Он поднимается по совсем темной лестнице и после ряда ступеней подходит к двери.

Тогда ведущий его (может быть, то Иларион? — он не знает) говорит на ухо другому: «Грядет господь», — и их вводят в комнату с низким потолком, без обстановки.

Прежде всего его поражает находящаяся прямо перед ним длинная куколка кровавого цвета с человеческой головой, испускающей лучи, и слово Кнуфис, написанное по-гречески вокруг нее. Она завершает ствол колонны, поставленной посреди пьедестала. На других стенах комнаты железные полированные медальоны изображают головы животных — быка, льва, орла, собаки и голову осла — вдобавок!

Глиняные светильники, подвешенные под этими изображениями, мерцают колеблющимся светом. Сквозь дыру в стене Антоний видит луну, сверкающую вдали на волнах, и различает даже их мерное, тихое плескание и глухой шум корабля, трущегося днищем о камни мола.

Мужчины на корточках, закрыв лица плащами, издают время от времени как бы сдавленный лай. Женщины дремлют, положив чело на руки, облокотившись на колени; они так закутаны покрывалом, что их можно принять за груды одежд вдоль стены. Возле них — полубнаженные дети, сплошь покрытые насекомыми, с тупым видом глазеют на пламя светильников; и все пребывают в бездельи: все ждут чего-то.

Они вполголоса говорят о своих семьях либо сообщают друг другу средства от болезней. Многие собираются отплыть на рассвете, ибо гонения слишком усиливаются. Язычников обмануть, однако, нетрудно. «Они воображают, глупцы, что мы поклоняемся Кнуфису!»

Но тут один из братьев, внезапно вдохновившись, становится перед колонной, где положен хлеб поверх корзины, наполненной укропом и кирказоном.

Другие стали на свои места, образуя три параллельных ряда.

Вдохновленный

развертывает свиток, испещренный цилиндрическими фигурами, потом начинает:

На тьму сошел луч Слова, и раздался могучий крик, походивший на голос света.

Все

отвечают, покачиваясь:

Кирие элейсон!

Вдохновленный

Человек затем был сотворен бесчестным богом Израиля с помощью сих:

указывая на медальоны:

Астофая, Орая, Саваофа, Адонаи, Элон, Яо!

И он лежал в грязи, мерзостный, немощный, безобразный, бессмысленный.

Все

жалобно:

Кирие элейсон!

Вдохновенный

Но София, сострадая, оживила его частицей своей души. Тогда, узрев красоту человека, бог пришел в гнев. Он заточил его в своем царстве, запретив ему вкушать от древа познания.

София же еще раз помогла ему. Она послала змия, который долгими уловками побудил его преступить сей закон ненависти.

И человек, вкусив познания, постиг небесное.

В с е

громогласно:

Кирие элейсон!

Вдохновенный

Но Ябдалаоф, дабы отомстить, низверг человека в материю, и змия вместе с ним.

В с е

очень тихо:

Кирие элейсон!

Замыкают уста и замолкают.

Запахи гавани смешиваются в теплом воздухе с чадом светильников. Их фитили, потрескивая, потухают: кружатся длинные москиты. И Антоний хрипит в тоске: он ощущает словно что-то чудовищное, колеблющееся вокруг него, ужас преступления, готового свершиться.

Но

Вдохновенный,

топая ногой, щелкая пальцами, качая головой, запекает в неистовом ритме при звуке кимвалов и пронзительной флейты:

Приди! приди! приди! выходи из своей пещеры!

Быстрый, что бежишь без ног, ловец, что берешь без рук!

Извилистый, как реки, кругообразный, как солнце, черный с золотыми пятнами, как твердь, усеянная звездами, подобный извивам лозы и извилинам внутренностей!

Нерожденный! поедающий землю! вечно юный! прозорливый! почитаемый в Эпидавре! Добрый к людям! Исцеливший царя Птолемея, воинов Моисея и Главка, Миносова сына!

Приди! приди! приди! выходи из своей пещеры!

В с е

повторяют:

Приди! приди! приди! выходи из своей пещеры!

Однако ничто не показывается.

Почему же? что с ним?

И все совещаются, предлагают разные средства.

Какой-то старик подает ком дерна. Тогда в корзине что-то вздымается. Зелень шевелится, цветы падают,— и появляется голова пифона.

Он медленно ползет по краю хлеба, подобно кольцу, вращающемуся вокруг неподвижного диска, потом разворачивается, вытягивается; он огромен и не малого веса. Не давая ему касаться земли, мужчины поддерживают его грудью, женщины — головой, дети — ладонями; и его хвост, выходя сквозь отверстие стены, тянется бесконечно, до самого дна моря. Его кольца раздваиваются, заполняют комнату; они опоясывают Антония.

Верные,

припадая губами к его коже, вырывают друг у друга хлеб, который он откусил.

Это ты! это ты!

Вознесенный сначала Моисеем, сокрушенный Езекией, восстановленный Мессией. Он испил тебя в водах крещения; но ты покинул его в Гефсиманском саду, и он почувствовал тогда всю свою слабость.

Изогнутый на перекладинах креста, выше его главы, точка слюну на терновый его венец, ты созерцал его смерть, ибо ты — не Иисус, ты — само Слово! ты — Христос!

Антоний лишается чувств от ужаса и падает перед своей хижинкой на щепки, в которых тихо тлеет факел, выскользнувший у него из рук.

От сотрясения глаза его раскрываются, и он видит Нил, извилистый и светлый в белизне луны, подобный огромной змее среди песков; таким образом, видения снова охватывают его, словно он и не покидал Офитов; они окружают его, зовут, везут поклажу, спускаются к гавани. Он отплывает с ними.

Проходит неощутимое время.

Потом над ним свод темницы. Решетки перед ним образуют черные линии на голубом фоне; рядом с ним по сторонам, в тени, плачут и молят люди, окруженные другими, которые их ободряют и утешают.

Снаружи чувствуется гул толпы и блеск летнего дня.

Пронзительные голоса предлагают арбузы, воду, напитки со льдом, сеники для сиденья. Время от времени раздражаются рукоплесканиями. Он слышит шаги над своей головой.

Вдруг раздался долгий рев, могучий и гулкий, как шум воды в акведуке.

И он видит перед собой, за решеткой другой клетки, льва, который ходит взад и вперед; затем ряд сандалий, голых ног и пурпурную бахромку. Выше, симметричными ярусами, идут, расширяясь, венцы зрителей от самого нижнего, замыкающего арену, до самого верхнего, с прямыми шестью, поддерживающими фиолетовый навес, натянутый в воздухе на веревках. Лестницы, радиусами сходящиеся к центру, прорезают на равных промежутках эти огромные каменные круги. Их скамьи скрыты сидящей толпой всадников, сенаторов, солдат, плебеев, весталок и куртизанок. в шерстяных капюшонах,

шелковых манипулах, рыжеватых туниках, с драгоценными камнями, пучками перьев, связками ликторов; и все это, кишашее, кричащее, шумное и неистовое, оглушает его, как огромный кипящий котел. Посреди арены, на жертвеннике, курится сосуд с фимиамом.

Итак, люди вокруг него — христиане, обреченные зверям. Мужчины — в красных плащах жрецов Сатурна, женщины — в повязках Цереры. Друзья делят между собой куски их одежд, их кольца. Чтобы проникнуть в тюрьму, говорят они, пришлось дать много денег. Нужды нет! они останутся до конца.

Среди утешающих Антоний замечает лысого человека в черной тунике, лицо которого он уже где-то видел; он говорит им о бренности мира и о блаженстве избранных. Антоний охвачен любовью. Он жаждет случая отдать жизнь за Спасителя, не ведая, является ли он сам одним из этих мучеников.

Но, кроме длинноволосого фригийца, воздевшего руки, у всех печальный вид. Старик рыдает на скамье, юноша стоит, опустив голову, погруженный в грезы.

С т а р и к

отказался платить на углу перекрестка, перед статуей Минервы; и он смотрит на товарищей взглядом, в котором можно прочитать:

Вы должны были бы притти мне на помощь! Общины добиваются иногда, чтобы оставили их в покое. Многие из вас приобрели даже подложные грамоты, свидетельствующие о жертвоприношении идолам.

Он спрашивает:

Ведь Петр Александрийский установил, как нужно поступать, когда изнеможешь от пыток?

Про себя:

Ах, тяжело это в мои годы! немощи так ослабили меня! И все-таки я мог бы еще протянуть до будущей зимы!

Воспоминание о своем садике умиляет его, и он смотрит в сторону жертвенника.

Ю н о ш а,

который кулаками пытался нарушить празднество в честь Аполлона, бормочет:

Ведь только от меня зависело бежать в горы!

— Солдаты схватили бы тебя, —

говорит один из братьев.

— О! я бы поступил как Киприан — я бы отрекся; и в другой раз проявил бы больше мужества, уж наверное!

Вслед за тем он думает о бесчисленных днях предстоявшей ему жизни, о всех тех радостях, которых не узнает, и он смотрит в сторону жертвенника.

Но

Человек в черной тунике

подбегает к нему:

Какой позор! Как, ты, избранная жертва? Все эти женщины смотрят на тебя, подумай только! А потом бог творит же иной раз чудеса. Пионий заставил оцепенеть руки своих палачей, кровь Поликарпа погасила пламя его костра.

Он оборачивается к старику.

Отец, отец! ты должен наставить нас своею смертью. Оттягивая ее, ты не преминул бы совершить какой-либо дурной поступок, который погубил бы плод добрых дел. Могущество божие бесконечно. Быть может, твой пример обратит весь народ.

А в клетке напротив львы безостановочно бродят взад и вперед, в непрерывном, быстром движении. Самый большой из них вдруг смотрит на Антония, рычит, и пар идет из его пасти.

Женщины сбились в кучу около мужчин.

Утешитель

ходит от одного к другому.

Что сказали бы вы, что сказал бы ты, если бы тебя жгли железными полосами, если бы тебя четвертовали лошадьми, если бы твое тело, вымазанное медом, жалили насекомые! Ты же умрешь смертью охотника, захваченного врасплох в лесу.

Антоний предпочел бы все это ужасным диким зверям; ему кажется, что он чувствует их зубы, их когти, слышит, как хрустят его кости в их челюстях.

В темницу входит беллуарий; мученики дрожат. Один лишь фригиец, тот, что молился в стороне, остается бесстрастным. Он сжег три храма; и он идет вперед, воздев руки, с отверстыми устами, с головой, устремленной к небу, ничего не видя, как сомнамбула.

Утешитель

взывает:

Назад, назад! Дух Монтана может овладеть вами.

Все

отступают, крича:

Проклятие Монтанисту!

Они ругают его, плюют в него, готовы его избить.

Львы яростно прыгают, кусая один другому гривы. Народ вопит: «Зверей! зверей!»

Мученики, раздражаясь рыданиями, сжимают друг друга в объятиях. Им предлагают чашу наркотического вина. Они быстро передают ее из рук в руки.

У двери клетки другой беллуарий ожидает сигнала. Она отвечает: лев выходит.

Он пересекает арену наискосок большими шагами. Позади него один за другим появляются другие львы, потом медведь, три пантеры, леопарды. Они разбредаются, как стадо по лугу.

Раздается шелканье бича. Христиане колеблются,— и, чтобы покончить с этим, братья подталкивают их. Антоний закрывает глаза. Он открывает глаза, но тьма их заволакивает.

Вскоре она рассеивается, и он различает сухую и бугристую равнину, какие бывают вокруг заброшенных каменоломен.

Кое-где пучок кустарника торчит между плит на уровне земли, в белые фигуры, расплывчатее облаков, склонились над ними

Легкой поступью приближаются другие. Глаза блещут из разреза длинных покрывал. По небрежности походки и ароматам, веющим от них, Антоний узнает патрицианок. Есть тут и мужчины, но низшего сословия, ибо их лица одновременно и простоваты и грубы.

Одна из них,

глубоко вздыхая:

Ах, как хорошо дышать воздухом прохладной ночи среди гробниц! Меня так истомила нега ложа, дневной шум, давящий зной солнца!

Служанка вынимает из холстяного мешка факел и зажигает его. Верные зажигают от него другие факелы и втыкают их на могилы.

Женщина,

задыхаясь:

Ах, наконец я здесь! Но что за скука быть женой идолопоклонника!

Другая

Посещения темниц, беседы с братьями — все вызывает подозрения у наших мужей! И даже крестное знамение приходится нам творить втайне: они сочли бы его за магическое заклинание.

Третья

У меня с мужем дня не обходилось без ссор; я не желала подчиняться посягательствам его на мое тело, и, чтобы отомстить, он возбудил преследование против меня как христианки.

Четвертая

Помните, Люция, того молодого красавца, которого тащили за пятки, привязав к колеснице, как Гектора, от Эсквилинских ворот до Тибурских холмов, и кровь пятнала кустарник по обе стороны дороги! Я собрала с него капли. Вот она!

Она вытаскивает из-за пазухи губку, всю почерневшую, осыпает ее поцелуями, затем бросается на плиты, восклицая:

Ах! мой возлюбленный! мой возлюбленный!

Мужчина

Сегодня ровно три года, как умерла Домитилла. Она была побита камнями в Прозерпининой роще. Я собрал ее кости, сверкавшие как светляки в траве. Ныне земля покрывает их!

Он бросается на могилу.

О, невеста моя! невеста моя!

И остальные

по всей равнине:

О, сестра моя! о, брат мой! о, дочь моя! о, моя мать!

Они стоят на коленях, опустив голову на ладони, или лежат ничком, простирая руки, и грудь их готова разорваться от подавленных рыданий. Возведя очи к небу, они говорят:

Буди милостив, боже, к его душе! к ее душе! Она томится в обители теней; благоволи даровать ей воскресение, дабы она радовалась твоим светом!

Или, устремив взор на плиты, они шепчут:

Покойся, не страдай! Тебе принесено вино, мясо!

Вдова

Вот каша, приготовленная мною по его вкусу; в ней много яиц и двойная мера муки! Мы вместе будем есть ее, как прежде, не правда ли?

Она пригубливает ее и вдруг начинает смеяться странно, безумно.

Другие, как и она, откусывают кусок чего-нибудь, отпивают глоток.

Они делятся друг с другом рассказами о своих мучениках; горе уже не знает пределов, возлияния умножаются. Глаза, мокрые от слез, устремлены друг на друга. Они бормочут в опьянении и отчаянии; мало-помалу их руки соприкасаются, губы соединяются, покрывала приоткрываются, и они падают друг другу в объятия на могилах, среди чаш и факелов.

Небо начинает сереть. Туман увлажняет их одежды, и, словно не зная друг друга, они расходятся разными дорогами по равнине.

Солнце сияет, трава стала выше, местность преобразилась. И Антоний отчетливо видит сквозь бамбуки лес колонн голубовато-серого цвета. То стволы деревьев, растущие от одного ствола. От каждой из их ветвей спускаются другие ветви, уходящие в почву; и все это бесконечное множество горизонтальных и перпендикулярных линий напоминало бы леса чудовищной постройки, если бы кое-где не виднелись маленькие фиговые с черноватой листвой, как у сикоморы.

Он различает в их разветвлениях кисти желтых цветов, фиолетовые цветы и папоротники, похожие на птичьи перья.

Под самыми нижними ветвями показываются тут и там рога бубала или блестящие глаза антилопы; выше сидят попугаи, порхают бабочки, ползают ящерицы, жужжат мухи; и в тишине слышится как бы биение глубокой жизни.

При входе в лес на чем-то вроде костра видна странная фигура — человек, обмазанный коровьим навозом, совершенно голый, иссохший, как мумия; его суставы образуют узлы на конечностях костей, похожих на палки. К ушам подвязаны раковины, лицо очень длинное, ястребиный нос. Левая рука вытянута в воздухе, одеревенелая, твердая как кол; и он стоит там, не сходя с места, так давно, что птицы свили гнездо в его волосах.

У четырех углов его костра пылают четыре огня. Солнце светит прямо в лицо. Он созерцает его, широко раскрыв глаза, и, не глядя на Антония, говорит:

Брамин с берегов Нила, что скажешь ты?

Со всех сторон сквозь промежутки бревен вырывается пламя, и

Гимнософист

продолжает:

Подобно носорогу я удалился в уединение. Я жил в дереве, что позади меня.

Действительно, желобчатый ствол толстой смоковницы образует естественное углубление в рост человека.

Я кормился цветами и плодами, столь строго соблюдая заповеди, что даже собаки не видели меня питающимся.

Так как жизнь происходит от греха, грех — от желания, желание — от ощущения, ощущение — от соприкосновения, я избегал всякого действия, всякого соприкосновения, и, недвижимый, как надгробная стела, дыша через ноздри, сосредоточивая взгляд на своем носу и созерцая эфир в своем духе, мир в своем теле, луну в своем сердце, я помышлял о сущности великой Души, из коей непрерывно истекают, как искры пламени, начала жизни.

Я постиг, наконец, верховную Душу во всех существах, все существа в верховной Душе, и мне удалось ввести в нее свою душу, в которую я ввел свои чувства.

Я получаю знание прямо от неба, как птица Чатака, которая утоляет жажду только в струях дождя.

И благодаря тому, что я познал все существующее, оно не существует больше.

Для меня теперь нет надежды и нет тоски, нет счастья, нет добродетели, ни дня, ни ночи, ни тебя, ни меня — ничего совершенно.

Ужасные лишения сделали меня могущественнее Сил. Сосредоточением мысли я могу убить сто царских сыновей, низринуть богов с престола, ниспровергнуть мир.

Он произнес все это бесстрастным голосом.

Листья вокруг свертываются. Крысы на земле разбегаются.

Он медленно опускает глаза к пламени, которое вздымается выше, потом добавляет:

Я почувствовал отвращение к форме, отвращение к восприятию, отвращение даже к самому знанию, ибо мысль не переживает преходящего явления, которое ее порождает, и ум — только видимость, как и все остальное.

Все, что рождено, погибнет, все, что умерло, оживет; существа, ныне исчезнувшие, пребудут в еще не созданных утробах и вернуться на землю, чтобы в печали служить другим созданиям.

Но так как я влачил бесконечное множество существований в обличьи богов, людей и животных, я отказываюсь от странствия, я не желаю больше уставать! Я покидаю грязную гостиницу своего тела, грубо выстроенную из мяса, красную от крови, крытую отвратительной кожей, полную нечистот, и в награду себе я отхожу, наконец, ко сну в глубочайшие недра абсолютного, в Небытие.

Пламя подымается до его груди, затем окутывает его. Голова его выступает как сквозь отверстие в стене. Его глаза попрежнему широко открыты.

А н т о н и й

встает.

Факел на земле поджег древесные щепки, и пламя опалило ему бороду.

С криком Антоний топчет огонь, и когда остается лишь груда пепла, он произносит:

Где же Иларион? Он только что был здесь.

Я видел его!

Э! нет, невысказано, я ошибаюсь!

Но почему?.. Моя хижина, эти камни, песок, пожалуй, не более реальны. Я схожу с ума. Надо успокоиться. Где я был? что произошло?

А! гимнософист!.. Такая смерть обычна у индийских мудрецов. Каланос сжег себя в присутствии Александра; другой сделал то же во времена Августа. Какою ненавистью к жизни нужно обладать! Если только не гордость толкает их на это?.. Все равно, это — бесстрашие мучеников!.. Ну, а что до них, теперь я верю всему, что мне говорили о распущенности, которую они порождают.

А раньше? Да, вспоминаю! толпа ересиархов... Какие крики! какие глаза! Но почему столько излишеств плоти и заблуждений духа?

И всеми этими путями они думают достичь бога! Какое право я имею проклинать их, я, спотыкающийся на своем пути?



Худ. Ж. Калло.

«Искушение св. Антония».

Когда они исчезли, я был, быть может, уже ближе к истине. Все это крутилось, как в вихре; у меня не было времени ответить. Теперь мой ум словно расширился и просветился. Я спокоен. Я чувствую себя способным... Но что это? как будто я затушил огонь!

Пламя порхает между скал,— и вот чей-то порывистый голос слышится далеко, в горах.

Что это — лай гиены или рыдания заблудившегося путника?

Антоний вслушивается. Пламя приближается. И он видит, что приближается женщина, плача и опираясь на плечо человека с седой бородой.

Она покрыта пурпурной мантией в лохмотьях. Он — с обнаженной головой, как и она, в тунике того же цвета; в руках у него бронзовый сосуд, из которого подымается синий огонек.

Антонию страшно — и хочется узнать, кто эта женщина.

Чужеземец (Симон)

Это — девушка, бедное дитя, которое я вожу повсюду с собой.

Он поднимает бронзовый сосуд.

Антоний рассматривает ее при свете колеблющегося пламени.

У нее на лице следы укусов, во всю длину рук рубцы ударов; растрепанные волосы запутались в прорехах ее рубища; глаза кажутся нечувствительными к свету.

Симон

Иногда она остается так подолгу, не говорит, не ест; потом пробуждается — и изрекает удивительные вещи.

Антоний

Правда?

Симон

Энной! Энной! Энной! рассказывай, что ты знаешь!

Она вороочает зрачками, как бы просыпаясь ото сна, медленно проводит пальцами по бровям и говорит скорбным голосом.

Елена (Энной)

У меня в памяти страна изумрудного цвета. Единственное дерево заполняет ее всю.

Антоний трепещет.

В каждом ряду его широких ветвей держится в воздухе чета Духов. Сучья переплетаются вокруг них, как вены тела, и они созерцают круговращение вечной жизни, от корней, погруженных в тень, до вершины, превышающей солнце. Я, на второй ветке, освещала своим лицом летние ночи.

А н т о н и й,

прикасаясь ко лбу.

А! понимаю! голова!

С и м о н,

приложив палец к губам.

Тише!..

Е л е н а

Парус был надут, днище резало пену. Он говорил: «Мне нужды нет, если я возмущу свою родину, если я лишусь царства! Ты будешь принадлежать мне в моем доме!»

Как мила была высокая комната в его дворце! Он покоился на ложе из слоновой кости и, лаская мои волосы, влюбленно пел.

В конце дня я видела оба лагеря, зажигавшиеся сигнальные огни, Улисса у входа в палатку, Ахилла в полном вооружении, правившего колесницей по берегу моря.

А н т о н и й

Но она же совсем безумная! Отчего?..

С и м о н

Тише!.. Тише!..

Е л е н а

Они умастили меня мазями и продали народу, чтобы я забавляла его.

Однажды вечером я стояла с систром в руке, и под мою игру плясали греческие матросы. Дождь лил сплошным потоком на таверну, и чаши горячего вина дымились. Вошел человек, хотя дверь не отворилась при этом.

С и м о н

То был я! я вновь нашел тебя!

Вот она, Антоний, та, кого зовут Сиге, Эннойя, Барбело, Пруникос! Духи, правители мира, завидовали ей и заключили ее в тело женщины.

Она была Еленой Троянской, чью память заклеил поэт Стесихор. Она была Лукрецией, патрицианкой, изнасилованной царями. Она была Далилой, обрезавшей волосы Самсону. Она была той дочерью Израиля, что отдавалась козлам. Она любила блуд, идолопоклонство, ложь и глупость. Она продавала свое тело всем народам. Она пела на всех перекрестках. Она целовала все лица.

В Тире Сирийском она была любовницей воров. Она пила с ними по ночам и укрывала убийц в тепле своего прогнившего ложа.

А н т о н и й

Э! что мне за дело!..

С и м о н

неистово:

Я выкупил ее, говорю тебе, и восстановил в ее славе, так что Гай Цезарь Калигула влюбился в нее, ибо пожелал спать с Луною!

А н т о н и й

Ну?..

С и м о н

Но ведь она и есть Луна! Не писал разве папа Климент, что она была заточена в башню? Триста человек обступили башню кругом, и в каждой из бойниц одновременно увидели луну, хотя в мире лишь одна луна и одна Эннойя!

А н т о н и й

Да... я как будто вспоминаю...

И он погружается в задумчивость.

С и м о н

Невинная, как Христос, умерший за мужчин, она обрекла себя в жертву женщинам. Ибо бессилие Иеговы обнаруживается в грехопадении Адама, и ветхий закон, противный порядку вещей, должен быть отвергнут.

Я проповедовал обновление в колене Ефремовом и Иссахаровом, по потоку Бизор, за озером Уле, в долине Мегиддо, по ту сторону гор, в Бостре и Дамаске. Да придут ко мне те, кто запятнан вином, кто запятнан грязью, кто запятнан кровью, и я очищу их скверны Духом Святым, именованным Минервой у Греков! Она — Минерва! она — Дух Святой! я — Юпитер, Аполлон, Христос, Параклет, великая сила божия, воплощенная в образе Симона!

А н т о н и й

А, это ты!.. так это ты? Но мне ведомы твои преступления! Ты родился в Гиттое, вблизи Самарии. Досифей, твой первый учитель, отослал тебя. Ты проклинаешь святого Павла за то, что он обратил одну из твоих жен, и, побежденный святым

Петром, в страхе и ярости ты бросил в воду мешок со своими фокусами!

С и м о н

Хочешь их?

Антоний смотрит на него, и внутренний голос шепчет в его груди:
«Почему бы и нет?»

Симон продолжает:

Знающий силы Природы и существо Духов должен творить чудеса. Такова мечта всех мудрых — и желание, гложущее тебя; признайся в том!

Окруженный толпами римлян, я взлетал у них в цирке так высоко, что пропадал из глаз. Нерон приказал меня обезглавить; но на землю упала овечья голова вместо моей. Наконец меня заживо погребли; но я воскрес на третий день. Свидетельство — вот я пред тобой!

Он дает ему понюхать свои руки.

Они пахнут трупом. Антоний отступает.

Я могу повелеть — и задвигнутся бронзовые змеи, засмеются мраморные изваяния, заговорят собаки. Я покажу тебе несметное множество золота; я посажу царей на престолы; ты узришь народы, поклоняющиеся мне! Я могу ходить по облакам и по волнам, проходить сквозь горы, являться в образе юноши, старца, тигра и муравья, принять твой облик, дать тебе мой, низводить молнию. Слышишь?

Гремит гром, сверкают молнии.

Се глас Всевышнего! «Ибо Вечный твой бог есть огонь», и все творение исходит от искр сего очага.

Тебе надлежит принять это крещение, — второе крещение, провозвещенное Иисусом и сошедшее однажды на апостолов во время грозы, когда отворено было окно!

Он двигает пламя рукой, медленно, как бы окропляя им Антония.

Мать милосердия, ты, открывающая тайны, дабы покой посетил нас в восьмой обители...

А н т о н и й

воскликает:

Ах! если бы у меня была святая вода!

Пламя гаснет, оставляя за собой клубы дыма. Эннойя и Симон исчезли.

Необычайно холодный, густой и зловонный туман наполняет воздух.

А н т о н и й,

протирая руки, как слепой:

Где я?.. Боюсь, как бы не упасть в пропасть. А крест, наверное, слишком далек от меня...

Ах, какая ночь! какая ночь!

Порыв ветра раздвигает туман,— и он видит двух людей, одетых в длинные белые туники

Первый — высокого роста, с приятным лицом, степенной осанки. Его русые волосы, разделенные пробором, как у Христа, ровно спадают на плечи. Он бросил жезл, который держал в руке, и его спутник принял его с поклоном, какие отвешивают на Востоке.

Этот последний — небольшого роста, толстый, курносый, плотного сложения, с курчавыми волосами, с простодушным лицом.

Оба они босы, с обнаженными головами и запылены, как люди, вернувшиеся из путешествия.

А н т о н и й,

вздрагнув.

Что вам надо? Говорите! Идите прочь!

Д а м и с,

тот, что мал ростом.

Ну-ну!.. добрый отшельник! что мне надо? — Не знаю!
Вот учитель!

Он садится; другой продолжает стоять. Молчание.

А н т о н и й

продолжает:

Итак, вы пришли?..

Д а м и с

О! издалека, очень издалека!

А н т о н и й

А идете?..

Д а м и с,

указывая на другого.

Куда он захочет!

А н т о н и й

Но кто же он?

Д а м и с

Взгляни на него!

А н т о н и й

в сторону.

У него вид святого! Если бы я посмел...

Дым рассеялся. Ночь очень ясная. Луна сияет.

Д а м и с

О чем же ты думаешь, раз ты умолк?

А н т о н и й

Я думаю... О! ни о чем.

Д а м и с

направляется к Аполлонию и несколько раз обходит вокруг него, склонившись, не подымая головы.

Учитель! вот галилейский отшельник, желающий знать начала мудрости.

А п о л л о н и й

Пусть приблизится!

Антоний колеблется.

Д а м и с

Приблизься!

А п о л л о н и й

громовым голосом.

Приблизься! Тебе хотелось бы знать, кто я, что совершил, что я думаю? Не так ли, дитя?

А н т о н и й

Ежели это, однако, может способствовать моему спасению.

А п о л л о н и й

Радуйся, я скажу тебе!

Д а м и с

тихо Антонию.

Непостижимо! Очевидно, он с первого взгляда усмотрел в тебе незаурядные наклонности к философии! Я тогда тоже этим воспользуюсь!

А п о л л о н и й

Я расскажу тебе сначала про длинный путь, который про-

шел я в поисках истинного учения; и если ты найдешь во всей моей жизни дурной поступок, ты остановишь меня, ибо тот, кто творил зло своими делами, должен вводить в соблазн и своими словами.

Д а м и с

Антонию.

Вот это справедливый человек! а?

А н т о н и й

Решительно, я думаю, что он искренен.

А п о л л о н и й

В ночь моего рождения матери моей пригрезилось, будто она рвет цветы на берегу озера. Сверкнула молния — и она произвела меня на свет под пение лебедей, слышавшееся ей в ее сновидении.

До пятнадцатилетнего возраста меня трижды в день погружали в Азбадейский источник, воды которого поражают водяной клятвopеступников, и тело мне растирали листьями книзы, дабы сделать меня целомудренным.

Однажды вечером ко мне пришла пальмирская принцесса, предлагая сокровища, скрытые, как ей было известно, в гробницах. Гиеродула храма Дианы от отчаяния зарезалась жертвенным ножом, а правитель Киликии в заключение своих посулов закричал в присутствии моей семьи, что умертвит меня; но сам умер спустя три дня, убитый римлянами.

Д а м и с

Антонию, подталкивая его локтем.

А? что я говорил! вот это человек!

А п о л л о н и й

Четыре года подряд я хранил полное молчание пифагорейцев. Самое неожиданное горе не исторгало у меня ни вздоха, и когда я входил в театр, от меня отстранялись как от призрака.

Д а м и с

Ну, а ты, мог ли бы ты это сделать?

А п о л л о н и й

По окончании срока моего искуса я стал наставлять жрецов, забывших предание.

А н т о н и й

Какое предание?

Д а м и с

Не мешай ему говорить! Молчи!

А п о л л о н и й

Я беседовал с Саманеями Ганга, с халдейскими астрологами, с вавилонскими магами, с галльскими друидами, с жрецами негров! Я восходил на четырнадцать Олимпов, я изведаль до дна озера Скифии, я измерил громадность пустыни!

Д а м и с

И все это правда, сущая правда! Я тоже был там!

А п о л л о н и й

Сначала я побывал у Гирканского моря. Я обошел его вокруг, и через страну Бараоматов, где погребен Буцефал, я спустился к Ниневию. У городских ворот ко мне подошел человек.

Д а м и с

Это был я, я, мой добрый учитель! Я сразу же тебя полюбил! Ты был нежнее девушки и прекраснее бога!

А п о л л о н и й,

не слушая его.

Он хотел сопровождать меня, служа мне толмачом.

Д а м и с

Но ты ответил, что понимаешь все языки и отгадываешь все мысли. Тогда я облобызал полу твоего плаща и пошел за тобою.

А п о л л о н и й

После Ктесифона мы вступили в земли Вавилонские.

Д а м и с

И сатрап испустил крик, видя человека столь бледного...

А н т о н и й

в сторону.

Что означает...

А поллоний

Царь принял меня стоя, у серебряного трона, в круглой зале, усыпанной звездами, а с купола свешивались на невидимых нитях четыре больших золотых птицы с распростертыми крыльями.

Антоний

мечтательно.

Есть разве на земле такие вещи?

Дамис

Вот это город, Вавилон! все там богаты! Дома выкрашены в синий цвет, двери у них из бронзы и лестницы спускаются к реке.

Чертит по земле палкой.

Вот так, видишь? А потом — храмы, площади, бани, водопроводы! Дворцы покрыты красной медью! а внутри... если бы ты только видел!

А поллоний

На северной стене возвышается башня, а над ней — вторая, третья, четвертая, пятая и еще три других! Восьмая — святылище с ложем. Туда не входит никто, кроме женщины, избранной жрецами для бога Бела. Царь вавилонский поселил меня там.

Дамис

На меня-то почти и не смотрели! Вот я и гулял в одиночестве по улицам. Я расспрашивал про обычаи, посещал мастерские, рассматривал громадные машины, доставляющие воду в сады. Но мне было скучно без Учителя.

А поллоний

Наконец мы покинули Вавилон, и при свете луны вдруг мы увидели эмпузу.

Дамис

Да, да! Она прыгала на своем железном копыте, редела, как осел, скакала по скалам. Он изругал ее, и она исчезла.

Антоний

в сторону.

К чему они клонят?

Аполлоний

В Таксиле, столице пяти тысяч крепостей, Фраорт, царь Ганга, показал нам свою гвардию чернокожих, ростом в пять локтей, а в дворцовых садах, под навесом из зеленой парчи,— огромного слона, которого царицы любили натирать для забавы благовониями. То был слон Пора, сбежавший после смерти Александра.

Дамис

И его нашли в лесу.

Антоний

Они извергают слова, как пьяные.

Аполлоний

Фраорт посадил нас с собой за стол.

Дамис

Что за потешная страна! Государи на попойках развлекаются метанием стрел под ноги пляшущим детям. Но я не одобряю...

Аполлоний

Когда я собрался в дальнейший путь, царь дал мне зонтик и сказал: «У меня есть на Инде табун белых верблюдов. Когда они больше тебе не понадобятся, подуй им в уши. Они возвратятся».

Мы спустились вдоль реки, идучи ночью при свете светляков, сверкавших в бамбуках. Раб насвистывал песню, чтобы отгонять змей, и наши верблюды приседали, проходя под деревьями, как в слишком низкие двери.

Однажды черный ребенок с золотым кадуцеем в руке привел нас в школу мудрецов. Их глава, Ярхас, рассказал мне о моих предках, обо всех моих мыслях, обо всех моих поступках, обо всех моих существованиях. Он был некогда рекою Индом и напомнил мне, что я водил барки по Нилу во времена царя Сезостриса.

Дамис

А мне ничего не говорят, так я и не знаю, кем я был.

Антоний

У них вид смутный, как у теней.

Аполлоний

Мы встретили на морском побережье упившихся молоком

кинокефалов, которые возвращались из похода на остров Тап-робан. Теплые волны выплескивали к нам желтый жемчуг. Амбра хрустела у нас под ногами. Китовые скелеты белели в расщелинах береговых скал. Суша в конце концов стала уже сандалий, и, брызнув к солнцу водой океана, мы повернули вправо, в обратный путь.

Мы возвращались Областью Ароматов, страной Гангаридов, мысом Комарийским, землей Сахалитов, Адрамитов и Гомеритов, затем через Кассанийские горы, Красное море и остров Топазос мы проникли в Эфиопию по царству Пигмеев.

А н т о н и й

в сторону.

Как велика земля!

Д а м и с

И когда мы пришли домой, все те, кого мы знали некогда, уже умерли.

Антоний опускает голову. Молчание.

А п о л л о н и й

продолжает:

Тогда в народе пошел говор обо мне.

Чума опустошала Эфес; я приказал побить камнями старика-нищего.

Д а м и с

И чума прекратилась!

А н т о н и й

Как! он пресекает болезни?

А п о л л о н и й

В Книде я излечил влюбленного в Венеру.

Д а м и с

Да, безумца, который даже обещал жениться на ней. Любить женщину еще туда-сюда, но изваяние — какая глупость! Учитель положил ему руку на сердце, и любовь тотчас угасла.

А н т о н и й

Что? он освобождает от бесов?

Аполлоний

В Таренте несли на костер мертвую девушку.

Дамис

Учитель коснулся ее губ — и она поднялась, призывая мать.

Антоний

Как! он воскрешает мертвых?

Аполлоний

Я предсказал власть Веспасиану.

Антоний

Что! он отгадывает будущее?

Дамис

В Коринфе был...

Аполлоний

Возлежа за столом с ним, на водах Байских...

Антоний

Простите меня, чужеземцы, уже поздно!

Дамис

Юноша по имени Менипп.

Антоний

Нет! нет! ступайте прочь!

Аполлоний

Вошла собака, держа в пасти отрубленную руку.

Дамис

Раз вечером, в предместье, он повстречал женщину.

Антоний

Слышите вы меня? уходите!

Аполлоний

Она стала бродить вокруг стола, неопределенно поглядывая на нас.

Антоний

Довольно!

Аполлоний

Ее хотели прогнать.

Дамис

Ну, Менипп и пошел к ней; они предались любви.

Аполлоний

Постукивая хвостом по мозаике, она положила эту руку на колени Флавия.

Дамис

Но утром, на уроках в школе, Менипп был бледен.

Антоний,

вскакивая.

Еще! А! пусть продолжают, раз нет...

Дамис

Учитель сказал ему: «О прекрасный юноша, ты ласкаешь змею; змея ласкает тебя! Когда же свадьба?» Мы все пошли на свадьбу.

Антоний

Глупо, право, что я слушаю это!

Дамис

Уже в вестибюле бегали слуги, отворялись и затворялись двери; однако не было слышно ни шума шагов, ни шума дверей. Учитель поместился возле Мениппа. Тотчас же невеста разразилась гневом на философов. Но золотая посуда, виночерпии, повара, хлебодары исчезли, крыша улетела, стены рухнули — и Аполлоний остался один; он стоял, а у его ног лежала эта женщина, вся в слезах. То был вампир, удовлетворявший красивых юношей, чтобы пожирать их плоть, ибо нет ничего приятнее для этого рода призраков, чем кровь влюбленных.

Аполлоний

Ежели ты хочешь знать искусство...

Антоний

Я ничего не хочу знать!

Аполлоний

В вечер, когда мы прибыли к воротам Рима...

Антоний

О! да, расскажи мне о папском городе!

Аполлоний

К нам подошел пьяный человек, певший приятным голосом. То была эпиталама Нерона, и он имел право умертвить всякого, кто слушал его невнимательно. Он носил за спиной в ящичке струну с кифары императора. Я пожал плечами. Он бросил нам грязью в лицо. Тогда я развязал пояс и вручил его ему.

Дамис

Прости меня, но ты поступил ошибочно!

Аполлоний

Ночью император призвал меня во дворец. Он играл в кости со Спором, облокотившись левой рукой на агатовый столик. Он обернулся и, насупив свои русые брови, спросил: «Почему ты не боишься меня?» — «Потому что бог, который сделал тебя грозным, сделал меня бесстрашным», отвечал я.

Антоний

в сторону.

Что-то необъяснимое наводит на меня ужас.

Молчание.

Дамис

продолжает пронзительным голосом:

Да и вся Азия может рассказать тебе...

Антоний

порывисто.

Я болен! Оставьте меня!

Дамис

Но слушай же. Он видел из Эфеса, как убили Домициана, который был в Риме.

Антоний,

пытаясь смеяться.

Может ли это быть!

Дамис

Да, в театре, среди бела дня, в четырнадцатую календу октября, внезапно он вскричал: «Кесаря убивают!» и продолжал вешать время от времени: «Он падает на землю; О, как

он отбивается! Он опять поднялся; пытается убежать; двери заперты; а! все кончено! вот он мертв!» И в этот день, действительно, Тит Флавий Домициан был убит, как тебе известно.

А н т о н и й

Без помощи дьявола... разумеется...

А п о л л о н и й

Он, Домициан, хотел умертвить меня! Дамис бежал по моему приказу, а я остался один в темнице.

Д а м и с

То была ужасная смелость, надо признаться!

А п о л л о н и й

В пятом часу солдаты привели меня к трибуналу. Речь моя была готова, и я держал ее под плащом.

Д а м и с

Мы же все были на Пуццоллийском побережье! Мы думали, что ты уже мертв; мы плакали. И вот, в шестом часу, внезапно ты появился и сказал: «Вот я!».

А н т о н и й

в сторону.

Как Он!

Д а м и с

очень громко.

Безусловно!

А н т о н и й

О, нет! вы лжете ведь? право же вы лжете!

А п о л л о н и й

Он сошел с Неба. Я же восхожу туда,— по моей добродетели, вознесшей меня до высоты Начала!

Д а м и с

Тиана, его родной город, посвятила ему храм со жрецами!

А п о л л о н и й

приближается к Антонию и кричит ему в уши:

Ибо я знаю всех богов, все обряды, все молитвы, все оракулы! Я проник в пещеру Трофония, Аполлонова сына! Я месил для сиракузянок пироги, которые они носят в горы! Я выдержал восемьдесят испытаний Мифры! Я прижимал к сердцу змею Сабазия! Я получил повязку Кабиров! Я омывал Кибелу в волнах кампанских заливов, и я провел три луны в пещерах Самофракийских!

Д а м и с

с глупым смехом.

А! ха, ха! на таинствах Благой Богини!

А п о л л о н и й

И ныне мы возобновляем паломничество!

Мы держим путь на север, в край лебедей и снегов. На белой равнине слепые гиппоподы топчут копытами заморские травы.

Д а м и с

Идем! уже заря. Петух пропел, конь проржал, парус натянут.

А н т о н и й

Петух не пел! Я слышу кузнечика в песках и вижу луну, не двинувшуюся с места.

А п о л л о н и й

Мы идем на юг, по ту сторону гор и великих вод, искать в ароматах смысла любви. Ты вдохнешь запах мирродиона, от которого умирают слабые. Ты искупаешь тело в озере розового масла на острове Юноние. Ты увидишь спящую на примулах ящерицу, что пробуждается каждое столетие, когда в пору ее зрелости карбункул падает с ее лба. Звезды трепещут, как очи, каскады поют, как лиры, опьянение источают распутившиеся цветы; твой дух расправит крылья, и вольность озарит и твое сердце и твой лик.

Д а м и с

Учитель! пора! Ветер подымается, проснулись ласточки, чиртовый лепесток улетел!

А п о л л о н и й

Да, в путь!

А н т о н и й

Нет, я остаюсь!

А п о л л о н и й

Хочешь, я расскажу тебе, где растет трава Балис, что воскрешает мертвых?

Д а м и с

Проси у него лучше андродамант, что притягивает серебро, железо и бронзу!

А н т о н и й

О, какие страдания! какие страдания!

Д а м и с

Ты будешь понимать голоса всех тварей, рычание, воркование!

А п о л л о н и й

Ты будешь ездить верхом на единорогах, на драконах, на гиппокентаврах и на дельфинах!

А н т о н и й

плачет.

О! о! о!

А п о л л о н и й

Ты познаешь демонов, что живут в пещерах, тех, что говорят в лесу, тех, что движут волны, тех, что толкают облака.

Д а м и с

Стяни свой пояс! повяжи сандалии!

А п о л л о н и й

Я разъясню тебе смысл изображений богов: почему Аполлон стоит, Юпитер восседает, Венера черна в Коринфе, четырехугольна в Афинах, конусообразна в Пафосе.

А н т о н и й,

складывая руки.

Ушли бы они только! ушли бы они только!

А п о л л о н и й

Я сорву пред тобой доспехи с богов, мы взломаем святыни, я дам тебе изнасиловать Пифию!

А н т о н и й

Помоги, господи!

Он бросается к кресту.

А п о л л о н и й

Чего ты желаешь? о чем мечтаешь? Стоит тебе лишь подумать...

А н т о н и й

Иисус, Иисус, помоги!

А п о л л о н и й

Хочешь, я вызову — и явится Иисус?

А н т о н и й

Что? как?

А п о л л о н и й

То будет он! никто иной! Он сбросит свой венец, и мы поговорим лицом к лицу!

Д а м и с

тихо:

Скажи, что очень хочешь! Скажи, что очень хочешь!

Антоний у подножия креста шепчет молитвы.

Дамис ходит вокруг него с вкрадчивыми жестами.

Ну, добрый отшельник, милый святой Антоний! человек чистый, человек знаменитый! человек достохвальный! Не пугайся: это просто прием словесных преувеличений, взятый с Востока. Это ничуть не мешает...

А п о л л о н и й

Оставь его, Дамис!

Он верит, как невежда, в реальность вещей. Ужас перед богами мешает ему их понять, и он снижает своего бога до уровня ревнивого царя!

Ты же, сын мой, не покидай меня!

Он, пятясь, приближается к краю утеса, переступает его и остается в воздухе.

Превыше всех форм, далее земли, за небесами, пребывает мир Идей, преисполненный Слова! Одним взлетом преодолеем мы другое пространство, и ты постигнешь в его бесконечности Вечное, Совершенное, Сушее! Идем! дай мне руку! в путь!

Оба, рука об руку, плавно поднимаются в воздух. Антоний, обнимая крест, смотрит на них. Они исчезают.

А н т о н и й,

медленно прохаживаясь.

Это стóбит целого ада!

Навуходоносор ослепил меня меньше. Царица Савская столь глубоко не очаровала меня.

Он говорит о богах так, что внушает желание узнать их.

Помню, я сотнями видел их на Элефантинском острове во времена Диоклетиана. Император уступил номадам большую область под условием охраны границ, и договор был заключен во имя «Сил незримых». Ибо боги каждого народа были неведомы другим народам.

Барвары привезли своих богов. Они заняли песчаные холмы по берегу реки. Было видно, как они держат на руках своих идолов, словно больших параличных детей; или же, пlying среди порогов на пальмовых стволах, они показывали издали амулеты у себя на шее, татуировку на груди,— и это не более преступно, чем религия греков, азиатов и римлян!

Когда я жил в Гелиопольском храме, я часто рассматривал изображения на стенах: ястребов со скипетрами, крокодилов, играющих на лире, лица мужчин с телами змей, женщин с коровьей головой, простирающихся перед итифаллическими богами, и их сверхъестественные формы влекли меня в иные миры. Мне хотелось бы знать, что видят эти спокойные глаза.

Материя, чтобы обладать такой силой, должна содержать в себе дух. Душа богов связана с их образами...

Те, чей внешний вид красив, могут соблазнять. Но другие... мерзкие или страшные... как верить в них?..

Мимо него по самой земле движутся листья, камни, раковины, древесные ветви, смутные изображения животных, затем разные карлики, разбухшие от водянки; это — боги. Он раздражается смехом.

Другой смех раздается позади него, и появляется Иларийон в одежде пустычника, гораздо выше ростом, чем раньше, колоссальный.

А н т о н и й

не удивлен, видя его опять.

Ну, и глупцом нужно быть, чтобы поклоняться этому!

И л а р и о н

О, да! необычайным глупцом!

Теперь перед ними проходят идолы всех народов и времен, из дерева, из металла, из гранита, из перьев, из шитых шкур.

Самые древние, допотопной эпохи, совершенно скрыты водо-рослями, свисающими, как гривы. Некоторые, несоразмерно вытя-

нувшиися, трещат в суставах и, ступая, ломают себе поясницы. У других песок сыплется сквозь дыры животов.

Антоний и Иларий потешаются беспредельно. Они хватаются за бока от хохота.

Вслед за тем проходят идолы с бараньим профилем. Они пошатываются на кривых ногах, приподымают веки и бормочут как немые: «Ба! ба! ба!»

По мере того как облик их приближается к человеческому, они все больше раздражают Антония. Он бьет их кулаками, ногами, остервенело бросается на них.

Они становятся страшны — у них высокие перья на головах, выпученные глаза, руки оканчиваются когтями, челюсти, как у акулы.

Перед лицом этих богов людей закалывают на каменных жертвенниках; других толкут в ступах, дают колесницами, пригвозждают к деревьям. Один из богов — весь из раскаленного докрасна железа и с бычьими рогами; он пожирает детей.

А н т о н и й

Ужас!

И л а р и о н

Но ведь боги всегда требуют мук. Даже твой захотел...

А н т о н и й,

плача.

О! не договаривай, замолчи!

Ограда скал превращается в долину. Стадо бычков пасется на скошенной траве.

Пастух смотрит на облако и резким голосом выкрикивает в пространство повелительные слова.

И л а р и о н

Нуждаясь в дожде, он старается песнями принудить небесного царя разверзнуть плодоносную тучу.

А н т о н и й,

смеясь.

Ну, и дурацкая гордость!

И л а р и о н

Зачем же ты произносишь заклинания?

Долина становится молочным морем, неподвижным и беспредельным.

Посреди плавает продолговатая колыбель, составленная из колец змея, все головы которого, одновременно склоняясь, затеяют бога, заснувшего на его теле.

Он молод, безбород, прекраснее девушки и покрыт прозрачными пеленами. Жемчуга его тиары сияют нежно, как луны, четки из звезд в несколько оборотов обвивают его грудь,— и, подложив одну

руку под голову, а другую вытянув, он покоится задумчиво и упоенно.

Женщина, присев на корточка у его ног, ожидает его пробуждения.

И л а р и о н

Вот изначальная двойственность Браминов,— Абсолют не выражается ведь ни в какой форме.

Из пупка бога вырос стебель лотоса, и в его чашечке появляется другой бог, трехликий.

А н т о н и й

Что за диковинка!

И л а р и о н

Отец, сын и дух святой так же ведь образуют одно существо.

Три главы разъединяются, и появляются три больших бога.

Первый — розовый — кусает кончик большого пальца своей ноги.

Второй — синий — двигает четырьмя руками.

У третьего — зеленого — ожерелье из людских черепов.

Перед ними непосредственно возникают три богини — одна завернута в сетку, другая предлагает чашу, третья потрясает луком.

И эти боги, эти богини удесятятся, размножаются. Из их плеч вырастают руки, на концах рук — ладони и пальцы, держащие знамена, топоры, шиты, мечи, зонты и барабаны. Фонтаны бьют из их голов, травы ползут из их ноздрей.

Верхом на птицах, укачиваемые в паланкинах, восседая на золотых тронах, стоя в нишах, они предаются думам, путешествуют, повелевают, пьют вино, вдыхают запах цветов. Танцовщицы кружатся, гиганты преследуют чудовищ; у входов в пещеры размышляют пустынники. Не отличить зрачков от звезд, облаков от флагов; лавины пьют из золотоносных ручьев, шитье шатров смешивается с пятнами леопардов, цветные лучи перекрещиваются в голубом воздухе с летящими стрелами и раскачиваемыми кадильницами.

И все это развертывается как высокий фриз, основанием своим опираясь на скалы и вздымаясь до самых небес.

А н т о н и й,

ослепленный:

Сколько их! чего они хотят?

И л а р и о н

Тот, что почесывает себе брюхо своим слоновым хоботом,— солнечный бог, вдохновитель мудрости.

А этот, о шести головах с башней на каждой и с дротиком в каждой из четырнадцати рук,— князь войск, всепожирающий Огонь.

Старик верхом на крокодиле едет омыть на берегу души умерших. Их будет мучить эта черная женщина с гнилыми зубами, властительница преисподней.

Колесница с рыжими кобылицами, которою правит безногий возничий, везет по лазури владыку солнца. Бог луны сопровождает его в носилках, запряженных тремя газелями.

Коленопреклоненная на спине попугая богиня Красоты протягивает своему сыну Амуру свою круглую грудь. Вот она дальше скачет от радости по лугам. Смотри! смотри! В ослепительной митре она несется по нивам, по волнам, взлетает на воздух, распространяется всюду!

Среди этих богов восседают Гении ветров, планет, месяцев, дней, сто тысяч всяких других! облики их многообразны, превращения их быстры. Вот один из рыбы становится черепахой; голова у него кабанья, туловище карлика.

А н т о н и й

Но зачем?

И л а р и о н

Чтобы восстановить равновесие, чтобы побороть зло. Ведь жизнь иссякает, формы изнашиваются, и они должны совершенствоваться в метаморфозах.

Вдруг появляется

Н а г о й ч е л о в е к ,

сидящий на песке, скрестив ноги.

Широкое сияние трепещет позади него. Мелкие локоны его иссиня-черных волос симметрически окружают выпуклость на его темени. Очень длинные его руки опущены прямо по бокам. Открытые ладони плашмя лежат на бедрах. На подошвах его ног изображены два солнца; и он пребывает в полной неподвижности перед Антонием и Иларионом в окружении всех богов, расположенных по скалам, как на ступенях цирка.

Его уста приоткрываются, и он изрекает низким голосом:

Я — учитель великой милостыни, помощь тварям, и верующих, как и непросвещенных, я наставляю в законе.

Дабы освободить мир, я восхотел родиться среди людей. Боги плакали, когда я покинул их.

Сначала я стал искать подходящую женщину: воинского рода, супругу царя, преисполненную добродетели, чрезвычайно красивую, с глубоким пупком, с телом крепким как алмаз; и во время полнолуния, без посредства самца, я проник в ее утробу.

Я вышел из нее через правый бок. Звезды остановились.

И л а р и о н

бормочет сквозь зубы:

«И узрев звезду остановившеюся, они возрадовались великой радостью!»

Антоний внимательно смотрит на

Б у д д у,

который продолжает:

Из недр Гималаев столетний праведник пришел взглянуть на меня.

И л а р и о н

«Человек именем Симеон, коему не дано было умереть, пока не узрит Христа!»

Б у д д а

Меня приводили в школы, и я превосходил знанием учителей.

И л а р и о н

«...посреди учителей; и все слушавшие его дивились мудрости его».

Антоний делает знак Илариону замолчать.

Б у д д а

Я предавался постоянно размышлениям в садах. Тени деревьев передвигались; но тень того, что укрывало меня, не передвигалась.

Никто не мог сравниться со мной в знании Писания, в исчислении атомов, в управлении слонами, в восковых работах, в астрономии, в поэзии, в кулачном бою, во всех упражнениях и во всех искусствах!

Дабы не отступать от обычая, я взял себе супругу; и я проводил дни в своем царском дворце, одетый в жемчуга, под дождем ароматов, овеваемый опахалами тридцати трех тысяч женщин, взирая на мои народы с высоты террас, украшенных звенящими колокольчиками.

Но вид несчастий мира отвращал меня от наслаждений. Я бежал.

Я нищенствовал по дорогам, покрытый лохмотьями, подобранными в гробницах, и, встретив весьма мудрого отшельника, я захотел стать его рабом; я стерег его дверь, я омывал ему ноги.

Исчезли все ощущения, всякая радость, всякое томление. Затем, сосредоточив мысль на более обширном размышлении, я познал сущность вещей, обманчивость форм.

Я быстро исчерпал науку Браминов. Они снедаемы желаниями под внешней своей суровостью, натираются нечисто-

тамн, спят на шипах, думая достигнуть блаженства путем смерти.

И л а р и о н

«Фарисеи, лицемеры, гробы повапленные, порождение ехидны!»

Б у д д а

Я также творил удивительные вещи — съедая за день всего только одно рисовое зерно, а рисовые зерна в то время были не крупнее, чем ныне; мои волосы выпали, тело мое почернело, глаза, вдавившиеся в орбиты, казались звездами на дне колдца.

Шесть лет я оставался неподвижным, беззащитный от мух, львов и змей; и я подвергался великому зною, великим ливням, снегу, молнии, граду и буре, не прикрываясь от них даже рукой.

Путники, шедшие мимо, полагая меня мертвым, швыряли в меня издали комками земли.

Недоставало мне искушения Дьявола.

Я призвал его.

Сыны его пришли,— мерзостные, покрытые чешуей, смердящие, как кладовые для мяса, с ревом, свистом, мычанием, бряцающая доспехами и костями скелета. Одни изрыгают пламя из ноздрей, другие наводят тьму крыльями, третьи носят четки из отрубленных пальцев, четвертые пьют с ладони змеиный яд; головы у них свиные, носорожьи, жабы,— каких только нет у них морд, и все вызывают ужас и отвращение.

А н т о н и й

в сторону.

Я испытал это когда-то!

Б у д д а

Затем он послал мне своих дочерей — красивых, нарумяненных, в золотых поясах, с зубами белыми, как жасмин, с бедрами круглыми, как хобот слона. Одни, позевывая, вытягивают руки, чтобы показать ямочки на локтях; другие подмигивают, третьи заливаются смехом, четвертые приоткрывают одежды. Есть среди них зардевшиеся от стыда девушки, горделивые матроны, царицы с длинной вереницей рабов и поклажи.

А н т о н и й

в сторону.

А! и он тоже?

Б у д д а

Победив демона, я провел двенадцать лет, питаюсь лишь одними благовониями; и так как я достиг обладания пятью добродетелями, пятью способностями, десятью силами, восемнадцатью субстанциями и проник в четыре сферы незримо-го мира, я овладел Умом! Я стал Буддой!

Все боги склоняются; те, у кого несколько голов, нагибают их все сразу.

Он воздевает ввысь свою руку и продолжает:

Дабы освободить твари, я принес сотни тысяч жертв! Я роздал бедным шелковые одежды, постели, колесницы, дома, груды золота и алмазов. Я отдал свои руки безруким, ноги хромым, глаза слепым; я снес себе голову для обезглавленных. В бытность мою царем я раздавал области; в бытность мою брамином я не презирал никого. Когда я был отшельником, я говорил ласковые слова грабителю, убивавшему меня. Когда я был тигром, я уморил себя голодом.

И в своем последнем существовании, провозвестив закон, я ныне свободен от дел. Великий срок свершился! Люди, животные, боги, бамбуки, океаны, горы, крупинки гангских песков и мириады мириад звезд — все умрет: и вплоть до новых рождений пламя будет плясать на развалинах разрушенных миров!

Тогда безумие овладевает богами. Они шатаются, падают в судорогах и изрыгают свои жизни. Их венцы распадаются, их знамена улетают. Они срывают свои атрибуты, выдирают половые части, бросают через плечо чаши, из которых вкушали бессмертные, душат себя змеями, задыхаются в дыме. И когда все исчезло...

И л а р и о н

медленно:

Ты только что видел верование многих сотен миллионов людей!

Антоний лежит на земле, закрыв лицо руками. Стоя рядом с ним и повернувшись спиной ко кресту, Иларийон глядит на него.

Проходит довольно долгое время.

Затем появляется странное существо с человеческой головой на рыбьем туловище. Оно подвигается, выпрямившись, и бьет хвостом по песку: и эта фигура патриарха с маленькими ручками вызывает смех Антония.

О а н н е с

жалобным голосом:

Почитай меня! Я — современник начала вселенной.

Я жил в бесформенном мире, где под тяжестью густой атмосферы дремали двуполые твари, в пучине темных волн,

когда пальцы, плавники и крылья были нераздельны и глаза без голов плавали как моллюски среди быков с человеческим лицом и змей с собачьими лапами.

Над всей совокупностью этих существ Оморока, согнувшись как обруч, простирала свое тело женщины. Но Бел рассек ее на две части — из одной сотворил землю, из другой — небо; и два взаимно подобных мира созерцают друг друга.

Я, первое сознание Хаоса, восстал из бездны, чтобы уплотнить материю, чтобы упорядочить формы; и я научил людей рыболовству, севу, письму и истории богов.

С тех пор я живу в прудах, оставшихся от Потопа. Но пустыня растет вокруг них, ветер засыпает их песком, солнце пожирает их, и я умираю на своем илистом ложе, глядя на звезды сквозь воду. Я возвращаюсь туда.

Он прыгает и исчезает в Ниле.

И л а р и о н

Это — древний Халдейский бог!

А н т о н и й

иронически:

А каковы же были Вавилонские?

И л а р и о н

Ты можешь их увидеть!

И вот они на площадке четырехугольной башни, возвышающейся над шестью другими башнями, которые, суживаясь кверху, образуют громадную пирамиду. Внизу виднеется большая черная масса, несомненно город, расположенный в равнине. Холодно. Небо темно-синее; трепещет множество звезд.

Посреди площадки возвышается белокаменная колонна. Жрецы в льняных одеждах ходят вокруг, описывая своими движениями как бы крутящееся кольцо, и, подняв головы, они созерцают светила.

И л а р и о н

указывает святому Антонию некоторые из них.

Существует тридцать главных. Пятнадцать смотрят на верх земли, пятнадцать — на низ. Через определенные промежутки одно из них устремляется из верхних областей в нижние, в то время как другое покидает нижние, чтобы подняться к высшим.

Из семи планет две благотворны, две враждебны, три двоякосмысленны; все в мире зависит от этих вечных огней. По их положению и их движению можно предсказать будущее,— и ты попираешь место, священнейшее на земле. Пифагор и Зороастр встретились здесь. Уже двенадцать тысяч лет эти люди наблюдают небо, чтобы лучше познать богов.

А н т о н и й

Светила — не боги.

И л а р и о н

Боги! говорят они; ибо все вокруг нас прейдет,— небо же, как вечность, остается недвижимым.

А н т о н и й

У него есть владыка однако.

И л а р и о н,

указывая на колонну.

Это вот Бел, первый луч, Солнце, Самец!
Другая, которую он оплодотворяет,— под ним!

Антоний видит сад, освещенный светильником. Он — среди толпы, в кипарисовой аллее. Справа и слева дорожки ведут к хижинам в гранатовой роще, защищенной камышовым плетнем.

На большинстве мужчин — остроконечные шапки и одежды, пестрые, как павлинье оперение. Видны северяне в медвежьих шкурах, номады в плащах бурой шерсти, бледные Гангариды с длинными серьгами; и все сословия и народности перемешаны друг с другом, ибо матросы и каменотесы расхаживают бок о бок с князьями в рубиновых тиарах, опирающимися на высокие посохи с чеканными набалдашниками. У всех раздуваются ноздри от одного и того же желанья.

Время от времени толпа расступается, давая дорогу длинной красной повозке, запряженной быками, или ослу, на спине которого покачивается женщина, закутанная в покрывала; и она тоже скрывается, направляясь к хижинам.

Антонию страшно, он хотел бы вернуться назад. Но необъяснимое любопытство влечет его.

У подножия кипарисов женщины присели на корточки, на оленьих шкурах, у всех них вместо диадем — веревочные тесьмы. Некоторые, великолепно разодетые, громким голосом подзывают прохожих. Более робкие уткнулись лицом в рукав, а стоящая позади них матрона, очевидно их мать, увещевает их. Другие, с головой, закутанной черной шалью, и совершенно нагим телом, кажутся издали воплощенными статуями. Как только какой-нибудь мужчина бросит денег им на колени, они встают.

И под листвою слышатся поцелуи,— иногда громкий, пронзительный крик.

И л а р и о н

Это вавилонские девушки продаются, служа богине.

А н т о н и й

Какой богине?

И л а р и о н

Вот она!

И он показывает ему в глубине аллеи, на пороге освещенного грота, глыбу камня, изображающую подовой орган женщины.

А н т о н и й

Срам! что за мерзость приписывать пол божеству!

И л а р и о н

Ты же ведь представляешь его себе живым лицом!

Антония вновь окружает мрак. Он видит в воздухе светящийся круг, лежащий на горизонтальных крыльях.

Это подобие кольца окружает, как слишком просторный пояс, стан маленького человека в митре, с венцом в руке; нижняя часть его тела теряется в больших перьях, образующих как бы юбку.

Это

О р м у з д,

бог персов.

Он порхает, крича:

Мне страшно! Я уже вижу его пасть.

Я победил тебя, Ариман! Но ты начинаешь сызнова!

Вначале, восставая на меня, ты погубил старшего из созданий, Кайоморца, Человека-быка. Затем ты соблазнил первую чету людей — Месхиа и Месхианэ; и ты распространил мрак в сердцах, ты двинул на небо свои полки.

У меня были свои войска, сонмы звезд; и я созерцал внизу под моим престолом отряды светил.

Мой сын, Мифра, жил в неприступном месте. Он принимал в свою обитель души, отпускал их и подымался каждое утро расточать свое богатство.

Блеск тверди небесной отражался землей. Огонь сверкал на горах, — образ другого огня, которым я создал все существа. Дабы охранить его от скверны, мертвецов не сожигали — клюв птиц относил их на небо.

Я установил сроки пастьбы, пахоты, жертвенный лес, форму чаш, слова, произносимые при бессоннице, и мои жрецы пребывали в непрестанных молитвах, дабы благоговение было вечным как бог. Люди очищались водой, возлагали хлебы на алтари, громогласно исповедовались в грехах.

Хома давалось в питье людям, чтобы сообщать им силу.

Покуда духи небес сражались с демонами, дети Ирана преследовали змей. Царь, которому служил на коленях бесчисленный двор, олицетворял мою особу, носил мой головной убор. Его сады обладали великолепием земли небесной, а надгробие изображало его убивающим чудовище, — эмблема Добра, уничтожающего Зло.

Ибо некогда в будущем, благодаря безграничности времени, я должен был окончательно победить Аримана.

Но расстояние меж нами исчезает; ночь надвигается! Ко мне, Амшаспанды, Изеды, Феруеры! На помощь, Мифра! Берись за меч! Каосиак, ты, который должен притти для всеобщего освобождения, защищай меня! Как?.. Никого!

А! я умираю! Ариман, ты — владыка!

Иларион, позавидев Антония, сдерживает крик радости — и Ормузд погружается во мрак.

Тогда появляется

Великая Диана Эфесская,

черная, с эмалевыми глазами, прижав локти к бокам, раздвинув руки, раскрыв ладони.

Львы ползают у нее по плечам; плоды, цветы и звезды перекрещиваются у нее на груди; ниже идут три ряда сосцов, и от чрева до конца ног она повита тесной пеленой, из которой высовываются до половины тела быки, олени, грифы и пчелы. Она видна в белом сиянии, которое исходит от круглого, как полная луна, серебряного диска, помещенного позади ее головы.

Где храм мой?

Где амазонки мои?

Что же со мной... меня, нетленную, охватывает вдруг такая слабость!

Ее цветы увядают. Перезрелые плоды падают. Львы, быки понижают головами; олени пускают слюну в изнеможении; пчелы, жужжа, мрут на земле.

Она сжимает один за другим свои сосцы. Все они пусты, но от отчаянного усилия разрывается ее пелена. Она подхватывает ее снизу, как полу платья, бросает туда животных, цветы — затем исчезает во тьме.

А вдали голоса бормочут, ропшут, воеют, режут и мычат. Ночная мгла еще больше сгустилась от испарений. Падают капли теплого дождя.

Антоний

Как хорошо! запах пальм, трепетание зеленой листвы, прозрачность ручьев! Как хотел бы я лечь ничком на землю, чтобы чувствовать ее у своего сердца; и тогда моя жизнь окунулась бы вновь в ее вечную юность!

Он слышит шум кастаньет и кимвалов, — и в кругу деревенской толпы мужчины в белых туниках с красной каймой ведут осла в богатой сбруе, с убранным лентами хвостом и с накрашенными копытами.

Ящик, покрытый желтым холщовым чехлом, покачивается у него на спине между двух корзин; одна служит для приношений; в ней: яйца, виноград, груши и сыр, птица, мелкие деньги; другая же полна роз, и ведущие осла обрывают их на ходу, посыпая лепестками дорогу перед ним.

У них — серьги в ушах, длинные плащи, волосы заплетены в косы, щеки нарумянены; венки из слив скреплены на лбу медальо-

ном с фигуркой; кинжалы заткнуты у них за пояс, и они потрясают бичами с эбеновой рукояткой о трех ремнях, с вдавленными в них косточками.

Замыкающие процессию ставят на землю прямую, как свечу, высокую сосну, с горячей верушкой, а нижние ветви ее прикрывают барашка.

Осел останавливается. Стаскивают чехол. Под ним — вторая крышка из черного войлока. Тогда один из мужчин в белой тунике пускается в пляс, потрясая кроталами; другой, стоя на коленях перед ящиком, бьет в бубен, и

С т а р е й ш и й и з п р о ц е с с и и

начинает:

Вот Благая Богиня, жительница горы Иды, прародительница Сирии! Приблизьтесь, добрые люди!

Она дарует радость, исцеляет больных, посылает наследства и удовлетворяет влюбленных.

Мы возим ее по полям в погоду и в ненастье.

Часто мы спим под открытым небом, и не каждый день у нас сытный стол. В лесах водятся разбойники. Звери выбегают из берлог. Скользкие дороги ведут по краям пропастей. Вот она! вот она!

Они снимают крышку: под ней виден ящик, выложенный камешками.

Превыше кедров, она царит в голубом эфире. Шире ветра, она объемлет мир. Она дышит ноздрями тигров; голос ее грохочет в вулканах, гнев ее — буря; бледность ее лица побелила луну. От нее зреет жатва, набухает кора, растет борода. Подайте ей что-нибудь, ибо она ненавидит скупцов!

Ящик приоткрывается — и под синим шелковым балдахном виднеется маленькое изображение Кибелы — сверкающей блестящими, в венце из башен; она сидит в колеснице из красного камня, везомой двумя львами с поднятой лапой.

Толпа толкается, стремясь взглянуть.

А р х и г а л л

продолжает:

Она любит звучание тимпанов, топанье ног, завыванье волков, гулкие горы и глубокие ущелья, цвет миндаля, гранаты и зеленые фиги, вихрь пляски, рокот флейт, сладкий сок, соленую слезу, кровь! Тебе! тебе, мать гор!

Они бичуют себя плетью, и удары отдаются у них в груди; кожа бубнов чуть не лопается. Они хватаются за ножи, кромсают себе руки.

Она печальна; будем и мы печальны! В угоду ей надо страдать! Тем снимутся с вас грехи. Кровь оmyвает все; разбрасы-

вайте ее капли как цветы! Она требует крови другого — чистого!

Архигалл заносит нож над ягненком.

А н т о н и й

в ужасе:

Не закалывайте агнца!

Брызжет багряная струя.

Жрец кропит ею толпу, и все, — включая Антония и Иларiona, — стоят вокруг горящего дерева и наблюдают в молчании последние трепетания жертвы.

Из среды жрецов выступает Женщина, — точное подобие изображения, заключенного в ящике.

Она останавливается, увидав юношу во фригийской шапке.

Его бедра обтянуты узкими панталонами, с отверстиями в виде правильных ромбов, завязанными цветными бантами. Он томно облокотился на одну из ветвей дерева, держа в руке флейту.

К и б е л а ;

обнимая его обеими руками.

Чтобы вновь встретиться с тобой, я обошла все страны — и голод опустошал поля. Ты обманул меня! Нужды нет, я люблю тебя! Согрей мне тело! соединимся!

А т и с

Весна уже не вернется, о вечная Мать! При всей моей любви для меня невозможно проникнуть в твою сущность. Я хотел бы облечься в цветную одежду, как у тебя. Я завидую твоим грудям, полным молока, длине твоих волос, твоему обширному лону, откуда исходят твари. Отчего я — не ты! Отчего я — не женщина! — Нет, никогда! уйди! Мой пол ужасает меня!

Острым камнем он оскопляет себя, затем в исступлении принимается бегать, держа в вытянутой кверху руке свой отрезанный член.

Жрецы подражают богу, верные — жрецам. Мужчины и женщины обмениваются одеждами, обнимаются, — и этот вихрь окровавленных тел удаляется, а несмолкающие голоса кричат все пронзительнее, как те, что слышатся на похоронах.

Вверху большого катафалка, обтянутого пурпуром, стоит ложе черного дерева, окруженное факелами и филигранными серебряными корзинами, в которых зеленеет латук, мальвы и укроп. По ступеням сверху донизу сидят женщины, одетые в черное, с распущенными поясами, босые, меланхолически держа в руках большие букеты цветов.

На земле, по углам помоста, медленно курятся алебастровые урны, наполненные миррой

На ложе виден труп мужчины. Кровь течет из его бедра. Рука его свесилась, и собака с воем лижет его ногти.

Слишком тесный ряд факелов мешает разглядеть его лицо, и Антоний охвачен тоской: он боится узнать лежащего.

Рыдания женщины прерываются, и после некоторого молчания

Все

зараз начинают голосить:

Прекрасный! прекрасный! как он прекрасен! Довольно ты спал, подыми голову! Восстань!

Вдохни наших цветов! это нарциссы и анемоны, сорванные в твоих садах в угоду тебе. Очнись, ты пугаешь нас!

Говори же! Что тебе нужно? Хочешь вина? хочешь спать в наших постелях? хочешь медовых хлебцев в виде маленьких птичек?

Прильнем к его бедрам, облобызаем его грудь! Вот! вот! чувствуешь ты, как наши пальцы в перстнях бегают по твоему телу, и наши губы ищут твоих уст, и наши волосы отирают твои ноги, бог в мертвом сне, глухой к нашим мольбам!

Они испускают крики, раздирая себе лица ногтями, затем замолкают,— и все время слышен вой собаки.

Увы! увы! Черная кровь течет по его белоснежному телу! Уже колени его кривятся, бока проваливаются. Цветы его лица омочили пурпур. Он умер! Восплачем! Возрыдаем!

Они подходят, одна за другой, сложить меж факелов свои длинные косы, похожие издали на черных или золотистых змей, и катафалк тихо опускается до уровня пещеры, темной гробницы, зияющей позади.

Тогда

Ж е н щ и н а

склоняется над трупом.

Волосы, которые она не обрезала, окутывают ее с головы до пят. Она проливает столько слез, что ее скорбь не может быть такова, как у других, но превыше всякой человеческой скорби и беспредельна.

Антоний думает о матери Иисуса.

Она говорит:

Ты ускользнул с Востока,— и ты взял меня в свои объятия, всю трепещущую от росы, о солнечный бог! Голуби порхали в лазури твоей мантии, наши поцелуи рождали ветерки в листве, и я отдавалась твоей любви, испытывая удовольствие от своей слабости.

Увы! увы! Зачем пошел ты рыскать по горам? В осеннее равноденствие вепрь ранил тебя!

Ты умер — и источники плачут, деревья никнут, зимний ветер свистит в оголенных кустах.

Мои очи готовы уже сомкнуться, ибо мрак покрывает тебя. Ныне ты обитаешь по другую сторону света, подле моей более могущественной соперницы

О Персефона! все, что прекрасно, нисходит к тебе и не возвращается!

Покуда она говорила, ее подруги подняли мертвеца, чтобы опустить его в гробницу.

Он остается у них в руках. То был всего только восковой труп.

Антоний испытывает облегчение.

Все расплывается, и вновь появляются хижина, скалы, крест. Однако по другую сторону Нила он различает женщину, стоящую среди пустыни.

Она держит в руке конец длинного черного покрывала, скрывающего ее лицо, а на левой ее руке покоится младенец, которого она кормит грудью. Возле нее на песке сидит на корточках большая обезьяна.

Женщина поднимает голсу к небу,— и, несмотря на расстояние, слышится ее голос.

И с и д а

О Нейт, начало вещей! Аммон, владыка вечности, Фта, демиург, Тот, его ум, боги Аменти, особые триады Номов, ястребы в лазури, сфинксы у храмов, ибисы, стоящие между бычьих рогов, планеты, созвездия, морские берега, шептания ветра, отблески света! поведайте мне, где Осирис!

Я искала его по всем каналам и по всем озерам, и еще дальше, до Финикийского Библоса. Прямоухий Анубис прыгал вокруг меня, тьякая и обшаривая мордой заросли тамариндов. Благодарю, милый кинокефал! благодарю!

Она похлопывает дружески обезьяну по голове.

Мерзкий рыжеволосый Тифон убил его, разорвал на клочки! Мы подобрали все члены его тела. Но мне нехватает того, что оплодотворял меня!

Она испускает пронзительные стоны.

А н т о н и й

охвачен яростью Он швыряет в нее камнями, осылая ругательствами:

Бесстыжая! иди прочь! иди прочь!

И л а р и о н

Уважай ее! Такова была религия твоих предков! ты в колыбели носил ее амулеты.

И с н д а

В былые времена, когда возвращалось лето, наводнение гнало в пустыню нечистых животных. Плотины отворялись, барки толкались друг о друга, задыхающаяся земля в опьянении пила реку, а ты, бог с бычьими рогами, простирался на грудь мою — и слышалось мычание вечной коровы!

Посевы, жатвы, молотьба и сбор винограда чередовались правильно, следуя смене времен года. Ночами, всегда ясными, светили крупные звезды. Дни были напоены неизменным блеском. По обе стороны горизонта, как царственная пара, видны были Солнце и Луна.

Мы оба парили в мире более высоком, монархи-близнецы, супруги от лона вечности,— он, держа скипетр с головою кукуфы, я — скипетр с цветком лотоса, стоя, и он и я, соединив руки,— и крушения империи не изменяли нашего положения.

Египет простирался под нами, величавый и строгий, длинный, как коридор храма, с обелисками направо, с пирамидами налево, с лабиринтом посередине,— и повсюду аллеи чудовищ, леса колонн, тяжелые пилоны по бокам дверей, вверху которых — земной шар между двух крыльев.

Животные зодиака паслись на его пастбищах, заполняли своими очертаниями и красками его таинственные письмена. Разделенные на двенадцать частей, как год разделен на двенадцать месяцев,— так что у каждого месяца, у каждого дня свой бог,— они воспроизводили непреложный порядок неба; и человек, умирая, не терял своего образа; но, насыщенный ароматами, становившийся нетленным, он засыпал на три тысячи лет в молчащем Египте.

Этот последний, более обширный, чем тот, другой Египет, простирается под землей.

Туда спускались по лестницам, ведущим в залы, где были воспроизведены радости праведных, мучения злых — все, что имеет место в третьем, незримом мире. Расположенные вдоль стен, мертвецы в раскрашенных гробах ожидали своей очереди; и душа, освобожденная от скитаний, продолжала дремать до пробуждения в новой жизни.

Осирис, между тем, по временам посещал меня. Его тень сделала меня матерью Гарпократа.

Она созерцает дитя.

Это он! Это его глаза! это его волосы, завитые как рога барана! Ты возобновишь его деяния. Мы снова зацветем, как лотосы. Я все та же великая Исида! никто еще не поднял моего покрывала! Мой плод — солнце!

Солнце весны, облака затемняют твой лик! Дыхание Тифона пожирает пирамиды. Я видела только что, как убежал сфинкс. Он упрыгивал как шакал.

Я жду моих жрецов,— моих жрецов в льняных мантиях, с большими арфами, носивших мистический чёлн, украшенный серебряными патерами. Нет более празднеств на озерах! нет праздничных огней в моей дельте! нет чаш с молоком на Филах! Апис уже давно не появлялся.

Египет! Египет! у твоих великих недвижимых богов плечи побелели от птичьего помета, и ветер, проносящийся по пустыне, гонит прах твоих мертвецов! — Анубис, страж теней, не покидай меня!

Кинокефал упал замертво.
Она трясет свое дитя.

Но... что с тобой?.. твои руки холодны, твоя голова никнет!

Гарпократ испустил дух
Тогда она оглашает воздух таким пронзительным, скорбным и раздирающим криком, что Антоний вторит ей своим криком, отрывая объятия, чтобы поддержать ее.

Ее уже нет. Он опускает голову, подавленный стыдом.
Все, что он только что видел, путается у него в уме. Он словно истомлен путешествием, ему не по себе, как от пьянства. Он готов ненавидеть; и, однако, смутная жалость размягчает его сердце. Он разражается слезами.

И л а р и о н

Но по ком ты печалишься?

А н т о н и й,

медленно разбираясь в своих мыслях.

Я думаю о всех душах, загубленных этими лживыми богами!

И л а р и о н

Не находишь ли ты, что у них... иногда... есть какое-то сходство с истинным?

А н т о н и й

Это — козни Дьявола для вящего соблазна верных. Сильных он искушает духовными средствами, других же — плотью.

И л а р и о н

Но сладострастию в его безумствах свойственно бескорыстие покаяния. Неистовая плотская любовь ускоряет разрушение тела и его слабостью провозглашает безмерность невозможного.

А н т о н и й

Что мне за дело до этого! Сердце мое исполняется отвращением пред этими скотскими богами, вечно занятыми убийствами и кровосмешением!

И л а р и о н

Вспомни в Писании все то, что тебя оскорбляет, потому что ты не умеешь понять этого. Так же и в этих богах: под преступными их формами может содержаться истина.

Есть еще что посмотреть. Отвернись!

А н т о н и й

Нет, нет! это погибель!

И л а р и о н

Ты только что хотел познакомиться с ними. Разве вера твоя поколеблется от лжи? Чего ты боишься?

Скалы перед Антонием превратились в гору.

Чреда облаков прорезает ее посредине, а выше нее появляется другая гора, огромная, вся зеленая, неравномерно изборожденная долинами, и на вершине ее, в лавровом лесу,— бронзовый дворец, крытый золотом, с капителями из слоновой кости.

Посреди перистилия, на троне, колоссальный Юпитер с обнаженным торсом держит в одной руке победу, в другой — молнию, и в ногах его орел поднимает голову.

Юнона, подле него, поводит большими очами, а из-под диадемы над ними, как пар, вьется по ветру легкое покрывало.

Позади Минерва, стоя на пьедестале, опирается на копье. Кожа Горгоны покрывает ей грудь, и льняной пеплос спускается правильными складками до пальцев ног ее. Ясные очи, сверкающие под забралом, внимательно смотрят вдаль.

В правой стороне дворца старик Нептун сидит верхом на дельфине, который бьет плавниками великую лазурь неба или моря, ибо даль океана переходит в голубой эфир, обе стихии сливаются.

По другую сторону свирепый Плутон в мантии цвета ночи, с алмазной тиарой и скипетром черного дерева, восседает посреди острова, окруженного излучистым Стиксом; и эта река теней стремится во мрак, зияющий под утесом черной дырой, бесформенной бездной.

Марс, в бронзовых доспехах, яростно потрясает широким щитом и мечом.

Ниже Геракл взирает на него, опершись на палицу.

Аполлон с лучезарным лицом правит, вытянув правую руку, четверкой белых коней, которые скачут; а Церера в повозке, запряженной быками, направляется к нему с серпом в руке.

За нею — Вакх на очень низкой колеснице, которую лениво везут рыси. Жирный, безбородый, с виноградными ветвями на челе, он движется, держа чашу, из которой вино льется через край.

Силен рядом с ним покачивается на осле.

Пан с заостренными ушами дует в свирель, Мималлонеиды бьют в барабаны, Менады бросают цветы, Вакханки кружатся с закинутой головой, с распущенными волосами.

Диана в подобранной тунике выходит из лесу со своими нимфами.

В глубине пещеры Вулкан кует железо среди Кабиров; тут и там старые Реки, облокотившись на зеленые камни, льют воду из своих урн; Музы поют, стоя в долинах.

Оры, все одинакового роста, держатся за руки; и Меркурий, со своим кадуцеем и крылышками, в круглой шапке, склонился на радуге.

Вверху же лестницы богов, среди нежных, как пух облаков, завитки которых, вращаясь, роняют розы, Венера-Анадиомена смотрится в зеркало; ее зрачки томно скользят под тяжеловатыми веками.

У нее — длинные белокурые волосы, вьющиеся по плечам, маленькие груди, тонкая талия, бедра выпуклые, как выгиб лиры, округлые ляжки, ямочки у колен и изящные ступни; оксло ее рта порхает бабочка. Блеск ее тела образует вокруг нее перламутровый ореол; и весь остальной Олимп купается в алой заре, незаметно достигающей высот голубого неба.

Антоний

Ах! грудь моя расширяется. Неведомая прежде радость нисходит в глубину души! Какая красота! какая красота!

Иларийон

Они склонились с высоты облаков, чтобы направлять мечи: их встречали у дорог, их держали у себя дома, — и эта близость обожествляла жизнь.

Ее целью была только свобода и красота. Просторные одежды способствовали благородству движений. Голос оратора, изощренный морем, звучными волнами оглашал мраморные портики. Эфеб, натертый маслом, боролся голый под лучами солнца. Высшим религиозным действием считалось выставлять напоказ безупречные формы.

И эти люди почитали супруг, старцев, нищих. Позади храма Геракла находился алтарь Милосердия.

Заклание жертв совершалось пальцами, обвитыми цветами. Даже воспоминание было свободно от трупного тления: от мертвых оставалась лишь горсть пепла. Душа, слившись с беспредельным эфиром, восходила к богам!

Наклоняясь к уху Антония:

И они все еще живут! Константин император поклоняется Аполлону. Ты найдешь Троицу в Самофракийских мистериях, крещение у Исиды, искупление у Мифры, мучения бога на праздниках Вакха. Прозерпина — Дева!.. Аристей — Иисус.

Антоний

не подымает глаз; потом вдруг повторяет Иерусалимский символ веры. — как он ему напоминает, — испуская при каждом члене его долгий вздох:

Верую во единого бога отца, — и во единого господина Иисуса Христа, сына божия, первородного, воплотившегося и вочеловечившегося, распятого и погребенного, — и восшедшего на небеса, и грядущего судить живых и мертвых, — его же царствию не будет конца; и в единого духа святого, и во едино

крещение, и во едину святую вселенскую церковь,— чаю воскресения мертвых,— и жизни будущего века!

Тотчас крест вырастает и, пронизывая облака, бросает тень на небо богов.

Они бледнеют. Олимп зашатался.

Антоний различает у его подножия огромные, закованные в цепи тела, наполовину скрытые в пещерах или подпирающие плечами камни. То Титаны, Гиганты, Гекатонхейры, Циклопы.

Г о л о с

вздывается неясный и грозный, как рокот волн, как шум лесов в бурю, как рев ветра в бездне:

Мы-то ведали это! наступит конец богам! Урана искалечил Сатурн, Сатурна — Юпитер. И сам он также будет уничтожен. Каждому свой черед: таков уж рок!

и мало-помалу они погружаются в гору, исчезают.

Между тем золотая кровля дворца слетает.

Ю п и т е р

сошел со своего трона. Молния у его ног дымится, как тлеющая головешка, а орел, вытягивая шею, подбирает клювом падающие свои перья.

Итак, я уже не владыка всего, всеблагодй, всевеликий, бог греческих фратрий и племен, прародитель всех царей, Агамемнон небес!

Орел апофеозов, какое дуновение Эреба принесло тебя ко мне? или, улетаая с Марсова поля, несешь ты мне душу последнего императора?

Души людей не нужны мне больше! Пусть хранит их Земля, пусть не возносятся они над ее низким уровнем. Нынче у них сердца рабов, они забывают обиды, предков, клятву; и всюду торжествует глупость толпы, посредственность человека, уродство рас!

Грудь его чуть не разрывается от тяжелого дыхания, и он сжимает кулаки. Геба в слезах подает ему чашу. Он берет ее.

Нет! нет! Пока останется где-либо хоть одна мыслящая голова, ненавидящая беспорядок и понимающая Закон, дух Юпитера будет жить!

Но чаша пуста.

Он медленно наклоняет ее к ногтю пальца.

Ни капли! Когда амброзия иссякает, Бессмертные удаляются!

Чаша выскальзывает у него из рук, и он прислоняется к колонне, чувствуя приближение смерти.

Ю н о н а

Не надо было таких излишеств в любви! Орел, бык, лебедь, золотой дождь, облако и огонь — ты принимал всякие облики, помрачал свой свет во всех стихиях, терял волосы на всех постелях!

Развод неминуем на этот раз,— и наша власть, наше существование распались!

Она исчезает в воздухе.

М и н е р в а

уже без копья; и вóроны, гнездившиеся в скульптурах фриза, кружатся около нее, клюют ее шлем.

Дайте взглянуть, не вернулись ли мои корабли, бороздя сверкающее море, в мои три гавани; дайте взглянуть, почему поля пустынно и что делают ныне девы Афин.

В месяц Гекатолейон весь мой народ направлялся ко мне, ведомый начальниками и жрецами. Потом двигались длинными рядами, в белых одеждах, в золотых хитонах, девы с чашами, с корзинами, с зонтами; за ними — триста жертвенных быков, старцы, махая зелеными ветвями, воины, бряцающая доспехами, эфебы с пением гимнов, флейтисты, лирники, рапсоды, танцовщицы; наконец на мачте триремы, поставленной на колеса, — большое мое покрывало, вышитое девами, вкушавшими особую пищу в течение года; и, показавши его на всех улицах, на всех площадях, и пред всеми храмами, при несмолкаемом пении процессии, его подымали шаг за шагом на холм Акрополя и через Пропилеи ввозили в Парфенон.

Но тревога охватывает меня, искусную! Как! как! ни одной мысли! Я трепещу сильнее женщины.

Она видит позади себя развалины, испускает крик и, пораженная в лоб, падает навзничь.

Г е р а к л

отбросил свою львиную шкуру, и, упиравшись ногами, выгнув спину, кусая губы, он делает непомерные усилия, чтобы поддержать рушавшийся Олимп.

Я победил Кекропов, Амазонок и Кентавров. Я убил многих царей. Я переломил рог Ахелоя, великой реки. Я рассек горы. Я соединил океаны. Страны рабов я освободил; страны пустые я населил. Я прошел Галлию. Я преодолел безводную пустыню. Я защитил богов, и я отделался от Омфалы. Но Олимп слишком тяжел. Мои руки слабеют. Умираю!

Он раздавлен обломками.

П л у т о н

Это твоя вина, Амфитрионид! Зачем сошел ты в мое царство?

Коршун, поедающий внутренности Тития, поднял голову, Тантал омочил губы, колесо Иксиона остановилось.

А ведь Керы простирали когти, чтобы удержат души: Фурии в отчаянии крутили змей на своих головах, и Цербер, посаженный тобою на цепь, хрипел, пуская слюну из своих трех пастей.

Ты оставил дверь приоткрытой. Другие пришли за тобой. Людской день проник в Тартар!

Он погружается во мрак.

Н е п т у н

Мой трезубец уже не поднимает бурь. Чудища, нагонявшие страх, сгнили на дне вод.

Амфитрита, белыми ногами бегавшая по пене, зеленые Нереиды, видневшиеся на горизонте, чешуйчатые Сирены, останавливавшие корабли, чтобы рассказывать сказки, и старые Тритоны, дувшие в раковины,— все умерло! Веселье моря исчезло!

Мне не пережить этого! Широкий Океан, покрой меня!

Он поникает в лазури.

Д и а н а,

одетая в черное и окруженная своими псами, превратившимися в волков.

Приволье великих лесов опьянило меня запахом красного зверя и испареньем болот. Я покровительствовала беременности, и вот женщины рожают мертвых детей. Луна дрожит под чарами колдуний. Я жажду насилия и простора. Хочу испить ядов, потонуть в туманах, в мечтах!..

И мимолетное облако уносит ее.

М а р с

с обнаженной головой, окровавленный.

Вначале я сражался один, вызывая бранными словами целое войско, равнодушный к отечеству, наслаждаясь лишь боем.

Потом у меня оказались соратники. Они шли под звуки флейт, в строю, ровным шагом, дыша из-за щитов, с высокими гребнями на шлемах, копья наперевес. В битву бросались с орлиными криками. Война веселила как пир. Три сотни людей противостояли всей Азии.

Но варвары вновь наступают, и мириадами, миллионами!
Раз сила за числом, за машинами и за хитростью, то лучше
окончить жизнь смертью храброго!

Убивает себя.

Вулкан,

отирая губкой потное тело.

Мир холодеет. Нужно согреть источники, вулканы и реки,
катящиеся металлы под землей! — Бейте крепче! наотмашь!
изо всей силы!

Кабиры ранят себя молотами, ослепляют себя искрами и, ступая ошупью, пропадают во тьме.

Церера,

стоя в колеснице, влекомой колесами с крыльями в ступицах.

Стой! стой!

Правы были, удаляя чужеземцев, безбожников, эпикурейцев и христиан! Тайна корзины раскрыта, святилище осквернено, все погребло!

Она спускается по крутому скату, в полном отчаянии; кричит, рвет на себе волосы.

О! обман! Даира не возвращена мне! Медь зовет меня к мертвым. Это — другой Тартар! Оттуда возврата нет. Ужас!

Бездна поглощает ее.

Вакх

со смехом, в неистовстве:

Не все ли равно! жена Архонта — моя супруга! Сам закон опьянел. Моя — новая песнь и размноженные формы!

Огонь, пожравший мою мать, течет в моих жилах. Пылай сильнее, пусть даже я и погибну!

Самец и самка, благой для всех, отдаюсь вам, Вакханки! отдаюсь вам, Вакханты! и лоза обовьет ствол деревьев! Войте, пляшите, кружитесь! Волю тигру и рабу! оскалив зубы, кусайте тело!

И Пан, Силен, Сатиры, Вакханки, Мималлонеиды и Менады, со змеями, с факелами, в черных масках, швыряются цветами, видят фаллус, целуют его, бьют в тимпаны, потрясают тирсами, бросают друг в друга раковинами, жуют виноград, душат козла и раздирают Вакха на части.

А п о л л о н,

погоняя бичом коней, поседевшие гривы которых развеваются.

Я оставил за собой каменистый Делос, столь чистый, что все ныне словно вымерло там; и я спешу достичь Дельф, пока не иссяк вдохновляющий их пар. Мулы щиплют их лавр. Пропавшая Пифия не находится.

Глубже сосредоточившись, я создам возвышенные поэмы, вечные памятники — и вся материя проникнется трепетом моей кифары!

Он касается струн. Они рвутся, хлестнув его по лицу. Он отбрасывает кифару и в ярости бичует четверку своих коней.

Нет! довольно форм! Дальше, все дальше! К самой вершине! К чистой идее!

Но лошади, пятясь, встают на дыбы, ломают колесницу, и, запутавшись в упряжи, в обломках дышла, он падает в пропасть вниз головой

Небо померкло.

В е н е р а,

полиловевшая от холода, дрожит.

Я своим поясом охватывала весь горизонт Эллады.

Ее поля блистали розами моих ланит, ее берега были вырезаны по форме моих губ, и ее горы, белее моих голубиц, трепетали под рукою ваятелей. Моя душа присутствовала в распорядке празднеств, в форме причесок, в беседе философов, в устройстве государств. Но я слишком нежно любила мужчин! И Амур обесчестил меня!

Плача, падает навзничь.

Ужасен мир. Мне нехватает воздуха!

О Меркурий, изобретатель лиры и проводник душ, возьми меня!

Она прикладывает палец к губам и, описав огромную параболу, падает в пропасть.

Уже ничего не видно. Полная тьма.

Между тем очи Илариона мечут словно огненные стрелы.

А н т о н и й

наконец, обращает внимание на его высокий рост.

Не раз уже, пока ты говорил, мне казалось, что ты растешь,—и то не было обманом зрения. Почему? Объясни мне... Ты вызываешь во мне ужас!

Приближаются чьи-то шаги.

Что такое?

И л а р и о н

протягивает руку.

Смотри!

Тогда, в бледном луче луны, Антоний различает бесконечный караван, который тянется по гребню скал,— и каждый путник, один за другим, падает с крайнего утеса в бездну.

Прежде всего видны три великих бога Самофракийских — Аксиер, Аксиокер, Аксиокерса, связанные в пук, наряженные в пурпур, с воздетыми руками.

Эскулап подвигается с меланхолическим видом, даже не глядя на Самосу и Телесфора, с тоской вопрошающих его. Созиполь элейский, в виде пифона, ползет, выгибаясь кольцами, к бездне. Дэспэней, потеряв голову, сама бросается в нее. Бритомарта, воя от страха, цепляется за петли своей сети. Кентавры мчатся вскачь и, сбивая друг друга, валяются в черную яму.

Позади них, хромая, бредет жалкая толпа нимф. Полевые покрыты пылью; лесные стонут и истекают кровью, раненные топором дровосеков.

Геллуды, Стриги, Эмпусы, все адские богини, из своих крюков, факелов, ехидн составляют пирамиду, а на вершине ее, на коже коршуна, Эврином, синеватый, как мясные мухи, пожирает руки свои.

Затем в вихре одновременно исчезают: Ортия кровожадная, Гимния Орхоменская, Лафрия Патрасцев, Афия Эгинская, Вендида Фракийская, Стимфалия на птичьих ногах. У Триопа вместо трех глаз только три впадины. Эрихтоний, с расслабленными ногами, ползет на руках как калека.

И л а р и о н

Какое счастье видеть их всех в унижении и агонии, не правда ли! Подымись со мной на этот камень — и ты будешь как Ксеркс, делающий смотр войскам.

Там внизу, далеко, различаешь ли ты в туманах русобородого гиганта, у которого окровавленный меч выпадает из рук? Это — скиф Залмоксис между двух планет: Артимпазы-Венеры и Орсилохии-Луны.

Далее возникают из бледных облаков боги, почитавшиеся у киммерийцев, даже за Туле!

Их просторные залы были теплы, и при блеске обнаженных мечей, висящих на сводах, они пили мед из рогов слоновой кости. Они ели китовую печеньку на медных блюдах, чекаренных демонами, или же слушали пленных колдунов, заставляя их играть на каменных арфах.

Они устали! им холодно! Снег тяжелит их медвежьи шкуры, и ноги их видны сквозь дыры в сандалиях.

Они плачут о степях, где на травянистых холмах переводили дух во время битвы, о больших кораблях, рассекавших носом ледяные горы, и о коньках, на которых они скользили

по полярному кругу, держа на воздетых руках небесную твердь, вращавшуюся вместе с ними.

Порыв метели закрывает их.

Антоний смотрит вниз в другую сторону.

И он видит — чернеющие на красном фоне — странные фигуры в подбородниках и наручнях, которые перекидываются мячами, прыгают друг через друга, гримасничают, иступленно пляшут.

И л а р и о н

Это боги Этрурии, бесчисленные Эсары.

Вот Тагет, изобретатель авгуров. Одной рукой он пытается умножить деления неба, а другой — упирается в землю. Пусть вернется в нее!

Нортия рассматривает стену, куда забивала гвозди, отмечая число годов. Вся поверхность ими покрыта, и последний круг времени завершен.

Как два путника, застигнутые грозой, Кастур и Пулутук, дрожа, укрываются под одним плащом.

А н т о н и й

закрывает глаза.

Довольно! довольно!

Но тут по воздуху проносятся, громко шумя крыльями, все капитолийские Победы, закрывая лицо руками и роняя трофеи, которыми они увешаны.

Янус — владыка сумерек — уносится на черном козле; из двух его ликов один уже истлел, другой засыпает от усталости.

Сумман — бог ночного неба — обезглавленный, прижимает к сердцу черствый пирог в форме колеса.

Веста под развалившимся куполом старается оживить свой угасший светильник.

Беллона изрезала себе щеки, но не брызжет кровь, очищавшая поклонявшихся ей.

А н т о н и й

Пощади! они утомляют меня!

И л а р и о н

Было время — они забавляли!

И он показывает ему в боярышниковой роще совершенно нагую женщину — на четвереньках, как животное, с которой совокупляется черный человек, держащий в каждой руке по факелу.

Это — богиня Ариция с демоном Вирбием. Ее жрец, царь леса, должен был быть убийцей; и для беглых рабов, гробкопателей, разбойников с Саларийской дороги, калек с моста

Сублиция, для всего сброда из лачуг Суббурских не было милее религии!

Патрицианки времен Марка-Антония предпочитали Либитину.

И он показывает ему под кипарисами и розовыми кустами другую женщину — одетую в газ. Она улыбается, а вокруг нее — заступы, носилки, черная материя — все принадлежности похорон. Ее алмазы сверкают издали под паутиной. Ларвы, как скелеты, показывают из-за ветвей свои кости, а Лемуры, призраки, расправляют свои крылья летучей мыши.

У края поля бог Терм вырван из земли и пошатнулся, весь покрытый нечистотами.

Посреди борозды рыжие псы пожирают огромный труп Вертумна.

Плача, удаляются от него сельские боги — Сартор, Саррагор, Вервактор, Коллина, Валлона, Гостилин, — все в плащиках с капюшонами, и каждый несет что-нибудь — мотыгу, вилы, решето, рогатину.

И л а р и о н

Их-то души и благословляют виллы с голубятнями, с питомниками и садками, с птичниками, огороженными сетками, с теплыми конюшнями, пахнущими кедром.

Они покровительствовали беднякам, волочившим кандалы по камням Сабинским, сзывавшим рожком свиней, собиравшим гроздь с верхушек вязов, погонявшим по тропинкам ослов, нагруженных навозом. Земледелец, еле переводя дух за сохой, молил их укрепить его мышцы; и пастухи в тени лип, около тыкв с молоком, вторили песням в их честь на флейтах из тростника.

Антоний вздыхает.

И вот посреди комнаты, на возвышении, появляется ложе из слоновой кости, окруженное людьми, держащими в руках еловые факелы.

Это — брачные боги. Они ждут молодую супругу!

Домидука должна была ее привести, Вирго — распоясать ее, Субиго — уложить ее на постель, а Прэма — раздвинуть ей руки, шепча на ухо нежные слова.

Но она не придет! и они отпускают других: Нону и Дециму, ходивших за больными, трех Никсиев-повивальщиков, двух кормилиц — Эдуку и Потину, — и Карну-няньку, чей букет из боярышника отгоняет от ребенка дурные сны.

Позднее Оссипаго укрепила бы ему колена, Барбат дал бы бороду, Стимула — первые желания, Волупия — первое наслаждение, Фабулин научил бы говорить, Нумера — считать, Камена — петь, Конс — размышлять.

Комната опустела, и у постели остается Нения, — столетняя старца, — бормочущая сама для себя причитания, которые она выла над трупами стариков.

Но вскоре голос ее заглушается резкими криками. То:

Домашние лары

на корточках в глубине атрия, одетые в собачьи шкуры, с телом, обвитым цветами, прижавшие руки к щекам и плачущие навзрыд.

Где пища, что уделяли нам за каждой едой, заботы служанки, улыбка хозяйки и веселье ребят, играющих в кости на мозаиках двора? Потом, ставши взрослыми, они вешали нам на грудь свои золотые или кожаные печати.

Что за радость была, когда в вечер триумфа хозяин, входя, обращал к нам влажные глаза! Он рассказывал о битвах,— и тесный дом был горделивее дворца и священен как храм.

Как уютно сидела семья за столом, особенно на другой день после фerals! Нежное чувство к покойникам утишало все ссоры, и, обнимаясь, пили во славу прошлого и за надежды на грядущее.

Но предки из раскрашенного воска, хранящиеся позади нас, медленно покрываются плесенью. Новые поколения, вымещающая на нас свои разочарования, разбили нам челюсти; под зубами крыс искрошились наши деревянные тела.

И бесчисленные боги, охранявшие двери, кухню, погреб, бани, рассеиваются во все стороны под видом огромных ползающих муравьев или больших улетающих бабочек

Тогда говорит

Крепитус

Меня тоже некогда чтили. Совершали мне возлияния. Я был божеством!

Афинянин приветствовал меня как предзнаменование счастья, тогда как набожный римлянин меня проклинал, подняв кулаки, а египетский жрец, воздерживаясь от бобов, трепетал при моем голосе и бледнел от моего запаха.

Когда походный уксус стекал по небритым бородам, когда угощались сырыми жолудями, горохом и луком, и куски козлятины жарились в прогорклом масле пастухов, тогда никто не стеснялся, не заботясь о соседе. От крепкой пищи в животах бурчало. Под деревенским солнцем люди облегчались не спеша.

Так я и не вызывал стыда, подобно другим нуждам житейским, как Мена, мучение дев, и нежная Румина, покровительница кормящей груди, набухшей голубоватыми венами. Я был весел. Я возбуждал смех. И распираясь от удовольствия, благодаря мне, гость давал выход всей своей радости через отверстия тела.

У меня были дни гордости: добряк Аристофан вывел меня на сцену, а император Клавдий Друз посадил за свой стол. Я величественно разгуливал под латиклавами патрициев. Зо-

лотые сосуды звучали подо мной как тимпаны, и когда кишечник владыки, набитый муренами, трюфелями и паштетами, с треском освобождался, насторожившийся мир узнавал, что Цезарь пообедал!

Но ныне я сослан в народ, и даже имя мое вызывает крик возмущения!

И Крепитус удаляется, испуская стон.
Удар грома.

Г о л о с

Я был богом войск, господом, господом богом!

Я раскинул шатры Иакова на холмах и напал в песках мой бежавший народ.

Я — тот, кто спалил Содом! Я — тот, кто поглотил землю потопом! Я — тот, кто утопил фараона с князьями царской крови, с колесницами и возничими его.

Бог ревнивый, я ненавижу других богов. Я стер нечистых; я низложил надменных, и я опустошал направо и налево, как верблюд, пуянный в маисовое поле.

Чтобы освободить Израиль, я избрал простых душою. Ангелы с пламенными крыльями говорили им из кустарников.

Умощенные нардом, киннамоном и миррою, в прозрачных одеждах и в обуви на высоких каблуках, жены с безтрепетным сердцем шли убивать военачальников. Дуновение ветра вдохновляло пророков.

Я начертал мой закон на каменных скрижалях. Он заключил мой народ как в крепость. То был мой народ. Я был его бог! Земля была моя, люди мои — с их помыслами, деяниями, земледельческими орудиями и потомством.

Мой ковчег стоял в тройном святилище, за порфиоровыми завесами и зажженными светильниками. Служило мне целое колено кадивших кадилами и первосвященник в гиацинтовой мантии, с драгоценными камнями на груди, симметрически расположенными.

Горе! горе! Святая-святых отверсто, завеса разодрана, ароматы заклятия развеяны ветрами. Шакал визжит в гробницах; храм мой разрушен, народ мой рассеян!

Священников удавили шнурами одежд их. Жены пленены, все сосуды расплавлены!

Голос удаляется:

Я был богом войск, господом, господом богом!

Наступает великое молчание, глубокая ночь.

А н т о н и й

Все прошли.
Остаюсь я!

Говорит

Н е к т о

И Иларион стоит пред ним, но — преображенный, прекрасный, как архангел, сияющий, как солнце, и столь высокий, что, чтобы видеть его,

А н т о н и й

запрокидывает голову.

Кто же ты?

И л а р и о н.

Царство мое размера вселенной, и желание мое не имеет пределов. Я вечно иду вперед, освобождая дух и взвешивая миры, без ненависти, без страха, без жалости, без любви и без бога. Меня зовут Знание.

А н т о н и й

откидывается назад.

Скорее ты... Дьявол!

И л а р и о н,

вперя в него очи.

Хочешь ты видеть его?

А н т о н и й

уже не может оторваться от этого взгляда: он охвачен любопытством к Дьяволу. Его ужас возрастает, желание становится чрезмерным.

Если бы мне увидеть его однако... если бы мне увидеть его!

Затем в порыве гнева:

Отвращение к нему навсегда избавит меня от него.— Да!

Показывается раздвоенное копыто.

Антоний раскаивается.

Но Дьявол вскинул его на рога и уносит

VI

Он летит под ним, распростершись, как пловец; два широко раскрытых крыла, целиком закрывая его, кажутся облаком.

А н т о н и й

Куда лечу я?

Только сейчас я видел неясно образ Проклятого. Нет! туча меня уносит. Быть может, я умер и восхожу к богу?..

Ах! как вольно дышится! Чистый воздух полнит мне душу. Никакой тяжести! никакого страдания!

Внизу, подо мной, гроза разражается, ширится горизонт, перекрещиваются реки. Это желтоватое пятно — пустыня, эта лужа воды — океан.

И новые океаны появляются, огромные области, неведомые мне. Вот страны черные, дымящиеся как жаровни, зона снегов, всегда затемненных туманами. Стараюсь отыскать горы, куда каждый вечер заходит солнце.

Д ь я в о л

Солнце никогда не заходит!

Антония не удивляет этот голос. Он кажется ему отзвуком его собственной мысли, — ответом его памяти.

Между тем земля принимает форму шара, и он видит, как она вращается в лазури на своих полюсах, вращаясь и вокруг солнца

Д ь я в о л

Итак, она — не центр мира? Людская гордость, смирись!

А н т о н и й

Теперь я едва различаю ее. Она сливается с другими огнями.

Небесная твердь — только звездная ткань.

Они всё поднимаются.

Ни звука! даже орлиного клекота не доносится! Ничего!.. и я склоняюсь, чтобы слышать гармонию планет.

Д ь я в о л

Ты не услышишь их! Ты не увидишь также ни Платонова противоземья, ни Филолаева очага вселенной, ни сфер Аристотеля, ни семи небес Иудеев с великими водами над кристальным сводом!

А н т о н и й

Снизу казался он плотным, как стена.

А между тем я проникаю, я погружаюсь в него!

Перед ним — луна, похожая на круглый кусок льда, наполненный неподвижным светом.

Дьявол

Она была некогда обиталищем душ. Добряк Пифагор снабдил ее даже птицами и великолепными цветами.

Антоний

Я вижу лишь пустынные равнины, с потухшими кратерами, под черным-черным небом.

Направимся к светилам,— чье сияние мягче,— взглянуть на ангелов, держащих их в руках как факелы!

Дьявол

уносит его к звездам

Они и притягивают и отталкивают друг друга одновременно. Действие каждой исходит от других и способствует им без чужого посредства, силой закона — единственной основы порядка.

Антоний

Да... да! мой ум постигает это! Такая радость выше наслаждений любви! Я задыхаюсь, ошеломленный громадностью бога.

Дьявол

Как твердь небесная, уходящая ввысь по мере твоего подъема, он будет расти с вознесением твоей мысли,— и ты будешь ощущать все большую радость от этого открытия мира, в этом расширении бесконечного.

Антоний

О! выше! выше! еще и еще!

Светила множатся, сверкают. Млечный путь разворачивается в зените, как огромный пояс с зияющими дырами; в этих разрывах его блеска простираются дали мрака. Видны звездные дожди, потоки золотой пыли, сияющие шары, плавающие и растворяющиеся

Иногда вдруг проносится комета; затем покой бесчисленных светочей возобновляется.

Антоний, раздвинув руки, опирается на оба рога дьявола, занимая таким образом всю ширину его крыл

С презрением он вспоминает о невежестве былых дней, о мелочности своих грез. Ведь вот они рядом с ним, эти сияющие шары, которые он созерцал снизу. Он различает скрещение их путей, слож-

ность их направлений. Он видит, как они проносятся издалека и, словно камни пращи, описывают свои орбиты, чертят свои гиперболы.

Одним взглядом он видит Южный Крест и Большую Медведицу, Рысь и Кентавра, туманность Дореды, шесть солнц в созвездии Ориона, Юпитера с четырьмя его спутниками и тройное кольцо чуждого Сатурна. Все планеты, все звезды, которые люди позднее откроют. Его глаза наполняются их светом, его мысль переобременена вычислением их расстояний; затем голова его снова никнет

Какая цель всего этого?

Дьявол

Цели нет!

Как мог бы бог иметь цель? Какой опыт мог его научить, какое размышление определить ее?

До начала он не мог бы действовать, а теперь она была бы не нужна.

Антоний

Он создал мир, однако, сразу, словом своим!

Дьявол

Но существа, населяющие землю, являются на ней последовательно. Так же и на небе возникают новые светила, различные следствия разнообразных причин.

Антоний

Разнообразие причин есть воля божия!

Дьявол

Но допустить у бога многие волевые акты — значит допустить многие причины и разрушить его единство!

Его воля неотделима от его сущности. Он не мог иметь другой воли, как не мог иметь другой сущности; и так как он существует вечно, то и действие вечно.

Взгляни на солнце! С его краев вырываются высокие пламена, разбрасывая искры, которые рассеиваются, чтобы стать мирами; по ту сторону тех глубин, где ты видишь лишь ночь, другие солнца вращаются, за ними другие, и еще другие, — до бесконечности...

Антоний

Довольно! довольно! Мне страшно! я падаю в бездну.

Дьявол

останавливается и мягко покачивает его.

Небытия нет! пустоты нет! Всюду тела, которые движутся на неподвижной основе Пространства; и так как, если бы оно было ограничено чем-либо, оно было бы уже не пространством, а телом, то у него нет пределов.

А н т о н и й

в полном недоумении.

Нет пределов!

Д ь я в о л

Поднимайся в небо все выше и выше,—ты никогда не достигнешь вершины! Спускайся под землю миллиарды миллиардов веков — ты никогда не дойдешь до дна, ибо нет ни дна, ни вершины, ни верха, ни низа, никакого конца, и Протяженность заключена в боге, который есть вовсе не кусок пространства той или иной величины, но сама безмерность!

А н т о н и й

медленно.

Материя... тогда... составляла бы часть бога?

Д ь я в о л

Почему нет? Можешь ли ты знать, где он кончается?

А н т о н и й

Напротив, я падаю ниц, обращаюсь во прах пред его могуществом!

Д ь я в о л

И ты мнишь его умиловать! Ты говоришь с ним, ты украшаешь его даже добродетелью, благостью, справедливостью, милосердием, вместо того, чтобы признать, что он обладает всеми совершенствами!

Мыслить что-нибудь вне этого — значит мыслить бога вне бога, бытие над бытием. Итак, он единственное Бытие, единственная Субстанция.

Если бы Субстанция могла делиться, она лишилась бы своей природы, не была бы собой, бог не существовал бы более. Итак, он неделим, как бесконечность. И если бы он обладал телом, он состоял бы из частей, он не был бы уже единым, не был бы бесконечным. Итак, он не личность!

А н т о н и й

Как? мои молитвы, мои рыдания, страдания моей плоти, мои пламенные восторги — все это направлено было ко лжи...

в пространство... бесцельно,— как крик птицы, как вихрь сухих листьев!

Он плачет.

О, нет! Есть надо всем кто-то, какая-то великая душа, господь отец, обожаемый моим сердцем и любящий меня!

Дьявол

Ты желаешь, чтобы бог не был богом, ибо, если бы он испытывал любовь, гнев или жалость, он перешел бы от своего совершенства к совершенству большему или меньшему. Он не может снизойти до чувства, не может и вписаться в какую-нибудь форму.

Антоний

Когда-нибудь, однако, я увижу его!

Дьявол

С блаженными,— не так ли? — когда конечное будет наслаждаться бесконечным, в ограниченном месте содержащем абсолютное!

Антоний

Все равно, должен быть рай для добра, как и ад — для зла!

Дьявол

Разве требование твоего ума устанавливает закон вещей? Несомненно, зло безразлично для бога, раз земля вся покрыта им!

По бессилию, что ли, он терпит его или по жестокосердию сохраняет?

Думаешь ты, что он постоянно исправляет мир как несовершенное творение и надзирает за всеми движениями всех существ — от полета бабочки до человеческой мысли?

Если он сотворил вселенную, провидение его излишне. Если Провидение существует, творение несовершенно.

Но зло и добро касаются только тебя,— как день и ночь, удовольствие и мука, смерть и рождение, которые имеют отношение к одному уголку пространства, к особой среде, к частному интересу. Так как одно лишь бесконечное вечно, то существует Бесконечность,— вот и все!

Дьявол постепенно вытягивает все больше и больше свои длинные крылья; теперь они покрывают все пространство.

Антоний

Больше ничего не видит. Силы его падают.

Ужасный холод леденит меня до глубины души. Это превосходит меру страдания! Это — как смерть, которая глубже самой смерти. Я падаю в бездонный мрак. Он входит в меня. Сознание мое разрывается от этого растяжения небытия!

Дьявол

Но вещи доходят до тебя только чрез посредство твоего духа. Как вогнутое зеркало он искажает предметы, и у тебя нет никакого мерила проверить его точность.

Никогда не узнать тебе вселенной в полной ее величине; следовательно, ты не можешь составить себе представления о ее причине, возыметь правильное понятие о боге, ни даже сказать, что вселенная бесконечна, ибо сначала нужно познать Бесконечное!

Форма, быть может, — заблуждение твоих чувств, Субстанция — воображение твоей мысли.

Если только, коль скоро мир есть вечное течение вещей, видимость не есть, напротив, самое истинное, что существует, иллюзия — единственная реальность.

Но уверен ли ты, что видишь? уверен ли ты даже в том, что живешь? Может быть, ничего нет!

Дьявол схватил Антония и, держа его перед собой, смотрит на него, разинув пасть, готовый его пожрать.

Поклонись же мне и прокляни призрак, который ты называешь богом!

Антоний подымает глаза в последнем порыве надежды.
Дьявол покидает его.

VII

Антоний

приходит в себя, лежа навзничь на краю утеса. Небо начинает бледнеть.

Что это — сзет зари или лунный отблеск?

Он пытается встать и снова падает; зубы его стучат.

Однако я чувствую усталость... точно все кости у меня переломаны!

Отчего?

А! это дьявол! припоминаю; он даже повторял мне все то, что я слышал от старого Дидима о мыслях Ксенофана, Гераклита, Мелисса, Анаксагора о бесконечности, о творении, о невозможности познать что-либо!

А я-то поверил, что могу соединиться с богом!

С горьким смехом:

О, безумие! безумие! Моя разве это вина? Молитва невыносима! Сердце мое затвердело, как камень! А когда-то оно преисполнено было любви!..

По утрам на горизонте песок дымился, как пепел кадилыницы; при закате солнца огненные цветы распускались на кресте, и среди ночи часто мне казалось, что все существа и предметы, объединенные общим молчанием, поклонялись со мной господу. О молитвенное очарование, блаженство экстаза, небесные дары! во что превратились вы!

Вспоминается мне странствие мое с Аммоном в поисках уединенной местности для монастырей. Был последний вечер; и мы ускоряли шаг, напевая гимны, идя друг подле друга, не разговаривая. По мере того как опускалось солнце, тени наши удлинялись, как два всё выроставших обелиска, которые как бы шли перед нами. Обламывая наши посохи, мы тут и там втыкали кресты, чтобы отметить место кельи. Ночь надвигалась медленно; черные волны расплзались по земле, а небо все еще было охвачено необозримым розовым сиянием.

Ребенком я забавлялся, строя скиты из камешков. Мать, стоя около, смотрела на меня.

Она, конечно, проклинала меня за мой уход и рвала на себе седые волосы. И ее труп остался лежать в хижине под тростниковой крышей, среди рушащихся стен. Гиена, фыркая, просовывает морду в дыру!.. Ужас! ужас!

Рыдает

Нет, Аммонария не могла ее покинуть!

Где-то она теперь, Аммонария?

Быть может, она в бане снимает с себя одежды одну за другой — сначала плащ, затем пояс, первую тунуку, вторую, более легкую, все свои ожерелья; и пары киннамона окутывают ее нагое тело. Она ложится, наконец, на теплую мозаику. Волосы облекают ее бедра как черным руном, и, слегка задыхаясь в слишком жарком воздухе, она дышит, изогнув стан, выставив вперед груди. Ну вот!.. Восстает моя плоть! В моей тоске терзает меня еще похоть. Две муки зараз, — это слишком! Я не могу больше выносить самого себя!

Он наклоняется и смотрит в пропасть

Упасть туда — значит разбиться насмерть. Нет ничего легче, как покатиться с левого бока; сделать всего одно движение! только одно.

Тогда появляется

Старая женщина

Антоний в ужасе вскакивает. Ему кажется, что он видит свою мать воскресшею.

Но эта женщина гораздо старше и необычайно худа.

Саван, завязанный вокруг головы, спадает с седыми ее волосами до самых ступней ее ног, тонких, как костыли. Блеск зубов, цвета слоновой кости, оттеняет ее землистую кожу. Орбиты глаз полны мрака, и в глубине мерцают пламена, как лампы гробницы.

Она говорит:

Подойди. Кто тебя удерживает?

Антоний,

запинаясь.

Я боюсь совершить грех!

Она

продолжает:

Но ведь царь Саул убил себя! Разия, праведник, убил себя! Святая Пелагея Антиохийская убила себя! Доммина Алепская и две ее дочери, другие три святые, убили себя; и вспомни всех исповедников, которые бежали навстречу палачам в нетерпеливой жажде смерти. Дабы скорее насладиться ею, девы Милетские удушили себя шнурами. Философ Гегезий в Сиракузах так красноречиво проповедовал ее, что люди покидали лупанары и бежали в поля, чтобы повеситься. Римские патриции предают себя ей как разврату.

Антоний

Да, эта страсть сильна! Много анахоретов поддаются ей.

Старуха

Сотворишь деяние, равняющее тебя с богом,— подумай только! Он тебя создал, ты же возьмешь и разрушишь его дело — ты сам, своим мужеством, свободной волей! Наслаждение Герострата не превышало этого наслаждения. И затем твое тело достаточно издевалось над твоей душой, чтобы ты отомстил наконец! Страдать ты не будешь. Все быстро окончится. Чего ты боишься? большой черной дыры! Она ведь пуста, быть может?

Антоний слушает, не отвечая, и с другой стороны появляется

Другая женщина,

молодая и дивно прекрасная. Он принимает ее сначала за Аммонарию

Но она выше ростом, белокура — точно мед, очень полна, с румянами на щеках и розами на голове. Ее длинное платье, увешанное блестками, искрится металлическим светом; мясистые губы кажутся кровавыми, а тяжеловатые веки напоены такой истомой, что можно принять ее за слепую.

Она шепчет:

Живи же, наслаждайся! Соломон проповедует радость!
Иди, куда влечет тебя сердце и вождление очей!

Антоний

Какую мне найти радость? сердце мое устало, очи мои помутились!

Она

продолжает:

Войди в Ракотисское предместье, толкни дверь, выкрашенную в голубое; и когда ты очутишься в атрии, где журчит фонтан, женщина встретит тебя — в белом шелковом пеплосе, вышитом золотом, с распущенными волосами, со смехом, подобным шелканью кроталов. Она искусна. В ласках ее ты вкусишь гордость посвящения и утоление потребности.

Ты не знаешь также тревоги прелюбодеяний, свиданий украдкой, похищений, радости видеть нагою ту, кого уважал в одежде.

Прижимал ли ты к груди своей девушку, любившую тебя? Вспоминаешь ли ты ее пренебрежение стыдом и угрызения совести, исчезающие в потоке тихих слез?

Ты можешь — ведь правда? — представить себе, как вы идете в лесу при свете луны? Вы сжимаете друг другу руки, и трепет пробегает по вашему телу; глаза ваши приближены и изливают друг в друга как бы духовные волны; сердце переполнено, оно разрывается. Какой сладостный вихрь, какое безмерное опьянение!..

Старуха

Нет надобности испытывать наслаждения, чтобы почувствовать их горечь! Достаточно взглянуть на них издали — и отвращение охватит тебя. Ты, наверно, устал от однообразия все тех же действий, от течения дней, от уродства мира, от глупости солнца!

Антоний

О, да! все, что оно освещает, не нравится мне!

Молодая

Отшельник! отшельник! ты найдешь алмазы среди камней, источники под песком, усладу в случайностях, которые презираешь; и даже есть на земле уголки, такие прекрасные, что хочется прижать их к своему сердцу.

Старуха

Каждый вечер, засыпая на ней, ты надеешься, что скоро она покроет тебя!

Молодая

Однако ты веришь в воскресение плоти, то есть в перенесение жизни в вечность!

Покуда она говорила, старуха еще более иссохла; и над ее черепом, совсем облысевшим, летучая мышь описывает в воздухе круги.

Молодая стала еще полнее. Ее платье отливает разными цветами, ноздри дрожат, она маслянисто поводит глазами.

Первая

говорит, раскрывая объятия:

Приди: я утешение, отдых, забвение, вечная ясность!

Вторая,

предлагая свои груди.

Я — усыпительница, радость, жизнь, неиссякаемое счастье!

Антоний поворачивается, чтобы бежать. Каждая кладет ему руку на плечо.

Саван распаивается и обнажает скелет Смерти.

Платье разрывается, и под ним видно все тело Сладострастия, с тонкой талией, огромным задом и длинными волнистыми, развевающимися волосами.

Антоний стоит неподвижно между ними обеими, оглядывая их.

Смерть

говорит ему:

Сейчас или потом — не все ли равно! Ты принадлежишь мне, как солнца, народы, города, цари, горный снег, полевая трава. Я парю выше ястреба, мчусь быстрее газели, настигаю даже надежду, я победила самого сына божия!

Сладострастие

Не противься: я всемогуща! леса оглашаются моими вздохами, волны колеблются моими движениями, добродетель, мужество, благочестие тают в благоухании моих уст. Я сопут-

ствую человеку во всех его поступках,— и у порога могилы он оборачивается ко мне!

С м е р т ь

Я открою тебе то, что ты старался уловить при свете факелов на лице мертвецов или когда ты блуждал по ту сторону Пирамид, в тех великих песках, образовавшихся из людских останков. Время от времени осколок черепа шевелился под твоей сандалией. Ты брал горсть праха, сыпал его между пальцами — и твоя мысль, слившись с ним, погружалась в небытие.

С л а д о с т р а с т и е

Моя бездна глубже! Мраморы внушали грязную любовь. Стремятся к встречам, которые ужасают. Куют цепи, которые проклинают. Откуда идут чары блудниц, сумасбродство грез, безмерность моей печали?

С м е р т ь

Моя ирония превосходит всякую другую! Похороны царей, истребление народа вызывают судороги наслаждения; и войны ведут под музыку, с султанами, со знаменами, с золотыми сбруями, устраивают торжества, дабы лучше почтить меня.

С л а д о с т р а с т и е

Мой гнев стоит твоего. Я вою, кусаюсь. У меня предсмертный пот и вид трупа.

С м е р т ь

Своей серьезностью ты мне обязана,— обнимемся!

Смерть хохочет, Сладострастие ревет. Они обхватывают одна другую и поют вместе:

- Я ускоряю разложение материи!
- Я облегчаю рассеяние зародышей!
- Ты разрушаешь, дабы я возобновляла!
- Ты зачинаешь, дабы я разрушала!
- Усиль мое могущество!
- Оплодотвори мое гниение!

И их голоса, раскаты которых оглашают весь горизонт, достигают такой силы, что Антоний падает навзничь.

Толчки, время от времени, заставляют его приоткрывать глаза; и в окружающем мраке он начинает различать какое-то чудовище.

Перед ним череп в венке из роз. Он возглавляет женское туловище перламутровой белизны. Внизу — усеянный золотыми точками

саван образует как бы хвост; и все тело извивается, подобно гигантскому червю, выпрямившемуся во весь рост.

Видение бледнеет, испаряется.

А н т о н и й

встает.

Опять это был дьявол, и в двойственном своем виде — дух блуда и дух разрушения.

Ни тот, ни другой меня не страшит. Я отвергаю счастье, и я чувствую себя вечным.

Да, смерть — только призрак, покров, местами прикрывающий непрерывность жизни.

Но раз Субстанция едина, почему же формы разнообразны?

Где-то должны существовать первообразы, которых лишь подобиями являются тела. Если бы их можно было увидеть, мы познали бы связь материи с мыслью, в чем и состоит Бытие!

Эти-то образы и были начертаны в Вавилоне на стене храма Бела; они же были изображены на мозаике в гавани Карфагена. Я сам иной раз наблюдал в небе как бы формы духов. Те, кто странствуют по пустыне, встречают животных, превосходящих всякое воображение...

И вот перед ним, по другую сторону Нила, появляется Сфинкс.

Он вытягивает свои лапы, шевелит повязками на лбу и ложится на живот.

Скача, летая, извергая пламя из ноздрей и ударяя по крыльям своим драконьим хвостом, кружит и лает зеленоглазая Химера

Кольца ее волос, откинутые на сторону, путаются в шерсти ее поясицы, а с другого бока свешиваются до земли и движутся при качании всего ее тела.

С ф и н к с

недвижим и глядит на Химеру.

Сюда, Химера! остановись!

Х и м е р а

Нет, никогда!

С ф и н к с

Не бегай так быстро, не залетай так высоко, не лай так громко!

Х и м е р а

Не зови меня больше, не зови меня больше, ибо ты всегда нем!

С ф и н к с

Перестань извергать пламена мне в лицо и выть мне в уши: тебе не расплавить моего гранита!

Х и м е р а

Тебе не словить меня, страшный сфинкс!

С ф и н к с

Ты слишком безумна, чтобы остаться со мной!

Х и м е р а

Ты слишком тяжел, чтобы поспеть за мною!

С ф и н к с

Но куда же ты мчишься так быстро?

Х и м е р а

Я скачу в переходах лабиринта, я парю над горами, я скольжу по волнам, я визжу в глубине пропастей, я цепляюсь пастью за клочья туч; волоча хвостом, я черчу побережья, и холмы повторяют изгиб моих плеч. А ты! я вечно нахожу тебя неподвижным или кончиком когтя рисующим алфавит на песке.

С ф и н к с

Все оттого, что я храню свою тайну! я думаю, исчисляю.

Море волнуется в лоне своем, нивы под ветром колышутся, караваны проходят, пыль разлетается, города рушатся,— мой же взгляд, которого никому не отклонить, устремлен сквозь явления к недостижимому горизонту.

Х и м е р а

Я легка и весела! Я открываю людям ослепительные перспективы с облачным раем и далеким блаженством. Я лью им в душу вечные безумства, мысли о счастье, надежды на будущее, мечты о славе и клятвы любви и доблестные решения.

Я толкаю на опасные странствия и великие предприятия. Своими лапами я изваяла чудеса архитектуры. Я ведь подвела стену колокольчики к гробнице Порсенны и окружила орихалковой стеной набережные Атлантиды.

Я ищу новых благовоний, небывалых цветов, неиспытанных удовольствий. Ежели где-нибудь замечаю я человека, коего дух упокоился в мудрости, я падаю на него и душу.

С ф и н к с

Всех тех, кого волнует жажда бога, я пожрал.

Крепчайшие, чтобы добраться до моего царственного чела, всходят по складкам моих повязок как по ступеням лестницы. Усталость овладевает ими, и они, обессиленные, падают навзничь.

Антоний начинает дрожать

Он уже не перед своей хижинкой, но в пустыне, и по бокам его оба чудовищных зверя, пасти которых касаются его плеч

С ф и н к с

О Фантазия! унеси меня на своих крыльях, чтобы развеять мою печаль!

Х и м е р а

О Неведомый! я влюблена в твои очи! Как гиена в жару, я верчусь вокруг тебя, возбуждая к оплодотворению; жажда его снедает меня.

Раскрой пасть, подыми ноги, взлезь мне на спину!

С ф и н к с

Ноги мои, с тех пор как они вытянуты, не могут уже подняться. Мох, как лишай, обметал мне всю пасть. Я столько размышлял, что мне нечего больше сказать.

Х и м е р а

Ты лжешь, лицемерный сфинкс! Почему ты вечно зовешь меня и вечно отвергаешь?

С ф и н к с

Это ты, неукротимая прихоть, только и знаешь, что вьешься мимо!

Х и м е р а

Моя ли вина? да и в чем? Оставь меня!

Лает.

С ф и н к с

Ты движешься, ты ускользаешь!

Ворчит.

Х и м е р а

Попробуем! — ты давишь меня!

Сфинкс

Нет! невозможно!

И, постепенно погружаясь, он исчезает в песке, тогда как Химера ползает, высунув язык, и удаляется, описывая круги.

Ее дыхание произвело туман.

В его густых парах Антонию видятся скопления облаков в неясных завитках.

Наконец он различает как бы очертания человеческих тел.

И вот сначала приближается

Кучка Астоми,

похожих на пузырьки воздуха, пронизанные солнцем.

Не дыши слишком сильно! Капли дождя смертоносны для нас. Фальшивые звуки нас ранят, мрак ослепляет. Состоя из ветерков и благовоний, мы кружимся, мы носимся — не бесплотные, как грезы, но и не совсем полные существа...

Нисны:

у них по одному глазу, по одной щеке, по одной руке, по одной ноге, по половине тела, по половине сердца. Они говорят очень громко:

Мы привольно живем в половинных наших домах, с половинами жен, с половинками детей.

Блемми,

вовсе лишённые голов.

Наши плечи от этого шире, и ни бык, ни носорог, ни слон не подымут того, что мы.

Нечто вроде черт и смутного отпечатка лица у нас на груди — вот и всё! Мы мыслим своим пищеварением, мы грезим своими выделениями. Наш бог мирно плавает в млечном соке.

Мы прямо идем по нашему пути, через все топи, мимо всех бездн, и мы самые трудолюбивые, самые счастливые, самые достойные люди.

Пигмеи

Славные мы ребята, мы кишим в мире, как блошки и вошки в горбу верблюда...

Нас жгут, нас топят, нас давят — и вечно мы вновь возникаем, еще живучее и еще многочисленнее, — в ужасном количестве!

Скиаподы

Прикрепленные к земле нашими волосами, длинными как лианы, мы растем под сенью наших ног, широких как зонты; и свет достигает до нас сквозь толщу наших пят. Никакого беспокойства и никакого труда! Держать голову как можно ниже — вот тайна счастья!

Их поднятые ноги, похожие на древесные стволы, увеличиваются в числе.

И появляется лес. Большие обезьяны бегают в нем на четвереньках: то — люди с псыими головами.

Кинокефалы

Мы прыгаем с ветки на ветку, чтобы высасывать яйца, и мы ощипываем птенцов; потом надеваем себе на головы их гнезда вместо колпаков.

Мы норовим вырвать коровье вымя и выцарапываем глаза рысям; мы гадим с верхушек деревьев и не гнушаемся выставлять напоказ наш срам среди бела дня.

Выдирая цветы, топча плоды, замутняя источники, насилая женщин, мы — господа надо всем — силою наших мышц и яростью нашего сердца.

Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!

Кровь и молоко текут у них по губам. Дождь струится по их мохнатым спинам.

Антоний вдыхает свежесть зеленой листвы.

Листья трепещут, ветви скрипят; и вдруг появляется большой черный олень с головою быка, а меж ушей у него целая заросль белых рогов.

Садхузаг

Мои семьдесят четыре рога полы как флейты.

Когда я поворачиваюсь к южному ветру, они издают звуки, привлекающие ко мне очарованных зверей. Змеи обвиваются вокруг моих ног, осы липнут к моим ноздрям, и попугаи, голуби, ибисы садятся на ветви моих рогов. Слушай!

Он запрокидывает свои рога, и из них раздается невыразимо нежная музыка.

Антоний сжимает грудь обеими руками. Ему кажется, что эта мелодия унесет его душу.

А когда я поворачиваюсь к северному ветру, мои рога, гуще, чем целый полк копий, издают рев; леса содрогаются, реки текут вспять, кожа плодов лопается, и травы становятся дыбом, как волосы труса. Слушай!

Он наклоняет ветви рогов, и из них исходят бессвязные крики;
Антония словно рвут на части.

И его ужас растет при виде

М а р т и х о р а,

гигантского красного льва с человеческим лицом и с тремя рядами зубов.

Лоснящийся багрянец моей шкуры сливается с блеском великих песков. Я выдыхаю ноздрями ужас пустынь. Я изрыгаю чуму. Я поедаю войска, когда они забираются в глушь.

Мои когти изогнуты как буравы, мои зубы зазубрены как пила, а мой закрученный хвост щетинится дротиками, которые я мечу вправо, влево, вперед, назад. Вот! вот!

Мартихор мечет иглами своего хвоста, которые разлетаются как стрелы по всем направлениям. Капли крови падают дождем, щелкая по листве.

К а т о б л е п,

черный буйвол со свиной головой, волочащейся по земле и прикрепленной к плечам тонкой, длинной и дряблой, как пустая кишка, шеей.

Он лежит совершенно плашмя, и его ноги исчезают под огромной жесткошерстой гривой, покрывающей его морду.

Жирный, меланхоличный, дикий, я не трогаюсь с места, чтобы постоянно ощущать под брюхом теплоту грязи. Череп мой так тяжел, что я не могу его приподнять. Медленно я ворочаю им; и, еле раздвинув челюсти, рву языком ядовитые травы, увлажненные моим дыханием. Был случай, что я сожрал собственные лапы, сам того не заметив.

Никто, Антоний, никогда не видел моих глаз, а если кто и видел, так те погибли. Стóбит мне приподнять веки,— мои розовые и пухлые веки,— и ты тотчас умрешь.

А н т о н и й

Ох! этот!.. а... а... А если б я пожелал?.. Его глупость привлекает меня. Нет! нет! не хочу!

Он, не отрывая глаз, смотрит в землю.

Но трава загорается, и в языках пламени подымается

В а с и л и с к,

большой фиолетовый змей с трехлопастным гребнем и с двумя зубами — верхним и нижним.

Берегись, не попадись мне в пасть! Я пью огонь. Огонь — это я, и отовсюду я втягиваю его: из туч, из кремней, из засохших деревьев, из шерсти животных, с поверхности болот.

Мой жар питает вулканы; я порожаю блеск драгоценных камней и цвет металлов.

Г р и ф о н,

лев с клювом коршуна, с белыми крыльями, красными лапами и синей шеей.

Я — властитель волшебных глубин. Мне ведома тайна гробниц, где почивают древние цари.

Цепь, выходящая из стены, поддерживает прямо их головы. Около них, в порфировых бассейнах, любимые ими женщины плавают в черных водах. В залах размещены их сокровища — ромбами, горками, пирамидами, — а ниже, глубоко под могилами, после долгого пути по удушливому мраку, выходишь к золотым рекам с алмазными лесами, к лугам карбункулов, к озерам ртути.

Стоя задом к дверям подземелья и подняв когти, я пылающими зрачками высматриваю тех, кто дерзнул бы приблизиться.

Беспредельная равнина, вся голая до самого горизонта, побелела от костей путников. Пред тобой отворятся бронзовые створы, и ты вдохнешь пары рудников, ты сойдешь в пещеры... Скорей! скорей!

Он роет лапами землю, крича петухом.

Тысячи голосов отвечают ему. Лес дрожит.

И возникает множество разных страшных зверей: Трагелаф — полуолень-полубук; Мирмеколеон — спереди лев, сзади муравей с половыми органами навыворот; пифон Аксар, в шестьдесят локтей, ужаснувший Моисея; огромная ласка Пастинака, мертвящая деревья своим запахом; Престер — своим прикосновением вызывающий столбняк; Мираг — рогатый заяц, живущий на морских островах. Леопард Фалмаат воеет так, что у него лопаются брюхо; трехголовый медведь Сенад раздрает языком своих медвежат; собака Кеп разбрызгивает по скалам голубое молоко своих сосцов. Москиты принимаются жужжать, жабы прыгать, змеи свистеть. Сверкают молнии. Идет град.

Налетают шквалы, неся с собой всякие анатомические диковинки. Головы аллигаторов на ногах косуль, совы с змеиными хвостами, свиньи с мордой тигра, козы с ослиным задом, лягушки, мохнатые как медведи, хамелеоны ростом с гиппопотамов, телята о двух головах — одной плачущей, другой мычащей, четверни-недоноски, связанные друг с другом пуповиной и кружащиеся как волчки, крылатые животы, порхающие как мошки, — чего только тут нет.

Они дождем падают с неба, они вырастают из земли, они текут со скал. Повсюду пылают глаза, режут пасти, выпячиваются груди, вытягиваются когти, скрежещут зубы, плещутся тела. Одни из них рожают, другие совокупаются, а то одним глотком пожирают друг друга.

Задыхаясь от тесноты, размножаясь от соприкосновений, они карабкаются друг на друга, и все движется вокруг Антония в мерном колыхании, как будто почва стала палубой корабля. Он ошу-

щает у своих икр ползание слизняков, на ладонях холод гадюк, и пауки, ткущие паутину, опутывают его своею сетью

Но хоровод чудовищ размыкается, небо вдруг голубеет и

Единорог

появляется на сцену

Вскачъ! вскачъ!

У меня копыта слоновой кости, зубы стальные, голова цвета пурпура, тело белоснежное, а рог на лбу отликает цветами радуги.

Я перебегаю из Халдеи в пустыню татарскую, на берега Ганга и в Месопотамию. Я обгоняю страусов. Мой бег так быстр, что подымает ветер. Я трусь спиной о пальмы. Я катаюсь в бамбуках. Одним прыжком я перескакиваю реки. Голуби летают надо мной. Только девушка может меня обуздать.

Вскачъ! вскачъ!

Антоний глядит ему вслед.

И, не опуская глаз, он видит всех птиц, кормящихся ветром: Гуйта, Ахути, Альфалима, Юкнет Каффских гор, арабских Омаи, в которых воплощаются души убитых людей. Он слышит, как попугаи говорят людским языком, а большие пелазгийские перепончатопалые птицы рыдают как дети или хихикают как старухи.

Соленый воздух ударяет ему в нос. Теперь перед ним плоский морской берег.

Вдали киты пускают фонтанами струи воды, а с самого горизонта приближаются и ползут по песку

Морские звери,

круглые как бурдюки, плоские как лезвия, зазубренные как пилы.

Ты погрузишься с нами в безмерные наши глубины, куда еще никто не сходил!

Разные племена живут в областях Океана. Одни пребывают в обители бурь, другие плавают на воле в прозрачности холодных вод, пасутся как быки на коралловых равнинах, всасывают хоботом морские отливы или несут на плечах груз источников моря.

Фосфорически светятся усы тюленей, чешуя рыб. Морские ежи вертятся колесом, рога Аммона развертываются как канаты, устрицы скрипят своими раковинами, полипы выпускают щупальцы, трепещут медузы, похожие на хрустальные глыбы, плавают губки, анемоны плюются водой; вырастают мхи, водоросли.

И всевозможные растения раскидывают ветви, закручиваются винтом, удлиняются, заостряясь, закругляются веерами Тыквы походят на груди, лианы сплетаются как змеи.

У вавилонских Дедаимов — особых деревьев — вместо плодов — человеечьи головы; Мандрагоры поют, корень Баарас ползает в траве.

Теперь растения уже не отличаются от животных, у полипников, напоминающих сикоморы, руки растут на ветвях.

Антонию кажется, что он видит гусеницу между двух листьев: это — бабочка, она улетает. Он хочет наступить на камешек, — под-

прыгивает серый кузнечик. Насекомые, похожие на розовые лепестки, сидят на кусте; остатки эфемерид лежат на земле снежным покровом.

Затем растения сливаются с камнями. Кремни походят на мозги, сталактиты — на сосцы, железные цветы — на фигурные ткани.

В осколках льда он различает узоры, отпечатки кустов и раковин, — и непонятно: отпечатки ли то предметов, или сами предметы. Алмазы сверкают как глаза, минералы трепещут.

И ему уже не страшно!

Он ложится плашмя, опирается на локти и, затаив дыхание, смотрит.

Насекомые, уже лишенные желудков, продолжают есть; засохшие папоротники вновь зеленеют; недостающие члены вырастают.

Наконец он видит маленькие шаровидные массы, величиной с булавочную головку и покрытые кругом ресницами. Они — в непрерывном трепетании.

А н т о н и й,

безумец.

О счастье! счастье! я видел зарождение жизни, я видел начало движения! Кровь в моих жилах бьется так сильно, что она сейчас прорвет их. Мне хочется летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я желал бы обладать крыльями, чешуею, корой, выдыхать пар, иметь хобот, извиваться всем телом, распространиться повсюду, быть во всем, выделяться с запахами, разрастаться как растения, течь как вода, трепетать как звук, сиять как свет, укрыться в каждую форму, проникнуть в каждый атом, погрузиться до дна материи, — быть самой материей!

День, наконец, настает, и, как подъемлемые завесы шатра, золотые облака, свиваясь широкими складками, открывают небо.

В самой его середине, в солнечном диске сияет лучами лик Иисуса Христа.

Антоний осеняет себя крестным знаменем и становится на молитву

САЛАМБО

В обширной исследовательской литературе за рубежом, посвященной роману «Саламбо», существуют различные точки зрения на вопрос о причинах, в силу которых Гюстав Флобер обратился к сюжету из истории Карфагена. Французские литературоведы высказывали предположение, что стимулом к созданию романа послужило увлечение археологическими раскопками во Франции 50-х годов; будто бы пример близких романисту людей имел важное значение для выбора сюжета романа («Меленис» поэта Луи Буйле, «Роман мумии» Т. Готье, работы ученого Альфреда Мори и писателя Э. Фейдо, посвященные древности). Высказывали даже мнение, что Флобер из отвращения к уже прискучившим, избитым сюжетам из истории Рима и Греции обратился к Карфагену — «стране чудовищ и руин». Писатель Арсен Уссей свидетельствует, что замысел «Саламбо» был подсказан Флоберу Теофилом Готье¹

Литературоведы очень часто ссылаются на признания самого Флобера, оброненные им в письмах 1857—1858 годов, в которых повторяется мысль, что он испытывает потребность уйти из современного ему мира. «Бовари», — писал он, — надолго внушила мне отвращение к мешанским нравам. Быть может, я в течение нескольких лет буду жить роскошным сюжетом, далеко от современного мира, которым я сыт по горло».

В подобных заявлениях писателя, а он делал их неоднократно, таился несомненный политический смысл. Выход в свет романа «Госпожа Бовари» выдвинул Флобера на передний край борьбы за реализм, которая требовала мужества и стойкости, так как велась она в условиях жестокой политической реакции. На автора первой в его творчестве реалистической книги пытались воздействовать и хвалой и угрозой. Правительственный орган даже предложил Флоберу опубликовать его следующий новый роман по пятидесяти сантимов за строчку. «Они хотели меня подкупить», — писал Флобер брату в январе 1857 года. Хотя по суду, возбужденному против его

¹ См. Arsène Houssaye. Les Confessions, t. 6. P. 1891, p. 96.

«Госпожи Бовари», писатель и был оправдан, он, тем не менее, имел основания утверждать в письмах к близким людям, что в случае «рецидива» он очутился бы на «сырой соломе тюремной камеры», приговоренный к пяти годам заключения, и не имел бы возможности напечатать ни одной строчки.

Флобер пришел к замыслу романа «Саламбо» в период разгула политической реакции. Он избрал далекий от современности сюжет, но сколько горечи было в этом бегстве от своего времени!

В годы Второй империи процветала салонная галантно-мифологическая лирика, в которой воспевалась слащаво идеализированная «прекрасная Эллада». Рядом с галантным стилем в разработке античных мотивов, переплетаясь с ним, существовала тенденция изображать античность свирепую, трактованную в духе некоего, как выражались, «жестокого реализма». В этом «свирепом жанре», героизировавшем «подвиги» властителей древнего Рима, подвизались и литераторы и живописцы¹.

Автор «Госпожи Бовари» решительно осудил идеал мещански истолкованной античности. Примечателен факт, что он всю жизнь мечтал написать книгу о героической защите спартанцами Фермопильского ущелья, которая воскресила бы одну из славных страниц античной Греции. Замысел героического повествования остался неосуществленным, но иногда он как бы дает о себе знать на страницах «Саламбо». В отдельных своих моментах «Саламбо» приближается к возвышенному эпическому сказанию, Флобер приходит к пониманию античности в духе Луи Менара, хотя они и были людьми разных политических воззрений.

«Саламбо» посвящена восстанию наемных войск против карфагенской республики в III веке до нашей эры.

Приступив к роману, Флобер хотел строить повествование на солидном фундаменте фактов и различных, пусть даже косвенных, указаний об эпохе, которую он избрал для своего романа. Перед писателем были весьма большие трудности, так как стоял вопрос о художественном воссоздании Карфагена таким, каким он являлся в действительности, а прямых источников было крайне мало. В 146 году до нашей эры римляне, овладев могущественной карфагенской республикой, полностью разрушили город Карфаген.

В первоначальном плане романа (он назывался «Карфаген», а имя героини в нем — Пирра) мотив любви варвара к дочери карфагенского полководца занимал весьма видное место, он даже оттеснял на второстепенное место исторические события.

Флобер предпринял упорную работу «археолога», погрузившись в изучение различного рода трудов и документов. В письмах 1857 года он неоднократно жалуется на тяжесть взятого им на себя труда. Чтение какой-нибудь новой книги вызывало необходимость обращения ко множеству новых книг. «Мой стол,— пишет он,— так завален книгами, что я в них теряюсь».

¹ В стороне от указанных направлений находилась особая тенденция в разработке античного наследия, выросшая на почве разочарования в результатах революции 1848 года. То была попытка пропаганды гражданских и моральных принципов античности, ярко представленная, например, в трудах Луи Менара (1822—1901).

В ходе упорной и кропотливой работы над романом перед писателем возникали большие трудности, связанные с изучением материально-бытовой культуры того времени, с постижением психологии людей, живших в столь далекую от его современности эпоху. Ему по временам казалось, что персонажи романа становятся для него яснее, затем он вновь сознавал, что очень мало продвинулся в понимании сущности своих героев. Он писал романисту Эрнесту Фейдо: «Чтобы можно было сказать об античном персонаже: «Это правдиво!» — надо сделать его сугубо жизненным, ибо кто же видел модель, тип?».

Зимой 1857 года Флобером овладело отчаяние: чувствую, говорил он, что нахожусь на ложном пути и что персонажи этого романа должны говорить иначе. Работа его зашла в тупик. Тогда писатель отправился на место действия романа. Пребывание на побережье Северной Африки (апрель — июнь 1858 г.) обогатило Флобера многими непосредственными впечатлениями. Писатель старался через нее, живую Африку, подойти ближе к Карфагену III века до нашей эры. Вернувшись из путешествия, он уничтожил написанное им начало романа, так как нашел его теперь невыносимо фальшивым.

Судебный процесс над предыдущим романом и толки в печати вокруг создаваемого писателем нового произведения побудили его заявить, что он пишет книгу, которая должна явиться выражением только «чистого искусства». На самом деле писатель создал значительный и яркий социальный роман. Перед исторической линией сюжета отступила на второй план повесть о любви Мато к дочери Гамилькара. Роман получил новое название — «Саламбо», в соответствии с новым именем героини. Правда, Флобер признавался, что в его романе «пьедалст слишком велик для статуи», т. е. что он допустил резкое нарушение пропорций между социально-исторической и романической линиями повествования; следовало, по его мнению, написать еще сотню страниц, посвященных Саламбо.

Для своего исторического романа Флобер использовал огромное количество различного рода источников. Правда, он подчеркивал в своей переписке, что в его романе не должен чувствоваться ученый, «археолог», — в «Саламбо» следует видеть творение художника. Но, верный себе, Флобер должен был проделать громадный труд исследователя, которому помогала пронизательность художника. Так, он столкнулся, например, с довольно существенными различиями в методах исторического исследования у древних (Плутарха, Полибия, Тита Ливия).

Интересные сведения о ливийских племенах, современных Карфагену, Флобер мог найти у Геродота. Одним из наилучших источников по истории Карфагена, которым воспользовался Флобер, была, конечно, «Всеобщая история» Полибия. «Всеобщая история» доставила писателю достоверные сведения о событиях истории конца III и половины II века до нашей эры. Гамилькар, Мато, Спендий, Нар Гавас — герои «неискупимой войны» между Карфагеном и наемниками — фигурируют у Полибия. У Полибия же имеются указания на перипетии кровавой драмы: поход наемников в Сикку, факт невыплаты жалованья наемникам, посольство Гискона и его арест, возвращение Гамилькара и его военные операции, приведшие армию наемников к ущелью Топора...

Писатель воспользовался также историей Тита Ливия, жизнеописаниями Корнелия Непота. Он изучал Библию в переводе Кагена, труды Страбона, Аппиана, Тацита и многих других. При написании романа Флобером

использовались не только древние источники, но и работы современников. Кроме того, он привлек и произведения писателей древности (Вергилия, Лукреция, Лукиана, Силия, Италика и др.).

Работа Флобера над важнейшим источником — «Всеобщей историей» Полибия — показательна для понимания того, какие большие усилия потребовались от художника, прибегающего к домыслу, чтобы использовать сухие и лаконичные показания историка. Сличение одних и тех же фактов, фигурирующих у Полибия и Флобера, обнаруживает разницу между кратким и сдержанным рассказом автора «Всеобщей истории» и драматически выразительными, колоритными описаниями создателя «Саламбо».

У Полибия имеется следующий эпизод: карфагеняне понуждают наемников покинуть город и подождать в Сикке с уплатой жалованья до прибытия остального войска. Для Флобера это беглое замечание историка послужило поводом к созданию сцены, необычайной по мрачному драматизму. Отряд балеаров-пращников, который накануне поздно вечером прибыл в город и не успел уйти с основной массой войск, был зверски уничтожен карфагенянами.

Эта сцена примечательна в двух отношениях: во-первых, Флобер, как видно, далеко выходил за рамки исторического «сценария» Полибия, часто используя его свидетельство как отправной момент. Во-вторых, что существенно важно, рассказ Полибия о «домашней войне» Карфагена ведется на всем своем протяжении в резко враждебном к наемникам духе. Он винит их в буйстве, упрекает в варварской разнузданности и жестокости. Флобер же показывает, как быстро горожане переходят от лести к беспощадной жестокости, обнаружив задержавшийся в Карфагене отряд солдат.

У Полибия отсутствует, например, рассказ о походе наемников в Сикку; Флобер же ввел описание похода, необходимое и для дополнительной характеристики массы наемников и для того, чтобы ввести в действие Спендия и Мато, познакомить с ними читателя, так как они будут играть важную роль в последующих событиях. Конечно, писатель не упустил ни одной подробности из сведений, сообщаемых Полибием, но он делает их либо более конкретными, либо меняет их место, переставляет их так, что они начинают звучать по-новому; порядок чередования различных подробностей подчинен у романиста логике развертывающейся социальной драмы.

Выход романа в свет, — а он имел несомненный успех, — вызвал большое количество критических откликов, карикатур и литературных пародий. Один из критиков, Тайяндье, в статье «Эпический реализм в романе «Саламбо» упрекал писателя в физиологизме, уподоблял его бесстрастному анатому, утверждал, что его реализм бесчеловечен, и т. п.

Тайяндье, Сент-Бёв (он написал три статьи о «Саламбо»), ученый Френер упрекали Флобера за погрешности, допущенные им в области «археологии». Флобер в своих ответах утверждал, что его описания правдивы, и ссылаясь на различного рода документы; он решительно отводил упреки в искажении историко-археологических данных. Вместе с тем Флобер подчеркивал, что он создавал не ученый трактат, а художественное произведение, роман, а поэтому не сопроводил книгу предисловием и специальными примечаниями. Писателю доставили нравственное удовлетворение дружеские письма литераторов — Мишле, Гюго, Леконта де Лиля и других, — поздравлявших его с выходом прекрасной книги

В русской критике шестидесятых годов роман «Саламбо» не встретил

сочувствия. Критики отмечали увлечение Флобера археологией и наличие натуралистических тенденций в романе¹.

Впервые роман был опубликован во Франции в 1862 году издателем Мишелем Леви.

ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

К «Искушению святого Антония» Флобер возвращался неоднократно на протяжении почти всей своей творческой жизни. Первая редакция «Искушения» датируется 1849 годом. Она не увидела света при жизни писателя; ею завершается ранний период творчества Флобера. Над второй редакцией, частично затем опубликованной, Флобер работал в 1856 году. После Парижской Коммуны писатель вернулся к «Искушению». Последняя редакция его философской драмы была напечатана в 1874 году.

Флобер поместил в центре произведения исторически реальное лицо — христианского отшельника III—IV веков нашей эры. Красочная, пышная, изощренно-книжная манера воплощения «искушений» и «видений», сопровождающих Антония, конечно, расходилась с реальным обликом сурового аскета-отшельника. Обширная панорама образов, почерпнутых из всевозможных религиозных учений, символизирует историю заблуждений человеческого разума.

Большое значение в философской драме имеет фигура Илариона-дьявола. Он олицетворяет начало Знания, противопоставленное религиозной вере; в его уста Флобер вкладывает собственные мысли и выводы, исполненные скепсиса и иронии.

В целом же «Искушение святого Антония» является выражением духовной драмы Флобера. В «Искушении» торжествуют пессимистические идеи всеобщей относительности и безысходности, возникавшие у писателя с новой силой после каждого поворота в исторических судьбах Франции.

В данном издании печатается последняя редакция «Искушения святого Антония» 1874 года.

¹ Очерк современной французской литературы («Современник», № 9 за 1863 г., т. ХСVIII, стр. 40). Новости иностранной литературы. Саламбо, новый роман Флобера («Отечественные записки», январь 1863 г., т. CXLVI, стр. 71).

ПРИМЕЧАНИЯ

Абраккас — магическая формула, употреблявшаяся у древних египтян и других восточных народов.

Авгуры — жреческая коллегия в древнем Риме. Авгуры посредством гадания предсказывали будущее и толковали мнимую «волю богов», обманывая народ.

Авдиане — христианская секта, основанная в IV веке Авдием или Удо; он учил, что бог имеет человеческий образ и т. п.

Агамемнон — легендарный царь Аргоса, предводитель ахейского войска во время Троянской войны («Илиада» Гомера).

Агафокл (361—289 гг. до н. э.) — сиракузский тиран, участвовал в военной экспедиции против Карфагена.

Адамиты — секта, существовавшая со II века н. э. Адамиты выступали против христианского аскетизма с проповедью божественности естественных чувств.

Аквариане — сектанты, употреблявшие при исполнении священных обрядов только воду.

Акрополь (верхний город — греч.) — возвышенная и укрепленная часть античного города, служила защитой и убежищем от неприятеля.

Аммон — древнеегипетское божество, особенно почитавшееся в Фивах. *Амфитрита* — в греческой мифологии морская богиня, супруга бога морей Посейдона. Изображалась сидящей на троне рядом с Посейдоном или в раковинообразной колеснице, запряженной дельфинами.

Амфора — глиняный сосуд яйцеобразной формы с узкой шейкой и двумя ручками; предназначался для хранения жидкостей.

Антидикомариты — секта, утверждавшая, что дева Мария после Иисуса имела еще других детей.

Антиохия — город в Сирии, место, где в III—IV веках собирались церковные соборы.

Анубис — у древних египтян бог, покровитель загробного мира и культа мертвых, изображался в виде волка, шакала или человека с головой шакала.

Апис — священный бык, которому поклонялись древние египтяне. Культ Аписа, в котором видели земное воплощение бога Пта — бога творческой силы, покровителя искусств и ремесел, получил особенное распространение в Ливийско-Саисском Египте (центр его — Мемфис).

Аполлон — древнегреческий бог, сын Зевса и Латоны. Культ Аполлона, наиболее почитаемого в древней Греции, в разные периоды имел различное содержание: в нем видели воплощение производительных сил земли, чтили его как бога света. В классическую эпоху Аполлон был олицетворением искусства.

Аполлоний Тианский — странствующий пророк, которому приписывалось чудеса. Жил в I веке н. э. Противники христианства ставили его наряду с Иисусом.

Арианство — христианская ересь, названная по имени священника Ария, жившего в IV веке. Арий отрицал божественность Христа и церковное учение о единой сущности троицы.

Архитрав — балка, перекрывающая пролет между колоннами.

Архонты — высшие должностные лица в древней Греции.

Атис — в восточных религиях умирающее и возрождающееся к жизни божество, воплощающее растительный мир.

Атлант — в древнегреческой мифологии титан, держащий по приказу Зевса на голове и руках небесный свод.

Афанасий (293—373) — александрийский архиепископ, церковный писатель, боролся с арианством.

Ахилл — в древнегреческой мифологии храбрый, непобедимый герой, на теле которого было только одно уязвимое место — пята. Подвиги Ахилла при осаде Трои составляют содержание «Илиады» Гомера.

Аякс — герой Троянской войны, описанной в «Илиаде» Гомера.

Байи — знаменитый римский курорт близ Неаполя.

Бактрия или **Бактриана** — древняя область Средней Азии. В различные исторические эпохи территория Бактрии изменялась; в ее состав входил ряд районов современных Таджикистана, Узбекистана и Туркменской ССР.

Бардесан (II век н. э.) — знаменитый представитель учения гностиков.

Балеары — жители Балеарских островов у берегов западной части Средиземного моря. В VI веке до н. э. Балеарские острова попали под власть Карфагена; балеары — искусные воины-працники — служили в карфагенских и римских войсках.

Беллона — древнеримская богиня войны; у позднейших мифологов — супруга, сестра или дочь Марса, бога войны.

Библ — один из древнейших финикийских городов на восточном берегу Средиземного моря; был центром религиозных культов древней Финикии

Бирса — карфагенская крепость.

Бруттиум или **Бруттий** — область крайнего юга древней Италии (современная Калабрия); там находился ряд греческих колоний.

Ваал — бог неба, солнца, плодородия и земледелия у племен древней Сирии (финикийя, филистимлян и др.); в культе Ваала были распространены человеческие жертвоприношения.

Вакханки — служительницы культа древнеримского бога Вакха (греческого Диониса) — бога плодородия, виноградарства и виноделия. Культ Вакха был связан с религиозными обрядами, носившими характер оргий.

Валентин (II век н. э.) — основатель религиозно-философской секты, названной его именем.

Василид (II век н. э.) — представитель гностической философии.

Велариум — полотняный навес над амфитеатром.

Велиты — римская легковооруженная пехота.

Вендида — фракийское имя Гекаты, в греческой мифологии богини луны, суда и искупления. В Гекате, начиная с V века н. э., видели также покровительницу колдовства и душ умерших.

Венера — древнеиталийская богиня весны, покровительница садов; под влиянием греков была отождествлена с Афродитой, считалась богиней любви и красоты, хотя прежнее значение ее культа сохранялось.

Веспасиан — римский император (I век н. э.).

Весталки — в древнем Риме жрицы богини Весты, покровительницы стад, пищи и домашнего очага. Весталки были связаны обетом сохранения девственности. Культ Весты был в древнем Риме направлен на закрепление норм семейного права.

Волюта — архитектурный орнамент в виде завитков или спирали в верхней части колонны.

Вулкан — италийский бог огня, кузнечного и плавильного искусства (греческий Гефест).

Гадес — приморский и торговый город в древней Испании, финикийская колония, центр финикийского, а затем карфагенского господства на Иберийском полуострове. В 206 году до н. э. Гадесом овладели римляне, вывозившие оттуда рабов и сельскохозяйственные продукты.

Гадрумет — колония Карфагена в Северной Африке.

Галера — древний тип военного гребного судна; гребцы (числом 100—140 на галере) набирались из рабов, осужденных преступников и пленных. Большой галерный флот имели римляне и карфагеняне.

Гамилькар Барка (т. е. молния), год рождения неизвестен, умер в 229 году до н. э. Выдающийся карфагенский полководец в 1-й Пунической войне с Римом. Многократно и удачно нападал на прибрежную Италию из Сицилии, что позволило карфагенянам продержаться на острове до 241 года до н. э. После победы римлян над другим карфагенским полководцем, Ганноном, при Эгидских островах, Гамилькар был вынужден заключить мир с Римом. Возвратившись в Карфаген, он с большим трудом подавил восстание наемных солдат, рабов и зависимого ливийского населения. С 237 года до н. э. Гамилькар продолжал расширять карфагенские владения, завоевал побережье Испании, богатое серебряной рудой. Был убит в борьбе с испанскими племенами.

Ганга — народности, жившие в дельте реки Ганга (Индия).

Ганнон — начальник карфагенского флота, разбитого при Эгидских островах в 241 году до н. э. Вскресе после этого был распят в Карфагене.

Геа — в древнеиталийской религии богиня земли, мать Сатурна — бога посевов, покровителя земледелия.

Геба — в греческой мифологии богиня весны и вечной юности, дочь Зевса и Геры; на пирах богов была виночерпием, в произведениях искусства изображалась в виде молодой девушки, разливающей божественный напиток — нектар.

Гекатонхейры (сторукие — греч.) — сторукие великаны, сыновья бога неба Урана.

Гектор — один из главных героев «Илиады» Гомера, самоотверженный защитник Трои, старший сын троянского царя Приама и Гекубы, муж Андромахи.

Гераклит Эфесский, по прозвищу «темный» (около 530—470 до н. э.) — один из выдающихся представителей древнегреческой материалистической философии.

Гераклея — в «Саламбо» рабовладельческая колония спартанцев на южном берегу Сицилии; опорный пункт карфагенян в Пунических войнах.

Геркулес — римское имя Геракла, одного из самых популярных в греческой мифологии героев, совершившего 12 подвигов. В народных сказаниях греков ему приписывалась большая физическая и моральная сила и любовь к угнетенным.

Герма — скульптурный бюст, возвышающийся на небольшой четырехгранной колонне. Герма изображала обычно голову женщины или греческого бога пастбищ, стад, дорог, торговли — Гермеса. Позднее у греков и римлян гермы увенчивались изображениями других богов и героев.

Гиппо-Зарит (современная Бизерта) — финикийская колония в Северной Африке, была в зависимости от Карфагена.

Гирканское море — древнее название Каспийского моря.

Гностицизм — религиозно-философское течение раннего христианства,

представлявшее смесь христианских религиозных догматов с греческой идеалистической философией, выражало упадочную идеологию, выросшую на почве разложения рабовладельческого общества, пыталось примирить мистическое начало, веру и знание. Гностики разбивались на множество сект.

Гоплиты — тяжеловооруженная пехота в древнегреческих и македонских армиях.

Дельфы — город древней Греции (у подножия горы Парнас); там находились знаменитое святилище Аполлона Пифийского и Дельфийский оракул, «прорицания» которого толковали жрецы

Демург — высшее правительственное лицо в дорических государствах древней Греции; создатель мира у гностиков.

Диана — в римской мифологии богиня охоты, лесов, сестра Аполлона — бога искусств; отождествлялась с древнегреческой Артемидой.

Дидим (IV век н. э.) — руководитель христианской духовной школы в Александрии.

Диоклетиан (около 245—313) — римский император в 284—305 годах.

Диомед — один из героев Троянской войны («Илиада» Гомера), державший сражаться с богами.

Дионисий (III век н. э.) — христианский епископ в Александрии.

Домициан Тит Флавий (51—96) — римский император в 81—96 годах.

Дрепан — порт в Сицилии; там в 249 году до н. э. римский флот был разбит карфагенским военачальником Атарбасом

Дромадер — одногорбый быстроходный верблюд, использовался в военной кавалерии.

Евсевий Кесарийский (263—340) — епископ, известный римский историк церкви.

Елицейские поля — в греческой мифологии обитель блаженных душ.

Зороастр — греческая форма имени мифического пророка Заратустры, который, по преданию, является создателем одной из древневосточных религий.

Иберийцы, иберы — группа племен, населявших древнюю Испанию; иберийцы вербовались в наемные войска Карфагена.

Ида — гора в Малой Азии близ древнего города Трои; равнина между горой и морем — место действия многих греческих мифов.

Иларион — христианский отшельник родом из Сирии, ученик Антония.

Илифия — в греческой мифологии богиня, покровительница рожениц.

Исида — богиня в древнем Египте, сестра и супруга Осириса. Во многих мифах выступала как дочь бога земли Геба и богини неба Нут, наделялась функциями великой волшебницы; в позднем Египте почиталась как символ плодородия и материнства.

Каббалисты, колорбазианцы — гностические секты II—III веков.

Кабиры — древнегреческие божества плодородия, позже — покровители мореплавателей; полагают, что культ Кабирос фригийского происхождения. В эллинистическую эпоху им посвящались мистерии, которые справлялись на греческих островах Самофракии, Лемносе и др.

Каиниты — гностическая секта, почитавшая библейского Каина.

Калигула Гай Цезарь (12—41) — римский император в 37—41 годах.

Каликст — римский папа в начале III века. Известен был своим сребролюбием и безнравственностью.

Камбиз — древнеперсидский царь в VI веке до н. э., сын Кира. В 525 году до н. э. с помощью союзников — финикийских государств и древнегреческих полисов — завоевал Египет.

Каноп — в древности город в Нижнем Египте; был известен благодаря храму Сераписа и оракулу в нем.

Кантабры — одна из народностей на севере древней Испании.

Каппадокийцы — жители Каппадокии, одной из областей на востоке Малой Азии.

Катакомбы — подземные помещения естественного или искусственного происхождения; использовались как места погребения и для совершения религиозных обрядов.

Катапульта — боевая метательная машина, бросала камни, бочки с горючим на расстояние нескольких сот метров, была артиллерийским орудием древних.

Катон Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — известный политический деятель и писатель древнего Рима, представитель римского консерватизма, выступал как защитник аристократических привилегий, настаивал на разрушении Карфагена — сильного горгового конкурента Рима, заканчивал любую свою речь словами: «Кроме того, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен».

Кибела — фригийская богиня, олицетворение матери-природы; культ Кибелы был связан с культом Атиса, ее ежегодно умиравшего и воскресавшего возлюбленного, в Риме стал одним из главных мистических культов.

Кимвал — древний музыкальный ударный инструмент, состоящий из двух медных тарелок.

Кинокефалы — в искусстве древних египтян изображения больших обезьян с псыими головами; по поверью, кинокефалы поклонялись солнцу.

Киприан — христианский деятель и церковный писатель III века.

Кирена — древнегреческая колония на северном побережье Африки, центр Киренаики, области Восточной Ливии.

Клазомен — один из 12 ионийских городов в Малой Азии, на южном берегу Смирнского залива; место рождения философа Анаксагора.

Книд — город в Малой Азии, центр культа Афродиты; там находилась исполненная Праксителем статуя богини.

Когорта — часть римского легиона; в легионе было 10 когорт, в когорте от 360 до 600 солдат.

Колосс — гигантская статуя; особенно известны колоссы Мемнона — две монолитные статуи египетского фараона Аменхотепа III, находящиеся в Фивах. В древней Греции был знаменит колосс Родосский — бронзовая статуя бога солнца Гелиоса высотой в 32 метра.

Колхида — область на Кавказском побережье Черного моря по течению реки Фазис (Рион); там в середине первого тысячелетия до н. э. была основана древнегреческая колония Диоскурия. С Колхидой связаны греческие мифы о золотом руне и походах аргонавтов.

Константин, прозванный великим (274—337), — римский император, перенес столицу империи на восток (Константинополь), провозгласил христианство государственной религией.

Котурны — род высоких башмаков, зашнурованных до колен.

Кротал — ручной ударный музыкальный инструмент древних греков и римлян, похожий на кастаньеты; применялся преимущественно при танцах.

Ксантип — спартанский полководец, приглашенный Карфагеном для борьбы с римлянами во время 1-й Пунической войны. Нанес решительное поражение римскому экспедиционному корпусу под командой консула Атилия Регула (255 до н. э.). Рассказы о неблагодарности карфагенян, якобы умертвивших Ксанטיפа после одержанной им победы, — тенденциозная выдумка.

Ксеркс — царь Персии с 486 до 465 года до н. э.

Кумы — город в Италии на побережье Тирренского моря; местопребывание знаменитой Сивиллы — пророчицы, предсказывавшей будущее.

Купидон — в древнеримской мифологии бог любви, сын Венеры; изображался в виде мальчика с луком и стрелами, соответствовал греческому Эроту.

Лангуста — большой морской съедобный рак.

Ликторы — служители, сопровождавшие высших чиновников в древнем Риме; в качестве служебных отличий носили пучки розог.

Локры — греческая колония в Южной Италии, в III веке до н. э. была подчинена Римом.

Лотос — водяное растение семейства кувшинковых с крупными цветами; лотос почитали древние египтяне и индусы, считая его символом солнца, священным цветком, который раскрывался и закрывался вместе с дневным светилом.

Лузитания — римская провинция в юго-западной части Пиренейского полуострова, была населена иберийским племенем лузитанов; позднее составила основную часть территории Португалии.

Макарий (300—390) — один из египетских отшельников, современник Антония, известен аскетическими самоистязаниями.

Манес или **Мани** (III век н. э.) — основатель секты манихеев, пытавшейся соединить христианство с восточными религиями.

Манипула — тактическое подразделение пехоты в римском легионе, куда входило 30 манипул, расположенных в три линии.

Маркион — один из крупнейших ересиархов II века; отрицал значение ветхого завета для христианской религии.

Марс — в римской мифологии божество полей и урожая, затем бог войны, отчасти соответствует греческому Арею.

Медейя — в древнегреческой мифологии волшебница, при помощи которой муж ее Ясон овладел золотым руном; свирепо отомстила ему за неверность.

Мелькарт (царь города — финик) — в религии древних финикийцев бог солнца, почитался в Тире, позднее в Карфагене. Обряды в честь Мелькарта часто сопровождалась человеческими жертвоприношениями.

Мельпомена — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз — дочерей Зевса, спутниц Аполлона, — покровительница трагедии.

Менады — в древней Греции жрицы экстатического культа бога виноградной лозы и веселья Диониса (Вакха).

Менелай — в древнегреческой мифологии царь Спарты, супруг Елены Прекрасной, похищенной у него троянским царевичем Парисом, что якобы послужило причиной Троянской войны («Илиада» Гомера).

Меркурий — в римской мифологии сын Юпитера, бог торговли, покровитель купцов и путешественников; отождествлялся с греческим Гермесом.

Метапонт — приморский город в Тирренском заливе.

Минерва — в древнем Риме богиня — покровительница ремесел, наук и искусств, олицетворение мудрости; входила с Юпитером и Юноной в состав капитолийской триады божеств, отождествлялась с греческой Афиной-Палладой.

Молох — бог солнца в религии древней Финикии и Карфагена; свирепый культ Молоха сопровождался человеческими жертвоприношениями.

Мурена — морская рыба, высоко ценившаяся римлянами за вкус.

Навуходоносор — вавилонский царь, основатель так называемого нововавилонского царства в VI веке до н. э., вел активную внешнюю политику, воздвиг в Вавилоне много роскошных дворцов и храмов, известен был своей безмерной гордостью.

Нептун — в римской мифологии бог морей, соответствовал греческому Посейдону.

Нереиды — в греческой мифологии морские нимфы, дочери Нерея — бога спокойной морской стихии, олицетворение морских волн; помогали морякам в опасном плаваньи.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император в 54—68 годах, известен как гонитель христианства.

Никея — город в Малой Азии, где в 325 году первый вселенский собор, созданный императором Константином, объявил арианство ересью.

Олимп — горный массив в Греции у берега Салоникского залива; там, по представлениям древних греков, обитали боги.

Омфала — легендарная лидийская царица, в рабство к которой отдан был Геркулес.

Онагр — разновидность дикой лошади; онагром называли также капаульту.

Ориген — христианский писатель II—III веков; учение его о прощении дьявола богом было отвергнуто церковью.

Ормузд — имя верховного божества, олицетворявшего все доброе и прекрасное в религии древнего Ирана; его противник Ариман — носитель зла.

Осирис — одно из главных божеств египетской мифологии, супруг и брат Исиды, принадлежит, подобно Атису, к типу умирающих и возрождающихся богов.

Павел Самосатский (III век) — епископ антиохийский; отрицал божественность Христа, за что был осужден церковью.

Пан — в древнегреческой мифологии бог лесов, покровитель пастбищ, спутник Диониса (Вакха).

Парис — герой «Илиады» Гомера, сын царя Трои Приама, похитивший Елену Прекрасную у мужа ее Менелая, что якобы послужило причиной Троянской войны.

Парфенон — храм богини Афины-девы в Афинах, величайший памятник древнегреческого искусства.

Пергам — столица Пергамского царства на северо-западе Малой Азии, существовавшего в 283—133 годах до н. э., затем перешедшего под непосредственное управление римлян как провинция Азии.

Персефона — у древних греков богиня, дочь Деметры и Зевса, покровительница подземного мира; вошла в состав так называемой элевсинской троицы как божество растительных сил земли. Отождествлялась с Прозериной.

Пифагор (около 580—500 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист и математик; достоверных сведений о жизни и деятельности его не сохранилось. Основал так называемый пифагорейский союз, который представлял собой одновременно философскую школу, аристократическую политическую партию и религиозное братство; учил о бессмертии и переселении душ.

Пифия — в древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

Плутон — в древней Греции бог земных недр, подземного царства.

Полемарх — один из девяти архонтов, высших правителей древней Греции (Афины), ведавший военными делами республики. Здесь — военачальник.

Портик — крытая галерея греческих построек (главным образом храмов).

Приап — в древней Греции бог плодородия, покровитель садов, виноградников и стад; культ Приапа был перенесен и в Рим.

Пта — древнейший египетский бог, творец мира; изображался в виде мумии с символом власти — бичом или скипетром — в руке. В Мемфисе ему был воздвигнут храм.

Птолемеи — царская династия, правившая в Египте в эллинистическую эпоху (305—30 до н. э.); основана полководцем Александра Македонского Птолемеем, сыном Лага.

Регий или *Регийум* — древнейшая греческая колония в Италии, основана в 743 году до н. э.

Регул Марк Атилий — римский консул, командовал римскими войсками во время 1-й Пунической войны; потерпел поражение от карфагенского полководца Ксантиппа и окончил свою жизнь в плену.

Сабейцы — звездопоклонники; культ поклонения светилам получил распространение главным образом в Вавилоне и Ассирии. Так называлась также христианская секта.

Савеллиане — религиозная секта III века, выступившая против представления о тринитности божества.

Салии — в древнем Риме жреческая коллегия из 12 жрецов, охранявших щит бога войны Марса.

Сатурн — древнеиталийский бог посева и жатвы; «царство Сатурна» считали золотым веком. Праздники Сатурна — сатурналии.

Сатурнин — глава одной из ранних гностических сект.

Серapis — египетский бог, властитель подземного царства и душ умерших.

Силен — божество лесов, источников и рек; считался воспитателем Диониса (Вакха) — бога виноградной лозы.

Сиракузы — в древности первый по величине и богатству город в Сицилии, был основан в 734 году до н. э., играл значительную роль в эпоху Пунических войн.

Сирены — в древнегреческой мифологии морские нимфы, своим пением завлекавшие моряков в опасные места.

Скифы — народности, населявшие в древности пространства, расположенные к северу от Черного моря. Сведения о скифах имеются в 4-й книге «Истории» Геродота.

Суффеты — высшие должностные лица в Карфагене.

Сципион Африканский — римский полководец, победитель карфагенского полководца Ганнибала во время 2-й Пунической войны.

Тартар — в древнегреческих мифах часть подземного царства, где якобы находится ад.

Таргесс или *Таршиш* — древний торговый город в Испании, вел оживленную торговлю металлами, торговал с Карфагеном.

Тетрарх — управляющий частью области во времена Римской империи.

Тибур или *Тибурба* — древний италийский город, славившийся живописными окрестностями.

Титаны — мифические гиганты, поднявшие восстание против Зевса за обладание небом и сброшенные им за это в тартар.

Тифон — мифическое божество у древних греков, олицетворявшее вулканические явления; отождествлялся с Сетом, египетским богом зла.

Трирема — военный корабль (галера) с тремя этажами весел.

Улисс — римская форма имени Одиссея, царя Итаки, главного героя гомеровского эпоса «Одиссея».

Уран — в древней Греции бог неба

Утика — финикийская колония в Северной Африке, сохранившая до некоторой степени свою политическую и экономическую независимость от Карфагена.

Фавны — в римской мифологии божества полей, гор и лесов, покровители стад.

Фесмофории — празднества афинских женщин в честь богини плодородия Фесмофоры (Деметры).

Химера — в греческой мифологии чудовище с огнедышащей львиной пастью, змеиным хвостом и козым туловищем

Центавры или *кентавры* — мифические существа у древних греков, изображались в виде получеловека-полулошадь.

Цербер или *Кербер* — в греческой мифологии трехголовый пес с хвостом и гривой из змей, охранявший вход в подземное царство.

Циклопы — в древнегреческой мифологии великаны с одним глазом во лбу.

Элида — область в северо-западной части Пелопоннесского полуострова (древняя Греция).

Эмпирей — в космогонии древних огненное небо, самая высокая из небесных сфер.

Эргастул — в древнем Риме тюрьма, большей частью подземная, для провинившихся или беглых рабов; там рабы, закованные в цепи, выполняли особо тяжелые работы.

Эреб — подземный мрак, а также сама преисподняя, царство теней в греческой мифологии.

Эфес — один из ионийских городов Малой Азии, имел акрополь, был знаменит храмом Артемиды Эфесской.

Юнона — италийская богиня, супруга Юпитера, повелительница неба и небесного света, покровительница браков. Впоследствии отождествлена была с греческой Герой.

Юпитер — глава древнеримского пантеона, верховный бог у италийских народов, почитался как покровитель римского государства, соответствовал греческому Зевсу.

Янус — один из древнейших римских богов, его изображали с двумя обращенными в противоположные стороны лицами. Под покровительством Януса находились проходы, домовые двери, вообще входы. Супругой или возлюбленной его была Кардея — богиня дверных затворов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Стр. 64. «Саламбо». Художник Лобель-Риш. 1939.
- Стр. 96. «Саламбо». Художник А. Пуарсон. 1885.
- Стр. 256. «Искушение св. Антония» Художник И. Босх ван Акен. Последняя четверть XV века.
- Стр. 288. «Искушение св. Антония». Художник Ж. Калло. Первая половина XVII века.

СОДЕРЖАНИЕ

Саламбо. <i>Перев. Н. Минского</i>	5
Искушение св. Антония. <i>Перев. М. Петровского</i>	237
«Саламбо», «Искушение св. Антония» <i>А. Иващенко</i>	357
Примечания	362
Перечень иллюстраций	371

ГЮСТАВ ФЛОБЕР.
Собрание сочинений
в пяти томах. Том 2.

Оформление художника
Е. И. Когана.

Технический редактор А. Ефимова.

А05709. Подп. к печ. 21/IV 1956 г. Тираж 250 000 экз.
Изд. № 365. Заказ № 206. Формат бум. 60×92¹/₁₆. Бум. л. 11,625. Печ. л. 23,25.
+4 вклейки (0,5 п. л.) Уч.-изд. л. 23,63.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

